

КОММУНАЛЬНАЯ СТРАНА

в фотографиях и воспоминаниях



КОММУНАЛЬНАЯ СТРАНА

Составитель
Елена Лаврентьева

в фотографиях и воспоминаниях



из коллекции в.о. штедьман

УДК 94(47)"18/19"(084/1)

ББК 63.3(2)5я6

К63

ПРОЕКТ «СЕМЕЙНЫЕ АРХИВЫ»

Издание осуществлено при финансовой поддержке:

ЗАО «НОВОЕ СОДРУЖЕСТВО»

Ларисы Ивановны Прониной

Ирины Борисовны Беляевой

Благодарим:

Виктора Оттовича Штульмана за предоставление фотографий из личной коллекции

Издательство «Детская литература»

за предоставленные фотографии к воспоминаниям Л. А. Румянцевой

Марию Калюжную за расшифровку записей воспоминаний В. И. Прохоровой

Дизайн – Александр Архутик

Компьютерная верстка – Алексей Калганов

Сканирование и обработка фотографий – Александр Комаров

Коммунальная страна в фотографиях и воспоминаниях/

К63 Составитель Е. В. Лаврентьева. – М.: Этерна, 2009. – 384 с.: ил.

ISBN 978-5-480-00209-6

«Эта коммунальная квартира, эта коммунальная страна...» Для многих читателей сегодня это всего лишь строки из популярной песни. И хотя в нашей необъятной стране есть люди, все еще проживающие в коммунальных квартирах, большинство современников уже не представляют себе, что это такое. Чтобы рассказать об ушедшем и напомнить о сокровенном, этот альбом.

Все стремительнее мы отдаляемся от тех лет. Советское прошлое сегодня мифологизируется - одними, проклинается - другими и забывается - третьими, особенно молодыми нашими согражданами. Живые свидетельства современников эпохи сохраняют для них историческую, человеческую и семейную память, помогут понять прошлое, жить в настоящем и мечтать о будущем.

УДК 94(47)"18/19"(084/1)

ББК 63.3(2)5я6

© Коллектив авторов, 2009

© В. О. Штульман, фотографии из личной коллекции, 2009

© Е. В. Лаврентьева, составление, предисловие, заключение, 2009

© ООО «Издательство «Этерна», оформление, 2009

ISBN 978-5-480-00209-6



Предисловие

МОНОЛОГ СТАРОЙ ЛЕСТНИЦЫ

*Мой старый дом! Я вам ровесница,
Но не дадут мне здесь остаться.
Влюбленные на новой лестнице,
Как прежде, будут целоваться.
Признанья час и боль разлуки
Разделят новые ступени.
В любви пожмут друг другу руки
Никем невидимые тени.
По мне скользили туфли-лодочки,
Брели калоши по старинке,
«Приняв на грудь» стаканчик водочки,
Спускались пьяные ботинки.
Всегда, в любое время года
Блестели чьи-то сапоги,
А по ночам «врагов народа»
Звучали тихие шаги.
Из женских глаз слеза катилась,
Как по перилам – детвора.
Кошачья свадьба доносилась
Весною ранней со двора.
Я повидала все на свете,
Мне расставаться с прошлым жалко.
Я помню, как смеялись дети
И как шумела коммуналка,
Как модной мебели в угоду
Комод тащили на помойку,
Как Витька вышел на свободу,
Как получил Серега двойку.
Простите, я скрипеть устала
И вызывать у всех насмешку.
Для вас, мой друг, пора настала
Взять в собеседницы консержку.*

Каждый день я наблюдаю, как уходит в небытие старая Москва. Зияющие дыры окон знакомых домов, жалкий вид обоев на фоне разрушительной силы экскаватора вызывают приступ горького уныния. От дома на Гоголевском бульваре, где в коммуналке обитала моя университетская подруга, остался только отреставрированный до неузнаваемости фасад.

Моим родителям посчастливилось жить в отдельной квартире в «маленьком городе, где вечные сумерки и вечные колокола». Впервые о существовании коммуналок я узнала от бабушки, охотно рассказывающей гостям свои бесчисленные «юморески»:

— Когда Ивана Михайловича (мой дед. — Е. Л.) перевели в Харьков, нам на первых порах выделили две комнаты в коммунальной квартире с вытянутым, как кишка, коридором. Третью занимал капитан, который мне очень симпатизировал. Как-то мужа отправили в командировку, я осталась одна. Утром направляюсь в кухню, и вдруг из уборной мне навстречу со спущенными портками выскакивает капитан. Я испугалась, вбежала в комнату, навалилась всем телом на закрытую дверь и жду. А он через минуту жалобным голосом и говорит под дверь: «Оленька, простите, я не хотел вас оскорбить: мне сверху крыса на спину прыгнула. Я выскочил, даже брюки не успел надеть».

Я помню, как смеялись бабушкины гости, а мне, семилетней, было очень жаль капитана, который, по моему представлению, должен был сгореть от стыда и неловкости.

– Это жизнь, – любила повторять бабушка.

– Может быть, не следует записывать столь «интимные подробности»? – порой спрашивают меня мои собеседники, когда я решительным жестом кладу перед ними свой старенький диктофон.

– Это жизнь, – говорю я и нажимаю кнопку.

Благодарю всех, кого не отпугнул мой диктофон или настойчивые призывы «взяться за перо» и поделиться своими воспоминаниями о коммунальном прошлом. Среди авторов книги – мои друзья, их родные и знакомые. Чем же могут быть интересны эти воспоминания человеку, не имевшему опыта коммунальной жизни? Отнюдь не экзотикой, ибо «коммунальность» проявлялась во всех сферах жизни каждого советского гражданина. Позволю себе небольшое лирическое отступление. В одном из писем А.П. Чехов делился с А.С. Сувориным: «Сидеть бы на палубе, трескать вино и беседовать о литературе, а вечером дамы». Кто из нас не мечтает о такой «палубе», где можно испытать и радость общения, и прелесть уединения?! Другая атмосфера царила на корабле, бороздившем просторы социализма. Как вести себя во время шторма? Что делать, если на

палубе остались одни пьяные пассажиры? Куда ведет свой корабль капитан? Оставим метафоры и попробуем ответить на вопрос: так ли необходимо человеку «право на уединение»? На страницах этой книги вы можете выбрать в собеседники великого Станиславского, бойкую дворничиху Феклу, гениального пианиста Святослава Рихтера, самоотверженного хирурга Петра Ивановича Постникова, ростовского фотографа Михаила Орлова, несговорчивую мадам Табуреткину и даже «умницу-пса» по кличке Дей.

Елена Лаврентьева

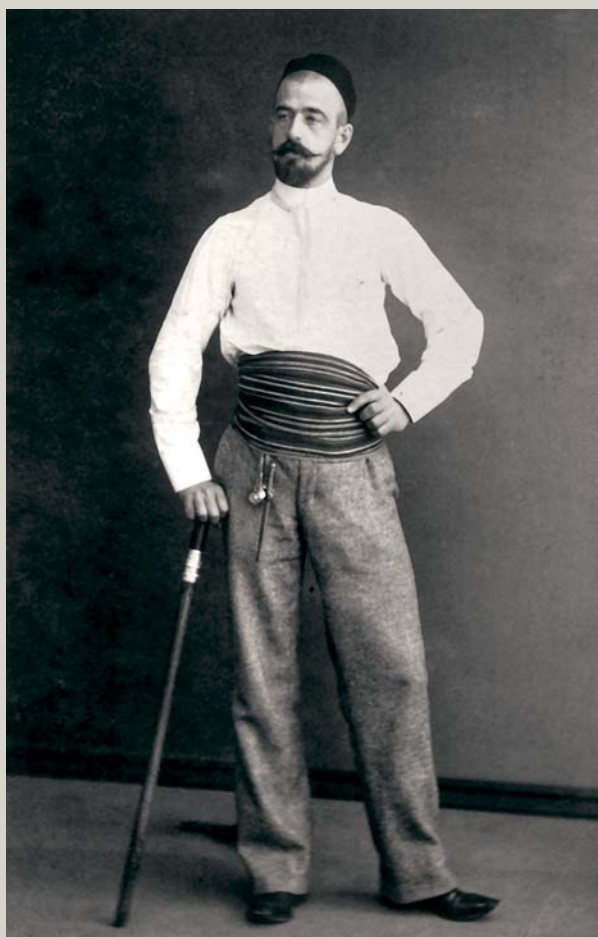


М.С. Сперанская

ЗДЕСЬ БЫЛ ФРАНЦУЗСКИЙ ТЕАТР...

Вряд ли мой дед, известный московский хирург Петр Иванович Постников, въезжая со своим многочисленным семейством в квартиру дома на Большой Никитской, мог подумать, что через восемь лет ему придется «делить жилплощадь» с цыганским табором. Но сначала немного истории. Пятиэтажный дом № 26 на углу с Леонтьевским переулком (бывшая ул. Станиславского) только на первый взгляд кажется невзрачным. На самом деле у него яркая биография. Незадолго до нашествия Наполеона дом приобрел страстный театрал генерал-майор П.А. Позняков, устроивший здесь крепостной театр. Режиссером был известный Сила Сандунов. О театральных затеях Познякова писал А.С. Грибоедов в комедии «Горе от ума». Одна из них – припрятанный за деревьями зимнего сада «человек», который во время балов и маскарадов виртуозно пел на птичий лад и «щелкал соловьем». Сам же хозяин поражал гостей эксцентричностью своего наряда: во время спектаклей разгуливал в костюме перса или китайца.

Когда французы захватили Москву, Наполеон велел в этом доме открыть французский театр. Правда, сам не удостоил его своим посещением. После изгнания французской армии Позняков возобновил свой театр. Пожертвования от спектаклей шли в пользу пострадавших от пожара и раненых



Петр Иванович Постников, 1890-е гг.

русских воинов. Следующим владельцем дома стал известный вельможа Николай Борисович Юсупов, владелец Архангельского. Возможно, в гостях у него бывал и А.С. Пушкин.

Как пишут историки Москвы, в середине 70-х годов XIX века был надстроен третий этаж, и дом полностью утратил свой первоначальный облик. Ампирный особняк пре-



Ольга Петровна Сорокоумовская. 1890-е гг.

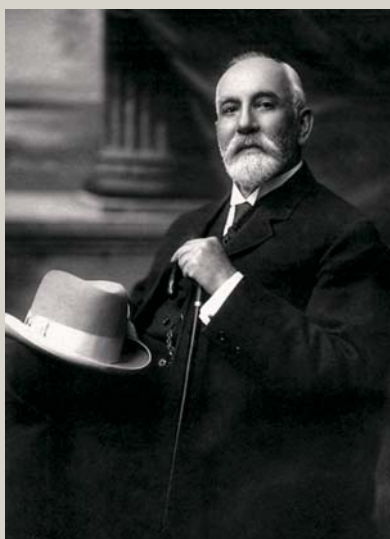
вратился в доходный дом. Здесь и облюбовал себе квартиру, состоящую из десяти комнат, Петр Иванович Постников со своей женой Ольгой Петровной, урожденной Сорокоумовской, в 1910 году. Через двадцать с лишним лет в доме надстроили еще два этажа, провели центральное отопление и газ. Я помню, как дед, будучи весьма пожилым человеком, часами сидел в вольгеровском кресле, положив ноги на батарею.

История умалчивает, где и когда познакомились мои дедушка и бабушка. Однако известно, что Ольга Петровна с тремя дочерьми ушла к Петру Ивановичу от своего мужа Леонида Александровича Байдакова, купца 1-й гильдии, торговавшего кирпичом и строительными материалами под фирмой «Байдаков и К°». Владелец кирпичного завода под Мо-

сковой, старшина Московского купеческого собрания, Леонид Александрович был изобретателем известного байдаковского пирога. По словам В. Гиляровского, пирог представлял собой огромную кулебяку в двенадцать ярусов, «каждый слой – своя начинка: и мясо, и рыба разная, и свежие грибы, и цыплята, и дичь всех сортов. Эту кулебяку делали только в Купеческом клубе и “У Тестова”, и заказывалась она за сутки». Когда Байдаков спустя годы разорился, Петр Иванович помогал ему материально. Но это было потом, а сначала родители бабушки, Петр Павлович и Надежда Владимировна Сорокоумовские, не могли простить дочери ее дерзкой выходки – бегства от мужа-богача к какому-то доктору.

Слава меховой империи Сорокоумовских гремела не только в России, но и за рубежом. Торговый дом «Павел Сорокоумовский с сыновьями» по праву считался законодателем меховой моды. В 1879 году глава фирмы Петр Павлович с семьей переехал в новый дом в Леонтьевском переулке. Сейчас здесь располагается посольство Греции. Моя мама, общая дочь Петра Ивановича и Ольги Петровны Постниковых, вспоминала, как однажды побывала в этом роскошном

особняке. Маленькая Кира вместе с другими многочисленными внуками Петра Павловича Сорокоумовского должна была подойти к дедушке, сидящему в кресле, и поцеловать ему руку. Дед каждому вручал золотой. Смекалистая Кира, получив свое вознаграждение, снова встала в очередь. Петр Павлович заметил это, с улыбкой протянул ей руку, но золотой давать отказался. Несмотря на то что Со-



Петр Павлович Сорокоумовский, прадед

рокоумовские все-таки сменили гнев на милость, отношения между дочерью и родителями оставались натянутыми. Когда свершилась революция 1917 года, Петр Павлович с женой отдыхали в Ницце. С возвращением домой решили повременить. Ницца стала их последним пристанищем. Зато их непокорная дочь Ольга приняла революцию с пониманием. С пониманием отнеслась она и к тому, что в первые революционные годы ее муж, Петр Иванович Постников, на собственные деньги содержал свою лечебницу на Спиридоновке: чтобы прокормить пациентов и оказать им должную медицинскую помощь, он был вынужден продавать картины из коллекции, которую собирал в течение многих лет. Благодаря его усилиям лечебница просуществовала до конца 1919 года. Бабушка помогала деду вести бухгалтерию клиники, умело распоряжалась она и домашним бюджетом.

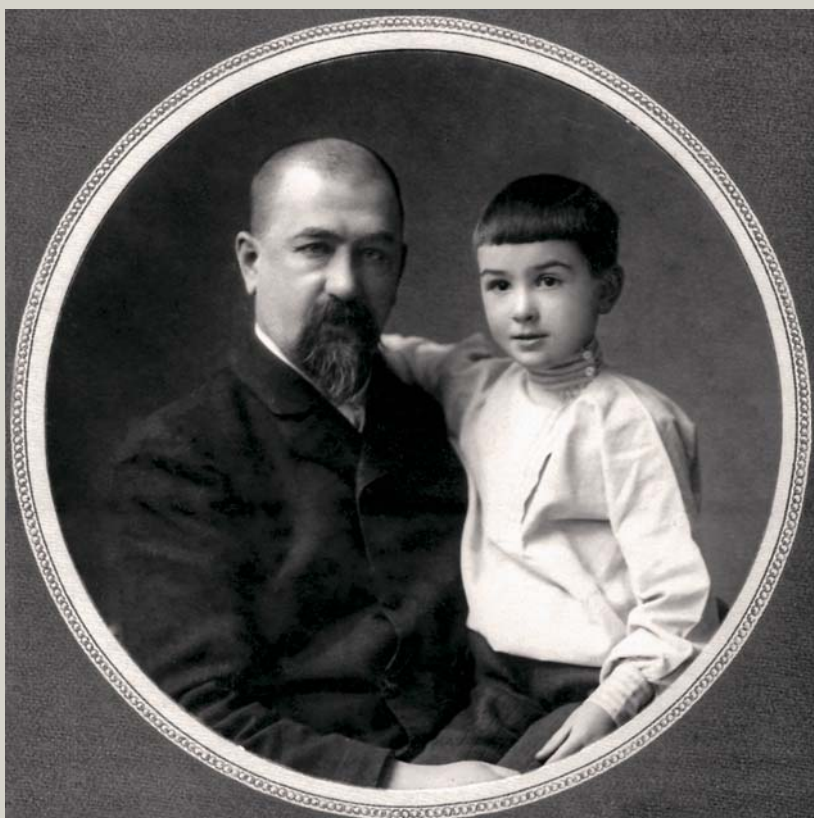
Деньги, вырученные от продажи картин, спасали наше многочисленное семейство в самые тяжелые времена. «Петр Иванович был бы рад видеть, что мы не голодаем», — говорила бабушка после его смерти. От некогда большого собрания картин почти ничего не осталось — разве что семейные портреты.



Надежда Владимировна Сорокумовская, прабабушка

Через пять лет после смерти деда началась война. Пришлось расстаться с золотыми монетами из нумизматической коллекции. В отличие от бабушки, расстававшейся с семейными реликвиями по крайней необходимости, моя мама, Кира Петровна Постникова, делала это охотно и с энтузиазмом. Этому не препятствовали ни ее светское воспитание, ни знание нескольких языков, ни знакомство с литературными и художественными знаменитостями. Живя в загроможденной

старыми вещами коммуналке, она была уверена, что нам не избежать переселения, а оно, по ее представлению, равносильно мировому потопу. Мама с ужасом думала, как



С дочкой Кирой, 1913



П.П. и Н.В. Сорокумовские с детьми и внуками

разместить в типовой трехкомнатной квартире, которая нам полагалась, такое количество старинной мебели, книг, картин, коробок, картонок, альбомов... Она даже занялась точными математическими подсчетами: измеряла размеры картин, рисовала схемы их расположения. Словом, было решено окончательно и бесповоротно избавиться от лишнего «хлама». Лишней оказалась и редчайшая коллекция монет, ее начал собирать еще дед Петра Ивановича. Кира Петровна позвонила в

ГМИИ им. А.С. Пушкина, в отдел нумизматики. На следующий день приехали два молодых человека, пообещавшие изучить «экспо-

наты» и через месяц вынести решение. Коллекция состояла из семисот монет, к каждой из них прилагалась историческая справка, составленная Петром Ивановичем, по всей видимости, не без участия специалистов прошлого. Кира Петровна была очень довольна, когда ей предложили 629 рублей. Речь идет о середине 60-х годов. Приятель нашей семьи, известный коллекцио-



Мама Кира Петровна Постникова, 1930

нер Феликс Евгеньевич Вишне-
невский, узнав о продаже, да
еще по такой смехотворной
цене, впал в отчаяние. По его
словам, в коллекции было
много монет, и каждая из
них могла быть оценена в
несколько тысяч рублей. Ки-
ра Петровна ухитрилась
продать даже набор сереб-
ряных приборов, который
она подарила нам с Бори-
сом на свадьбу. В ответ на
наше недоумение мама при-
зналась, что забыла о подар-
ке 15-летней давности и
гордо вручила моему мужу
сберкнижку с 200 рублями,
полученными за серебро в
антикварном магазине на
Арбате. Туда же свозила она
на такси ненужные, по ее
мнению, картины. А среди
авторов картин, висевших в
нашей коммуналке, были и
Коровин, и Саврасов, и Ма-
ковский, и Поленов... Когда
началась война, Ольга Пет-
ровна отдала на хранение в



П.И. Постников, 1906



П.И. Постников в лечебнице на Б. Дмитровке

Третьяковку три картины. Одна из них – ог-
ромных размеров картина Айвазовского,
другая – работа Бруни, а сведения о третьей,
к сожалению, канули в Лету. Бабушка полу-
чила расписку, которую она предъявила по-
сле войны, и услышала, что сданные на хра-
нение картины утеряны. Спустя много лет
мы с мамой оказались на Крымском Валу на
выставке, где были представлены отрестав-
рированные шедевры музеев. Среди них
оказалась и картина Бруни, когда-то нахо-
дившаяся в нашем доме. Наверное, можно
было обратиться в Третьяковку с просьбой
разъяснить ситуацию, но мама не стала

предпринимать никаких
усилий, тем более к тому
времени она уже подарила
нескольким музеям, в том
числе и Третьяковской гале-
рее, картины, ценные доку-
менты и письма, адресован-
ные разными знаменитыми
людьми Петру Ивановичу
Постникову. Несколько пи-
сем Ф.И. Шаляпина передала
Кира Петровна Ираклию
Андроникову, он опублико-
вал их в книге «Я хочу рас-
сказать вам...» со следующим
комментарием: «...очень уж
они хороши, эти письма,
остроумны, талантливы и
широко раскрывают могу-
чий образ Шаляпина, непо-
вторимого даже в своем ли-
тературном стиле. Для того
чтобы все в них оказалось
понятным, надобно знать,
что была в начале нашего
века в Москве, на Большой
Дмитровке, лечебница Пет-
ра Ивановича Постникова –
хирурга великолепного и

добрейшей души человека. Говорю это не с
чужих слов, не понаслышке: в мои молодые
годы я сам знал его – Петр Иванович умер в
1936 году. А в 1906-м в его лечебнице по слу-
чаю воспаления в гайморовой полости ле-
жал Федор Иванович Шаляпин. Операцию
делал Постников. Чтобы не портить лицо
великого артиста, не оставлять на щеке
шрам, хотя бы и небольшой, Постников
применил новый в ту пору способ и щеку
резать не стал.

Лежа в лечебнице, Шаляпин сдружился
не только с самим Петром Ивановичем и
женой его Ольгой Петровной, но и с други-

ми врачами и фельдшерицами, получившими от него общее прозвище – “братья”».

От бабушки я не раз слышала историю, как однажды Федор Иванович пел в храме Большого Вознесения специально для нее. Дело было так. Шаляпин как-то на Пасху пришел в гости к Постниковым. Хозяев не оказалось дома: Петр Иванович был в клинике на Спиридоновке, а Ольга Петровна отправилась на службу в храм, где когда-то венчался Пушкин. «Там же плохо поют, – с досадой сказал прислуге Шаляпин. – Пойду ей спою».

Бабушка, вспоминая эту историю, признавалась: «Конечно, в храме пение Шаляпина не вызвало никакого восторга у церковнослужителей, но очень порадовало прихожан».

В квартире на Большой Никитской Шаляпин любил играть с дедом в домино. Выигрыш отдавали в студенческую столовую. В нашей семье до сих пор хранится коробка с тем самым домино, где на крышке кто-то написал: «Выигрыш – студентам».

Бабушку дед побаивался. Они были всю жизнь на «вы» и обращались друг к другу по имени-отчеству. Отправляясь на русско-японскую войну, Петр Иванович принял решение оставить своего денщика в Москве в помощь жене. «Ольга Петровна, Иван остается в Ваше полное распоряжение». «В полное? – спросила Ольга Петровна мужа. – Все, Иван, решено, ты едешь с Петром Ивановичем», – властным тоном произнесла бабушка. Попробуй тут возрази!

Независимый характер Ольги Петровны толкал ее на смелые, а подчас и рискованные поступки. Кто-то донес на деда, что он прячет несметные драгоценности жены у



Ольга Петровна Байдакова,
впоследствии Постникова, конец 1890-х гг.

себя в больнице. Отчаянная бабушка надела на себя все украшения, которые у нее были (а было их не так много), и отправилась на Лубянку: «Больше ничего нет, делайте что хотите». Экспроприаторы, вероятно, ошеломленные таким поступком, отпустили ее домой, не покусившись ни на одно колечко.

В. Гиляровский посвящал бабушке стихотворные экспромты, а друг семьи художник Василий Никитич Мешков писал ее портрет. Бабушка потчевала его портвейном из дореволюционных запасов. Мешков наливал вино в глубокую тарелку, крошил туда хлеб и ложкой ел. Писал он и портреты Петра Ивановича. На одном из них – дарственная надпись: «Дорогому другу и врачу П.И. Постникову на добрую память от художника, обязанного жизнью». Семейная легенда гласит, что дед сделал художнику операцию чуть ли не кухонным ножом: нужно было действовать молниеносно. Платой за жизнь был оставшийся на щеке шрам. В 1941 году Василий Никитич жил на Истре и оказался свидетелем трагических событий первых дней войны. Он признавался бабушке, что лучшей своей работой считает картину, изображавшую отступление наших солдат. К сожалению, судьба этой картины мне неизвестна.

О врачебном таланте и сердечной чуткости Петра Ивановича Постникова писали многие современники. Его имя упоминается и в мемуарах московского губернатора В.Ф. Джунковского:

«22 сентября <1912 г. – М. С.> на Петербургском шоссе, в районе Московской губернии, произошла трагическая автомобильная катастрофа. Из Петербурга в Моск-

ву на 120-сильном “фиате” ехали три англичанина – Петер Ховкер, Реджинальд Генди, Бодерст и механик Бланки, которые намеревались сделать на автомобиле кругосветное путешествие Лондон – Петербург – Москва – Пекин и т. д. На машине было много груза, так что сидели они в страшной тесноте. Из Клина они выехали под вечер и были у деревни Дурькино в самую темноту. Тут на шоссе был первый шлагбаум. Не заметив его в темноте, они не остановили машины, и автомобиль на полном ходу налетел на опущенный шлагбаум. У Ховкера от удара о бревно шлагбаума раскрошена была челюсть и разорван язык. Бодерст успел инстинктивно соскочить с сиденья и потому отделался ударом по подбородку и рукам, у механика разбитыми оказались нос и один глаз. К счастью, от сильного удара мотор сломался, и машина остановилась. Постра-

давших перенесли по соседству в дом Спечинских, а потом отвезли в лечебницу Постникова в Москву.

Получив об этом печальном происшествии донесение, я для его расследования тотчас командировал на место катастрофы состоявшего при мне полковника Гарденина. Виной всему оказался дорожный отдел московского губернского земства, который по небрежности не озаботился надлежащим освещением местности близ шлагбаума. Я поэтому был принужден предложить губернской земской управе озаботиться устройством, в течение 5 дней, на всех шлагбаумах в пределах губернии красных сигнальных фонарей, которые прикрепить к бревну шлагбаума, посередине его. В лечебнице Постникова, после 3-часовой операции, удалось Ховкеру связать челюсть, защитить язык, и, благодаря искусству хирурга П. И. Постникова и безукоризненному уходу, все три англичанина стали быстро поправляться. Я несколько раз был у них в лечебнице, они были бодры и надеялись закончить задуманное путешествие».

В воспоминаниях актера Ю. Юрьева описывается забавный эпизод из жизни купца Солодовникова: «Ему необходимо было сделать операцию. Он решил оперироваться у себя на дому. Хирург – кажется, профессор Склифосовский – согласился, но просил Солодовникова озаботиться приобретением некоторых хирургических инструментов. Солодовников для этой цели отправился на Сухаревский рынок и там по дешевке купил подержанный инструмент, оказавшийся заржавленным. Разумеется, Склифосовский отказался воспользоваться такими инструментами, и Солодовникову пришлось скрепя сердце добыть их у Швабе на Кузнецком Мосту...»

Скорее всего этим хирургом был не Склифосовский, а Петр Иванович Постни-



Кабинет деда в лечебнице на Б. Дмитровке, конец 1890-х годов



Лечебница на Спиридоновке, 1900-е гг.

ков, так как имя упомянутого купца-мецената стоит в числе других, подписавших «благодарственную грамоту» моему деду.

Другой купец-меценат, Алексей Александрович Бахрушин, был однокашником деда по гимназии Креймана. По словам сына Бахрушина, Петр Иванович «был единственным из школьных товарищей отца, с которым он не потерял связи впоследствии». Приведу фрагмент воспоминаний Ю.А. Бахрушина о моем деде:

«Известнейший московский хирург Петр Иванович Постников порой бывал в нашем доме как гость и вызывался неизменно в случае болезни кого-либо, где требовалось хирургическое вмешательство. Лично я помню его с малолетства. Совершенно лысый, с приплюснутым носом и гнусавым голосом, он появлялся у нас своей быстрой переваливающейся, шаркающей походкой, с черной шелковой ермолкой на голове. Говорил он

отрывисто и чрезвычайно громко – кричал. Противник полумер, он всегда применял радикальные средства и обычно с успехом, так как вообще говорили, что у него “рука легкая”.

Помню, когда мне было лет шесть, я подскользнулся на улице и очень неловко упал. У меня заболела нога, боль медленно проходила, а когда прошла, я начал хромать. Призванные доктора щупали меня, качали головами и разводили руками, констатируя, что мне грозит костный туберкулез и что нога перестанет расти. Тут был вызван Постников. Он быстро прощупал мою ногу – пальцы у него были особые, словно без костей и, казалось, проникали куда-то под кожу.

– Пустяки, – заорал он, – йоду, согревающий компресс из йода!

Он тут же все предписанное самолично проделал со мной с исключительной ловкостью. Больно было ужасно, жгло отчаянно;

когда через очень короткий срок компресс был снят, нога оказалась без кожи. Ее чем-то смазали, и очень быстро весь болезненный процесс был ликвидирован и никогда не возобновлялся. Позднее у меня был нарыв на ноге, который никак не проходил. Пробовали компрессы, вытягивающий пластырь – ничего не помогало. Я был отвезен отцом к Постникову. Меня очень забавляло, как они называли друг друга Петрушей и Алешей, уменьшительным именем, которым отца звали лишь немногие знавшие его в детстве. Петр Ив. осмотрел больное место и попробовал отдернуть намертво присохший к болячке вытяжной пластырь. Я поморщился от боли.

– Ну-ну, не криви морду-то, – заорал он, – а то!.. – И как дернет пластырь изо всей силы. Я заорал.

– Ну, теперь ори – все в порядке! – Постников держал в руке пластырь и рассматривал его – весь очаг заразы был им выдернут с тряпкой вместе. Через несколько дней я был здоров.

Много-много лет спустя, уже после революции, я как-то встретился с П.И. Постниковым на рыбной ловле на озере Сенеж. День

был ветреный, и выезжать на озеро не было смысла. Мы сидели на веранде гостиницы и отдыхали. Я спросил Петра Ивановича, какие были самые трудные операции в его жизни.

– Трудные или сложные? – выкрикнул он вопрос.

– Расскажите уж и то и другое.

– Расскажу уж сразу о самой трудной и самой сложной. Человек ехал в карете и высунулся из окна крикнуть кучеру, что он не туда заворачивает. В это время встречный ломовой, у которого задурила лошадь, въехал ему концом оглобли в рот. Хорошо еще, что он успел откинуть голову, но все равно во рту было черт знает что. Пришлось разбираться во всей этой каше и определять что к чему: зубы, десны, нёбо – все это перемешалось. Ну... разобрался – поставил на ноги...

Рыбу ловил Петр Иванович на Сенеже обычно один, выезжая в самые невероятные, лишь ему одному известные места, не посещаемые другими рыболовами, но приезжал обратно почти всегда с крупными экземплярами.

Человек он был необычайной физической силы – разгибал подковы, железного здоровья и необузданного, буйного характера. В молодости, подвыпив, в Крыму он на пари спрыгнул спиной с Байдарских ворот. После прыжка, когда его несли в ближайшую больницу, он молил, чтобы его убили – столь болезненная была эта переноска, так как добрая половина костей была у него переломана, но через короткое время он снова был здоров, и единственным воспоминанием о прыжке остались шаркающая походка и приплюснутый нос».

Между прочим, рыбалка сослужила деду хорошую службу. В тот день, когда был ранен Ленин, послали за хирургом Постниковым. Но, к счастью, его не оказалось дома: он

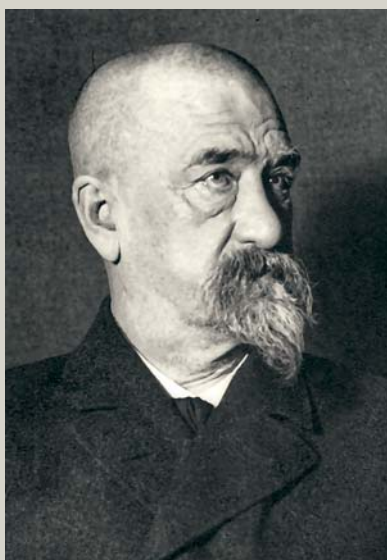


П.И. Постников с дочерью Кирией на рыбалке, 1928

был на рыбалке. Неизвестно, как сложилась бы жизнь деда, если бы ему пришлось делать операцию вождю революции.

Выше я назвала имена нескольких известных купцов-меценатов, хорошо знавших Петра Ивановича. Было бы несправедливо обойти молчанием его тезку – Петра Ивановича Щукина, создателя частного музея «Российских древностей». В его воспоминаниях содержатся интересные сведения о моем прадеде, отце Петра Ивановича:

«Врач Иван Петрович Постников приходился двоюродным братом моей матери и



Петр Иванович Постников, 1935

жил в Кудрине, в собственном доме, одна стена выходила в сад и была вся до крыши покрыта диким виноградом. Иван Петрович сам возделывал свой сад и сажал цветы; был он также охотник до разных зверей, которых дрессировал: своего попугая Иван Петрович научил говорить: “Всякое дыхание да хвалит Господа”. Иван Петрович увлекался фельетонами некоего Берендея в “Современных известиях”. Врачебной практикой Постников пренебрегал, и когда ему говорили: “Не понимаем, как вы можете лечить”, – он добродушно отвечал: “А я не понимаю, как у меня



Крестины Саши Живаго, внука О.П. Постниковой, в доме на Б. Никитской, 1914

могут лечиться». Иван Петрович любил рассказывать анекдоты вроде того, как одна девочка, кушая дичь и проглотивши дробинку, с испугу воскликнула: «Мама, я зарядилась, я выстрелю», или что в одном рецепте для приготовления какого-то вина было сказано: «Для знатока положи веточку бузины». За обедом Иван Петрович имел обыкновение показывать разные фокусы. Жена Ивана Петровича Марья Михайловна была очень добрая и деятельная. Два сына его – Александр и Петр – были отличные гимнасты. Александр Иванович был притом замечательный конькобежец и давал уроки гимнастики в учебных заведениях Москвы; к сожалению, он впоследствии сошел с ума и вскоре умер. Петр Иванович Постников, известный в Москве хирург, здравствует и поныне».

Действительно, в молодости дед работал в цирке гимнастом. Кроме того, он прекрасно жонглировал и мог рассмешить любого. Константин Сергеевич Станиславский умолял мою бабушку поговорить с Петром Ивановичем, чтобы он не гримасничал, не корчил рожи, сидя в первом ряду на его спектаклях, а то актеры давятся от смеха. За это он обещал по первому зову предоставлять Петру Ивановичу «свои» кресла в 8-м ряду. Я помню, как с мамой, сидя в этих самых креслах, смотрела «Синюю птицу». Моя няня Варвара Ивановна перешла к нам от Станиславских, а точнее – от их внучки Киляли. Константин Сергеевич крестил меня с балкона, когда я с няней гуляла во дворе его дома, где сейчас находится музей Станиславского. Моя няня Варвара Ивановна жила в соседнем доме, а с нами жила мамина няня – Прасковья Михайловна. По тем временам квартира, в которую въехали Постниковы в 1910 году, считалась небольшой и состояла из следующих комнат: гостиной, столовой, спальни, буфетной, кабинета, приемной, или «хирургической», где Петр Иванович



В день бракосочетания Марины Сперанской и Бориса Юргеева, 21 февраля 1960 г.



Марина Сперанская, 1961

принимал пациентов, комнаты прислуги. Дети с нянями и гувернантками размещались в трех комнатах во флигеле, отделенных от основных помещений длинным коридором. Самой большой комнатой была столовая с множеством дверей и огромным роялем, с которым пришлось впоследствии расстаться. Ее площадь составляла пятьдесят четыре квадратных метра. Потолок столовой был расписан каким-то художником в знак благодарности за то, что дед спас ему жизнь: несчастный попал под трамвай. А вот потолок двадцатиметровой ванной был стеклянный, как тогда говорили, с верхним светом. По словам бабушки, в парадной стояли мягкие кресла, английские часы. Тут же помещался гардероб, где раздевались мужчины. Маленькую Киру швейцар на руках поднимал на третий этаж.

И вот грянула революция, началось «уплотнение». В первую очередь конфисковали детские комнаты во флигеле. Потом посели-

ли в гостиную цыган. В конце концов за де-душкой оставили столовую. Ольге Петровне достался дедушкин кабинет. Ее дочь Зиночку прописали в приемной вместе с няней Прасковьей Михайловной, а мама оказалась в бывшей спальней. В маленькой комнате жила Настасья Федоровна, бывшая кастелянша дедушкиной лечебницы. Кроме того, в нашем распоряжении был еще тупичок коридора. Впоследствии принадлежавшие нам 64 метра не позволяли ни вступить в кооператив, ни обзавестись дополнительной жилплощадью.

Пожалуй, невозможно в хронологической последовательности назвать всех, кто жил в нашей коммуналке. Нас здесь было около 30 человек. Не обходилось и без курьезов. Выйдя как-то ночью в коридор, обнаруживаю в темноте полураздетого, чуть не плачущего, незнакомого мужичка. Спрашиваю: «Вы кто?» Оказалось, приехал к соседям гость, вышел из их комнаты, а дорогу обратно найти не смог.

Когда в родном городе моего мужа Бориса Ильича Юргая, Бухаре, случилось в 1976 году землетрясение, все его родственники, одиннадцать человек, оставшиеся без крова, приехали к нам. Привезли с собой подстилки красного бархата, на них и спали. В эти же дни приятельница из Киева попросилась переночевать. Где одиннадцать гостей уместилось, там и двенадцатому место найдется. Выделили ей раскладушку в «тупичке», но предупредили: занимай место пораньше, а то уведут. Моя мама шутила: «Землетрясение в Бухаре, а эпицентр на улице Герцена».

Кроме того, в нашей коммуналке много жильцов обитало нелегально. Среди них – Елена Николаевна Кулябко, для нас – баба Лёля. Она была подругой детства маминой сестры Зиночки. Незамужняя Зиночка работала лаборанткой у академика Льва Зильбе-

ра. Елена Николаевна в молодости была близким другом Тухачевского. Она и ее брат, Николай Николаевич Кулябко, были репрессированы и после войны вернулись в Москву. Жилье Елене Николаевне не предоставили, и она всю жизнь прожила в нашей квартире. Работала она в регистратуре поликлиники. И Зиночка, и баба Лёля были в молодости страстными театралками. В связи с этим вспоминается забавный эпизод. После окончания школы я решила поступать в Текстильный институт, где моя мама преподавала немецкий и французский. Начались вступительные экзамены. Буквально за вечер до экзамена по литературе выяснилось, что в списке «обязательных произведений» стоит «Гамлет» Шекспира. Я в панике: в школе мы его не проходили, и времени на его прочтение уже почти не оставалось. Попросила Зиночку и бабу Лёлю пересказать мне краткое содержание «Гамлета». Они было начали рассказывать, а потом увлеклись и стали вспоминать театральные постановки по произведениям Шекспира: где? когда? в каком театре? кто в главных ролях? Им было абсолютно не до меня. Я схватила Шекспира. Прочитала за ночь 28 страниц. Напряженная подготовка к экзамену по литературе навсегда отбила у меня желание дочитать «Гамлета» до конца. У Зиночки и бабы Лёли было еще одно любимое занятие – игра в карты. И я, и мама, и мой муж охотно присоединялись к ним.

Среди жильцов-нелегалов, как сказали бы сегодня, была также Фаня Львовна. В детстве она отличалась необыкновенными музыкальными способностями, гастролировала за рубежом. Всю оставшуюся жизнь она не могла этого забыть, впадала в истерики. Под стать Фане Львовне был ее брат Федор Львович: он тоже не мог забыть своего революционного прошлого, даже на кухню ходил с наганом. Федор Львович потом съехал, а Фа-



Зинаида Леонидовна Байдакова (Зиночка), 1928

не Львовне никак не удавалось прописаться к своей сестре, Берте Львовне. И когда Берта умерла, Фаня несколько дней скрывала ее смерть, предпринимая отчаянные попытки зацепиться за комнату. Ее выселили, а в эту комнату въехала интеллигентная семья Га-раевых.

Мать семейства Раиса Владимировна работала в Институте культуры. Ее сын Володя, мой ровесник, был нашим соседом по коммуналке все оставшиеся годы и получил отдельную квартиру года за два до нас. Когда его сестра Кира вышла замуж за молодого человека по имени Марк, комнату разделили на две части. Кире досталась меньшая. Так они и жили в тринадцати метрах вдвоем: Кира, Марк и их маленький сын. «Повернуть бы мою комнату набок», – говорил Кири-н муж.

Расставшись с моим отцом, Сергеем Георгиевичем Сперанским, моя мама после войны вышла замуж за Марка Семеновича Бо-

родовского, который переехал к нам вместе со своим сыном Августом. Марк Семенович был очень одаренным человеком: писал стихи, сочинял песни, собирал вокруг себя талантливых людей. Его не стало в 1955 году.

Удивительное совпадение: в одной квартире оказались две Кире и два Марка. И в том и в другом случае – муж и жена. После смерти Марка Семеновича произошел поистине трагикомический эпизод. Раздался в коридоре телефонный звонок, и кто-то попросил позвать Марка. На том конце провода сказали: «Он умер». В ответ – отчаянные возгласы. Выяснилось, что к телефону просили молодого Марка.

Что поделаешь, смерть и жизнь всегда идут бок о бок, рука об руку. Как тут не вспомнить любимую поговорку Елизаветы Соломоновны Дербер, тещи академика Акушского, проживавшей (тоже нелегально) в нашей коммуналке: «Что покойнички едят, так и выглядят». Израиль Яковлевич Акушский со своей хорошенькой молодой женой Галей Дербер появился у нас незадолго до войны или во время войны. Они въехали в комнату, бывшую столовую, которая числилась сначала за Петром Ивановичем, а после его смерти в ней жила семья доктора Гагасяна. В 30-е годы Израиль Яковлевич был репрессирован. В ссылке он написал не только кандидатскую, но и докторскую диссертацию по математике. Защищал их в Алма-Ате, вскоре был реабилитирован и избран членом-корреспондентом Академии наук Казахской ССР. В Москве академик Акушский работал на оборонных предприятиях и был человеком, совершенно далеким от быта. Хозяйством занималась его теща Елизавета Соломоновна, успевшая в разгар сталинских репрессий побывать в «местах не столь отдаленных». Она прекрасно готовила и была в курсе всех кухонных дел. Холодильников в ту пору не было. Кастрюльки

стояли на столах. Когда я после работы влетала, голодная, в кухню, Елизавета Соломоновна уже стояла на своем «боевом посту». «У вас сегодня щи, но невкусные», – докладывала она.

Другая соседка, Анна Михайловна, могла позволить себе не только поинтересоваться содержимым кастрюльки, но и без разрешения позаимствовать что-то. Так, однажды из моей кастрюли исчезла курица, которая варилась на плите, – стоило мне на десять минут отлучиться в комнату.

– Анна Михайловна, вы, случайно, не знаете, где моя курица?

– Мариночка, я ее взяла на 5 минут – только на бульончик.

Ее дочь Мария Сергеевна, архитектор по профессии, была необычайно хороша собой. Из ванной она выходила в распахнутом халате, а по телефону в коридоре разговаривала почти обнаженная, прикрыв переднюю часть тела полотенцем. Мужчины-соседи могли бесплатно любоваться тем местом, в которое плавно переходила спина. Иногда из комнаты доносился ее звучный голос, обращенный к Анне Михайловне: «Я хочу жить с мужиком, а я с тобой, стервой, живу».

Честно говоря, голым телом трудно было удивить кого-то в нашей квартире. В 9-метровой комнате проживали две толстые дамы – Надежда Емельяновна и Мария Егоровна. Мама называла их «мясопотамы». Однажды они решили самовольно вселиться в освободившуюся комнату большей площади. Явилась милиция их выселять. Чтобы воспрепятствовать этому, Надежда Емельяновна улеглась в голом виде на кровать. Участковый вышел в коридор и стал звонить в отделение милиции:

– Что делать? Она лежит голая на кровати.

– Тащите ее вместе с кроватью, – услышал он в ответ.

Надежду Емельяновну действительно вытащили в коридор вместе с кроватью. Пришлось встать и расстаться с мечтой.

Многие жители коммуналок в ту пору были одержимы стремлением увеличить свою жилплощадь. У одной маминой подруги была пятиметровая комната. В результате многочисленных обменов неутомимая дама оказалась в готической башне высотой 11 метров, где-то в районе Поварской. «Пока так, а потом, может быть, три этажа сделаю», – говорила она.

Мои другие дедушка и бабушка, Георгий Несторович и Елизавета Петровна Сперанские, жили в отдельной квартире в доме на улице Чкалова. Дед был известный педиатр, академик, лечивший «кремлевских детей». Мое детство прошло на даче Сперанских, в Туристе. После развода с отцом у мамы на всю жизнь сохранились теплые отношения с его родителями. И Елизавета Петровна, и мама были заядлыми курильщицами. Запах табака, пожалуй, стоит на первом месте в списке запахов моего детства. В раннем возрасте я всегда недоумевала, когда кто-то спрашивал у нас в гостях: «Можно закурить?» Дедушка, напротив, возмущался, узнав, что старшие дети Сперанских балуются папиросами. «Гоня, почему ты детям не разрешаешь курить?» – не понимала бабушка. «Кира, выкури папироску, и есть расхочется», – советовала Елизавета Петровна беременной маме, когда невестка пожаловалась ей на чувство голода.

Мама, так же как и Елизавета Петровна, не любила готовить. Правда, у бабушки в доме всегда были помощницы. Мама в лучшем случае могла сварить гречневую кашу в чугунной сковородке. Однажды мне пришлось на неделю оставить ее с моей маленькой дочкой Лизой на даче.

– Как же вы тут будете без меня?

– Как-нибудь проживем. Котлеты я уж, конечно, делать не буду. Я кашу сварю.



Четыре поколения Постниковых-Сперанских: Марина Сергеевна, Кира Петровна, Лиза с дочкой Сашей, 1988

Когда Лиза стала ходить в школу, Кира Петровна освоила два блюда, которые могла предложить внучке после уроков. Первое – два яйца всмятку, хлеб и масло, второе – ряженка, если Лиза отказывалась от еды.

Кира Петровна, несмотря на свои прекрасные внешние данные, была абсолютно равнодушна к модной одежде. В спешке надевала вещи наизнанку, могла выйти на прогулку с собакой – без собаки.

Первую собаку, появившуюся в нашей семье, звали Бьюти. Мне до сих пор греют душу слова моего мужа, сказанные мне пятьдесят лет назад: «Ты у меня самая хорошая, но Бьюти лучше». Потом была Белочка, приблудившаяся на даче, Маша, дворняжка Джек. Кот Киса-Мася прожил у нас девятнадцать лет. Говорят, у котиков девять жизней, и, чувствуя свою смерть, они уходят в никуда. Я мало верила в подобную мистику, пока с нашим котом не случилось нечто подобное. Он просто исчез, как сквозь землю провалился.

Киса-Мася уже был старым и немощным. Не то что на подоконник – на стул уже не мог запрыгнуть. Поэтому все предположения о том, что кот мог выбраться из квартиры в форточку или убежать через неосторожно открытую дверь, совершенно абсурдны. Мы последними покидали нашу коммуналку, и у меня была призрачная надежда найти его шкурку с косточками в пустой квартире. Поиски оказались тщетными. Киса-Мася ушел в никуда.

Кира Петровна любила животных, но зоопарк обходила стороной. Когда-то в молодости она повела группу маленьких детей в зоопарк и не заметила, как один мальчишка сунул голову в клетку с дикими кабанами. Кира Петровна от страха чуть не упала в обморок. Кое-как ей все-таки удалось вытащить голову мальчугана из клетки. Он так и не понял, какая опасность ему угрожала. «А меня свинка в нос поцеловала», – радостно сообщил мальчишка.



Семейное торжество в доме на улице Герцена, 1926

«Большого страха я в своей жизни не испытывала», – признавалась Кира Петровна, всегда сохранявшая самообладание в тяжелых ситуациях. Это качество, вероятно, досталось ей по наследству от ее мамы, Ольги Петровны. 16 октября 1941 года, когда немцы подступали к Москве, она призывала Киру записаться на фронт и защищать родной город от врагов. В старости бабушка обожала читать французские романы. Она уже не помнила имена домочадцев, далекое прошлое принимала за настоящее, но прочитанные романы почти все знала наизусть. И когда Зиночка пыталась по второму разу всучить ей книгу, бабушка возмущенно говорила: «Что вы мне подсываете? Я уже это читала!»

Мама была убеждена, что родители не могут научить своих детей иностранному языку. Поэтому немецким языком я ходила заниматься к маминой знакомой, жившей в Мерзляковском переулке. Мама в свою оче-

редь учила ее внука. От своей преподавательницы (к сожалению, помню только фамилию – Скалон) я узнала, что во время бомбежки голова Тимирязева, памятник которому был открыт в 1923 году у Никитских Ворот, оторвалась от туловища и благополучно влетела в их кухню в Мерзляковском переулке. В книге А. Митрофанова «Прогулки по старой Москве. Большая Никитская» таких сведений о памятнике Тимирязеву нет, хотя и говорится, что во время бомбардировки его опрокинуло взрывной волной, но «спустя буквально несколько часов скульптура вновь заняла свое место на высоком постаменте». Мои друзья не могут поверить в реальность этой истории и разводят руками, представляя траекторию движения головы Тимирязева. Кто сомневается – пусть отнесет этот рассказ к разряду «московских баек».

В нашем доме всегда радушно принимали гостей. Шумно и весело отмечались дни



рождения, по праздникам собирались многочисленные близкие и дальние родственники. Особенно радовали нас шуточные подарки. Непревзойденным мастером этого жанра остается Инна Борисовна Шустова, давний друг нашего дома, жена маминого пасынка Августа. Милый, талантливый человек, она всю жизнь проработала редактором в издательстве «Детская литература». Мы бережно храним ее поэтические экспромты. Вот, к примеру, стихотворение, написанное по случаю дня рождения моего мужа, получившего от Инны в подарок зимнюю кроличью шапку (достать ее в те времена было не просто!):

*Мистер Боря из города Москоу
Что-то начал испытывать тоскоу,
Потому что, ой-ой, он без шапки зимой –
Мистер Боря из города Москоу.*

*Миссис Инна из города Москоу
В день рожденья явилась с поноскоу.*

*И теперь головой не замерзнет зимой
Мистер Боря из города Москоу.*

А вот опус, врученный вместе с подарком в другой раз:

*Будь здоров и счастлив, Боря – Боря, Оря,
Ря,
Чтоб тебе не видеть горя, прощя говоря.
Дарим мы тебе рубаику – баику, аику,
ику.*

*Ешь в ней каику, пей в ней бражку,
В ней ходи в свою гаражку –
Счастлив будь, ку-ку.*

Три года назад мы выехали из нашей коммунальной квартиры. Покидая ее, на прощание я выкопала куст мальвы, росший во дворе дома № 26 по Большой Никитской. Сейчас он цветет под окном нашего загородного дома...



С.В. Максимова

НОВЫЙ КОВЧЕГ

В 1923 году мы с матерью получили небольшую комнату (9 кв. м) в квартире на верхнем этаже шестизэтажного доходного дома, который строился в девятисотых годах для богатых жильцов и соединял приятное положение на тихой улице дворянского квартала с редким для своего времени комфортом. В доме было паровое отопление, в каждой квартире телефон и ванна с газовой колонкой. А газ в двадцатые был в Москве большой редкостью, да и телефоны не так уж часто встречались.

К двадцать третьему году большие барские квартиры превратились в коммунальные, и населил их самый разнообразный люд. Октябрьская революция и Гражданская война встряхнули до основания всю страну, сорвало с мест, закружило и перемешало множество народа, так что под одной крышей собирались иногда люди, которые при старых порядках никак не могли жить в тесном общении и соседстве. Как раз таким маленьким Невым ковчегом оказалась наша квартира. Судите сами.

В комнате напротив входной двери жила с девятилетней дочкой Алиса Генриховна Якобсон – сдобная, бело-розовая петербургская немка с мягкими округлыми чертами лица и плавными движениями, спокойная и малообщительная. Ее отец был владельцем четырех аптек в Петербурге, и она, верная

семейной традиции, работала в аптеке (или в аптекоуправлении? – я в этом не разбиралась). Никто не знал, куда девались ее отец и муж, почему она очутилась в Москве, но она сохранила кое-какие остатки бывшего благосостояния, например каракулевое манто и золотое обручальное кольцо, не проданное в голодные годы военного коммунизма. Еще были у нее сожителю, агент-снабженец из частного предприятия, и домработница Аксю-



ша, женщина лет сорока, в прошлом ткачиха, подавшаяся в прислуги во время голода и разрухи. С помощью занавесок для Аксюши был отгорожен в коридоре закуток рядом с дверью Алисы Генриховны.

За Якобсонами шел «пенал», изначально, конечно, не существовавший, в какой-то момент отрезанный перегородкой от соседней большой комнаты, неудобно узкий и больше похожий на чулан, чем на нормальное жилище. Его занимала Иванова, женотделка с бумагопрядильной фабрики. Увидев ее впервые, я остолбенела – мне навстречу живьем двигалась та самая работница, которая красовалась на всех плакатах, изображавших единение пролетариата с крестьянством, праздничные шествия и тому подобное. В красном платочке, мешковатой куртке из телячьей шкуры, черной юбке и полуботинках без каблуков, с усредненно-русским лицом. Телячьи куртки были настолько широко распространены в те времена среди советских и партийных работников низших рангов, что казались своего рода униформой. Иванова жила в «пенале» одна-одинешенька, но понятие «жила» не очень подходило: до того отсутствовал у нее какой-либо быт, какие-либо житейские проявления. Никто к ней просто так, навестить, не приходил – ни родные, ни знакомые, сама она никогда не выходила в свободные часы поговорить с соседями, хотя бы с той же Аксюшей, бывшей ткачихой, человеком из родственной рабочей сферы. Стола на кухне у нее не было, только на большой дореволюционной плите где-то сбоку сиротливо стояла керосинка, на которую, и то не каждый день, ставился маленький жестяной чайник. Другой посуды, кроме этого чайника да еще граненого стакана, никто у Ивановой не видел. Время от времени в ванной на ночь развешивалась для просушки простенькая кофточка скучного серого цвета.

В общем, ни дома, ни домашней, частной жизни в биографии этой женщины не существовало. Она целиком была проникнута теми идейными установками, согласно которым семья, дети, кухня, домашний уют, внимание к одежде и тем более стремление как-то ее разнообразить и украсить были объявлены мешанством, буржуазными пережитками, недостойными настоящего советского человека. Советский человек должен был всего себя отдавать производственной и общественной работе, не сползая в мешанское болото. Строились даже так называемые дома нового быта, призванные осуществить на практике эти идеи, избавить людей от унизительных пут индивидуальной собственности, пошлого копания в житейских мелочах и помочь освобожденному духу расправить крылья. Дом нового быта представлял собой комплекс – меблированные жилые комнаты, общественная столовая, общественная прачечная, душевые и библиотека. Предполагалось, что обитатели дома завтракают, обедают и ужинают в столовой, белье отдают в прачечную, а в жилых комнатах спят, читают библиотечные книги, занимаются учебной или творческой работой. Подобные дома воплощали государственные идеалы, рассматривались как наглядная агитация за коммунистический образ жизни. В реальности ничего из этого не получилось. Общественные учреждения очень быстро хирели и отмирали, стихийно возникали семьи, и жилые комнаты становились просто неудобной и тесной жилплощадью. Но теоретические воззрения не поколебались. Они существовали сами по себе, широкие круги трудового люда воспринимали их не рассуждая, можно сказать, подсознательно впитывая их атмосферу, и кто как мог претворяли в жизненную практику. Вот и в нашем Ноевом ковчеге мы встретимся с несколь-

кими вариантами пренебрежения обыденными житейскими делами.

Комната, от которой отрезали «пенал», все-таки оставалась очень большой, а хозяевами ее были бывшие владельцы всей этой квартиры, бывшие дворяне, богатые помещики Петр Николаевич и Анна Дмитриевна. К нему слово «бывший» можно применить еще раз – бывший гвардейский гусар. Здесь надо сразу оговориться. В зависимости от того, как у меня, девчонки, складывались отношения с соседями, одних я запомнила просто по именам или именам-отчествам без фамилий, других – только по фамилиям, а сожителя Алисы Генриховны вовсе без всякого наименования. Он был лицом эпизодическим, тихо проскальзывал в ее комнату или ванную, в разговоры ни с кем не вступал и даже старался по возможности не здороваться. Фамилию Анны Дмитриевны и Петра Николаевича я, вероятно, знала, но она мне была ни к чему и быстро улетучилась из памяти. Поэтому дальше для удобства изложения, а рассказывать об этих людях придется много, я буду условно называть их Кареевы. Так вот. Гусарский офицер Кареев воювал на германской войне, где-то между февралем и октябрём 1917 года был ранен и перед самой революцией вернулся из госпиталя в Москву, опираясь на палочку. Его военная карьера на этом закончилась. В Гражданской войне он не участвовал, остался в Москве и жил с женой в своей городской квартире как далекий от политики штатский человек. Все годы военного коммунизма они существовали за счет распродажи своего имущества. У них были семейные портреты и пейзажи кисти знаменитых художников, драгоценные женские украшения, меха, дорогой фарфор и оригинальная коллекция художественных пасхальных яиц, их много лет собирал Петр Николаевич. К великому моему удивлению, оказа-

лось, что пасхальные яйца бывают не только куриные, но и сделанные из цветных камней, слоновой кости, редких сортов дерева, украшенные тонкой резьбой или росписью – словом, маленькие произведения искусства, которые стоят больших денег. Картины и пасхальные яйца продавались в музеи, остальное, видимо, в частные руки, но об этом я ничего не знаю. Когда начался НЭП, супруги Кареевы нашли себе заработок. Анна Дмитриевна получала от какого-то предприимчивого торговца простые глиняные кувшины, даже не обливные, и разрисовывала их эмалевыми красками, придумывая все новые и новые замечательные узоры. Готовые кувшины она отдавала обратно торговцу, и тот платил ей за художество. Петр Николаевич занялся переплетным делом. Заказчики у него были разные, и переплеты он ставил всякие, в том числе кожаные и текстильные – парчовые, бархатные, набивного полотна. До чего же они были красивы! Я таращила глаза и так искренно восхищалась, что Кареевы пригнали дикую девчонку, приглашали к себе в комнату, позволяли все рассматривать и охотно объясняли что к чему, благо разговоры не мешали их работе. А у них были великолепные, большого формата альбомы репродукций Эрмитажа, Лувра и Дрезденской галереи, масса книг, на стенах висели небольшие, преимущественно акварельные пейзажи, казавшиеся мне верхом совершенства. И когда я млела перед этими пейзажами, мне объяснили, что настоящие картины, написанные талантливыми художниками, уже проданы в голодные годы, а это так, мазня, рисунки самой Анны Дмитриевны и некоторых друзей. В богатых дворянских семьях детей обычно обучали рисованию, и каждый мог набросать такую картинку. Из материального имущества этой семьи меня поразило одеяло из меха кенгуру, двойное, мехом на обе сторо-

ны. Наверно, оно очень выручало владельцев в 1919–1920 годах, когда не работало центральное отопление. А мебель у них в комнате была не теперешняя, из другой жизни, на мой взгляд, напоминавшая театральную постановку, скажем, «Дворянского гнезда» или «Вишневого сада».

По той же стороне коридора, но в самом его конце жили советские служащие с положением. Он был крупным чиновником Госбанка, она – сотрудницей Наркоминдела. Вот его я помню только по фамилии –

Урысон, и почти ничего не могу о нем сказать. Высокий сутуловатый мужчина, лысеющий, с бледным лицом и отсутствующим взглядом. Он довольно поздно возвращался с работы, проходил в свою комнату и больше не появлялся, а на кухне сразу начинала хлопотать с обедом их домработница Поля. Жену Урысона звали Евгения Исаковна, и эта очень красивая, элегантная и общительная женщина в семейном дуэте была определяющей фигурой. Не могу сказать, какую должность она занимала в своем наркомате, знаю только, что ей нередко приходилось бывать на дипломатических приемах и сопровождать приезжающих важных иностранцев, иногда даже в дальних поездках. Возможно, что какую-то роль тут играла ее эффектная внешность, но надо заметить, что эта красавица знала в совершенстве пять языков, владела стенографией и машинописью и умела вести коммерческую корреспонденцию. Видимо, ее отец, лодзинский фабрикант, готовил себе из дочери делового помощника и преемника, но...

судьба распорядилась иначе. А деловая хватка была у нее в крови и вне службы проявлялась в рациональном поведении и устройстве домашнего быта. Она почти не применяла косметики, объясняя, что при многолетнем употреблении от нее портится кожа, но, желая сохранить свежесть лица, мыла его миндальными отрубями. Неукоснительно делала по утрам зарядку. Перед тем как идти на дипломатический прием, в течение часа лежала расслабившись в темноте (обязательно в темноте!). Это помогало превратиться из озабоченного чиновника в светскую даму и придавало особую яркость глазам. Она научила Полю готовить разнообразно и вкусно, исключив из меню тяжелые, жирные блюда и, конечно, пироги, блины и прочее в этом роде. В обстановке комнаты не было ничего лишнего, в том числе и книг, но зато была пишущая машинка, вещь необычная в те годы. Мебели немного, но вся подобранная со вкусом, очень современная, а безукоризненно натертый светлый паркет и футуристического рисунка оконные шторы делали жили-



ще Евгении Исаковны нарядным, под стать хозяйке, блиставшей разнообразными модными туалетами. Поля жила в комнатке для прислуги, которая в таких квартирах всегда существовала при кухне.

Комната напротив Урысонов принадлежала молодой супружеской паре, Дане и Розе, инженерам, партийцам, типичным представителям новой советской общественности. Оба работали на заводе, он – в цеху, она – в плановом отделе. Простодушные, немного безалаберные (в основном Роза), они жили, не утруждая себя бытом, беззаботно и дружно, хотя казались совсем разными. Даня, родом из Рязанской области, так и выглядел рязанским деревенским пареньком – бело-волосый, сухощавый, спокойный (невольно хотелось сказать – степенный). Роза была черненькая, вся пухленькая, с очень пышным бюстом, быстрая и громогласная. Происходила она из большой дружной еврейской семьи откуда-то из-под Житомира, в Москву приехала учиться, да так здесь и осталась, увлеченная вихрем комсомольской работы и общественной жизни. Навыки родительской семьи быстро улетучились, и в собственной замужней жизни она никоим образом не сползала в болото домостроительства и домашних хлопот. Спальным местом у них служил накрытый серым солдатским одеялом пружинный матрас, поставленный на невысокие козлы. Кроме этого, в комнате был только стол грубой работы, три табуретки и Данин кульман, на котором он делал чертежи своих рационализаторских приспособлений. О занавесках на окне даже вопрос не возникал. С потолка свешивалась голая лампочка с очень длинным шнуром, поэтому ее можно было по желанию подтянуть к кульману или к «дивану», пристраивая на гвоздях, вбитых в нужных местах. Почти у самых дверей было еще три больших гвоздя, на них вешали не-

многочисленные одежки. Нет, это было не от бедности. Зарабатывали Роза с Даней хорошо, иждивенцев не имели, во время НЭПа можно было купить без труда все что хочешь, просто ими владела та же, что у Ивановой, идеологическая идея безбытности, пренебрежения житейским обиходом. Но здесь она была мягче, не так сурова, не так последовательна. Во-первых, они были хоть маленькой, но дружной семьей и как-то пропускали мимо ушей все устные и письменные отрицания этого устаревшего понятия, клубившиеся вокруг проповеди свободной любви (взять, к примеру, книжку Коллонтай «Любовь пчел трудовых», не говоря уж о другой литературе). Во-вторых, они, конечно, в общем одобряли освобождение женщин от кухни и кастрюлек (тогда это называлось раскрепощением), питались в основном в заводской столовой, но и дома от еды тоже не отказывались. Возвращаясь с работы, Роза приносила хлеб и большой кусок колбасы или ветчины, раскладывала это на бумаге, и они с Даней под чай и разговоры все уминали. Бывало, что яичницу жарили, а то и картошку варили и ели ее с селедкой. Хозяйством это не назовешь, однако были какие-то кастрюльки-сковородки, и столик на кухне тоже понадобился.

Теперь дошла очередь до нас с матерью. Матушка моя в двадцатых годах преподавала ручной труд в железнодорожной школе, где я училась. Школа у нас была богатая, передовая, и каждый школьник мог выбирать по своему вкусу одну из трех трудовых мастерских – столярную, переплетную или швейную. Мать вела швейную. Она очень гордилась своей принадлежностью к учительскому цеху и твердо верила, что советская школа наконец принесет рабочему классу образование, которого он всегда так жаждал и был лишен при царизме. Сама она,





происходя из очень бедной сельской семьи, о школе не могла и мечтать. Элементарной грамоте (читать, писать, четыре действия арифметики) она научилась уже взрослой фабричной работницей в полулегальной воскресной школе, их тогда устраивали для рабочих социал-демократические студенты. Конечно, там не только обучали грамоте, но и пропагандировали революционные идеи, и вовлекали в революционное движение. Для молодой работницы это было откровением, перевернувшим и наполнившим всю ее жизнь. Потом была подпольная работа, активное участие в революции 1905 года, тюрьма, скитания, с трудом залеченная чахотка... Но через все бурные события в стране и собственной жизни она пронесла в неприкосновенности убеждения и понятия, усвоенные в молодости. Например, от пропагандистов того времени пришел набор литературных произведений, своего рода энциклопедия борьбы самых разных угнетенных за свободу, который мать считала необходимым каждому человеку для духовного становления. В него входили: Степняк-Кравчинский «Подпольная Россия», Тан-Богораз «Чукотские рассказы», Войнич «Овод», Джованьоли «Спартак», Гюго «Отверженные», Еж «На рассвете». Из всего списка достаточно известны только «Овод», «Спартак» и «Отверженные». Остальные уже в двадцатые годы помнил, может быть, лишь кто-нибудь из стариков. Для меня эти редкости мать где-то раздобыла, а кроме меня, из молодежи о них никто и не слышал. Литературно слабые, они были написаны с добрыми чувствами, и их персонажи вели себя героически и самоотверженно.

Неизменными остались у матушки также уровень образования и безграничная преданность общественной деятельности. В это время она была активной общественницей Областного дома работников просвещения, пропадая там почти все время, свободное от работы в школе. Обедала в вегетарианской столовой Толстовского общества в Газетном переулке, и меня тоже отправляла в эту столовую. Господи! Все эти морковные и капустные котлеты, шпинаты и прочие прелести вызвали у меня прочную, на всю жизнь, ненависть к вегетарианской еде и вегетарианцам. Дома что-то съедобное у нас, конечно, водилось, но ничего об этом не могу вспомнить. Ясно только, что не колбаса и не ветчина, потому что мы были заметно беднее Дани и Розы. Поскольку мать мало бывала дома, я оказалась практически безнадзорным, дикорастущим подростком, но несколько этим не огорчалась. Скорей радовалась. А вообще, по стилю жизни мы были близки к нашим инженерам, но у матери было маленькое личное отступление от идейного аскетизма — она спала на кровати с



панцирной сеткой и двумя матрасами, волосяным и ватным. Мне всегда казалось, что эту свою единственную роскошь она вымечтала в годы скитальческой нелегальной жизни, когда доводилось ночевать где придется и спать на чем придется.

Несмотря на столь пестрое население, наша квартира в известной степени сохраняла облик нормального односемейного дома – никаких многочисленных звонков на входной двери, никаких индивидуальных электросчетчиков, натянутых в разных местах. Счетчик единственный, коридор с хорошо натертым паркетом не загроможден вещами. Лишь в кухне отчетливо было видно, сколько семей тут обитает, потому что каждой принадлежал свой отдельный столик и своя отдельная посудная полка на стене. Кухня была очень большая. В ней свободно размещались не только пять столиков, но находилась огромная плита, на которой стояли строем примусы и керосинки (газ был только в ванной). Впоследствии эта плита служила сценой, где я и моя подруга Таня устраивали представления. Все, что могло создавать конфликтные ситуации в разношерстном коллективе, было обдумано и организовано так, что никого не задевало и, наоборот, всем было удобно. Уборку помещений общего пользования полагалось делать по очереди, неделю на каждого человека. Но Анна Дмитриевна, заручившись согласием Евгении Исаковны, договорилась с Полей, что она будет убирать за всех, а мы будем ей платить. Поля радовалась возможности подработать, прочих жильцов это вполне устраивало, даже мою матушку, которая не одобряла эксплуатации человека человеком: ей было некогда и ее часто мучила язва желудка. Зато возможные разногласия по поводу качества или способов уборки при таком порядке отпадали. Расчеты за электричество представляли сложную про-

цедуру. Сначала подсчитывалось общее количество свечей во всех лампах общественных и частных помещений (тогда почему-то потребляемая энергия определялась по свечам, а не по ваттам). Потом устанавливалась стоимость одной свечи. Потом вычислялось, сколько нажгли лампы личной принадлежности, – скажем, наши две лампы столько-то рублей-копеек, Данина-Розина голая лампочка – столько-то и т. д. В заключение сумма, приходившаяся на все вместе общественные лампы, делилась по числу людей и добавлялась к индивидуальным расходам. Конечно, всю эту утомительную бухгалтерию взяла на себя Анна Дмитриевна. Каждый раз, окончив расчеты, она разборчиво переписывала их на большой лист бумаги и вывешивала в коридоре около телефона, чтобы каждый мог посмотреть, сколько с него причитается и как получилась такая цифра. По другую сторону телефона висел матерчатый карман, в который опускали деньги, завернув в бумажный пакетик и надписав свою фамилию. На полный сбор отводилось три-четыре дня. И ни разу не пропало ни копейки из безнадзорно болтавшихся в коридорном кармане денег, и никогда не возникали какие-либо недоумения. Было приятно, что никто не ведет разговоров об этих платежах, не стоит над душой, что все делается так хорошо и просто. Лишь много позднее я поняла, насколько умело и тактично решала Анна Дмитриевна коммунальные проблемы, как бы объединяя в своем лице опытного капитана корабля и главу большого разветвленного семейства. Это уж по «семейной» линии она давала мне книги и альбомы репродукций, объясняла, что такое хариты, мельпомена и прочие непонятные слова, на которые я натыкалась в литературе и которые моей матери были так же непонятны, как мне. А с Розой она провела целое воспи-





тательное мероприятие по поводу ее туалетов. Дело в том, что Роза при своем пренебрежении бытом никогда не имела одновременно несколько платьев. Только одно. Купит какое-нибудь понравившееся ей платье, нередко дорогое, и носит, не спуская с плеч до тех пор, пока оно не залоснится от блеска. Тогда заношенная одежда выбрасывалась и покупалась новая. Правда, летом единственное одеяние время от времени стиралось под выходной день, а пока оно сохло, Роза бегала по дому в физкультурных шароварах и майке. Но в осенне-зимнем сезоне было именно так – купила, затаскала, выбросила. Однажды она появилась в модном платье из хорошей шерсти с вышивкой на воротнике и на груди. Поглядев на него, Анна Дмитриевна не выдержала и начала мягко, но настойчиво внушать Розе, что платьев надо иметь два-три, чтобы можно было стирать или отдавать в чистку, что это не буржуазный предрассудок, а гигиена, что, наконец, от несменяемого платья быстро начинает гадко пахнуть. И ведь убедила! Роза поняла, не обиделась и занялась составлением своего гардероба по программе-минимум под руководством Анны Дмитриевны.

Еще одну особенность нашего квартирного бытия представлял пряничный генерал. Регулярно, раз в две недели, у нас появлялся высокий красивый старик с безукоризненной военной выправкой, бывший генерал царской армии. В руках он нес плоский деревянный ящик, по форме совершенно такой, как этюдник художника, но внутри «этюдника» были пряники, медовые и мятные. Генерал торговал пряниками, которые делал то ли сам лично, то ли его генеральша, и этим кормился. Он так же, как Петр Николаевич, не участвовал в Гражданской войне, так же стал штатским человеком, оказался не у дел и в положении «чуждого элемента». Только один переплетал книги, а другой



Света с мамой, 1923

торговал пряниками. Торговал, правда, своеобразно. Не связывался ни с какими нэпманами-кондитерами, упаси боже, не открывал магазинчик, а носил свой товар в «хорошие дома» приличным людям. Видимо, он все-таки считал торговлю унижительным занятием, и посещение хороших домов было тем компромиссом, который он мог вынести. Наша квартира удостоилась его визитов. Конечно, благодаря Кареевым. А пряники были восхитительные!

Спокойная жизнь без конфликтов и потрясений продолжалась до второй половины 1930 года, когда все начало рушиться. Но в моем рассказе тридцатый год еще далеко впереди, а пока все шло своим чередом. Году в двадцать пятом или двадцать шестом заметно улучшилось положение Кареевых.

СВОДНАЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ АФИША

С 28-го сентября по 3-ое октября 1926 г.

ТЕАТРЫ | Вторн. 28 | Среда 29 | Четв. 30 | Пятн. 1 | Суббота 2 | Воск. 3

Гос. театр имени
Вс. Мейерхольда
Триумфальная пл., 20
Начало в 8 ч. веч.

28 ЛЕС 29 и 30 МАНДАТ
1 и 2 РЫЧИ, КИТАЙ!
3 ВЕЛИКОДУШНЫЙ РОГОНОСЕЦ

ТЕАТР РЕВОЛЮЦИИ		ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА		2 КОНЕЦ КРИВОРЫЛЬСКА		3 ОЗЕРО ЛЮЛЬ
Ул. Герцена, т. 4-49-49.						
БОЛЬШОЙ	КАРМЕН	КОРСАР	ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН	ФАУСТ	КНЯЗЬ ИГОРЬ	КОНЕК ГОРБУНОК
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬ- НЫЙ	Чио-Чио-Сан	Царская невеста	РУСАЛКА	Севильский цирюльник	1. Моцарт и Сальери 2. Паяцы	РОМЕО и ДЖУЛЬЕТА
МАЛЫЙ	Собор Париж- ской богوما- тери	АРАКЧЕЕВ- ЩИНА	Иван Козырь	Собор Париж- ской богوما- тери.	ЗАГМУК	Утр. Холопы Веч. Медвежья свадьба
Имени САФОНОВА	Лево руля!	ЗА ОКЕАНОМ	Свадьба Кречинского	АННА КРИСТИ	1. Женитьба Бальзаминова 2. Завтрак у предводителя	ВОЛЧЬИ ДУШИ
МХАТ	ЦАРЬ ФЕДОР	ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ	ГОРЕ ОТ УМА	Николай I	—	Утр. Синяя птица Веч. Продавец славой
МХАТ 2	В 1825 году	Эрик XIV	БЛОХА	12 НОЧЬ	Евграф, искуситель приключений	У. ГИБЕЛЬ НАДЕЖДЫ в. 1825 г.
ГОС. АК. СТУДИЯ имени Евг. ВАХТАНГОВА	ПРИНЦЕССА ТУРАНДОТ	ВИРИНЕЯ	МАРИОН ДЕ-ЛОРИ	Лев Гурыч Синичкин	ВИРИНЕЯ	ПРИНЦЕССА ТУРАНДОТ
Арбат, 26. Тел. 2-46-37.	Нач. в 8 ч. веч. Продажа билетов ежедневно с 10—2 и с 5—9 ч. веч.					
КАМЕРНЫЙ ТЕАТР	АДРИЕННА ЛЕКУВРЕР	КОРОЛЬ АРЛЕКИН	ЖИРОФЛЕ- ЖИРОФЛЯ	КОСМАТАЯ ОБЕЗЬЯНА	КОРОЛЬ АРЛЕКИН	У. Косматая Обезьяна в. Жирофле
Тверск. бул., 23, т. 5-44-18	Касса открыта с 10 утра до 6 веч. Нач. спектакля утр. в 1 ч., веч. в 8 ч.					
ГОСУД. ЕВРЕЙСКИЙ ТЕАТР	ПРЕМЬЕРА 28, 29 сентября 137 ДЕТСКИХ 1 и 2 окт. ДОМОВ 30 сент. и 3 октября X ЗАПОВЕДЬ					
М. Бронная, тел. 1-69-10						
ТЕАТР САТИРЫ	ЕЖЕДНЕВНО НА СЧЕТ ЛЮБВИ					
Б. Гнездиновский Тел. 5-99-99.						
Семперантэ	ЗАБАВА КОРОЛЯ	ЕМЕЛЬКА СТРАШНЫЙ	Гримасы	ЕМЕЛЬКА СТРАШНЫЙ	ГРИМАСЫ	Гримасы
Театр им. МГСПС	ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА 1-го 100 СПЕКТАКЛЕЙ 2-го ОВОД 3-го ШТОРМ					
Каретный р., 3, т. 4-39-34.						

Анна Дмитриевна перестала расписывать кувшины и превратилась в переводчика-договорника при каком-то солидном учреждении, благо знала пять языков, а Петр Николаевич получил место десятника на стройке. В те времена в строительном деле среди работников преобладали практически неграмотные парни, а нужда в грамотных людях была так велика, что его приняли на работу, несмотря на неблагоприятную анкету бывшего помещика и воспитанника Пажеского корпуса. Забегая вперед, скажу, что через два года он уже был бригадиром, через три – прорабом участка, и это положило начало его блестящей инженерно-строительной карьере.

А у меня вспыхнуло долгое и яростное увлечение театром. Вообще-то склонность к театрализации проявлялась и раньше, уже лет в девять, когда мы с подружкой Таней, вырезав из бумаги множество персонажей – индейцев, моряков, благородных барышень и т. д., разыгрывали длинные приключенческие истории, смешивая Луи Буссенара, Жюль Верна и собственные фантазии. Можно себе представить, каково это было, но мы предавались этой игре часами, с великим увлечением. Время шло, эти детские игры забылись, и настоящая театральная лихорадка разгорелась в школьном драмкружке. Сначала я играла мальчишек, потом перешла на роли субреток и характерных старух, выступая одновременно в качестве режиссера и сценариста-инсценизатора. Руководила драмкружком учительница литературы Галина Николаевна, которая режиссурой не занималась, в собственно театральную, постановочную часть работы не вникала, но усиленно внедряла классический репертуар. Поэтому вершиной моих актерских достижений были сваха в «Женитьбе» Гоголя и Лиза в «Горе от ума». Однако театральная страсть перехлестывала за рамки кружка во все стороны. Во-первых, я сделала простень-

кое изобретение и стала ходить по театрам. Изобретение состояло в том, что был найден источник денег, необходимых для приобретения театральных билетов: можно было с умом тратить сорок–пятьдесят копеек, которые мать ежедневно выдавала мне на обед в ненавистной вегетарианской столовой. Купить на 10 коп. хлеба, остальные приберечь, и после двух дней экономии вполне хватало на билет куда-нибудь на балкон или верхний ярус. Вот когда мне пригодилась моя безнадзорная свобода! Я ухитрялась бывать в театре раз десять–двенадцать в месяц, и мать ничего не знала. Она возвращалась из своего Дома работников просвещения поздно, спектакли кончались в 10 часов, все театры были от нас близко, и не позднее половины одиннадцатого я уже мирно спала на своем диванчике (или делала вид, что спала). В школе тоже был полный порядок. Я училась очень хорошо, уроки делала быстро, так что театральный запой на успехах не отражался. И знаете что? Я и сейчас с удовольствием о нем вспоминаю. Ведь мне удалось видеть в двух ролях Станиславского, в четырех – Михаила Чехова, много раз Москвина, в том числе в знаменитом «Царе Федоре». Даже невозможно перечислить всех великолепных актеров, все замечательные спектакли, которые мне довелось посмотреть.

Тут надо на время отвлечься от театральной темы, чтобы рассказать, как были раскрыты мои фокусы со столовой и что вышло из этого разоблачения. Я уже больше года бегала по театрам, и, конечно, в квартире знали, где я пропадаю по вечерам, во всяком случае, знали Анна Дмитриевна и Евгения Исаковна, которым я то и дело проговаривалась. Матери никто не пожаловался. Может быть, считали, что она сама должна заметить, как я отошала, а может быть, действовало негласное правило не вмешиваться в чужую жизнь, поскольку во всех шести ком-

натах люди были разные и всегда жили по-своему. Так или иначе, тут все было тихо. Но два раза в год, на рождественские и пасхальные каникулы (так они тогда назывались), я ездила в Ленинград к любимой бабушке, и, угощая меня пирогами и украинским борщом, она поражалась, как много я ем. Впору бы не девчонке-подростку, а здоровенному грузчику. Бабушка, хотя совсем неграмотная деревенская женщина, была большая умница. Она легко догадалась, что тут что-то неладно, и, ничего напрямую не выспрашивая, сумела меня разговорить и узнать всю правду. Узнав, не ругала, не стыдила, спокойно отпустила домой в Москву, но через неделю после моего возвращения мать получила от нее телеграмму – встречай такого-то числа, поезд №... вагон №... Поднялся страшный переполох. Ведь что-то

ужасное должно было случиться, чтобы бабушка, которой было больше ста лет, пустилась одна в такое путешествие. Оказалось, что она приехала наводить порядок в голове своей передовой дочери. Отругала ее основательно за то, что забросила дочку, не видит, что девчонка живет на хлебе и чае, гоняет в дурацкую столовую, где вместо доброй еды дают траву. «Ты траву ешь, так у тебя брюхо болит, а девчонка растет, ее как следует кормить надо!» Потом принялась устраивать мое благополучие. Обратилась за помощью к соседям, и ей помогли. У Анны Дмитриевны нашлись какие-то знакомые знакомых, которые на нашей улице содержали небольшую домашнюю столовую, рассчитанную на 60–70 посетителей. Типично нэповское мелкое предприятие. Работали там мать и две дочери, очень милые, воспи-

Помещение театра б. КОРШ

Петровка, Петровский пер., 3. Тел. № 1-85-26.

Е Ж Е Д Н Е В Н О

ГАСТРОЛИ ЗАСЛУЖЕННОЙ АРТИСТКИ ГАСТРОЛИ

Е. М. ГРАНОВСКОЙ

при участии засл. арт. В. В. Максимова, С. Н. Надеждина
и полного ансамбля Ленингр. театра „КОМЕДИЯ“

В 1-й раз в Москве

„Хитрая ВДОВУШКА и ее 4 поклонника“

Комедия в 3 действ. 7 карт. К. Гольдони.

Участв. (по алфавиту): Засл. арт. Грановская, Дмитриевская, Угрюмова, Бельский, Ирипархов, Кручинин, Лавредкий, Комиссаров, Засл. арт. Максимов, Надеждин, Пятницкий, Самойлов, Харламов, Слуги, Пьеро, Пьеретты, Маски.

Режиссеры: К. П. Хохлов и С. Н. Надеждин. Музыка В. М. Дешёва. Танцы поставлены арт. балета б. Марининского театра В. М. Вайкопен.

Специальные декорации, костюмы, мебель и бутафория по эскизам худ.

Е. П. Якуниной, в исполнении худ. Ястребцева.

Начало спектаклей в 8 часов.

Касса открыта ежедневно с 11 час. до 9 час. вечера.

танные, то ли из дворян, то ли из образованного купечества, но безусловно знававшие лучшие времена и совсем другую жизнь. Столовались у них свои постоянные клиенты, кормили они хорошо и старались создать уютную семейную атмосферу. Предусмотрительная бабушка не хотела, чтобы деньги попадали мне в руки, поэтому договорились, что за меня будет платить мать два раза в месяц, после зарплаты. Для начала внесли аванс, размер которого, примерно соответствующий двухнедельным расходам среднего едока, определили хозяйки. Вот так, бабушкиными стараниями, я развязалась с Толстовским обществом и приобщилась к свиным отбивным, телячьим шницелям, бифштексам по-гамбургски и прочей обеденной благодати. А денег на театральные билеты не стало. Из Харькова приехал в командировку отец (они с матерью давно разошлись) и подарил мне пятнадцать рублей, а потом, узнав о моем огорчении, стал по почте присылать лично мне пять рублей в месяц на театр. Ничего, шесть билетов можно было выкроить.

В моей театромании было еще одно направление – мы с Таней (той самой Таней) время от времени устраивали в нашей квартире домашние представления. Для этого выбирали какую-нибудь расхожую песенку и иронически-пародийно изображали ее в лицах, придумывая немудреные костюмы. Надо сказать, что во время НЭПа Москву залил поток лимоново-бананных песенок с обязательной экзотической обстановкой и жгучими страстями. Вспомним хотя бы их первые строчки: «Под небом знойной Аргентины», «Был в Батавии маленький дом», «Шумит ночной Марсель», «Из Сан-Франциско в Лиссабон», «Джон Грей», «На острове Таити» и так далее в том же духе. Так и просились они в пародию, и мы с Таней по мере своих сил старались сыграть их посмешней.

Вот, например, одна песенка из нашего репертуара:

*На Бродвее шумном чистил Джек
ботинки,
И блестят у негра лишь белки от глаз.
Он влюблен был в ножку маленькой
блондинки,
Машинистки Полли фирмы «Джон
Дуглас».*

*И в четыре ровно, выйдя из конторы,
Подходила Полли к Джеку каждый день.
Туфельки кокетки долго и упорно
Чистил Джек и ваксил, забывши лень.*

*И казалось Джеку, что в огромном Сити
Было только двое в этот чудный миг.
И от ножек Полли к сердцу Джека нити
Протянул лукаво сам Эрот-шутник.*

*Но однажды вышла не в четыре ровно
Из конторы Полли, а позднее на час.
И походкой ровной к Джеку
хладнокровно
Подойшла мисс Полли с мистером Дуглас.*

*Сжалось сердце Джека, он как уголь
черен,
Но под черной кожей льется море слез.
Как в любви, так в мести, он всегда
упорен,
Не простил коварной он разбитых грез.*

*Отомстил лукавой, ветреной
блондинке,
Что секрет любовный Джека предала,
И Дугласу злобно желтые ботинки
Он почистил ваксой черной, как смола!*

Постановка была несложной. Распределили роли. Таня – мисс Полли, я – черный Джек, мистер Дуглас – Ирка Якобсон, дочь Алисы Генриховны. Собрали с миру по нит-

В КИНО ЗА НЕДЕЛЮ

С 21 по 26 сентября

21, 22 и 23

24, 25 и 26

КОЛОСС Ул. Герцена, 13, телеф. 5-74-12.	ВОЛЖСКИЕ БУНТАРИ	
УРАН Сретенка, 19, телеф. 2-13-74.	ВОЛЖСКИЕ БУНТАРИ	
КАРНАВАЛ Арбат, 39, тел. 3-87 36.	ПЕСНИ ТУНДРЫ Начало сеансов 7.30, 9 и 10.30	ПРЕСТУПЛЕНИЕ МОНИКИ
МОЛОТ (б. Екатерининский) пл. Коммуны, 2.	По проселочным дорогам	Стальные журавли (4 и 5)
ВОЛШЕБНЫЕ ГРЕЗЫ Покровск. вор., 16, телеф. 5-47-02.	Ш У Т 2 и 3 серия	ПРЕСТУПЛЕНИЕ МОНИКИ
ФАНТОМАС Сретенка, 4, телеф. 3-75-11.	Потомки пиратов	Манящие огни
НЕРОН Покровка, 55, телеф. 4-82-93.	Всадник с гор Охота на морских зверей	ПРЕСТУПЛЕНИЕ МОНИКИ
ВЕЛИКИЙ НЕМОЙ Тверской бульв. 33, пр. памят. Пушкину. Телеф. 4-82-97.	Фаворитка Магараджи Начало сеансов 7.30, 9 и 10.30	НОВАЯ ПРОГРАММА
1 РАБОЧИЙ КИНО-ТЕАТР Баррикадная, 21/1, тел. 3-04 30.	Зеленая Мануэла	Потомки пиратов
„КИНО-МЭТ“ Молодой экспериментальный театр Тверская ул. Мамонтовск., 10. Тел. 1-89-87.	21, 22, и 23 По проселочным дорогам 24 и 26 Дочь табора	Выступл. Арт. Киевск. оп. театра Слащов, Удальцов и Гончаров.
ЭРМИТАЖ Каретный ряд, 3, тел. 5-67-56.	ДЕВУШКА ИЗ БАРА	

ке какое-то подобие костюмов. Мне, чтобы стать негром, Евгения Исаковна пожертвовала рванный черный шелковый чулок, и я натянула его на лицо, прорезав дырки для глаз. Тане ее двоюродная сестра великодушно одолжила высокие до колен ботинки на французском каблуке (крик моды!). Ирка так насела на свою мать, что Алиса Генриховна достала у кого-то старый гимназический мундирчик для мистера Дугласа. На кухне, на стене над плитой прикрепили нарисованные на ватмане большие часы со стрелками в положении «четыре ровно». По-

том с плиты сняли примусы, керосинки, посуду, и сцена была готова. Мы с Таней пели по очереди, по одному-два куплета, стараясь передать интонацией, жестами, мимикой свое отношение к сюжету и персонажам. У Ирки была выходная роль без слов. Вот такой у нас был жанр. В тридцатые годы на уровне высокого искусства в жанре пародийного исполнения популярных романсов с огромным успехом выступал Образцов, но, честное слово, мы свои представления придумывали сами и гораздо раньше, чем слышали про Образцова.

Зрители у нас были постоянные – Анна Дмитриевна, Петр Николаевич, Даня, Роза, Евгения Исаковна, Поля и Аксюша. Видимо, чем-то это нравилось, как-то занимало даже искушенных ценителей искусства Кареевых. А Петр Николаевич в результате стал по-другому ко мне относиться. Встречая меня в коридоре, раньше он только снисходительно улыбался с высоты своего роста, а тут начал вступать в разговоры, что-то объяснять, что-то рассказывать. Получилось так, что с Анной Дмитриевной, благожелательной, но с определенным оттенком строгости, я беседовала только о литературе и искусстве, а с более добродушным Петром Николаевичем болтала о чем угодно, не стесняясь, что могу брякнуть какую-нибудь глупость. И вот как-то я пустилась рассуждать перед ним о том, до чего хорошо быть богатым. Не давит работа ради пропитания, вообще никакие материальные заботы не тяготят, ведь это столько можно сделать всего интересного, столько придумать! «Вот тут ты ошибаешься, – ответил Петр Николаевич. – Богатый человек, по-настоящему богатый, как правило, ничего делать не хочет. С самого детства малейшие его желания исполняются сразу и без всяких усилий с его стороны. А что легко получено, то быстро надоедает. Постепенно такой человек привыкает порхать от одной прихоти к другой, уже ни на чем не может долго остановиться, ни к чему не способен стремиться, ничего довести до конца. Поехал, скажем, такой баловень из Москвы в Петербург навестить тетушку и поздравить ее с днем ангела. В поезде ему понравилась какая-то барынька, которая едет в Тверь. Он за ней в Тверь, посылает цветы, пишет нежные записки, ищет знакомства. И вдруг покупает у местного офицера красавицу-кобылу и с головой погружается в подготовку к скачкам. А за неделю до скачек вспоминает про тетушку, продает



СВЕТЛАНА МАКСИМОВА, 1932

кобылу себе в убыток и отправляется в Петербург». Наверно, я слушала Петра Николаевича с обиженным лицом, потому что он сказал: «Не надо смотреть так сердито. Я не насмехаюсь над тобой и не болтаю чепуху. Это чистая правда. Конечно, были исключения. Например, мой старший брат зачем-то стал архитектором, но в обществе его считали чудачком, свихнувшимся, и такие, как он, встречались редко. А я говорю о людях обыкновенных, о большинстве. И знаешь, после революции те из нас, обыкновенных, которые хоть что-нибудь делали систематически, ну, собирали марки или пасхальные яйца, оказались в высшей степени жизнеспособными. Мы не испугались, не сбежали, все остались здесь, сумели пережить самое трудное и опасное время, смогли работать,

зарабатывать и нашли свое место в нынешней жизни. В нашем доме есть еще один бывший коллекционер – он собирал фарфоровые чайники. Живет на первом этаже. Может быть, ты его заметила – такой сухопарый рыжеватый мужчина в очках». Рассказ Петра Николаевича до того меня тогда удивил, до того не соответствовал всем понятиям, с которыми я жила, что я до сих пор помню его во всех деталях. Мы много слышали о тяжелых судьбах бедных людей, о том, как бедность заглушила их способности, ломала характеры, но чтобы богатство делало жизнь бессмысленной? Лишь много лет спустя, добравшись до романов Мамин-Сибиряка, я нашла у него яркие портреты никчемных «наследников», получивших богатство от отцов-дедов и никогда не ударивших палец о палец.

С Петром Николаевичем связано мое активное увлечение лошадьми. Лошади мне нравились всегда, но близко соприкасаться с ними не приходилось, только смотрела со стороны. Сейчас трудно представить себе Москву, в которой очень мало машин и много лошадей, но именно так это выглядело в двадцатые годы. Было множество всяких извозчиков – ломовые (т. е. грузовые), обык-

новенные легковые и лихачи – нарядные, картинные, у которых в запряжке ходили великолепные рысаки, а пролетки легко катились на дутых шинах. Конечно, только нэпманы ездили на лихачах (дорогое удовольствие!), но лошади не становились от этого менее красивыми. Иногда по улицам проезжали кавалеристы, а в праздничных военных парадах участвовали кавалерийские части, на них можно было полюбоваться, когда они шли к Красной площади. На таком фоне разговор запросто мог коснуться лошадей, и как-то Петр Николаевич сказал, что на Поварской есть манеж, где за небольшую плату обучают ездить верхом, и посоветовал сходить туда поинтересоваться. Я помчалась, полная любопытства, и на три года манеж и верховая езда прочно вошли в мою жизнь. Мне открылся целый неведомый мир коней, конников-профессионалов и конников-любителей, конкурсов, скачек, ипподрома. Но поговорить об этом я могла только с Петром Николаевичем – школьным друзьям было неинтересно, а мать считала все это буржуазным «угаром нэпа» и обзывала по-украински «паньски вытребеньки». А бывший гусар понимал и сочувствовал. Под разговоры он даже по-

АЛЬКАЗАР МОСКОВСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ
 Триумфальная пл., д. 1/29. Телеф. 4-19-08 и 2-04-07. Трамвай: 1, 5, 6, 13, 25, Б. Автоб.: 1, 6, 9.

<p>Вторн. 10 мая МАРИЦА Среда 11 и воскресенье 15 мая ЖЕНИХИ Суббота БАЯДЕРКА 14 мая</p>	<p>Четверг 12 мая Прекрасная Елена Пятница 13 мая Принцесса цирка</p>
---	--

Начало в 8¹/₄ час. веч. Билеты продаются в кассе театра с 12-10 час. веч., также во всех справочных Бюро МКХ, Петр. Театр. кассе. После поднят. занавеса в ход в зрительный зал воспрещ.

казал мне свою фотографию в парадной гусарской форме, с кивером и лосинами, и извлек сами лосины из глубины какого-то чемодана или сундука. Несообразная штука, эти лосины: надевали-то их господа офицеры мокрыми, чтобы они облегали ноги как собственная кожа.

Увлечение лошадьми не затмило мою театральную страсть и никак ее не приглушило. Оно просто переплелось с ней, внесло новые краски в повседневную жизнь. Все совмещать, на все находить время и при этом успешно учиться в школе я могла только потому, что нас с шестого класса учили в школе по Дальтон-плану. Дальтон-план рассчитан на развитие самостоятельности учащихся. Обыкновенных уроков, когда все школьники сидят в классе, слушают объяснения учителя, а потом ответы вызванных товарищей, у нас вообще не было. Ребята получали учебники, задания на неделю и должны были сами разобраться в материале и выполнить задание. Закончив работу, представляли ее учителю и, если все было сделано правильно, все что надо усвоено, получали задание на следующую неделю. Если же что-либо оказывалось непонятным, трудным, можно было обратиться за консультацией к учителю. Каждый учитель-предметник весь рабочий день сидел в своей «лаборатории», т. е. в закреплённой за ним классной комнате, и давал объяснения ученикам, которые к

нему приходили. Тем, кому консультация не требовалась, достаточно было посещать школу только для получения и сдачи заданий. На это уходило два-три часа не каждый день. И оттого, что не надо было отсиживать в школе ежедневно по шесть часов, образовалась бездна времени, появилась возможность свободно его распределять и успевать сделать множество дел. Знаю, что не для всех хорош Дальтон-план, а мне нравилось отсутствие принуждения и было все время интересно, в том числе делать школьные уроки, к которым нашлись замечательные дополнения. В Московском университете и Политехническом музее лучшие профессора читали тогда научно-популярные лекции по химии и физике с демонстрацией опытов. Эти лекции, на которые я ходила по собственной инициативе, и были теми дополнениями к школьной программе, углубляли ее, разнообразили и делали действительно интересной. Впрочем, о школьной жизни я заговорила лишь для того, чтобы объяснить, как я ухитрялась справляться со всеми своими увлечениями. Остается добавить еще несколько слов. Начало моих конноспортивных занятий пришлось на 1927 год, когда разворачивалась открытая громкая полемика с Троцким, заполнявшая страницы газет и порождавшая бурные страсти в партийной среде. Некоторый шум возник и в нашей школе. Нелюбимый учитель обществоведе-

ния пытался дать школьникам нужное направление и предостеречь от ереси троцкизма (как будто они что-нибудь понимали в партийной политике), а ребята ему наперекор несли всякую околесицу, лишь бы позлить. О чем конкретно шла речь, я совершенно не помню. Да и неудивительно: я не была





комсомолкой, не занималась общественной работой, все это было от меня далеко. Мою жизнь заполняли без остатка искусство, спорт и наука.

Последний этап моей театральной страсти отмечен забавным эпизодом, в котором неожиданно встретились театр и манеж. Меня одолело желание стать актрисой или лучше режиссером, но я понимала, что успехи в школьном драмкружке и на кухне нашей квартиры еще ничего не говорят о настоящем призвании. Большой театралкой была Евгения Исаковна, она хорошо разбиралась в людях и знала их великое множество. К ней я и направилась со своими хотениями и сомнениями. Она подумала и сказала, что, пожалуй, сможет устроить мне частный урок у кого-нибудь из знакомых ей актеров, кто со знанием дела оценит мои способности. В нашем ковчеге всегда можно было найти отклик и сочувствие! И вот, в страшном волнении, на дрожащих ногах, пошла я домой к Мансуровой. Пришла. Позвонила. Мне открыла дверь красивая рыжая женщина, которую (что за чертовщина!) я, безусловно, знала и, несомненно, где-то встречалась. От удивления я онемела, стояла, хлопая глазами, и вдруг заметила, что она тоже, наморщив брови, внимательно меня рассматривает. Наконец Мансурова (это была она)

произнесла: «Входите. Но откуда я вас знаю? Где я вас видела?» Оказалось — в манеже. Группа актеров-вахтанговцев вздумала за чем-то брать уроки верховой езды в манеже на Поварской. Учить их надо было с самых азов — как подходить к лошади, как разбирать поводья. Настоящим инструкторам было скучно этим заниматься, и они поручали гонять полных неумех кому-нибудь из более или менее продвинутой молодежи. Так и получилось, что два или три первых урока проводила с вахтанговцами я. Ну, вспомнили, посмеялись, у меня кончился мандраж, и занятия пошли спокойно и свободно. Через три недели упражнений, этюдов, бесед Мансурова благословила меня на режиссуру, и я отправилась экзаменоваться в студию Завадского, куда меня приняли. Пылкое желание осуществилось, и, как ни странно, это стало началом конца. Профессия ведь не только род занятий, но и образ жизни. А мне актерский образ жизни категорически был противопоказан. Напряженные и сложные человеческие взаимоотношения, полный отрыв от природы, как будто нет на свете ни гор, ни лесов, ни полей, а только нарисованные декорации... Проучилась я зиму 1920/21 года в студии, а весной, уже в марте, затосковала по просторам, веселым ручьям, запахам только что проклюнувшейся листвы и не-

знакомым дальним краям, которых я, может быть, из-за театра не увижу. Нет уж! Распростившись со студией и театром вообще, я вернулась в школу, которую бросила, думая, что судьба моя определилась и мне теперь нужны не школьные, а театральные науки. Вернулась в школу, засела основательно за книги и к концу учебного года сдала все задания, пропущенные и текущие. Скажем прямо, попотеть пришлось крепко, но никто меня не ругал, не прорабатывал, не выгонял из школы за огромный прогул. На формальности тогда как-то не обращали внимания. А летом я поехала на Мурман, и там было незаходящее солнце, многолетние полярные березки ростом чуть выше щиколотки, и торчащие над ними грибы, и морские звезды, прятавшиеся во время отлива в мелких бочажках на осушке.

В двадцать девятом году НЭП уже кончался (может быть, кончился), и хотя мы этого не знали, но не могли не видеть, что в окружающей жизни происходили изменения. Мне непосредственно были видны, вероятно, самые незначительные из них, но все же... Прекратила свое существование уютная домашняя столовая, куда меня устроила бабушка и где я несколько лет ела такие вкусные обеды. Не было в этом году радостной толкотни вербного базара, заливавшего весной разноголосым шумом Театральный проезд. Исчезли лихачи. Исчез великолепный нэпманский магазин у Никитских Ворот. В нашей квартире тоже были перемены. Куда-то подевался сожитель Алисы Генриховны, уехали Евгения Исаковна и ее банковский муж, а Поля осталась в своей комнатухе, решив устраиваться на производстве. В комнате Урысонов поселились супруги Новосад, белорусы, вернувшиеся из Соединенных Штатов. Когда-то, в девятисотых годах, молодым парнем отправился Новосад вместе с односельчанами из своей бедной

деревни на заработки в Америку и прожил там пятнадцать лет. Узнав, что в России произошла революция, он и его друг Березка собирались домой. Но от их родной деревни, по которой дважды прокатился фронт в германскую войну, практически ничего не осталось, а людей, кого не убили, разметало по белому свету. Так что подались осиротевшие «американцы» в город и в конце концов оказались в Москве. Новосад был спокойным, солидным мужчиной лет сорока, не то чтобы толстым, но плотным, работавшим комендантом какого-то правительственного здания, а костлявая Новосадиха нигде не работала. Поначалу она очень недоверчиво отнеслась к нашим порядкам, особенно к опусканию денег за коммунальные услуги в безнадзорно висящий в коридоре тряпчатый карман, но постепенно, убедившись, что в этом нет никакого подвоха, притерпелась и как-то вписалась в общий образ жизни, хотя и держалась на отшибе. «Сам» в домашние дела не вмешивался, жили они тихо, и тишина эта нарушалась только тогда, когда приходил маленький юркий Березка, который начинал громко ораторствовать уже в коридоре.

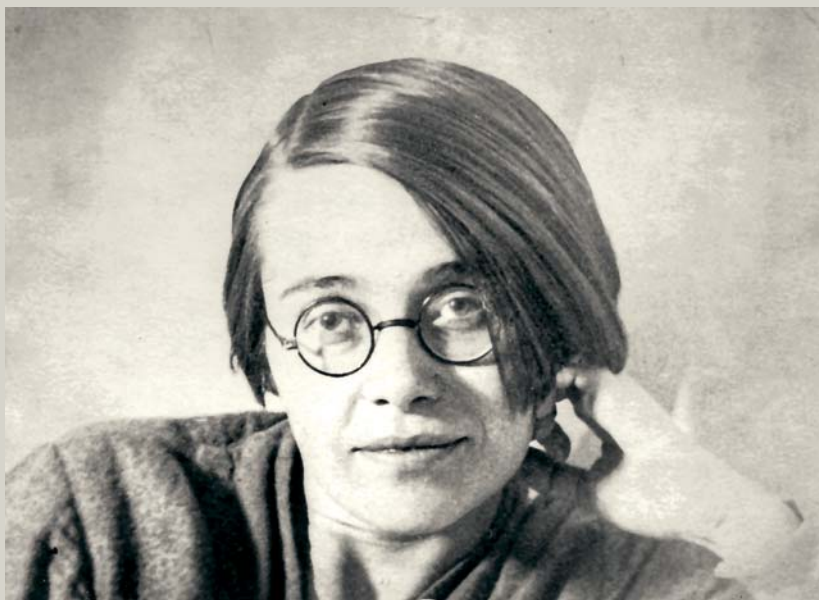
С отъездом Евгении Исаковны наша квартира потускнела, но мирный спокойный быт все-таки сохранялся, а к крушению его невольно привела тихая Иванова. В 1930 году я поступила в институт и мало бывала дома, а там тем временем разворачивалась тихая сенсация – обнаружилось, что Иванова, около которой никто никогда не видел даже тени мужчины, беременна и собирается рожать. Она, как обычно, о своих делах ни с кем не говорила, но Поля и Аксюша наблюдали за ней со все возрастающим беспокойством. Собирается женщина ребенком обзавестись, а живет как жила – толком не ест, не пьет, никаких приготовлений для младенца не делает. Иванова так и в роддом пошла –

без малейшего узелка. А где пеленки и одеяльце? Все разъяснил очень сердитый, возмущенный звонок из роддома. Что же это такое? Через два дня женщину выписывают, а у нее совершенно не во что ребеночка завернуть. Думает с себя снять сорочку и в нее завертывать, а ведь на дворе октябрь, на улице холод, ветер. Поезжайте к ней на фабрику, пусть профком кого-нибудь пришлет с вещами. Какой профком? Поля и Аксюша объявили всеобщую мобилизацию в квартире. Собрали деньги на одеяльце, и Поля полетела в магазин. Новосадиха взялась спать распашонки из каких-то своих мягких тряпочек. Мать, Анна Дмитриевна и Алиса Генриховна пожертвовали старые простыни, из которых Аксюша смастерила пеленки, подгузники и платочек на голову. Словом, когда Поля пошла встречать Иванову, она несла с собой полную экипировку для новорожденной девчоночки. И ведь что удивительно – такое крошечное, бессмысленное существо совершенно изменило Иванову, этот образец, можно сказать, эталон нового человека, не отягощенного собственностью и бытовыми заботами. Она сияла, буквально вся излучала сияние. На ее губах дрожала смущен-

но-радостная улыбка, в глазах зажегся интерес к ранее презируемому «мещанскому» окружению. Она стала разговаривать с соседками, и о чем? О том, какие вещи надо купить для ребенка, да как его купать, да почему он плачет. Древний материнский инстинкт опрокинул все ее убеждения, все понятия о настоящем советском человеке и обывательском болоте. В какой-то момент все-таки появились работницы с ее фабрики, ахнули, заглянув в «пенал», и, может быть, именно их неодобрение привело к тому, что Иванова получила от производства, как заслуженная активистка, жилплощадь получше, и в декабре уехала от нас, сердечно со всеми простившись.

В «пенал» могли поселить только одинокого человека, и наша квартира не без опасений ожидала нового жильца. К сожалению, опасались не зря. Появился здоровенный парень, неряшливый, со спутанными волосами и отчетливым запахом водочного перегара. И начались неприятности. Сначала пропали деньги, которые Роза и Кареевы уже успели положить в тот самый карман около телефона. Пришлось отменить привычный способ сбора платежей и уговорить

Новосадику взять на себя обязанности сборщика. Убыток, сам по себе небольшой, оставил неприятный след – неясную тревогу и настороженность. Новый жилец стал чем-то вроде неразорвавшейся мины. Когда он, пошатываясь, набывшись, шел по коридору (а вполне трезвым он не бывал никогда), все, кого он случайно встречал по пути, спешили скрыться в своей комнате и плотно закрыть дверь. Хуже всех было Аксю-



Светлана Максимова, 1936

ше: занавески не могли защитить ее уголок. Бедная женщина дрожала от страха и наконец уволилась и уехала. Кажется, устроилась на фабрику. Вскоре мина взорвалась – исчезло каракулевое манто Алисы Генриховны и мое дешевое зимнее пальто, которое я в конце минувшего лета украсила дешевым воротником из меха шакала, похожего на лисий. Я очень гордилась этим пышным воротником и своей хозяйственностью, но, вероятно, именно он соблазнил вора, не разбавившегося в мехах. По многолетней привычке верхнюю одежду все вешали в коридоре около своих дверей, в том числе Алиса Генриховна. И вдруг кража, и не ночью, а часов в шесть или семь вечера, когда люди уже вернулись с работы и никуда не уходили. Обнаружила это я, собираясь вечером пойти к своей Тане, и вот... Дал мне Даня свой ватник, и отправились мы с Алисой Генриховной в милицию. Рассказали, как было дело, а на вопрос, не подозреваем ли кого, ответили, что подозреваем нового жильца, поскольку до его вселения у нас ни копейки не пропало, к тому же он все время пьет. Да чужой и не полезет в квартиру, когда в ней полно народу. Составили протокол, и с тем мы вернулись домой. Через три дня наш пьяница, выскочив с ревом из «пенала», бросился с кулаками к Алисе Генриховне, шедшей из кухни. Она в ужасе юркнула в уборную и заперлась. Лишь после того, как он, подубасив в дверь кулаками и ногами, снял осаду, перепуганная Алиса на цыпочках пробралась в свою комнату. Потом было нападение на меня, но тут вблизи оказался Петр Николаевич. Он мгновенно схватил хулигана за руки, сделал какое-то непонятное движение и отвел того,

как кроткую овечку, в «пенал». Кульминация наступила, когда Семен (так звали пьяницу), сорвав с петель дверь, ворвался в ванную, где мылась моя матушка. Голая, намыленная и совершенно беспомощная, она завопила диким голосом, присела, защищая голову тазом, и потеряла сознание. Он успел ударить ее только один раз. С револьвером в руке (как потом выяснилось, незаряженным) примчался Даня, выкрикивая: «Руки вверх! Пристрелю, сволочь!» Семен тут же затих и убрался в свою нору, мать принесли в комнату, уложили в постель и вызвали врача.

В какие только инстанции мы ни жаловались, коллективно и индивидуально, ничего не помогало. Семен-то раньше служил в милиции, и, хотя его выгнали за пьянство, там у него остались кое-какие дружки, они рассказали ему о наших подозрениях и горой стояли за своего пролетарского парня против паршивой буржуазии (это мы и все остальные обитатели квартиры шли под бирку паршивой буржуазии). Так тянулось два-три месяца. Жизнь делалась безвыходной, невыносимой. Наконец матушка, доведенная до отчаяния, пошла с просьбой о помощи к бывшему товарищу по подпольной работе, ставшему очень большим начальником. Не знаю, как она добилась свидания с ним и каков был разговор, но через несколько дней после их встречи Семен навсегда исчез с нашего горизонта, и в «пенал» больше никого не поселили, однако прежний быт не возродился. Ноев ковчег ушел в прошлое вместе с НЭПом. Был уже 1931 год. Изменился не только наш маленький мирок, но и вся окружающая жизнь стала жестче и намного трудней.



СМОТРИТЕ НОВЫЙ
ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ ФИЛЬМ
по роману ЖЮЛЬ ВЕРНА

ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ

Авторы сценария: Б. ШЕЛОНЦЕВ и М. КАЛИНИН.
Режиссер — Э. ПЕНЦЛИН.
2-й режиссер — Б. ШЕЛОНЦЕВ.
Оператор — М. БЕЛЬСКИЙ.
Композитор — Н. БОГОСЛОВСКИЙ.
Автор песен — Е. ДОЛМАТОВСКИЙ.

В ГЛАВНЫХ РОЛЯХ:

арт. А. Краснопольский, П. Киян-
ский, А. Андриенно, И. Козлов,
Ю. Грамматикати, Р. Росс.

ПРОИЗВОДСТВО ОДЕССКОЙ КИНОСТУДИИ.

Выпуск „ГЛАВКИНОПРОКАТ“.

ВНИМАНИЮ ТОРГУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ



ФАБРИКА
„МОСХИМОБЪЕДИНЕНИЕ“
ВЫПУСКАЕТ

для кожи лица и рук

КРЕМЫ

„МЕТАМОРФОЗА“, „ЧИСТОТЕЛ“, „ЮНО“, „БЕРЕЗОВЫЙ“,
„КОЛЬДКРЕМ“, „ЛАОЛИНОВЫЙ“, „УГРИН“

ЖИДКИЕ СРЕДСТВА:

„ЛОСЬОН-ЮНО“ (для питания
кожи),

„ЛАОЛИНОВОЕ МОЛОКО“ (для
питания кожи),

„УГРИН“ (против прыщей и угрей),

„ИХТОХИН“ (против перхоти и вы-
падения волос)

И ДРУГИЕ КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

ТРЕБУЙТЕ ВО ВСЕХ АПТЕКАХ и МАГАЗИНАХ САНГИГИЕНЫ

ОПТОВЫЕ ЗАКАЗЫ и ЗАЯВКИ НАПРАВЛЯТЬ ПО АДРЕСУ:
Москва, 133, Калужская застава, „МОСХИМОБЪЕДИНЕНИЕ“.

МОСКОВСКИЙ
ИНСТИТУТ

СОВЕТСКОЙ
КООПЕРАТИВНОЙ
ТОРГОВЛИ

ЦЕНТРОСОЮЗА СССР и РСФСР
ОБЪЯВЛЯЕТ

НАБОР СТУДЕНТОВ на 1-й курс
1941—1942 учебного года
на следующие факультеты:

Торгово-экономический — готовящий
экономистов советской торго-
вли высшей квалификации,
Учетно-экономический — готовящий
бухгалтеров-экономистов выс-
шей квалификации,
Товароведный — готовящий товарове-
дов высшей квалификации по
продовольственным и промыс-
ленным товарам.

СРОК ОБУЧЕНИЯ — 4 года.

При Институте имеются ВЕЧЕРНЕЕ
и ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЯ, которые
готовят специалистов высшей квали-
фикации без отрыва от производства
по специальностям:
а) экономистов советской тор-
говли,
б) экономистов по учету.
Условия поступления на вечернее и
заочное отделения те же, что и в
Институт.

Принятые в Институт
обеспечиваются общежитием.

С 1 июля по 1 августа при Инсти-
туте организуются курсы-консульта-
ции для поступающих.

ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ производится ЕЖЕДНЕВНО.

АДРЕС ИНСТИТУТА: Москва, 57,
Волоколамское шоссе, 21/25, Москов-
ский институт советской кооперати-
вной торговли. Телефон Д 3-05-60,
доб. 3-43.

МОСКОВСКОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ
„РОССКУЛЬТТОРГА“



В МАГАЗИНАХ МОСКУЛЬТТОРГА

ИМЕЕТСЯ БОЛЬШОЙ
ВЫБОР КУЛЬТТОВАРОВ

СПОРТТОВАРЫ

Мячи футбольные и волейбольные, сетки, гамачи,
шахматы, шашки, домино, трикотажные спортив-
ные изделия, спортивную и другие спортивные
принадлежности.

МУЗЫКА

Разнообразный ассортимент грампластинок, грам-
мофонные иглолки, скрипки, гитары, балалайки,
гармоники, баяны и другие музыкальные товары.

ИГРУШКИ

Куклы, звери, настольные игры, детские велоси-
педы и другие виды игрушек.

ФОТО-РАДИО

Пластины всех размеров, химикалии и другие фо-
топринадлежности, репродукторы „Рекорд“, ком-
натные антенны и другие радиопринадлежности.

ШКОЛЬНО-ПИСЬМЕННЫЕ и КАНЦТОВАРЫ

Школьные портфели, краски, ученические запис-
ные книжки, блокноты, авторучки и разнообраз-
ный ассортимент канцелярских и писчебумажных
принадлежностей.

ПОРТРЕТЫ, КАРТИНЫ, ЗНАМЕНА и ЗНАКИ РАЗЛИЧИЯ

Портреты разнообразных размеров, художествен-
ные картины, окантовки, знамена художественной
работы, приклад к ним, пионерские галстуки и
знаки различия.

КУПЛЕННЫЕ ТОВАРЫ ДОСТАВЛЯЮТСЯ НА ДОМ БЕСПЛАТНО.
МАГАЗИНЫ ПРИНИМАЮТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАКАЗЫ
НА ТОВАРЫ, ИМЕЮЩИЕСЯ В ПРОДАЖЕ.

МОСКОВСКИЙ
ГОРНЫЙ ИНСТИТУТ

имени И. В. СТАЛИНА

ГОТОВИТ:

горных инженеров по разработке
угольных и рудных месторож-
дений, горных инженеров —
маркшейдеров, шахтостроителей,
электромехаников, гидромехани-
заторов, обогатителей, машино-
строителей.

СРОК ОБУЧЕНИЯ — 5 лет.

Прием заявлений с 15 апреля до
1 августа 1941 года.

Экзамены с 1 по 20 августа 1941 года.

На 2-й и старшие курсы произво-
дится дополнительный прием.

ИНОГРОДНИЕ ОБЕСПЕЧИВАЮТСЯ ОБЩЕЖИТИЕМ.

Стипендия студентов горных инсти-
тутов на 25% выше стипендии дру-
гих вузов.

Адрес: Москва, Б. Калужская, 6,
Горный институт имени И. В.
Сталина. Телефон В 1-32-20.

ПО ВОПРОСАМ
ОБЪЯВЛЕНИЙ

В ЖУРНАЛ

„ОГОНЕК“

ОБРАЩАТЬСЯ

В МОСКВЕ по тел. Д 3-30-12

В ЛЕНИНГРАДЕ по тел. 1-92-45



Н.М. Грейдинг

НАЧАЛО ВЕКА В РОСТОВЕ ВЕЛИКОМ

Я родилась в Троицын день, 2 июня 1905 года, на Покровской улице Ростова Великого в доме фотографа Михаила Аверкиевича Орлова и Зинаиды Николаевны, урожденной Щаповой (1875–1959). Отец у меня ростовский, но учился в Москве и, видимо, очень гордился этим, поэтому по его рассказам получалось, что он вообще москвич. У него в столице действительно были родственники: две двоюродные сестры-швеи где-то на Мещанской. Его отец – краснодеревщик Аверкий Петрович (17.VII.1844 – 28.VII.1904) снимал одно время квартиру в доме купцов Щаповых. Как рассказывал Михаил Аверкиевич, мои дед и бабушка Прасковья Трофимовна были из крепостных графов Шереметевых, определенного благосостояния добились сами. Деда я помню только на фотоснимке: лежит в гробу, совсем молодым с черной окладистой бородой, почему-то эта чернота пугала в детстве. Фотография была открыта на его имя, но если он и занимался ею, то недолго, и скоро дело перешло к его единственному сыну Михаилу, который с самого начала один занимался съемкой, рано стал владельцем фотографии и рано, в 19 лет, женился.

Тогда же он купил дом, в котором я и родилась, именно купил, а не получил в качестве приданого невесты, хотя и вложил в по-



Михаил Аверкиевич Орлов, 1904

купку 5000 рублей приданого. Только недавно я узнала, что дом принадлежал раньше Щаповым, но это, наверное, другие Щаповы, не родители Зинаиды Николаевны.

Пять тысяч рублей, конечно, большие деньги были, но маме их не хватило для счастья: она любила какого-то офицера, дворянина, и тот не прочь был жениться, да вот приданое показалось маленьким. Вот тогда мама, которой было 22, а по другой легенде – 24, и согласилась выйти замуж за отчаянно влюбленного в нее Михаила Аверкиевича, девятнадцатилетнего «мальчишку», да еще мещанина.

За домом во дворе был устроен павильон со стеклянной стеной, в котором поначалу и организовали фотографию, за ним были баня и сад с колодцем, куда вела аллея из яблонь, сирени, жасмина, шиповника. Были в саду и крыжовник, и вишни, и смородина. Огорода не было, если не считать двух грядок, где росли бобы, сладкий горох, немного огурцов, морковки и зеленого лука. Своих яблок было полно, но нам, детям, всегда хотелось попробовать и других. В заборе, который отделял нас от Жуковых, отходила одна доска, вот она-то и помогала нам пользоваться чужим садом. Зато соседу Сереже Жукову, сыну парикмахера, интересно было зацепить приспособленным на палку крючком прямо с крыши сарая нашу «бель» – белый налив.

Через несколько лет к дому был пристроен светлый павильон, где потолок и выходящая в палисадник стена были стеклянными. В павильоне проходили съемки, хранилась мебель, бутафория для этих съемок (скажем, половина лодки, деревенский плетень, «каменный» мостик, живописные пни, скалы или огромное яйцо из папье-маше, в котором фотографировали детей). Главное, там хранились и при необходимости выдвигались огромные «фоны» – задники, на них были изображены роскошные интерьеры, летние и зимние, ночные и дневные пейзажи, палуба корабля, озера... Никаких задников с дырками для голов в нашей фотографии не было, они позже в моду вошли. Костюмов экзотических тоже не держали, а вот привести себя в порядок – причесаться и даже завиться перед большим трюмо, нагреть щипцы на лампе, можно было. Вход в павильон был из палисадника и прямо из дома. На полу от холода спасал большой зеленый ковер с геометрическим рисунком машинной работы, который потом лежал в моей московской ком-

нате, позже вернулся в Ростов, опять был привезен в Москву после войны, тут ему и пришел конец.

Парадный вход в дом находился со стороны павильона, за дверью с колокольчиком – прихожая, из нее вели три двери: в павильон, детскую, лабораторию из двух темных комнаток, которые отец выкроил из коридора, и в зал. Тут же стояла вешалка для клиентов.

Зал принадлежал не столько семье, сколько фотографии. Большое трюмо в простенке окон на улицу, у дверей – письменный стол с двумя тумбочками, там лежали книги с квитанциями и конверты для фотографий. Десяток венских стульев, мольберт с каким-то портретом, две багетные рамы с образцами фотографий.

Мама цветов на окнах не любила. Из растений только фикус стоял одно время на полу. Изогнутая дугой печь топилась с другой стороны, из папиной «темненькой». В Рождество часто раздавались звонки, и у нас говорили: «Опять славильщики пришли!» Они проходили в зал, славили Христа, причем каждый получал за это монеты, и уходили. Это не считалось зазорным, многие молодые люди и даже пожилые, но бедные занимались этим. К нам ходили, потому что мы считались не богатыми, но зажиточными. Назову уж сразу переставшую быть секретной цифру: отец к революции заработал упорным трудом пятьдесят тысяч. Держал их в казначействе, часть в ценных бумагах. В семнадцатом году построил для подраставших сыновей еще один дом, деревянный, в конце Покровской улицы, но тут начались экспроприации, и отец даже не предъявил своих прав на этот дом. Надо сказать, что семья с радостью встретила Февральскую и с большими, вскоре оправдавшимися опасениями – Октябрьскую революцию.



М.А. Орлов с женой Зинаидой Николаевной и детьми, 1913

Детская выходила окнами во двор. Самыми интересными для детей были яркие лубочные обои с веселыми сценками: русская пляска под гармошку, деревенские гулянья с бабами, мужиками, одноэтажный бревенчатый дом с надписью «Трактиръ».

Из-за этого трактира наша мама терпеть не могла обои. Железные кровати с сетками всегда накрывались чехлами. Печь в детской была изразцовой с лежанкой, на лежанке было даже изразцовое изголовье.

Кухня помещалась тоже в угловой комнате окнами во двор. Почти половину ее занимала русская печь с приступками, по которым зимой все дети залезали на нее, громадную. С печи можно было перебраться на

широкие полаты (выше двери, отделявшей кухню от коридора стены), на них обычно спала прислуга или знакомые крестьяне из ближайших деревень: то Василий Захарович из Соловьева, то моя няня, бедная вдова, жившая с дочерью в Анцифрове (помню, все ходили к ней с мамой и ее сестрой Марией, носили гостинцы), то бесчисленные гости из села Поклоны, где тетя Маня была учительницей, и поэтому все ее ученики считали нас родственниками.

У Василия Захаровича было крепкое крестьянское хозяйство, дебелая жена, две дочери, моя ровесница Лиза и одна еще поменьше, два сына, старший из них, Василий, был уже женат.

В Соловьеве и мы часто бывали в гостях, там мне запомнилась хорошо обстав-

ленная летница, сад, рига, ток, где молотили цепями рожь. Эта семья и после революции жила хорошо, соседи косились на них, называли кулаками, хотя все добро они нажили своим трудом, натруженными ладонями. От раскулачивания их спасло только то, что младший сын Алексей стал видным партийным работником в Ярославле.

Продолжу про кухню.

За печью в углу был низкий шкафчик, а над ним — сделанный, наверное, дедом дубовый посудник, в котором стояли и висели половники, миски, терки, ложки, кубышка с солью. От кухонного стола до конца стены стояла простая крашеная лавка, а на ней — деревянная квашня для ржаного теста, для

пшеничного была другая – глиняная. Под лавкой были корчаги, в них кипятили с золой белье. Золу для этой цели просеивали, в печь тяжеленные из серой глины корчаги ставили особыми ухватами, под которые подкладывали катки. Остывшее белье потом на коромыслах носили в корзинах на озеро полоскать, а зимой – возили на санках.

Хлеб пекли дома, это дешевле было. Дня через два-три мама пекла по пять ковриг, по воскресеньям и праздникам обязательно были пироги с морковью и яйцом, капустой, вареньем, а летом – с черникой и гонобобе-лем. Пока печь не закрывалась, на углях пекли лепешки и преснецы с творогом или черникой.

У сплошной стены напротив приступок стоял белый деревянный ларь для муки с двумя отделениями – для ржаной и пшеничной (мы покупали лучшую, «вторую голубую»).

Над входом в комнату, которая была в те времена столовой, висела полка, где хранились чай в цибиках и железных коробках, молотый кофе в сереньких мешочках, там же стояла и кофейная мельница, только в ней мололи не кофе, а миндаль для миндального молока (в пост даже чая нельзя было пить с коровьим молоком).

У двери – умывальник.

У входа из коридора на кухню, перед печью, был подпол, где хранились кадки с квашеной капустой – одна с шинкованной (ножом, узкими полосками), а другая – с рубленой (таянками, прямо в чане). Были там и бочки с огурцами, а иногда и с мочеными яблоками.

Припасы на лето хранили во дворе в погребе, куда зимой привозили нарубленный на озере лед, который не таял до июля.

Продолжу в памяти прогулку по дому.

Из кухни можно было пройти в повседневную столовую. У единственного окна

там стоял большой кожаный диван с гладкой полированной спинкой, может быть, дедушкиной работы, перед диваном – длинный узкий стол, почему-то слишком низкий. Небольшой буфет из хорошего, какого-то тусклого дерева, отделанный деревом блестящим, был точно дедушкиной работы. В нем в верхней части хранилась посуда, которой пользовались постоянно, а в нижней стояли оплетенные бутылки с подсолнечным и льняным маслом, уксус, хлеб. Буфет увенчивался посередине резной дугой, ее очертания повторяла инкрустация блестящим красным деревом.

Из столовой двери вели на кухню, в детскую и темный коридорчик с вешалкой, на которой висели мамины плюшевые жакеты, меховой палантин и другие хорошие вещи. В грозу там прятался младший братишка Коля, страшно боявшийся грома.

В соседней с залом комнате была спальня (метров двенадцать, с одним окном).

Когда отец был на фронте, мама переселилась в другую комнату, а поскольку фотография работала, в этой комнате и в зале занимались ретушью. Вместо отца работал Павел Петрович – очень добрый человек, его фамилии, к сожалению, не помню. Иногда столько народа стояло в очереди на съемку, что все не помещались в зале и ждали даже в детской.

Следующая комната за спальней – парадная столовая. Назначение этой комнаты часто менялось. Но по праздникам именно сюда приходили поздравлять знакомые мужчины, священники, всех приглашали за стол выпить водки, закусить окороком, колбасой, икрой, заливными. В Пасху, конечно, – куличи. Женщины поздравлять не ходили. Вот только вдова маминого брата тетя Дуня с дочерью и сыном приходила, за стол не садились, а отец всегда давал им денег, как сиротам.



М.А. Орлов с женой в кругу друзей, 1910

Угловая у ворот комната принадлежала бабушке Прасковье Трофимовне.

Все четыре комнаты по фасаду образовывали анфиладу, очень было красиво, когда открывали все высокие двустворчатые двери с медными ручками. Но после смерти деда бабушка отделилась, большая дверь почти всегда была закрыта, а в ее комнату пробили дверь из коридора.

У нее кроме широкой кровати, на которой и я любила лежать, спасаясь от домашних неприятностей, стояли сделанные дедушкой ширма и комод, а на нем – большая фотография царской семьи. Пожитки хранились в большом сундуке, там устраивались спать ее гости: кума, еще кто-то. В углу – икона, конечно. Бабушка имела деньги, могла бы жить спокойно, но она не могла сидеть без дела. Держала корову, поросят. Потом,

в Гражданскую войну, когда исчезла из продажи новая одежда, она взялась за перешивку старой и продажу ее на базаре. Отцу и матери это очень не нравилось: «Ну что ты таскаешься туда с санками, нас только позоришь!» Я так любила бабушку, что не могла простить Богу ее смерти. Так и стала неверующей в четырнадцать лет.

Про сундуки в доме нужно сказать отдельно. Их было несколько. В одном, большом, хранилась разная одежда, а в семнадцатом году отец стал вдруг закупать разные меха и складывал их туда, помню, были там меха хорьковые, очень красивые козьи.

Самый красивый сундук – конечно, мамин, украшенный резным металлом снаружи. Но главное было внутри: пахучее светлое палисандровое дерево с отделениями и ящичками. Лежала в нем часть ее приданого,

все больше вышитые ею подзоры, накомодники, полотенца. Несколько полотенец до сих пор у меня в обиходе, хотя им уже сто лет. Один сундук, стоявший в кладовке на чердаке, почти никогда не открывался, хотя в нем хранилась замечательная парадная посуда: фаянсовые и фарфоровые блюда, пепельницы, подсвечники, все почему-то разрозненные. Из одного сундука, который, правда, появился у мамы позже, если поднять крышку, звучала музыка.

Мезонин сначала у нас снимали две богатые старушки, помню, у них меня поразили большие пасхальные яйца, из которых, если их открыть, выползали какие-то змеи. Потом, когда обе померли, в войну, чаще всего там жили офицеры с денщиками. Помню симпатичного хохла Кирничко, ухаживавшего за мамой и учившего ее делать вареники. Последним был поляк Янович, офицер в высоком чине, который после революции куда-то сбежал, оставив у нас в старом павильоне кучу противогазов и амуниции, а в чулане – все свое оружие, включая несколько винтовок. Заявить об этом побоялись, поэтому маме с братом Валею пришлось ночами топить винтовки в озере, однажды из-за них чуть не утонули.

Жили мы ни в чем особенно не нуждаясь, хотя и очень просто. Обновы шили только к праздникам – к Покрову и на Рождество. Мои братья имели и обувь, и приличную одежду, но предпочитали бегать босиком. «Где ребята?» – «Да на Подозерку к лодочникам убежали». Конфеты были редкостью. Чаще всего нам доставались длинные палочки леденцов, а самым заманчивым было сбегать на Каменный мост к Туманихе с трехкопеечной монетой и купить на нее «маковку» или большую зеленую леденцовую луковичу, расписанную белыми полосками. А еще веселее, если прямо у дома появлялся с те-



Наташа Орлова в четыре года, 1909

лежкой на высоких колесах человек, который громко выкликал: «Мороженое!» Шесть копеек – и порция в вафлях в твоих руках. Очень нравились нам весенние ярмарки, их устраивали вокруг Кремля, но нам далеко ходить не надо было: Каменный мост рядом, а на нем и рядом с ним – и сладости, и деревянные игрушки, и даже карусели.

В городском саду появился тогда кинематограф, но семьей на фильмы мы не ходили никогда, только дети заглядывали на этот аттракцион. Мама и сам сад не жаловала, бывала там с отцом только в ресторане, который располагался в сером здании в глубине, слева от входа, а мы только подбегали иногда к их компании, чтобы отведать необыкновенно вкусных пирожков с мясом, каких мне потом уж есть не доводилось. В саду было две клумбы, вокруг них – дорожки со скамейками по бокам. Это место встреч: молодежь прогуливалась вокруг клумб, и не встретиться было невозможно, потому что два соприкасающихся кольца крутились на-

встречу друг другу. В саду всегда играл военный оркестр.

Еще не доходя до сада, можно было зайти в библиотеку. Мама была заядлой читательницей, читала классику, увлекалась Вербицкой, читала Арцыбашева. По ее примеру и я пристрастилась к чтению, в конце концов дошла даже до модного тогда Шопенгауэра, вот только приходилось прятаться от отца, который не любил, чтобы его домашние сидели без дела, а чтение книг для него делом явно не было. Это не значит, что сам он ничего не читал. Внимательно следил за газетами, журналами. Всегда выписывались «Русское слово», «Нива» с приложениями, «Мурзилка», «Светлячок», «Вокруг света». А вот книг действительно в доме не было, как и в домах наших знакомых. Не потому, что их вообще не было, просто обычай держать книжные полки в комнатах еще не пришел. У нас домашняя библиотека находилась во дворе, в кладовке. Вот там были и полки. Слева от входа стояли банки с вареньем, а справа – книги, все больше классика в приложениях к «Ниве». Главные же книжные богатства – старые издания начала прошлого века, даже и 18-го, почему-то исключительно светского содержания – хранились там в огромном сундуке.

Брат Валя увлекался книжками появившейся тогда «сыщицкой» литературы. Вся его комната в мезонине была завалена новинками в ярких обложках. Попросить было бы проще, но я поступала в духе этих книг: через крышу павильона проника-

ла через окно к этим кипам и уносила какого-нибудь Шерлока Холмса или Ната Пинкертона.

Училась я сначала в приготовительной школе на Ильинке, потом в другой – на Покровке. Затем и в гимназию поступила, где у дверей встречал швейцар, уроки начинались с молебна в актовом зале перед царским портретом и гимна «Боже, царя храни». Были у нас классные дамы, а французскому языку учила мадам Редкина. Но тут началась эпоха преобразований, и я, посещая все то же замечательное здание, построенное Кекиным, училась уже в Первой советской трудовой школе первой, потом второй ступени, вместе с мальчиками.

Моими соученицами, с которыми много раз приходилось то расставаться, то встречаться через полгода или год из-за бесконечных школьных реформ, были девочки из самых разных семей... Дружила с Людми-

лой Ивановой – дочерью торговца (апельсины, яблоки, чернослив, игрушки, шоколад, икра – напротив Дворянского собрания). Кстати, никогда у нас не говорили «купец», а только «торговец».

Не хочу делать вид, что все было распрекрасно в ростовских дореволюционных школах. Сословные преграды все же были заметны. Моя собственная троюродная сестра Галя Яковлева, дворянка, не хотела в гимназии узнавать меня, мещанку, хотя и дворянка-то она была, так сказать, наполовину: отец, адвокат, признал ее своей дочерью, но на ее матери не женился.



Наташа Орлова в форме скаута, 1917

В двенадцать лет меня после принятия торжественного обещания помогать всем людям приняли в отряд «Кенгуру» скаутской организации. Ходили строем с жезлами, в ковбойских шляпах и гимнастерках цвета хаки с двумя карманами, аксельбантами из лент, их цвет зависел от зверя, имя которого принял отряд, цветными галстуками и синим значком-трилистником.

На поясе – собственноручно склеенный из картона и обшитый зеленым лоскутком подсумок-аптечка. Это был уже семнадцатый год, ткани не достать, поэтому форму перешивали из старой одежды, а на ноги изобрели тапочки на веревочной подошве. Организовал эти отряды герл- и бойскаутов, в которых было человек пятьдесят, поляк Климент Климентьевич Козловский со своим братом Ромуальдом, явно шляхтичи. Они отдавали всю душу детям и совершенно бескорыстно. Учили нас быть волевыми, преодолевать трудности. Единственное, что они имели, – квартиру в двухэтажном деревянном доме на бульварном кольце за Ильинкой. Там во дворе мы и собирались. Труба, горн – это наши атрибуты. Песня «Эх, картошка, объединье» – тоже скаутская, а не пионерская.

Только одно лето провели мы на бывшей, только что конфискованной Юрневской даче, где пели, ходили в походы, жгли костры, ели эту самую картошку. Существовали отряды полтора-два года, потом пришел приказ расформировать их, а нас записать в пионеры. Но насколько знаю, никто из скаутов в пионеры так и не пошел.

В дни ярославского мятежа было страшно: слышалась артиллерийская канонада. После его разгрома нас, школьников, повезли в Ярославль на похороны большевиков. Тогда-то я и увидела их впервые, а в Ростове никаких большевиков в те времена не было.



У моих братьев, которые были моложе, со школой никакой ломки уже не было, обычная «трудовая» уравниловка, ничего интересного. Вот только в самом начале, когда в первый класс пошел Володя, у него с учительницей произошел такой разговор:

– Читать умеешь?

– Нет, а вот младший мой братишка Коля умеет.

– Ну, тогда приводи и его!

Так они и закончили школу в один год.

Перед палисадником, где росла белая сирень, на загородке из резных штакетин (наверху – квадрат и острая пика), окрашенных в салатный цвет, висела большая витрина, складывавшаяся на ночь как книга и запиравшаяся, чтобы ночью снимки не воровали, были такие случаи.

Ближе к парадному крыльцу, к воротам, висела над первым этажом вывеска белыми буквами на черном фоне «Фотография М.А. Орлова».

У отца было много цейссовских объективов, которые он очень ценил, несколько фотоаппаратов – от павильонной «пушки» до небольших сравнительно камер, с которыми отец, уложив их в огромный кожаный ранец, выезжал на велосипеде за пределы города, обычно за озеро, в деревни, где профессия фотографа особенно ценилась на похоронах.

В городе же он снимал все: помимо самых распространенных, хранящихся, наверное, во многих ростовских домах торжественных семейных портретов в красивых, но поневоле одинаковых интерьерах, делал портреты индивидуальные, фото дружеских компаний, работал для городского музея, снимал городские пейзажи, заказывали ему фотографии и для книг. Есть его фото в книге Бориса фон Эдинга о Ростове.

Наверное, особым жанром в его работе были фотографии собственной семьи. Сколько же их было! Конечно, больше всего поначалу было портретов строгой красавицы мамы, потом пошли портреты детей, а их было много. Старшие дети – Михаил, Владимир, Борис, – все умерли в одну неделю от скарлатины в 1903 году.

Остался один Валериан, которого тогда еще грудью кормили. Профессию он унаследовал от отца, работал в его фотографии (только ее отняли, она стала государственной), служил в армии, учился в московском артиллерийском училище на Арбате, откуда заболевший отец отозвал его, поскольку некому было работать, кормить семью; стоял в карауле у гроба Ленина, в 1941-м добровольцем пошел на фронт, в том же году умер в орехово-зубовском госпитале от полученной под Москвой раны.

За ним родилась я, а после меня – Владимир. Тоже ростовский фотограф, до самых



М.А. и З.Н. Орловы с детьми, зятем и невесткой, 1929

семидесятых годов. Тоже был на фронте, кашеваром.

Николай, самый талантливый из нас, мастер на все руки, он рисовал, пел, но из-за «непролетарского происхождения» его не приняли в художественное училище в Москве, работу нашел только шоферскую, потом стал командиром Красной армии, «освобождал» Прибалтику, Западную Украину, воевал еще на финской войне, дослужился до капитана, погиб в 1941 году, защищая Петрозаводск, говорят, был его последним командантом.

Младший, Борис, учился в Талдоме, единственный в семье комсомолец, работал инженером в Москве, пошел добровольцем в ополчение, под Вязмой был ранен, попал в госпиталь, где при бомбежке получил еще одиннадцать ран, с госпиталем попал в плен – до самого апреля 1945 года, где выжил только потому, что его, израненного, жалели и товарищи, и немцы. Выжил он и в советском проверочном лагере. Уже боялись, что не увидим его, но он пришел ко мне и жившей у меня матери осенью 45-го, лысым и распухшим – это были последствия долгого голода. Так получилось, что и Владимир, от которого долго не было вестей, пришел с войны к нам в тот же радостный день.

Мама, видно, была человеком несуетерным и с твердым характером, раз решила новых своих сыновей назвать теми же именами, а отец записывал на фотоснимках: «Борис 1-й», «Владимир 2-й».

Так вот, наши портреты были самыми разными, самыми необычными.

Отец учился своему делу в Москве, напротив Пассажа на Петровке у знаменитого Наппельбаума, не терял связей со своим наставником, познакомил и меня с ним, посещал его ателье каждый раз, когда приезжал за фотоматериалами. Материалы эти покупались в магазине на Тверской, принадле-

жавшем немецкой семье, жившей на Шаболовке, – это я потому знаю, что отец хотел меня к ним устроить на житье, да я отказалась, потому что много мальчишек в доме было. Насколько помню, все фотоматериалы были заграничного производства, чаще фирмы «Кодак». Иногда за материалами отец ездил и в Ригу.

Он жил дружно и с ростовскими фотографиями: стариком Тимофеем Пановым, у них сфотографировался еще мальчиком в 1892 году, и его сыном Николаем. Их ателье находилось в большом деревянном двухэтажном доме (втором от угла) на Благовещенской улице, которая идет к вокзалу. Так получилось, что я с их родственницами жила в Москве вместе, когда училась зубопротезному делу. Но конкуренция с Пановыми все же была: во время войны, когда из казарм у кремля и за нашим огородом да и прямо с плаца напротив нынешнего стадиона приходило много клиентов, солдат и офицеров, они открыли прямо напротив нас, на пожне, свой павильончик, желая их отбить, да только дело у них не пошло...

Отец старался шагать в ногу со временем. Как только появились водопровод и электричество, он устроил и то и другое в своем доме. Последней его дореволюционной мечтой, уже неосуществленной, было купить «ребятам – автомобиль, а Наталке – фортепьяно». Кстати, в семье братья называли меня Наталкой, бабушка – Ташей, и только мама – Наташей.

В Первую мировую, году в пятнадцатом или шестнадцатом, отца мобилизовали. Служил он под Киевом в авиационной части, был по-прежнему фотографом, только снимал уже не портреты, а с фарманов – вражеские позиции, и одним из первых начал заниматься аэрофотосъемкой. Может быть, поэтому один из его внуков – Владимир Владимирович – пошел учиться в Институт



Во время Первой мировой войны
М.А. Орлов занимался аэрофотосъемкой, 1915

геодезии и аэрофотосъемки. Сохранилась фотография отца в летной форме.

Во время войны появилось в нашей фотографии много военных: снимались перед отправкой на фронт. Тогда началась и оплата натурой: солдаты платили казенным хлебом, гусиным салом, а крестьяне – яйцами, маслом.

Вернувшись домой, отец начал всю семью учить фотографии. Я занималась ретушью, а братьям Валериану, Владимиру и Николаю, которые уже подросли и им нужно было дать профессию, отец поручил всю съемку на документы, а их требовалось все больше и больше. Сам он снимал уже только портреты.

Он долго болел раком груди, начавшимся от случайного удара: наткнулся на свою тросточку. Но умер он в 1930 году от туберкулеза. На похороны собрался весь город, про-

стой дощатый гроб несли четыре красавца-сына. Похоронили его на Николоворжищенском кладбище, в его приходе. Интересно, что мать была приписана по месту рождения к другому приходу – Покрова.

Мама, Зинаида Николаевна, происходила из богатого когда-то ростовского купеческого рода Щаповых, вот только явно обедневшего к тому времени. Она рассказывала, как ее дед с бабкой тряслись от страха в ожидании описи имущества за долги: «Ах, придут описывать, вот придут!» Мамин отец, Николай Щапов, тоже не был удачлив в делах, да и умер рано, как и его жена Фелицата. Но в их небогатом доме всегда держали прислугу, потому что без нее было «неприлично», даже при пяти дочерях, которым не полагалось ничего делать по дому, разве только приданое себе вышивать.

Их старший сын Василий еще молодым, холостым поехал с товаром в Хиву да там и пропал. Фелицата (не помню отчества) свой плач по сыну записала сама, почерком, каким уж не писали в наше время, в толстую тетрадь с черной обложкой, которую моя мать хранила и все восхищалась достоинствами плача, но так никому и не дала прочесть, а перед смертью сожгла вместе с большим, в черной багетной раме, собственным фотопортретом работы отца.

Евпраксия вышла замуж в Романов, родила девяти детей, которые все благополучно жили до самой революции. Ее семья – Рассоловы – владела маленькой валяльной фабричкой, изготавливали валенки из шерсти знаменитых романовских овец. Благодаря этому и наша семья щеголяла зимой в ладных валеночках... После революции у Рассоловых конфисковали все имущество. Сначала свалили все ценные вещи в одну комнату, опечатали ее, а потом все вывезли, как ни упрасивали младшие девушки хоть один отрез ткани на платье вернуть. Валенки из лав-



Сестры Щаповы с братом Борисом, 1904

ки пытались спрятать в колодце, но их и оттуда достали. От огорчения хозяин, Федор Рассолов, умер. Семья разъехалась по разным городам.

Вера вышла за ростовского торговца Куликова, ее зеленый двухэтажный дом был в конце Ярославской улицы, на первом этаже они содержали лавку. (Рядом, в желтом доме, богато жил брат ее мужа – другой Куликов.) Я часто бывала у нее, потому что по уговору, уж не знаю какому, обшивала меня тетя Вера – самая жизнерадостная и смешливая из сестер. Ее сын Александр погиб в самом начале мировой войны. А другой, Геннадий, по определению родственников, непутевый, стал революционером. Сама Вера Николаевна Куликова в мировую войну была сестрой милосердия, работала в госпитале.

Александра была горбата, поэтому не вышла замуж, учительствовала за озером. К нам

она почему-то приезжала только зимой, по льду, запастись продуктами. Неужто парохода тогда не было?

Младшая из сестер Мария, по мужу Розова, окончив, как и все ее сестры, ростовскую прогимназию, еще девушкой стала учительницей в только что построенной школе в Поклонах (кстати, все население села называло его Поклоньем), вышла там замуж за своего добрейшего Николая Флегонтовича, псаломщика, а потом регента церковного хора, которому в советские времена пришлось стать колхозным счетоводом; играла с ним на фисгармонии, имела при школе и сад, и огород, проучительствовала там с девяностых до самых тридцатых годов, когда ослепла. У тети Мани первый ребенок умер в трехлетнем возрасте, поэтому в 1915 году, когда родилась дочь Зинаида, меня позвали в крстные: было поверье, что если крст-

ной матерью будет девочка, то крестница не помрет. Зина тоже вышла за деревенского парня, позже он настолько «вышел в люди» — в большие начальники, что бросил ее с четьрьмя детьми.

Все они родились в доме с колоннами на Покровской, в начале века принадлежавшем Борису Николаевичу Щапову, брату моей матери, землемеру и заядлому охотнику. Он женился на «неровне» (впрочем, это была судьба почти всех Щаповых, которых я помню) — петербургской модистке Евдокии Николаевне, она одно время квартировала в их доме. Видимо, не обратить внимания на эту эффектную девушку, катавшуюся на велосипеде, было невозможно. Она оказалась великолепной хозяйкой, устроила в доме свою мастерскую, где работали какие-то приживалки и молодые девушки, исполнявшие заодно обязанности еще и горничных. Сама же тетя Дуня занималась цветами, разводила их множество, выписывая семена из Парижа, да пекла великолепное воздушное пече-

нье. В саду были замечательные яблони с очень вкусными плодами. Правее дома, где сейчас стоит одноэтажный домик, был большой огороженный пустой участок — пожня, на которой лишь сено косили ежегодно. Вот играть на этой пожне было очень хорошо — и в лапту, и в охоту. Даже домашние спектакли ставили, на сцену вместо бутафорских деревьев притаскивали настоящие, выкапывая их с корнем.

Дяде Боре повезло с женой, а вот с тещей — нет. Однажды он ужасно рассердился на нее за то, что не оказала должного уважения — то ли не вовремя подала обед, то ли попрекнула его любимой охотой, он схватил ружье и назло ей и всему свету застрелился на глазах у тещи и жены. Такие неприятные случаи в нашем роду бывали, но о них старались не говорить, никогда не выносили сор из избы. О том, что мой дед Аверкий Петрович перерезал себе ножом горло в валах, я и сама узнала от родственников только лет пятнадцать тому назад.

В последние перед революцией годы дом Щаповых был самым заметным на нашей Покровской улице, всегда был ухожен. Когда встречали в тринадцатом году царскую семью (помню царя и, главное, больного гемофилией наследника престола, которого бородатый дядька не спускал с колен), колонны дома увили трехцветными лентами. Кто-то, быть может и отец, сфотографировал тогда этот дом; в честь трехсотлетия дома Романовых фотографию издали открыткой.

И интерьеры дома были красивые, хотя жили в нем небогато.

Мебель была только красного дерева. Особенно хороши были два высоких, до потолка, трюмо с подсвечниками, которые стояли в простенках между окнами. Огромный круглый, раскладной, полированный стол на одной резной ноге из обстановки этого дома даже мне достался случайно, уже



Будущая жена Бориса Николаевича Щапова, тетя Дуня, 1902

в тридцатые годы. Жаль, не поместился он в московской коммуналке. Сундуки были заполнены замечательной посудой. Очень красивые иконы в жемчужных окладах. Все это движимое имущество досталось Борису Николаевичу в наследство от родственников – богачей Плешановых, такой был обычай – большую часть всегда оставляли мужчинам, его сестрам досталось только по колечку (по одному из них я и сейчас вижу, что наследство было богатым). Род Плешановых вымер, памятью о них осталась построенная ими плешановская богадельня в большом доме на Покровской у церкви Рождества.

Как и большинство жителей нашей улицы, даже состоятельных, тетя Дуня сдавала комнаты – в мезонине и на первом этаже. Из жильцов помню офицера Родзянко и семью Зюзиных.

После революции, уже при НЭПе, власти потребовали, чтобы хозяйка сделала немедленно ремонт, не то дом отберут. Тетя Дуня испугалась, решила выполнить требование, распродала часть имущества, продала пожню торговцу Путятину, державшему москательную, кажется, лавку в торговых рядах. (Он построил на ней домик, в котором поселился со всей семьей. Только недолго довелось ему там пожить – сослали его в Соловки, где он и пропал. Очень мы жалели его и его дочек, которых было множество.)

Ремонт тетя сделала капитальный: перепланировала второй этаж, устроила в доме канализацию, водопровод, ванную, двор замостила. Одно только плохо сделала: убрала колонны с фасада, но это я так думаю теперь, а тогда казалось, что строение стало современной.

Дом прямо-таки сверкал. Пришли большевики и дом отобрали.

За то, что тетя Дуня «применяла наемный труд», ее и саму выселили, пришлось ей уехать в Ярославль к сыну Николаю, который по-



Зинаида Николаевна Орлова, 1939

том стал директором музея, и где жила ее дочь Антонина – Тося, лучшая моя подруга ростовских лет.

После этой истории мои родители, имевшие кое-какие сбережения, уже не захотели делать ремонт под давлением властей. К нам поселили жильцов, которые и жили в доме до девяностого года, превратив дом в «воронью слободку», пока и им там стало невмоготу, в советское время дом так ни разу и не ремонтировался. А нашим семейным сбережениям тоже нашлось место – на огороде, куда перепуганная мама забросила их. Долго потом соседи и жильцы находили там серебряные полтинники, а жившая тут же Зинаида Николаевна только гордо отнекивалась, когда ее спрашивали, откуда взялся здесь клад.

Впрочем, клады в Ростове действительно были. После бури озеро часто выбрасывало

монеты, я сама находила старинные медные...

До революции воровства в городе было мало, к примеру, кладовую во дворе мы всегда держали незапертой. У нас вообще только раз случилась кража, да и то это история смешная: пришли однажды из полиции и сказали, что некий бродяга признался в краже из нашего дома, но хозяева заявили, что ничего не пропадало. Только зимой, когда уже поздно было жаловаться, обнаружили, что злоумышленник унес с вешалки в прихожей хорьковую шубу отца.

После Февральской революции вся полиция куда-то скрылась. Главного полицмейстера Цыбакина расстреляли. Судя по тому, что компания моего отца не выражала возмущения, наверное, это произошло еще до октябрьских событий...

О религиозной жизни в городе знаю немного, запомнилось лишь, что среди ростовских дам, а особенно офицерских жен, огромным авторитетом пользовался архиерей, они его считали святым, чуть не влюблены были все в этого молодого голубоглазого блондина с елеиным голосом, все как одна вышивали ради него церковные одежды.

В соборе стояли раки с мощами, под одну из них подсыпали песок, которым нужно было посыпать голову, чтобы, например, удачно сдать экзамен. В праздники старшие шли, конечно, в собор, а молодежь предпочитала погулять перед собором, послушать колокольный звон, а то и позвонить собственноручно в колокола.

Считалось, что под «Сысоем» даже стоять опасно: можно оглохнуть.

Служба в Яковлевском монастыре была выдающимся спектаклем с участием хоров монашек, мальчиков, с фейерверком меняющихся облачений, особенно во время чтения двенадцати евангелий.

Рассказала я про Ростов, про его жителей начала века, вспоминать было и приятно, и тяжело порой, но главная печаль моя осталась за пределами этих страниц: это мысль о запустении города в последовавшие годы и, главное, об исходе его жителей – невольном и вольном. На моих глазах прежние обитатели Ростова оказались кто в лагерях, кто за границей, кто в столицах, других больших городах (многие не потому, что искали лучшей жизни, а потому, что легче там спрятаться среди толпы). Их сменили новые, может быть, тоже откуда-то сбежавшие, как сбежали в наш город из колхозов вместе со своими избами обитатели ближних деревень, заселив окраины. Никого из них лично ни в чем я упрекнуть не могу. Возможно, им самим было несладко на прежнем или новом месте, но результат революционного переселения народов виден сейчас: теперешнее население недостойно своего Ростова Великого, оно не знает, как достойно можно жить на этой земле, как надо любить ее. Остались, конечно, главные строения в центре, осталось милое ростовское оканье, но нет прежних людей, уничтожены даже старые кладбища, где они похоронены. И уж совсем странно, что имя нашего озера уже произносят на какой-то итальянский манер: Нёро, а не Нерó.

8 августа 1991 года

Послесловие

Я не хотела предъявлять никаких претензий ни людям, с которыми была знакома, ни времени, в котором жила и живу. Не ради имущественных интересов пишу и сейчас, через год после того, как поставила точку. От таких интересов советская власть меня отучила прочно, может быть, это и к лучшему: меньше огорчений.

Хочу только добавить для тех, кто заинтересовался судьбой обитателей одной рос-



Асфальтирование Покровской (или уже Ленинской) улицы. Виден угол вывески «Фотография Орлова», 1920-е гг.

товской улицы и, главное, одного дома на ней – о судьбе самого дома. Я и писать-то начала потому, что меня попросили рассказать о нем, поскольку Ростовский музей собирался устроить тут свой филиал, разместив что-то вроде музея провинциальной фотографии. Получалось, в память моего отца. Прекрасная идея! Отказаться невозможно.

Но для музея наступили трудные времена, на реставрацию дома денег не хватило, тогда горсовет стал искать, кому бы отдать его в собственность.

Я с сыном и племянниками предложила: отдайте законное владение Михаила Аверкиевича Орлова (нашлась даже купчая 1900 года!) нам, его наследникам, а мы, хотя и нет среди нас миллионеров, обязуемся ради родного города восстановить дом, устроить в нем не только музей, но и саму фотографию в том виде, в каком она была в начале века. Подали заявление в горсовет, сотруд-

ники музея поддержали нас. Однако получили ответ, что законных оснований для возврата дома нет, хотя закон о возвращении имущества раскулаченным существует, но применить его тут нельзя – ведь нас «кулачили» в городе, а не в деревне. Кстати, нашелся и документ того же исполкома, только 1931 года, коим предписывалось выселить Орловых из их дома именно по той причине, что они были его владельцами.

Могу еще простить исполкомовцев того далекого уже года, может быть, не ведали, что творили, или страшно было идти против течения. Но сейчас-то? Бояться вроде некого, образовательный уровень, говорят, сильно повысился за эти годы, а речи о развитии русской культуры в родном крае наверняка слышны на каждой сессии, хотя, конечно, произносят их с придыханием как раз такие деятели, которые служению культуре предпочитают культуру самообслуживания. Исполком не только отказался под-

держат идею восстановления одного из старейших домов города, устройства в нем частного музея с фотографией, но и отдал строение в собственность (!) лицу постороннему. Остается надеяться, что у «приватизатора» хватит образованности, чтобы хотя бы не перестраивать дом Щаповых и Орловых, использовать его достойно до того, как он будет законно передан городской Думе – именно так хотели бы поступить все наследники М.А. Орлова. Очень прошу ростовцев помочь. Не мне, а своему родному городу.

7 декабря 1992 г.

В Москве

В 1924 году я приехала из Ростова Великого в Москву и поступила на вечернее отделение зубопротезного техникума Главпрофобра на Арбате, около того дома, где сейчас музей Пушкина. Подавала заявление на дневное, но отказали, потому что я – «дочь кустара». Запомнились занятия химией и как всем курсом ходили с любимым преподавателем в анатомический театр, который помещался в подвале Университета на Моховой.

Поселилась на Большой Дмитровке у дочери ростовского фотографа Марии Тимофеевны Пановой в квартире, которую до революции арендовал для своей швейной мастерской Иван Калинович Пеганов. Мастерская была у него в центре квартиры, а комнаты по фасаду он полностью перестроил, уничтожив анфиладу, выходящую окнами на Большую Дмитровку. Когда мастерская захирела и ему пришлось стать парикмахером, он перегородил оставшуюся за ним большую комнату с камином, устроив в одной половине салон, а в другой – жил со своей кроткой Екатериной Александровной. Приезжали к Пегановым жившие в Москве дочери, да все обещал приехать из Ле-



Наталья Михайловна Орлова перед отъездом в Москву, 1923

нинграда сын-инженер, я ему по просьбе плохо видевшей Екатерины Александровны писала письма.

Квартира была забита народом со всей России – человек двадцать. Когда я туда вошла в первый раз, поразились грязи, копоти от примуса, на котором все время кипятилась вода для парикмахерской. Прямо в коридоре за занавеской стояли нары, где когда-то ночевали мастерицы, теперь там жила последняя из них – старуха, ее звали Чумой. После вольного ростовского воздуха мне уж больно страшно показалось. Но потом по привычке, со всеми познакомилась.

Марья Тимофеевна Панова была замужем за немцем Иогансоном, владельцем фабрики детской обуви. Когда фабрику конфисковали, отобрали и его большую квартиру, в которой изо всех прежних обитателей оставили только кухарку. Фабрикант сделал

решительный выбор – предпочел остаться в квартире с кухаркой, а Марье Тимофеевне пришлось переселиться к своим знакомым Пегановым в половину большой, метров на двадцать пять, комнаты. Она выучилась на модистку-шляпницу, но зарабатывала мало, поэтому сначала пустила к себе меня, а потом, на несколько месяцев, и злющего, ревнивого турка Гасана с русской женой. Мне приходилось спать на ящиках за занавеской.

За фанерной перегородкой жила с мужем, бухгалтером Петром Алдоным, медсестра Мария Ивановна, пригласившая из родной Рязани сестру Настюсю, а потом и остальных двух сестер. (Поучившись на всяких курсах, сестры повыходили замуж, одна за мордвина, другая за коми, и уехали из Москвы, а одна погибла под грузовиком.)

В комнате для прислуги (проходной, перед кухней) жили две милые старушки Груша и Аннушка, которых распределили сюда на житье из какой-то богадельни.

В комнате, выходившей окнами на двор, жили одинокие супруги Савелий Евсеевич и Мария Исаковна Рыжик, оба где-то служили. У них стоял рояль, на котором никто играть не умел.

Года полтора я прожила у Марьи Тимофеевны, а потом она узнала, что в Ростове заболела дочка ее младшей сестры, Тося, и бездетная Марья Тимофеевна, бросив жилье в Москве, взяла да и уехала с ней в Крым, где климат получше.

Я в то время была дома на каникулах. Вернулась в Москву, а там, в почти пустой комнате вместе со мной, ставшей ответственной съемщицей, прописана уже другая женщина: Наталья Васильевна Панова, вдова старшего сына фотографа Панова – Бориса, который умер незадолго до того от туберкулеза. Дочке Натальи Васильевны Люсе было тогда лет шесть. Так и стали жить втроем. Вот только пришлось мне сразу кровать по-

купать на Немецком рынке. Купили белую железную кровать с сеткой, ее даже сложить нельзя было, и понесли на Большую Дмитровку. Спасибо, симпатичный прохожий предложил помочь. Помог, донес и не уходит. Представился: Альберт Казимирович Шебеко, врач, немец. Осторожная Наталья Васильевна проверила паспорт. Все верно, и годов ему 32. А на следующий день он прошел через никогда не затворявшуюся, пока Пеганов работал, дверь и появился с коробкой пирожных. Так и ходил довольно долго, разговаривал с говорущей Натальей Васильевной про всякие болезни, да больше все на меня поглядывал. Только мы ему все-таки отказали от дома.

Потом папа купил мне зеркальный шкаф, стол. Мама из Ростова присылала колобушки – небольшие лепешки на сметане, их еще подорожниками называли.

Наталья Васильевна курила папиросы, поэтому и я начала покуривать, только никогда их не покупала. Угощала еще подруга по техникуму Лёля Клюквина. Я ей все твердила, что скучаю по Ростову, а Лёля расстраивалась, что ей изменил ухажер. Она и говорила: «Покури, и все забудешь, не будешь тосковать». Но все-таки я не привыкла к куреву.

В техникуме меня все опекали, потому что наивной считали. А жизнь студенческая была интересной. Устраивали вечера, в зале танцевали, а в коридорах пили вино, которое приносили женихи. Вокруг много любовных историй происходило, и хороших, и плохих.

Наталья Васильевна все никак не могла устроиться по своей основной специальности – она была медсестрой, пришлось ей скрепя сердце брать заказы у жившей на Остоженке своей сестры Марьи Васильевны и шить женские платья. Но была ленива, придет, бывало, сестра за заказом: «Наташа, готово ли платье?» – а та ей: «Нет, все некогда было».

В квартире напротив нашей жила семья какого-то большого начальника из ГПУ, которого арестовали еще в двадцатых годах, потом забрали и его жену, с ней дружила Марья Тимофеевна (она все повторяла: «Ну какой он враг народа! Он – настоящий мужик!»). Осталась в той квартире одна старуха, она все плакала, жаловалась, потом и сама куда-то сгинула. Этажом выше жила врач Остерман с двумя сыновьями. К ним в квартиру почему-то никого не подселяли. Она была нашим участковым врачом, и на прием к ней мы ходили на третий этаж ГУМа. Напротив нее жил гравер Штейнрайх с женой-врачом и трехлетним сыном (будущим артистом Львом Штейнрайхом). К ним поселили только одну жиличку, большую сплетницу, которая однажды (в 1926 году) узнала от Натальи Васильевны про мою жалобу, что гравер ка-



Н.М. Орлова в белой фетровой шляпе и каракулевом манти, купленных отцом в утешение после Москвы, 1926

ждое утро поджидает меня у подъезда и провожает на трамвае к Курскому вокзалу, куда я ездила на практику. Вот эту новость она и выложила жене гравера. Говорят, там был большой скандал.

В Москве было голодно. Пятнадцать рублей отец платил за мое обучение, а из тридцати рублей, что давал мне, ровно половину приходилось отдавать Марье Тимофеевне за квартиру. Вместо еды покупала себе फिल्деперсовы чулки, обедать случалось только в гостях да с отцом в ресторане рядом с Филипповской булочной, когда он приезжал за фотоматериалами. Зато одета я была очень хорошо: из дома мама присылала шерстяные платья, файдешин, крепдешин, маркизет, а шила мне все та же Марья Васильевна, «француженка», как ее величали восторженные заказчицы. Правда, это было уже позже, когда в моей комнате поселилась ее сестра, вдова Бориса Панова. Эта портниха давала работу Наталье Васильевне, а та и меня немного научила шить.

На углу Дмитровки и Столешникова был магазин съестного, но покупали в нем мало, принято было закупки делать на рынках, больше на Центральном, на Палашовском. Судаков там продавали прямо на улице. Масла покупали по сто граммов, сметаны – по 200 и колбасы не больше того: дорого было. Запасов не делали. За покупками ходили каждый день или через день. Все было и всего покупали, но понемногу. Вот одежда была очень дорогая. Когда открылись торгсины, покупали за золото габардин салатного цвета на пальто, смушку на воротник, береты.

На улицах с рук вещами не торговали, но ларьков деревянных было много. Парни ходили с лотками, на которых раскладывали лимоны, мосельпромовские товары. У девушек, если они работали от Моссельпрома, были застекленные ящики с товарами, еще

Наркотики не продаются в СССР
 Запрещено

ПУДРА
 ДУХИ
 КРЕМ

„БЕЛАЯ НОЧЬ“

А. Миллер, 1937

ЦАРКОМПИЩЕПРОМ СССР ГЛАВПАРФЮМЕР



И. Боград, 1938

им полагалась шапочка с козырьком. Разносчики ходили и по домам, но молоко у них было плохое, разбавленное. По Арбату, где был техникум, ездили только извозчики. С Дмитровки трамвай довозил до Арбатской площади, но я все равно ходила пешком – по Газетному переулку. А года через три появились такси. Леонид возил меня как-то кататься по городу.

Хоть и голодно жилось, но по молодости верили в коммунизм. Из окна часто на уличные демонстрации смотрели, как внизу плакатами размахивали. Хотелось верить в будущее, несмотря на то что всё у всех отобрали.

Слушала Маяковского в кинотеатре, где сейчас «Ленком» помещается.

Очень много ходила по городу. Знала все ближние сады и парки.

С отцом часто бывали на Сухаревке. Когда уезжала в Ростов, разочаровавшись в своих возможностях стать зубным техником, отцу зачем-то опять понадобилось на этот рынок, и он оставил меня там с только что купленным мне в утешение каракулевым манто в большой зеленой коробке. Вот когда я страха натерпелась! Вся шпана вокруг меня виляла, а я зажала коробку в ногах да озиралась.

По всему городу дворники в белых фартуках наводили чистоту. И было чисто. Вот такой дворник – дядя Володя – колот нам дрова, которые мы складывали в чуланы на черной лестнице.

Перед окончанием техникума многим предложили учиться на зубного врача, только для этого требовалось переехать в Харьков. Я испугалась отправляться так далеко, да и родители не советовали.

Только когда получила свидетельство об окончании техникума в 1926 году, поняла, как трудно устроиться. Зубных техников в Москве оказалось множество, а работы – мало. Биржи труда тогда, кажется, уже не было.



Н.М. Орлова, 1926

Обошла все поликлиники, но нигде не взяли. А работать очень хотелось... Даже молодые люди меня интересовали не сами по себе, а только потому, что могли устроить на работу или хотя бы посоветовать, где ее искать.

С Леонидом Грейдингом я познакомилась в 1925 году на свадьбе моего однокурсника по зубопротезному техникуму, Желтова, который женился на Марусе с дневного отделения, он и пригласил меня, одну со всего курса, в свою квартиру то ли на Бронной, то ли на Арбате. Желтов давно уже работал техником как частник, а с нами учился ради свидетельства, оно было необходимо, чтобы поступить в государственную поликлинику. В большой, хорошо обставленной квартире на первом этаже было много молодежи. Стол был на удивление хорош по тем временам. В Ростове любили вальсы, отплясывали польку-бабочку да кра-

ковьяк, а тут все больше фокстрот был в ходу, так что я в танцах не блистала. А вот высокий, красивый Леня танцевал очень хорошо.

Потом был перерыв. Снова встретила с Леонидом случайно, через год в Столешниковом переулке. Ходили в кино на каждый новый фильм, на оперетту, на концерты. На Новый год он пригласил меня в ресторан Большой Московской гостиницы, которую потом перестроили в гостиницу «Москва». Он был очень добрый, заботливый, внимательный. Познакомил со своим отцом и матерью, они жили тогда в Химках, съездил со мной в Ростов к моим родителям. Обещал исполнить самую заветную мою мечту – устроиться на работу. Вот только этого он и не исполнил, наоборот, никогда не хотел, чтобы я работала.

Решили пожениться. Он тогда снимал комнату в Сокольниках и все думал, где нам жить. Вот тут помогло, что я числилась ответственной съемщицей. Как соседки ни возражали, в домоуправлении сказали:

«Нельзя запретить девушке выйти замуж», – и прописали Леонида у меня на Большой Дмитровке.

Расписались в Газетном переулке и послали телеграмму об этом в Ростов.

На следующий день чуть не развелись. Пошли в сад «Эрмитаж» на Хенкина втроем, с двоюродным братом Леонида Яшей, который жил неподалеку, в Брюсовском переулке. На концерте я сидела посредине, за левую руку меня взял муж, а за правую – Яша. Я была наивна, думала, что так и полагается по-родственному, а Леонид вдруг вскипел, заявил, что тотчас разведется со мной. Я только и могла пролепетать, что отец и мать уже с подарками едут. Еле отговорила разводиться.

Мои родители действительно приехали, привезли цветов (я очень их любила, а вот молодые люди почему-то никогда цветами не одаривали), пирогов, скатерть и большой самовар с подносом и полоскательницей, а зятю – золотые карманные часы.



Л.М. и Н.М. Грейдинг с родственницей, 1930

Устроили дома богатое застолье, но никому и в голову не приходило называть это свадьбой. Пригласили только соседок по комнате.

Леонид числился тогда галстучником в «Мосуездкредите», который размещался в Больших торговых рядах, получал там вискозный шелк и сдавал обратно готовые галстуки, только делал он их не сам, а отдавал работницам, хотя и сам умел, и даже машинка была. Зарабатывал много, но контора эта уже закрывалась, да и моим родителям такая работа не понравилась, поэтому он поступил бухгалтером на телеграф, тем более что это близко было.

Готовить я не умела, поэтому сначала ходили всё по столовым, закусочным.

Когда родила сына, пошли новые заботы. Выдали бесплатные пеленки, распашонки, чепчики. Сына купали в корыте втроем, вместе с Натальей Васильевной. Кроватки не было, поэтому сразу купили коляску, в ней младенец и спал. Пригласили няню – шестнадцатилетнюю Катю из Ростова, дочь маминой портнихи. Спать ее уложили в коридоре под антресолями на узенькой раскладушке. Соседка Мария Исаковна выходила из себя, жаловалась в домоуправление, но там меня опять защитили. После бедовой Кати нянькой была суровая Нюша. А когда сыну исполнился год, пришлось мне уже самой стирать да за ребенком ухаживать.

По вечерам выходила с сыном в сад на Советской площади, напротив Моссовета, а муж после работы не шел с телеграфа прямо домой, а заходил за нами, и уж тогда все вместе возвращались.

Муж очень любил свою работу, часто и дома сидел со счётами. Часто ездил то на Кавказ, то в Подмосковье, чтобы командировочных побольше получать. Скоро его сделали старшим бухгалтером, потом стал главбухом вооруженной охраны Наркомата



Юра Грейдинг, сын Натальи Михайловны и Леонида Михайловича, 1934

связи, где ему полагалось носить синюю форму с кубиками в петлицах. Форму эту давали на большой срок, и поэтому мне все время приходилось латать его галифе. Зато из выданной на обмундирование ткани удалось сделать и себе.

Ю.Л. Грейдинг

Без права на уединение

Мать не закончила свои воспоминания. Дальше – мои собственные, а не продолжение семейных. В чем-то они даже противоречат друг другу, но, перечитав мамины, в своих детских я менять ничего не стал: ну, скажем, у нее сосед – бухгалтер, а у меня – рабочий. Ну и что, через десять лет – возможное превращение! В те времена такой оборот дела мог оказаться даже полезным для социального благополучия семьи. Итак,

Большая Дмитровка, дом 14, квартира 2

Это мой родной дом, до него вообще ничего не существовало. Родильный дом Грауэрмана помнила только мама, она-то и показала мне его много позже: «Вот здесь ты родился».

А на Дмитровку, в трехэтажный, если смотреть с улицы, дом, построенный, как тогда говорили, сто лет тому назад, меня принесли в январе тридцать первого. К тому времени население квартиры уже устоялось: самую большую комнату занимала такая же большая семья рабочего Петра Алдонина, в комнате, выходившей окнами на двор, поменьше, жила вместе с огромным роялем и двумя кошками бездетная семья: Мария Исаковна и Савелий Евсеевич. Обоим было уже за пятьдесят, но из-за двери то и дело слышалось: «Зайчик!», «Савочка, дорогой!» Они снимали эту комнату еще у парикмахера, да так и остались тут. Только квартплату отдавали уже не Екатерине Александровне, а управдому.

Одна из комнат, выходивших на Дмитровку, была перегороджена, чтобы оставалось по одному окну, в одном образовавшемся пенале жила в постоянном папиросном дыму пожилая красавица Юлия Сергеевна, а в другом – вдова, прежняя владелица квартиры Екатерина Александровна Пеганова. На кухню нужно было спускаться между ватерклозетом (самое интересное там – высоко подвешенный фаянсовый бачок с иностранной надписью; если дернуть за подвешенную к нему на длинной цепочке фаянсовую же ручку, вниз с грохотом помчится по трубе вода) и дверью в комнату пожилых влюбленных по крутой скрипучей лестнице в три или четыре ступени. Но еще перед кухней была маленькая проходная комнатка, в которую поселили из разогнанной богадельни старушку Аграфену. Баба Груша никому не мешала – она почти не вставала со своего высокого и широкого сундука. У нее и на

кухне никакого особого места не было, а вот у остальных – обязательно свой столик с примусом или керосинкой. Примус был и у бабы Кати, только он стоял не на столике, а на огромной, занимавшей треть кухни плите, которая никогда не топилась. Даже зимой при постоянно открытой форточке на кухне было жарко от примусов. Через кухню можно выйти на черную лестницу во двор. Отопление печное, поэтому в пролетах черной лестницы каким-то чудом висели дровяные сараи. Ванная комната в этой квартире предусмотрена не была, поэтому на кухне под потолком висели детские цинковые корытца – мое и Алдоновых. А взрослые ходили раз в неделю в бани, благо и Сандуновские, и Центральные были рядом.

Зато парадный подъезд был великолепен: широкая пологая лестница с истоптанными уже ступенями из мраморной крошки, кованая железная балюстрада с дубовыми перилами, по ним так здорово было съезжать верхом прямо со второго этажа, кованые листья, когда-то охватывавшие большой электрический светильник (стеклянный шар, конечно, разбили и лампочку вывинтили), а на просторной площадке этого второго – всего две двери: направо – с одной фамилией на медной табличке, а налево – разболтанная фарфоровая кнопка звонка, под которой – список жильцов. 5 звонков – это нам, поэтому до пяти я умел считать уже в два года.

Еще звонил телефон у нас в комнате – единственный во всей квартире (это отцу поставили как служащему Наркомата связи). Его номер – 2-36-07 долго помогал мне, когда очередная компьютерная софтина требовала назначить пароль.

Наша комната – прямо над подворотней. Въехать во двор можно даже на грузовике, но осторожно: недаром все стены процарапаны бортами. А перед воротами – камен-

ные отбойные тумбы, они хранили на себе следы еще тележных ступиц. Видел их там даже после войны.

В нашей комнате над столом с рельефного алебастрового плафона свисает чуть не метровый красный абажур, в углах на потолке тоже лепнина. Моя кровать забрана крупной вязаной сеткой. Еще одна кровать – высоченная, с большими блестящими набалдашниками на всех четырех углах. На огромном письменном столе – папины счета и главное наше чудо техники: высокий деревянный футляр с настоящим микроскопом, неизвестно почему оказавшимся в нашей уважающей фундаментальную науку, но далекой от нее семье. Над столом – черная тарелка репродуктора, который по утрам рассказывает мне сказку про цветик-семицветик, а потом надоедливо диктует слова песен советских композиторов: «В носу-тро встречается прох-ла-дой...» Это – лучшее, а вот другие «слова-из-песен» я до сих пор безуспешно пытаюсь забыть. У нас замечательный шкаф с резными желудями над зеркальной дверцей и такие же стулья стиля модерн, я бы и сейчас не отказался. На шкафу – коробка с маминими зубопротезными инструментами. Раз она ими не пользуется, мне позволили достать оттуда один тоненький шпатель, который отныне называется пальчечисткой, я им выковыриваю землю из-под ногтей после буйных дворовых игр. Еще стол, а больше никакой мебели нет. Впрочем, тогда и слова такого никто не употреблял. Говорили: «У Мари-Ванны прекрасная обстановка».

Вообще мне, четырехлетнему, все тогда казалось прекрасным. Когда мне надоедало валяться на метровом, во всю толщину стены подоконнике и глазеть на улицу, замечательную решетку в воротах дома напротив, на громыхающие подо мной трамваи, я выходил в центр квартиры, огромный широкий коридор с торчавшими из стен топками

печей и без спросу врвался в любую из множества дверей.

Реже всего я ходил к Алдоныным, потому что до их двери нужно было еще добратся через страшную, вечно темную, с разбитой лампочкой, общую прихожую, заставленную какими-то шкафами, заваленную рухлядью и завешанную тяжелыми порттьерами.

Баба Груша вообще-то была доброжелательна ко мне, но она чаще всего спала на своем высоченном сундуке, отвернувшись от проходящих на кухню. У бабы Груши на окне стоял толстый внизу, но совсем невысокий, прямо съеденный какой-то столетник, потому что она всегда лечилась им. Лечилась она еще чайным грибом, который рос у нее в накрытой грязной марлей трехлитровой банке.

Во всех остальных комнатах на подоконниках стояли горшки с цветами. У Софьи Исаковны кроме горшков еще и на полу стоял огромный фикус, за которым она очень ухаживала и не позволяла отламывать от него толстые широкие листья, на них даже письма можно было писать. Мне такой лист с наклеенной прямо на него маркой папа прислал потом из Сухума.

Одно удовольствие было проехать по натертому скользкому паркету Софьи Исаковны, вкатиться под рояль и сидеть там, рассматривая его точеные толстые ножки и важно сидевшую на диване ангорскую кошку, а над ней – шеренгу слоников, выстроившихся на диванной полке. Но и всё. Только смотреть и ничего не трогать!

Юлия Сергеевна охотно приглашала меня, когда бывала дома (ведь она работала машинисткой в каком-то важном учреждении), угощала то конфетой, то печениной, но посмотреть у нее ну совсем было не на что – ни игрушек, ни книжек. Был патефон с тремя пластинками, но к нему она не подпускала. Вот только поддержать теннисную

ракетку мне иногда позволялось. Ну, еще интересно было, что абажур здесь свисал не из плафона, как у нас, а прямо с четырехметровой высоты голого потолка, потому что в этой узкой комнате была только половинка плафона, вторая его часть была уже за стеной, у бабы Кати.

Вдова парикмахера Пеганова, баба Катя, была совсем старая и совсем одинокая. Муж умер (про дочерей я только из маминых воспоминаний и узнал, что были), единственный сын где-то сгинул. Только она никак не хотела сказать ни умер, ни погиб на войне. К ней никто никогда не приходил. Еще она была и самая у нас бедная, даже бедней Аграфены, у которой в сундуке явно было кое-что припрятано, но она всегда доставала для меня из шкафчика блюдечко со слипшимися конфетами-подушечками, поила чаем из самовара (для него в коридоре, высоко на стене, был обычно прикрытый выюшкой выход в дымоход) и даже кормила киселем – своей обычной, а может, и единственной едой. От подушечек я старался отказаться: уже понимал, что нечем ей будет подсластить чай, а вот от клюквенного киселя с сахарином ну никак не мог отказаться – уж больно вкусным он у нее получался и совсем не таким, как у мамы. А посмотреть у нее было на что. Большие фотопортреты в рамах стояли за шкафом, их баба Катя не любила вытаскивать, да я и не просил: видел их много у своей бабушки в Ростове Великом. А вот пачку фотографий она обязательно доставала и каждый раз снова и снова перекладывала как колоду карт (в подкидного дурака она уже научила меня играть), называла мне всех, кого видела на снимках: «Иван Калиныч, Серафима Игнатьевна, Василий Пафнутич, Артемий Игнатич...» Но чаще всего звучало: «А это Порфиша, еще молодой. Тут Порфише лет тридцать...» Одну фотографию уже узнаваемого мной Порфиши

она почему-то сразу перекладывала вниз колоды, а я поэтому все зорче вглядывался в нее. Порфирий был там в какой-то форме, в кубанке из такого же меха, как на маминном каракулевом мантио, которое висело у нас в шкафу, и мама никогда его не надевала. «Он казак?» – спрашивал я, но в ответ слышал: «А давай я сказку тебе расскажу». Сказок она знала немного, но рассказывала очень хорошо, певуче. Мы топили печь, я залезал на белую изразцовую лежанку и слушал сказки, пока изразцы не начинали припекать мне бока. Были и игрушки какие-то странные: тряпичные куклы с оборванными косами, дудочки, свисточки. Ими играл еще Порфиша. Я очень любил бабу Катю, с радостью разыскивал ее очки, вдевал нитки в иголки, особой иглой прочищал отверстие в примусной горелке. Помню, что обещал ей купить, когда вырасту, швейную машинку, как у Алдониных, и, конечно, поить-кормить ее до старости лет, как в тех сказках, которые она мне рассказывала. Не удалось. Когда мы вернулись из эвакуации, Екатерина Александровна уже умерла.

Когда мне было шесть лет, в квартире появились новые соседи. И не просто соседи, а наши родственники: мамин брат Николай и его жена Ольга. Уж не знаю, кого на этот раз пришлось уговаривать, но их с маленькой дочкой прописали «в угол» к Аграфене. Скоро родился и сын. Они поставили топчан у окна и загородили его занавеской – вот и все их апартаменты. Папа быстро устроил своего шурина шофером в Наркомат связи, где и сам работал бухгалтером. Удачно получилось. Помог папин знакомый Курков, начальник наркоматовского гаража. Но тут началось что-то странное. Взрослые из нашей коммуналки многозначительно кивали головами в сторону соседней квартиры. Все знают: кого-то оттуда забрали. А вчера из другого дома в нашем дворе кого-то





ночью тоже увезли. У папы во всем Наркома-те связи исчезло прежнее начальство. Еще через день папа и дядя Коля всю ночь о чем-то тихо разговаривали в коридоре. А уже на-утро оказалось, что и женщины все знают: Курков открыл газ на своей новой, только что полученной квартире и отравился, толь-ко вряд ли он сделал это сам, наверное, слишком близок оказался к исчезнувшему наркомун. Дяде Коле тоже тревожно: ведь Курков только что принял его на работу! Ре-шили, что пока надо сидеть тихо, но лучше подыскивать поскорей другое место. А вот его жене Ольге работа нашлась тут же, под нашей квартирой, – она стала кассиршей в парикмахерской. Пока дядя Коля был без ра-боты, я старался все время быть с ним. У па-пы не получалось, а вот дядя Коля запросто запускал в тазу с водой мой игрушечный ка-тер на паровом ходу: вставлял в него свечку, она нагревала водяной котел, вырывался пар, и катер прямо прыгал вперед.

Баба Катя в теплую погоду, днем, когда вся квартира опустела, вдруг решила истопить печь. Топка была в темной прихожей, и я не сразу разглядел, что у нее в руках не кочерга, а сабля! Тоже Порфишина. Очень было жал-ко такую красоту, вот бы показаться с ней на дворе! Но нельзя. Теперь это наша с бабой Катей большая тайна. Кожаные ножны сго-рели быстро, оставив только медные обру-чи, а вот сам клинок никак не хотел влезать в пещку, и ничего ему не делалось. Тогда я за-сунул саблю витым эфесом вперед. Навали-ли дров. Сгорели темляк, костяная рукоятка, а самой сабле хоть бы хны! Только почерне-ла от сажи и в самом деле стала похожа на кочергу. А сломать ее у нас сил не было. Так и пришлось до ночи спрятать холодное ору-жие за шкаф. А уж там можно и на помойку на дальнем дворе тайком снести. Тогда я и догадался, что Порфиша – вовсе не красный казак из Первой конной.

Когда через год, уже первоклассником, я попал в недалекий от нашего дома клуб прокуратуры на встречу с героем Граждан-ской войны комкором Окой Ивановичем Го-родовиковым, у которого усы были больше, чем у самого Буденного, очень хотел спро-сить у него, не он ли зарубил Порфишу. Еще позже я узнал, что кубанки носили не только казаки, но и царские жандармы, и как раз ка-ракулевы.

Когда мне было семь, отец с дядей Колей съездили в Ростов Великий и перевезли от-туда Зинаиду Николаевну, мою бабушку, ко-торой стало уж совсем немогуту жить в своем собственном, на главной улице, доме XVIII века, превращенном усилиями горсо-вета чуть не в общежитие. Уехали на грузо-вике вечером, а утром уже вернулись. Ночью посреди леса на пустынном Ярославском шоссе задавили зайца. Он и стал главным блюдом на праздничной трапезе. Дядя Коля сам построил стенку, которая выгородила нам еще малюсенькую комнатку за счет ко-ридора. Там поместился замечательно пах-нувший бабушкин сундук палисандрового дерева, на котором она и спала. А в нашу большую комнату втиснулся еще огромный резной буфет и круглый стол, за ним раньше помещалась вся бабушкина семья – восемь человек.

Дядя Коля попал на командирские курсы, а оттуда сразу – на белофинскую войну. Только и успел показать мне свою обновку: пистолет ТТ, мы его разобрали, смазали и снова собрали. В Эстонии и Латвии, где он побывал потом, стрелять не пришлось. Но вернулся с трофеями: и своим детям, и мне привез замечательных мелких конфет в не-бывалых фантиках, они совсем были не по-хожи ни на одну из трех советских конфет с фантиками: ни на «Мишек», ни на «Ромаш-ку», ни на «Василек». Этого ему показалось мало, и он тут же стал для нас выпиливать из

фанеры метровой длины бомбовоз. Спасибо ему за все. Лейтенант Николай Михайлович Орлов погиб в сентябре 41-го. Говорят, был последним военным комендантом Петрозаводска.

Во дворе самое интересное – снеготаялка, она ржавела тут до самой весны, а потом это чудище заполняли каменным углем, дворники лопатами кидали на его раскаленные бока снег, и из-под него растекались грязные потоки по всему двору и, как в горах, бежали потом по булыжнику Дмитровского переулка на Петровку.

Гулять мама водила меня чаще всего на Советскую площадь, на скверик рядом с памятником Свободе. Когда вижу теперь его фотографии, умиляюсь: вот с этой четырехугольной каменной тумбы, которая сверху была не плоской, а как заглаженный ромбовидный кристалл, я свалился и разбил нос. Еще мне нравилось водить пальцами по медным листам с текстом первой советской конституции, узнавать буквы. Бог ты мой! Неужели я и читать выучился по конституции, уже тогда фиктивной?

Как на плохом любительском снимке, вижу всю свою дворовую компанию, с которой играли в войну. Тут и Минька из семьи кухарки, и Игорь, сын инженера с четвертого этажа, и мелкота в капорах, и даже Жофер, старший из братьев в семье нашего дворника. Жофер успел поучаствовать в настоящей войне, да вот вернуться с нее уже не удалось. Погиб. Не знаю ничего про самого симпатичного мне, Миньку, зато мать Игоря, всегда приглядывавшую за ним из окна со своего четвертого, пристроенного, этажа, я часто видел в Большом театре и после войны. Эта самая интеллигентная в нашем дворе женщина служила там билетером. Рассказывала про сына, с ним все в порядке: студент, как и я.

Кстати, кто для моей матери был интеллигентен? Конечно, награждая этим словом людей, она и ее собеседницы имели в виду не склад ума, не уровень образования, не профессию даже, а просто манеру поведения, не похожую на царившую вокруг хамоватую рабоче-крестьянскую прямоту и простоту. Ценили вежливость, аккуратность в одежде, но и независимость суждений – тоже.

Домашних библиотек в коммуналке не было. Читали все больше библиотечное. У нас (если не считать книжек-малышек, которые мы с мамой покупали чуть не каждый день в невероятно завлекательном магазине рядом с телеграфом, где в витринах прыгали и скакали картонные герои сказок) книг было немного, все больше мамины, дореволюционные издания. Любимые мои – «Принц и нищий» Марк-Твена (именно так!), однотомник полного собрания Лермонтова. Позже, в год столетия со дня смерти Пушкина, прибавился и его толстенный том. Ему отвели почетное место в опустевшем буфетном ящике для столового серебра, и я, выдвинув доску для резки хлеба, служившую мне столом, погружался в бессистемное, как говорят педагоги, чтение: сначала в сказку о попе и его работнике Балде, а потом пытался понять смысл стихов: «Леда смеется. Вдруг раздается радости клик... Нимфа лесов с нею сладкой видит украдкой тайну богов». Отчасти эти тайны стали интересовать меня еще лет в пять, когда соседка Римма Алдонова позвала меня на день рождения вместе со своими подружками-первоклассницами. Девчонки стали мною играть, затолкали меня под стол и не выпускали из-под тяжелой скатерти, перегородив ногами все выходы. А я и не хотел вылезать – так сладостно (или сладострастно?) было мне там, в полутьме.

Родного моего дома больше нет. Снесли еще в прошлом году. Устарел. Реставрации



Окна нашей комнаты

не удостоился. Только сегодня обнаружил, что не до конца доломали нашу коммуналку. Вот они, целы два мои окна над Сезарией Эвора, поющей то ли про вселенскую тоску, то ли про светлую печаль по родным местам, над подворотней, превращенной в годы тучных коров в ювелирный магазин. Теперь смотрю на них уже с другой стороны улицы и с другого конца жизни.

Зашел рядом в «Молоко». Эту же вывеску я видел из своего окна и три четверти века тому назад. Приятно было купить сметаны у продавщиц, знающих, что такое ностальгия.

Мамин продовольственный магазин был вот здесь, на углу Столешникова, только в нем, перестроенном, теперь «Аксессуары Луи Вюиттон», а в торгсине с закругленным углом – тоже модный бутик. А от прежнего Столешникова, с его тремя книжными магазинами, расписанной хох-

ломскими мастерами табачной лавкой, остались только фасады теперь с заграничными надписями на вывесках да доска в память Гиляровского. Зато здесь, наверное, в память о бурлившей тут когда-то толпе – пешеходная зона.

В первой части своих воспоминаний моя мать писала про житье большой семьи в собственном доме, во второй, незаконченной, – про то, как образовывались фаланстеры советских времен. Моя тема – уже сложившийся быт коммуналки. Пропустим благодеяния хрущевской оттепели, когда многие впервые попробовали жить в отдельной квартире. Признаем, это было хорошо. А как жить дальше? Где идеал? Таунхаусы? Или особнячок посреди бывшего двора в Москве или Ярославле? Незаметный посреди квартала дом с элитными квартирами,

рядом с которым строится дом побольше, но поплоше, для прислуги? Или уж элитный поселок не только с парковкой, но и с собственным парком, озером, спортивным центром и чуть ли не театром? (Признаюсь, последнее мне больше всего нравится.) Но что-то коробит меня от слова «элитный», и не только потому, что не доверяю нынешней элите. Такие архитектурные проекты предполагают некий имущественный ценз на пользование благами природы и цивилизации. С этим должно согласиться. Кто больше потрудился (или повертелся, если хотите), тот и в личное пользование от природы и общества должен получить больше. И самим понежиться в своем жилье, и дать лучших учителей своим детям, и показать им самое прекрасное в нашем мире. Но как избежать обособления, отчуждения от остальных людей (двадцать лет назад написали бы «от народных масс»), ведущего в конечном счете если не к физическому устранению, то просто к вырождению? Каким образом обитатель снесенного (только на бумаге) бара-

ка сможет понять жителя зазаборного рая и даже сам подумать об улучшении своей среды обитания? На эти вопросы пока не могут дать ответа ни наша экономика (тем более сейчас, во времена тощих коров), ни социология с архитектурой. А мы сами? Может быть, стоит признать, что и коммуналка имела свои плюсы. Главный из них – понимание того, что беды – общие, а возможности – почти равные. Не было одного, очень важного: права на уединение. Так где же нам жить? Вот мы с женой, посмотрев в Барселоне творения Гауди, решили, что будущие постройки в мире будут похожи на творения природы. У всех должен быть выбор, потому что одинаковых людей нет. Скажем, построить огромный дом-гору. В такой горе всякий смог бы выбрать себе зал-пещеру с соляными столбами или шалаш под деревом у мостика через рукотворное ущелье, пойти на митинг (в многозначном английском смысле этого слова) на вершине или скрыться от всех в укромном месте и заниматься только своим делом.



С.С. Балашов

В ЛЕОНТЬЕВСКОМ ОСОБНЯКЕ

Мало кто знает, что из родового дома своего отца Сергея Владимировича Алексеева, получившего в обиходе название Красноворотского, семья К.С. Алексеева-Станиславского переехала в большую уютную квартиру в доме Маркова, в Каретном Ряду, занимавшую весь бельэтаж и часть третьего этажа. Переезд их состоялся в конце 1903 года. При доме был хороший сад, что имело немалое значение для проживавших там. Квартира вполне устраивала Константина Сергеевича и Марию Петровну, и, вероятно, им не пришла бы мысль менять свое уютное, обжитое за много лет семейное гнездо в наступившие годы послереволюционной разрухи и голода, если бы не постановление Малого Совнаркома о насильственном выселении из дома Маркова всех жильцов в связи с передачей этого здания и всей прилегающей к нему территории с постройками, включая каретные сараи, годные для устройства в них гаражей, в ведение автомобильной базы Совнаркома.

А.В. Луначарский письменно ходатайствовал перед В.И. Лениным об отмене этой акции для семьи К.С. Станиславского, следствием чего, видимо, появилось постановление советского правительства о предоставлении семье К.С. Алексеева-Станиславского второго этажа старинного особняка, распо-

ложенного в Леонтьевском переулке (особняка, ведущего свою историю с XVIII века, как тогда считали, а фактически оказалось, что с XVII).

Во время Отечественной войны 1812 года, когда горела Москва, пожар уничтожил все постройки усадьбы, кроме этого особняка, так как он был кирпичный, с массивными стенами.

С 1815 года тогдашний хозяин усадьбы начал капитальную реставрацию здания, закончившуюся только в 1834 году. Затем, в течение XIX века, к дворовой стороне особняка под прямым углом были пристроены черная (как говорили прежде, людская) каменная лестница с трехэтажной надстройкой и здесь же – терраса на втором этаже (именуемая в старых строительных документах «двухэтажным крыльцом»). В таком виде особняк сохранился ко времени вселения в него семьи К.С. Алексеева-Станиславского.

Насколько я могу представить себе, после капитального восстановления в 1815–1834 годах второй и третий этажи особняка, числящегося в наше время под № 6 в Леонтьевском переулке (в дальнейшем будем этот дом называть «Леонтьевский особняк» или просто «особняк»), представляли собой анфилады комнат, на втором этаже – парадных с высотой потолков порядка четырех метров, с окнами, выходящими на улицу и частично во двор (за исключением двух

комнат, которые через столетие, а именно в 1930-х годах, занимала М.П. Лилина), и на третьем, или антресольном, как прежде называли, этаже – более скромных жилых помещений с высотой потолков порядка двух метров и окнами, выходящими во двор. Там когда-то был уютный приусадебный домашний сад с большой круглой цветущей клумбой посередине, сохранившейся до 1930-х годов. Сзади он обрамлялся бывшей конюшней и сараями, на месте которых ныне находится жилой пятиэтажный дом постройки 1950-х годов, занявший не менее трети площади бывшего уютного сада.

Вдоль второго этажа Леонтьевского особняка проходит коридор, отделяющий анфиладу парадных комнат от помещений с окнами, обращенными в сторону двора. Зал (ныне называемый Онегинским) и парадные комнаты имеют уникальные росписи потолочных плафонов, художественно выполненные темперными или клеевыми красками по сухой штукатурке; плафонные росписи, исполненные в 1830–1834 годах неизвестными крепостными художниками, ставят Леонтьевский особняк в ряд уникальных памятников архитектуры начала XIX века.

На третьем этаже коридор отсутствовал, и в настоящее время его нет, но при жизни в особняке семьи К.С. Алексеева-Станиславского коридор на третьем этаже существовал, и вот почему: нужно было где-то поселить членов семьи прежних, дореволюционных хозяев особняка, продолжавших жить в нем. Все помещения второго этажа были отданы советским правительством под квартиру Алексеевых-Станиславских. Поэтому перед насильственным переселением этой семьи из обжитого в течение почти двадцати лет дома Маркова в Каретном Ряду третий этаж Леонтьевского особняка подвергся перепланировке: между дву-

мя внутренними старыми, всегда существовавшими и ныне существующими деревянными лестницами, соединяющими третий этаж со вторым, был сооружен неширокий, неизменно темный коридор, а из анфилады комнат третьего этажа построили отдельные изолированные друг от друга комнаты с дверями, выходящими во вновь образованный коридор. В этих комнатах поселили, прежде всего, членов семьи прежних хозяев, детей Веры Богдановны Спиридоновой (жены потомственного почетного гражданина, владевшей усадьбой Леонтьевского особняка с 1882 года) – ее сына Сергея Александровича Спиридонова и дочь Елену Александровну Бахметьеву (урожденную Спиридонову).

Коридор третьего этажа не имел освещения, только по его концам, на обеих лестничных площадках горели обычные, неяркие электрические лампы, в самом же коридоре всегда царил полумрак, и когда там появлялась чья-либо фигура, закрывавшая мерцающий впереди освещенный прямоугольный проем, возникало ощущение неуверенности, боязни на что-либо наткнуться, и идущий невольно замедлял шаг. А вообще-то по коридору, лестничным площадкам и лестницам все старались ходить приглушенно, чтобы не потревожить проживавших на третьем этаже жильцов (в том числе и поселявшихся здесь позднее студийцев Оперной студии, руководимой Станиславским) и, упаси Боже, живущих внизу Алексеевых. Их квартира на втором этаже не имела никакой двери, отгораживающей ее от спускавшейся прямо в конец коридора винтовой лестницы на три четверти оборота – как раз против двери, ведущей в спальню Константина Сергеевича.

Другой торец вновь образованного коридора третьего этажа заканчивался выходом на площадку еще одной, двухмаршевой



В.И. Немирович-Данченко и К.С. Станиславский, 1923

деревянной лестницы, которая спускалась в Синюю комнату второго этажа рядом с залом и имела двойную застекленную дверь на старинную широкую дубовую парадную лестницу фамусовских времен. На этой лестничной площадке третьего этажа была двухстворчатая дверь в бывшую детскую комнату семьи Спиридоновых, о ней еще будет речь дальше.

Часть предоставленного под квартиру Алексеевым-Станиславским второго этажа Леонтьевского особняка, в том числе зал и Синюю комнату, Константин Сергеевич сразу же отдал своей Оперной студии Большого театра, не имевшей постоянного помещения. С этих пор в старом особняке жизнь, как говорится, закипела – музыка и пение стали звучать в нем с раннего утра до позднего вечера, а то и до ночи.

Мне думается, что именно тогда Констан-

тин Сергеевич все более стал задумываться о том, что оперное искусство не может далее существовать без искусства драматического, а последнее не может далее развиваться без музыки и законов темпоритма и что в драме и опере существует много общих законов творчества.

Алексеевы-Станиславские переехали в Леонтьевский особняк 5 марта 1921 года, и, видимо, в это же время поселилась в нем сестра Константина Сергеевича Зинаида Сергеевна Соколова, его помощница по Оперной студии Большого театра, педагог и режиссер. Судя по письму К.С. Станиславского Сергею Васильевичу Рахманинову от 26 мая 1922 года, З.С. Соколовой первоначально была предоставлена Красная комната, соседствующая с залом, в котором проходили занятия Оперной студии. Вскоре в зале, между колонн, был сделан невысокий деревянный помост, образовавший как бы небольшую сцену, там стали репетировать, затем прошли генеральные репетиции (первая – 12 апреля 1922 года) и премьерные спектакли оперы «Евгений Онегин», а вскоре начали давать спектакли и для широкой публики. При этом соседствующая с залом Красная комната, где поселилась З.С. Соколова, оказалась единственным закулисем. В указанном выше письме С.В. Рахманинову об этом написал сам Константин Сергеевич: «Чтобы дать Вам понятие о миниатюрности нашего театрального помещения, я опишу, что делается в соседней (и единственной) со сценой комнате, в которой живет моя сестра, помогающая мне вести Оперную студию Большого театра. В этой комнате, являющейся ее спальней, столовой, кабинетом и гостиной, гримируются все артисты, переодеваются женщины и мужчины (для чего ставятся ширмы), заготавливается мебель и бутафория для спектакля. Там же поет хор крестьян

(I акт), хор девушек (свидание). В этой же комнате складывают декорации, проносят подмости. Словом, в ней происходит столпотворение. По окончании спектакля студийцы общими усилиями убирают и выметают комнату, освежают ее для того, чтобы измученная сестра могла ложиться спать, пить чай и прочее».

Пожилему человеку, каким уже была З.С. Соколова, жить и работать в таких условиях было невозможно, поэтому вскоре она оказалась соседкой Спиридоновых на третьем этаже особняка: там ей предоставили бывшую детскую. Как я уже говорил, в эту комнату можно было попасть с лестничной площадки двухмаршевой лестницы, ведущей на третий этаж из Синей комнаты второго этажа, в часы занятий Оперной студии наполненной студийцами.

В соседней с Синей – узкой маленькой, проходной комнатке, в единственном на второй и третий этажи туалете (тоже крохотном, где была единственная раковина с водопроводным краном, из которого можно было нацедить воды) находился гардероб для студийцев, там всегда дежурил у телефона швейцар, он же истопник и единственный рабочий при студии, Михаила – уже пожилой, степенный человек; его студийцы называли запросто дядей Мишей. Эта маленькая гардеробная имела окно на парадную лестницу, так что дежуривший у телефона Михаила видел всех приходящих в Оперную студию, к Станиславским и к жившим на третьем этаже особняка жильцам. Он любезно встречал приходящих и соответственно их направлял – куда, в какую дверь им нужно пройти.



Зинаида Сергеевна Соколова,
сестра К.С. Станиславского

Бывшая детская, куда переехала Зинаида Сергеевна и в которой она прожила до Великой Отечественной войны, представляла собой комнату (на три окна, выходящих во двор с садом), имела необычный двухскатный потолок с пересечением наклонных плоскостей наподобие крыш изб и перегородку, разделяющую комнату на две неравные части, первую, как входишь, –

на два окна и заднюю, меньшую часть – на одно. Сама же внутрикомнатная перегородка выполнена в виде бревенчатой стены сруб избу с треугольным фронтоном наверху, дверью посередине и по обеим сторонам двумя двустворчатыми окошками с открывающимися ставнями. Окошки и треугольник фронтона «избу» были украшены затейливой деревянной резьбой, а с конька «крыши» свешивалось деревянное резное полотенце с рисунком по типу тех, какие делали на избах в северных, карельских деревнях.

За бревенчатую резную перегородку эту комнату называли ласково «Теремком». Она создавала в комнате своеобразный уют и соответствовала вкусам Зинаиды Сергеевны, в молодые годы много лет жившей со своим мужем, врачом Константином Константиновичем Соколовым, среди крестьян в их маленьком имении Никольском Воронежской губернии. Там они обучали крестьян грамоте, ремеслам, просвещали народ, как умели, выстроили больницу, создали самодельный крестьянский театр, в котором ставили классические пьесы и отрывки из опер, выступая в спектаклях вместе с местными жителями.

На той же лестничной площадке третьего этажа, откуда спускалась двухмаршевая ле-

стница, была отгорожена малюсенькая комнатка для отдыха старшего брата К.С. Станиславского, педагога и режиссера Оперной студии Владимира Сергеевича Алексеева, которой он пользовался в перерыве между дневными занятиями в студии и вечерними спектаклями или уроками...

В крохотной, душной, всегда погруженной в полумрак комнатке Владимира Сергеевича (с высотой потолка меньше двух метров и двумя небольшими окнами, выходившими на широкую деревянную лестницу парадного вестибюля особняка) размещались металлическая кровать, стоявшая слева за изразцовой печкой, небольшой стол между окон со стулом и креслом по бокам, а в правом, как войдешь, углу было какое-то нагромождение вещей, покрытое сверху куском серой ткани...

Но вернемся на третий этаж Леонтьевского особняка. По рассказам Виктора Петровича Мирского, солиста (тенора) Оперного театра имени К.С. Станиславского, который сам жил некоторое время в разных помещениях Леонтьевского особняка, в том числе на сцене репетиционного зала Оперной студии, где одно время проживал и другой солист, баритон Юрий Павлович Юницкий. На третьем этаже особняка в 1931–1935 годах жили певицы Оперной студии-театра Лидия Вениаминовна Воздвиженская – одна из ведущих сопрано и Нина Сергеевна Аверкиева – меццо-сопрано.

В этой обстановке коммунальной жизни, которую даже нельзя назвать коммунальной квартирой, а вернее всего, коммунальным коридором, не было никаких элементарных жизненно необходимых удобств – ни водопровода, ни туалета, ни кухни. Конечно, все это было в особняке, но не на третьем этаже, а только на втором у Алексеевых-Станиславских, и маленький туалет с раковиной – в гардеробной Оперной студии и на первом

этаже. Таким образом, проживавшие на третьем этаже оказались, если можно так сказать, на положении парий! К примеру, чтобы набрать в чайник, бидон или ведро воды, требовалось спуститься на второй этаж в помещение Оперной студии, где всегда толпился народ, либо по винтовой, со скрипящими ступенями лестнице – в квартиру Станиславских. Конечно, там разрешат набрать воды из кухонной раковины, но винтовая лестница заканчивалась как раз напротив двери в спальню Константина Сергеевича, который очень часто болел в тридцатые годы, и беспокоить его было неудобно. Жильцы третьего этажа умывались и мыли посуду у себя в комнатах, а потом выносили ведра с грязной водой все в тот же туалет Оперной студии или окружным путем на первый этаж, что было далеко и неудобно, так как приходилось беспокоить соседей по третьему этажу, у которых имелся выход на черную лестницу, или же опять – Станиславских, проходя через их квартиру.

Ванна была только у Станиславских, и капитально мыться ходили в бани, впрочем, в те годы так поступали все.

Ближайшим соседом Зинаиды Сергеевны был Сергей Александрович Спиридонов, человек незаурядный, и о нем стоит немного рассказать. Говорили, что Спиридоновы были купцами (судя по сохранившимся фотографиям обстановки их дома и купленным у них вещам, довольно состоятельными). Сергей Александрович Спиридонов родился в 1870 году, до конца своих дней прожил в Леонтьевском особняке и скончался 8 марта 1945 года в возрасте семидесяти пяти лет, не дожив два месяца до окончания войны. Юрист по образованию, Сергей Александрович был высококультурным, хорошо воспитанным человеком, владел шестью или семью языками, в том числе латинским и греческим; после Октябрьской революции

работал в Наркомпросе, откуда перешел в Отдел комплектования тогда еще Румянцевского музея, а затем – в Публичную библиотеку имени В.И. Ленина. Был он среднего роста, плотный по сложению человек с седеющими подстриженными ежиком волосами на круглой голове; всегда предупредительный и безукоризненно вежливый, несмотря на проскальзывающую раздражительность, когда он полагал, что его не видят. В длинном коридоре третьего этажа, как говорят, «на самом ходу», где-то близ двери в комнату Сергея Александровича, стоял его кухонный, ничем не примечательный стол с примусом и какой-то кухонной посудой. Примус был мучителем всегда корректного, подчеркнуто вежливого и выдержанного Сергея Александровича – примус плохо держал давление, спускал воздух, заставляя своего хозяина непрестанно следить за ним во время приготовления еды и кипячения чайника. Примус особенно нервировал по утрам, когда приходилось спешить на работу – опаздывать в те времена было опасно, это грозило выговором, а в конце тридцатых годов опоздание более чем на двадцать минут могло подвести виновного под суд! Бедный Сергей Александрович непрестанно бегал из комнаты в коридор, подкачивал злополучный примус, раздраженно тихо приговаривая: «Черт, черт, черт!!!»

Сергей Александрович был женат на милой интеллигентной приветливой женщине (с ней, при наездах в Москву, дружила моя мама), которую звали Ниной Николаевной; она не жила постоянно в Леонтьевском особняке, в Москве у нее где-то была своя комната. За С.А. Спиридоновым она была вторым браком; от первого брака у нее имелась дочь Елизавета Викторовна, занимавшаяся частным образом с Зинаидой Сергеевной и работавшая статисткой в Оперном театре имени К.С. Станиславско-

го. В 1935 году Елизавета Викторовна вышла замуж за солиста этого театра Виктора Петровича Мирского, который рассказал мне о кончине Сергея Александровича Спиридонова.

Зинаида Сергеевна готовила свою немудреную еду или на керосинке, располагавшейся на простом дощатом столе, поставленном в коридоре третьего этажа, или в своей комнате – на специально выложенной, небольшой (ныне уже не существующей) печке-плите, обогревавшей комнату в зимнее время. Само собой разумеется, что в летнее время топить печку было невозможно, и приготовление пищи целиком переносилось на керосинку.

Теперь мало кто представляет себе, что значит готовить на керосинке! Чайник на ней закипал (проверено по часам) в течение 45 минут; нужно было непрерывно следить за поведением керосинки, фитили которой, быстро разгораясь, начинали так коптить, что черные, жирные, пахнущие керосином хлопья копоты, разносимые потоками теплого и холодного воздуха, начинали летать по коридору и всей лестничной площадке, все пачкая и вызывая естественное недовольство соседей. Можно себе представить, как приготовление себе еды на керосинке всегда мешало напряженной работе Зинаиды Сергеевны, которая очень часто часами писала у себя в комнате.

Когда в Леонтьевском особняке появлялась мама, одна или со мной, мы жили в комнатке, предназначенной для отдыха Владимира Сергеевича, и керосинка Зинаиды Сергеевны начинала работать в усиленном режиме, обеспечивая питание хозяйке и ее гостям, то есть нам. Но первейшей обязанностью гостей было следить за злополучной керосинкой, к ней приходилось подходить и подкручивать ее фитили через каждые три–пять минут.

Тетя Зина варила на этой керосинке свои знаменитые (для тех, кто их едал) щи из кислой капусты на душистых сушеных белых грибах, на варку которых уходило не менее двух дней по пять-шесть часов в сутки. Запомнил я эти щи на всю жизнь, так как вкуснее «тетизининых» кислых щей не довелось мне есть на моем веку.



Лидия Михайловна Коренева

Остается добавить, что домовым хозяйством Леонтьевского особняка и прилегающей к нему территории, расселением и пропиской жильцов занимался управдом Степан Евстропиевич Трезвинский, бывший бас московского Большого театра – высокий пожилой человек с сильной проседью и большими, лохматыми, седыми, нависавшими на глаза бровями, с довольно крупными, резкими чертами темного и сумрачного лица. Передвигался он всегда медленно, с остановками и разговаривал не торопясь, низким басом, близким к *Basse profond*.

Был период, когда его большой канцелярский стол и кресло возле него стояли вдоль окон Красной комнаты Оперной студии на втором этаже особняка, соседствовавшей с кабинетом Константина Сергеевича.

Жизнь в Леонтьевском особняке начиналась с раннего утра; уже около восьми часов начинались спевки и разучивание арий или романсов под рояль. Как правило, почему-то утро начиналось с «Веры Шелogi» или с Любашы или Марфы из «Царской невесты» – вероятно, готовили дублеров...

Время стало незаметно приближаться к новому, 1932 году.

Наши ребята-студенты стали задумываться, как встречать Новый год, решали – кто

уедет в Москву к друзьям или родным, кто поневоле останется в Павшине.

У нас в семье всегда было принято встречать Новый год дома, и я сказал, что буду его встречать с мамой. Я и мама думали это сделать с тетей Любой, полагая, что тетя Зина пойдет «новогодничать» с дядей Костей и тетей Марусей. Но в последний мой приезд в Москву в уходящем 1931 году мама

мне сказала, что на Новый год к Станиславским приглашены «Зина, я и ты, Степа». Встреча предполагалась скромная, недолгая, старицкая, в семейной обстановке; из посторонних ожидалась только Лидия Михайловна Коренева, которая была в дружеских отношениях с Марией Петровной.

Разумеется, мы оба очень обрадовались этому приглашению, а мама особенно: «В кои-то веки можно будет побыть всем близким старикам вместе в обществе Кости; жаль, конечно, что не будет брата Володи, который встречает Новый год у себя дома, вероятно, с Верой (Верой Владимировной Алексеевой), возможно, с Леличкой (Елизаветой Владимировной Алексеевой), если она не уйдет в молодежную компанию, и наверняка – с Александрой Ивановной Камзолкиной, старым верным другом семьи, столько лет заботящейся о Володе после смерти его жены Панечки».

Я тоже обрадовался возможности встречи Нового года у Станиславских, где, конечно, много будут говорить о МХАТе и вообще о театрах, которыми в нашей семье все увлекались с детства. Правда, в глубине души меня смущала мысль: не окажусь ли я, юноша, только вступающий в жизнь, лишним в обществе маститых, знаменитых театральных



Мария Петровна Лилина, жена К.С. Станиславского



деятелей, хоть и своих, родных. Интересно мне было встретиться и с Лидией Михайловной Кореновой, которую прежде я уже видел мельком раз или два в жизни.

«Говорят, что Лидия Михайловна Коренева похожа на меня в молодости», – сказала мне мама, но я не нахожу этого: черты лица мамы и в молодые годы (по фотографиям), и теперь, в преклонном возрасте, мне казались нежнее, мягче, округлее, а у Лидии Михайловны, – острее. Но Лидия Михайловна безусловно, была хороша собой, даже красива, и раньше и теперь, с седыми волосами.

31 декабря я приехал из Павшина относительно рано и добрался с вокзала прямо в Леонтьевский переулок. Чем ближе надвигался вечер, тем нетерпение мое все больше возрастало, а мама и тетя Зина были заняты своими обычными делами и пока не собирались одеваться к встрече Нового года.

Я представлял себе, что мы все соберемся в большом кабинете дяди Кости часам к

десяти, ну, к половине одиннадцатого вечера. Но было уже далеко за девять часов, а мама и тетя Зина все еще, казалось, не торопились, хотя тетя Зина вышла из своей комнаты и советовалась с мамой, что они наденут к встрече. Тетя Зина всегда аскетически строго и скромно одевалась, главным образом в темные тона, поэтому в какой-нибудь светлой кофте и с приколотой брошкой она уже выглядела необычно и парадно.

Наконец, около половины двенадцатого, тихо, чтобы не беспокоить жильцов третьего этажа, мы двинулись по длинному коридору кверху винтовой лестницы, ведущей в квартиру Алексеевых-Станиславских, – тетя Зина впереди, за ней я и замыкающей – мама. Тихо и осторожно спустившись по скрипучей лестнице в конец квартиры Алексеевых, мы увидели хлопчущих Наталию Гавриловну и Анюту, заканчивающих сервировку праздничного стола.

Заслышав наши голоса, вышла из своей комнаты Мария Петровна и за ней – Лидия Михайловна Коренева, мы поздоровались и были приглашены пройти в столовую. При входе в комнату, буквально в двух шагах за входной дверью, спинкой к двери стояло кресло (кажется, это было знаменитое венецианское кресло, привезенное Константином Сергеевичем для постановки «Отелло» в Обществе искусства и литературы); оно стояло у короткой стороны большого обеденного, празднично сервированного по хрустящей накрахмаленной белой скатерти стола. По левой стороне стола было поставлено всего два стула, так как далее, у двери, разделяющей столовую и спальню Константина Сергеевича, стоял большой сундук (как говорили – с вещами Марии Петровны), сейчас закрытый столом. По правую сторону стола стояло пять или шесть стульев с довольно высокими спинками, за которыми оставалось не очень большое свободное пространство до большого массивного дубового буфета и серванта, деливших комнату на две части. В отгороженной высоким буфетом части столовой была устроена комната для медицинской сестры Любови Дмитриевны Духовской, круглосуточно дежурившей рядом со спальней Станиславского и готовой в любое время дня и ночи прийти к нему по зову колокольчика, всегда стоявшего под рукой Константина Сергеевича на его тумбочке у изголовья кровати. Этот колокольчик и стакан с кипяченой водой, прикрытый листком писчей бумаги, и сейчас стоят на своих местах, как стояли пятьдесят с лишним лет тому назад при жизни хозяина.

Тетя Маруся пригласила рассаживаться за столом. Все, конечно, поняли, что кресло, стоящее во главе стола, предназначено для хозяина дома. Лидия Михайловна прошла на левую сторону и села на второй, более дальний стул, оставив свободным место

около Константина Сергеевича для Любови Дмитриевны. Первый стул справа оставила за собой Наталия Гавриловна, за ней села тетя Зина, потом я, моя мама и последней, со стороны окна, – тетя Маруся, развернувшись как-то полубоком и подперев голову ладонью правой руки, чтобы быть лицом к сидящим.

Через короткое время в дверях появился Константин Сергеевич в домашней пижаме (мне запомнилось – в серо-голубой, с широкими полосами), и за ним Любовь Дмитриевна, несущая теплый плед для своего подопечного, что было совсем не лишним, так как в комнате было прохладно.

Константин Сергеевич поздоровался со всеми присутствовавшими общим поклоном, несколько смущенно извинился за свой домашний, непарадный вид, сел в кресло, и Любовь Дмитриевна тут же накинула ему на его спину и плечи принесенный плед.

Супруги Алексеевы год с небольшим назад (в начале ноября 1930 года) вернулись из Баденвейлера, где Константин Сергеевич длительно лечился после тяжелого сердечного заболевания в памятный 30-летний юбилей МХАТа, трагически закончившего его актерскую жизнь. Заговорили о впечатлениях от жизни за рубежом...

Затем заговорили тоже на всех волнующую, животрепещущую тему выпуска в МХАТе спектакля «Страх» по пьесе А.Н. Афиногенова, премьеры которого только-только состоялась в последней декаде декабря.

Константин Сергеевич затратил много физических и нервных сил на выпуск спектакля, тем более что в свое время он рекомендовал эту пьесу к постановке.

Главную роль профессора Бородина играл Леонид Миронович Леонидов; для внешнего облика своего героя и в какой-то мере манеры держаться он использовал некоторые характерные черты Владимира



В.И. Немирович-Данченко и К.С. Станиславский с актерами МХТ

Сергеевича Алексеева, чего, мне кажется, даже не скрывал.

Позднее я видел мхатовский спектакль «Страх» и могу подтвердить, что действительно профессор Бородин Леонида Мироновича Леонидова напоминал дядю Володю.

Но в данном случае интерес и переживания присутствующих на встрече Нового года у Станиславских, и прежде всего Константина Сергеевича, относились к неприятному, всех глубоко разволновавшему факту: на последних репетициях Константин Сергее-



Леонид Миронович Леонидов

вич вынужден был снять с роли старой большевички Клары Спасовой Ольгу Леонардовну (Книппер-Чехову. – *Ред.*), из которой так и не получилось старой питерской пролетарки, несмотря на персональные упорные занятия с ней Константина Сергеевича. На последних репетициях пришлось окончательно передать роль Клары Спасовой актрисе Н.А. Соколовской. Но

знаменитая речь Клары в спектакле МХАТа так и не стала одной из центральных сцен, как это имело место в спектакле «Страх», шедшем в Ленинградском театре имени Пушкина (бывшем Александринском), где роль старой большевички совершенно великолепно, с полной убеждающей правдивостью играла Екатерина Павловна Корчагина-Александровская. Неудача с исполнением роли Клары Спасовой снижала впечатление от спектакля «Страх» МХАТа, была его неудачей.

Но для Марии Петровны, дружившей всю жизнь с Ольгой Леонардовной, и, конечно, для Константина Сергеевича был особенно болезнен сам факт произошедшего – вынужденное отстранение от исполнения роли старейшей актрисы театра, которая, естественно, очень тяжело переживала это.

Затем общая беседа как-то перекинулась на современные нравы, легкомысленность взаимоотношений супружеских пар, и Любовь Дмитриевна, работавшая еще относительно недавно в больнице имени Склифосовского, рассказала нам две довольно пикантные истории, имевшие место в недавней практике больницы. Одна история была трагическая, вторая – трагикомическая, носившая просто водевильный характер.

В комнату коммунальной квартиры переехал сумрачного вида военный с семьей, которая состояла из двух его жен – так он

представил жильцам приехавших с ним женщин, и ребенка от более пожилой из них. После переезда глава семьи ушел на работу, а когда вечером вернулся домой, то оказалось, что женщины не смогли полюбовно разместиться в комнате, поделить более теплый ее угол и вынесли это на его суд. Глава семьи решил спорный вопрос в пользу более пожилой женщины, имевшей от него ребенка. Тогда молодая жена схватила револьвер, неосторожно оставленный мужем на столе, и выстрелила себе в рот; пуля прошла навылет и попала главе семьи в мужской член, после чего он был отправлен в больницу, где ему пострадавший орган ампутировали.

По окончании этого трагического рассказа в комнате наступила минутная тишина, и вдруг негромко прозвучал грудной голос Константина Сергеевича: «Да, ирония судьбы!»

Пожалуй, еще стоит упомянуть о новогоднем столе Станиславских. Время все переживали трудное, действовала карточная система, так что разносолов на столе не было. Тем не менее на празднично сервированном столе стояла бутылка настоящего французского шампанского, специально припасенная Марией Петровной к встрече Нового года, и миска с русской кислой капустой – выпивка и закуска для новогодних тостов. Помню еще, что Анюта хлопотала с новогодним пирогом и самоваром, поставленным ею на сервант, а Наталия Гавриловна – с заварным чайником.

Любовь Дмитриевна напомнила Константину Сергеевичу, что ему нужно ложиться в постель, и он инертно, но, видимо, не очень охотно подчинился.

Еще не было двух часов пополуночи, когда закончилось наше новогоднее бдение, и мы, поблагодарив радушных хозяев и пожелав друг другу спокойной ночи, тихо и ос-



Ольга Леонардовна Книппер-Чехова, 1923

торожно, чтобы не тревожить жильцов третьего этажа, поднялись от Станиславских по винтовой лестнице и миновали длинный-длинный, темный коридор до комнаты тети Зины.

После мило и интересно проведенной новогодней встречи был душевный подъем, спать совсем не хотелось, и, к удивлению тети Зины, мы с мамой решили

пойти к тете Любе, предполагая, что она встречает Новый год у сына, который жил с женой и дочкой в комнате, соседствующей с комнатой Любови Сергеевны, где прежде была ее спальня с Алексеем Дмитриевичем Очкиным.

Шел третий час нового, 1932 года. Мы оделись, тихо спустились в Синюю комнату Оперной студии и, зная «скрипучий нрав» деревянной лестницы главного вестибюля, осторожно прошли вниз к выходу и каморке Михаила под лестницей. Нам повезло: верный страж дома, очевидно, тоже встречал Новый год с семьей и бодрствовал. Заслышав наши шаги, он вышел на лестницу, мы поздравили друг друга с наступившим Новым годом и сказали Михаиле, что уходим и вернемся скорее всего часа через два-три. Михаила любезно отпер нам входную дубовую тяжелую дверь и напутствовал нас советом, что, если по нашем возвращении он долго не будет выходить на звонки, следует постучать ему с улицы в окно.

По полутемному двору мы вышли в такой же полутемный, пустынный Леонтьевский переулок. Ночь была тихая, безветренная, и с неба тихо опускались снежные звездочки. По совершенно безлюдному Леонтьевскому переулку мы не торопясь пошли в сторону Никитских Ворот, где было светлее, слыша-



МАРИЯ СЕРГЕЕВНА СЕВАСТ'ЯНОВА,
сестра К.С. Станиславского, 1939

лись отдельные голоса и пение прохожих. По Большой Никитской, по площади у Никитских Ворот и Тверскому бульвару шли во всех направлениях группы оживленных и веселых граждан, некоторые при этом весело подпевали и даже пританцовывали. Площадь Никитских Ворот, покрытая плавно спускающимся снегом, была довольно ярко освещена

подвешенными на проводах электрическими лампочками-светильниками и с движущимися по ней толпами веселых людей выглядела празднично, даже парадно.

Как мы предполагали, Любовь Сергеевна была у сына Кости. Тетя Люба выглядела утомленной, и наше появление, видимо, помешало ей уйти к себе. Поэтому мы пробыли недолго, да и новогодний подъем пошел на убыль, потянуло ко сну.

Когда мы возвращались, на улицах уже было менее оживленно; повернув с освещенной площади Никитских Ворот в безлюдную темноту Леонтьевского переулка, мы заметили внезапно появившуюся мужскую фигуру, идущую нам навстречу, с которой мы мирно разминулись. Тем не менее мы ускорили шаг и вскоре были у запертой двери заветного особняка. Наши звонки были безрезультатны, пришлось постучать в окно; на стук не торопясь вышел заспанный Михаил, отпер и растворил тяжелую входную дверь и прохрипел сиплым, заспанным голосом, как всегда приветливо: «Пожалуйста!» Был он, вероятно, навеселе, так как на этот раз вышел в белой нижней рубашке и белых подштанниках, чего бы себе никогда не позволил, находясь в трезвом виде.

Мы тихо, крадучись поднялись наверх и так же тихо, как мышки, легли спать, чтобы

не потревожить тетю Зину и других обитателей третьего этажа.

На следующий день тетя Зина, мягко и ласково улыбаясь, с добрыми смеющимися глазами спросила нас: «Ну как, полуночники, нагулялись?!»

...Кажется, я был на третьем или четвертом курсе института, когда однажды оказался с дядей Костей наедине в его большом кабинете в Леонтьевском особняке. Было это где-то в первой половине тридцатых годов. Попасть на личное свидание к Константину Сергеевичу было совсем не просто, так как занят он был всегда выше всякой человеческой нормы, продолжая работать для МХАТа, Оперного театра его имени, продумывая и проверяя на практических занятиях, репетициях свою последнюю методологию работы с актерами – метод физических (вернее, психофизических) действий, писал книгу «Работа актера над собой», часто активно отзывался на большие события, происходившие в стране, встречался с передовиками производства, театральными деятелями, приезжавшими из союзных республик, из зарубежных стран, откликался на запросы прессы.

Я не знал причин, побудивших дядю Костю вызвать меня к себе и потратить на беседу порядка полчаса его драгоценного времени; я шел к нему в полном недоумении и, конечно, не без волнения. Единственно, о чем я тогда подумал, что все это, безусловно, не без ведома и влияния тети Маруси Лилиной, которая, вероятно, напомнила мужу, что Маня с сыном Степой-Рыжиком приехали из Ленинграда и живут у Зины наверху.

Не помню, кто меня впустил, тетя Маруся или Наталия Гавриловна, через «рыцарскую» дверь в кабинет дяди Кости. Открыв тяжелую массивную дверь и остановившись на пороге, я увидел Константина Сергеевича, сидящего на покрытом белым чехлом диване, в его правом углу, то есть на своем обычном рабочем месте, с полуопущенной головой, что-то пишущего на коленях. Константин Сергеевич был в костюме, в белоснежной накрахмаленной рубашке с галстуком-бабочкой. Я не очень уверенным голосом попросил разрешения войти. Услышав мой голос, дядя Костя, не отрывая пишущей руки от бумаги, поднял голову и, увидев меня, сказал глуховатым голосом, спокойно и приветливо: «Здравствуй, голубчик! Проходи».

Я переступил порог кабинета, не отрывая глаз от фигуры Константина Сергеевича и позабыв о том, что нужно закрыть за собой массивную дверь. На пути к дивану я краем глаза заметил, что ее кто-то закрыл за моей спиной, хотя все время неотрывно смотрел на приветливого хозяина, впрочем, как и он на меня, – мы явно изучали или, по определению самого Станиславского, ощупывали друг друга щупальцами своих глаз. Когда я, пройдя между стоящих кольцом кресел в белых чехлах, приблизился к круглому столу, покрытому серо-голубой клетчатой скатертью, хозяин положил на стол ручку с вечным пером и рукопись, протянул мне свою большую ласковую руку, я почувствовал его рукопожатие и ответил ему тем же. Сказав «Садись», дядя Костя посадил меня на диван, на расстоянии половины вытянутой руки от себя.



Степан Степанович Балашов,
племянник К.С. Станиславского, 1934

Наступило молчание, мы неотрывно смотрели друг на друга, и я увидел в серых ласковых и изучающих меня глазах Константина Сергеевича, как в зрачках запрыгали, если так можно сказать, смеющиеся чертенята-зайчики: дяде Косте было любопытно, что представляет собой входящий в самостоятельную жизнь его ленинградский племянник, о котором он больше знал понаслышке. Я окончательно смутился и отвел взгляд.

Тогда он прервал несколько затянувшееся молчание и мягким грудным голосом спросил: «Ты чем занимаешься? Кажется, ты оптик?» (определение «оптик» где-то в глубине души меня несколько озадачило и покорило: по моим тогдашним представлениям, это было мелко, немасштабно, в те времена так называли кустарей, державших мелкие мастерские и лавочки по изготовлению и продаже очков. На Петроградской стороне в Ленинграде была такая мастерская с вывеской «Оптик Лещинский», и мои приятели, желая поддразнить, называли меня так. Ничего в этом обидного, конечно, не было, но все же мое «мальчишество» это трагивало).

Я посмотрел на дядю Костю: глаза его добродушно смеялись, «вытягивая» из меня ответ. Робко, подбирая слова, я ответил, что не оптик, а моей специальностью будет оптико-механическое приборостроение.

«И что же, тебе это нравится? Тебе это интересно?» – его грудной голос заставил меня опять посмотреть ему в лицо – глаза продолжали смеяться, но светились интересом!

Опять-таки сначала робко, но постепенно увлекшись и освободившись от сковывающего меня сознания, с кем я общаюсь, стал рассказывать о значимости и перспективах оптико-механического приборостроения (наша промышленность в то время только

начинала набирать силы и темпы, это был передовой край становления отечественной техники), необходимости разнообразных приборов для нужд других отраслей промышленности, для медицины, фотографии, кинематографии, наконец, для обороны страны.

Вероятно, в моих рассуждениях что-то показалось интересным Константину Сергеевичу, так как он меня слушал не перебивая и изредка слегка кивая головой, а потом, перебив меня, вдруг спросил: «А как у тебя и твоей мамы со здоровьем? Говорят, вы на учете в туберкулезном диспансере?!» – и, когда я ответил ему утвердительным кивком, посмотрел на меня долгим, тревожным и вдруг каким-то внезапно потухшим взглядом.

Дядя Костя стал говорить о том, как плохо, что мы живем в Ленинграде, где климат плохой, сырой. «Я об этом уже говорил Мане. Надо что-то предпринять, чтобы вы переехали в Москву». Помолчав секунду, он добавил, что в случае войны в Ленинграде будет хуже, чем в Москве, опаснее, ведь там граница рядом, а все идет к тому, что войны, видимо, избежать не удастся!

То, что я рассказал, осталось в моей памяти. О чем мы еще говорили, я уж теперь не помню, вероятно, о чем-то не очень значительном.

Наконец, посмотрев на меня внимательным и доброжелательным взглядом, Константин Сергеевич протянул мне руку и сказал что-то вроде: «Ну, до свиданья, голубчик. Поцелуй маму. Желаю тебе успехов». Я пожал протянутую руку и не торопясь вышел из кабинета.

Ушел я от Константина Сергеевича в каком-то совершенно успокоенном, уравновешенном душевном состоянии, с чувством, что я только что соприкоснулся с чем-то фундаментальным, внушающим уверенность и надежды.



ГОСМЕДТОРГПРОМ

ХИМФАРМЗАВОД
ИМ.
НА. СЕМАШКО
МОСКВА

ДОМАШНИЕ И КАРМАННЫЕ АПТЕЧКИ

высылаются непосредственно с ЗАВОДА.
Серия „А“ Цена 1 р. 50 к. Карманная и дорожная аптечка в жестком футляре—21 предмет.
„Б“ — 3 р. — Домашняя аптечка—21 предмет.
„В“ — 5 р. — Домашняя аптечка в спец. ящике для хранения лекарств—24 предмета.
„Н“ — 50 г. Спортивно-карманная аптечка—8 пр. (высылается не менее 5 шт.)

В КАЖДОЙ АПТЕЧКЕ ИМЕЕТСЯ НАСТАВЛЕНИЕ К ПОЛЬЗОВАНИЮ.

Напишите нам открытку, укажите в ней ясно Ваш точный адрес, и мы вышлем Вам любую посылку наложенным платежом. Если вы переведете деньги вперед—заказ типичен на отрезном купоне перевода.

При переводе полной стоимости вперед (почт. перен.) пересылка бесплатно. При наложен. платеже пересылка за счет заказчика.

ПРЕЙС-КУРАНТ ВЫСЫЛАЕТСЯ БЕСПЛАТНО.

Адрес: МОСКВА, Центр, ГОСМЕДТОРГПРОМ, Отд. посылки № 7.

ПРЕСТУПНИКИ ЗАП. ЕВРОПЫ

Выдающиеся уголовные процессы посл. времени.

Убийца 24-х. — Убийство и самоубийство. — Человек в масках. — Смит — сияния бороды. — Непомещенность метода. — Людоход — Цена ноги и др. Сост. Б. С. Углевский. Цена 1 р. 80 к., с перес. 1 р. 80 к. Можно наложенным платежом.

Заказы направлять: Москва, ГСП, 2, Ильинка, 21/а Изд-во НАРНОМВНУДЕЛ.

НОВЕЙШЕЕ РУКОВОДСТВО ДЛЯ КУСТАРЕЙ И САМООБУЧЕНИЯ, СОСТАВЛЕННОЕ ГРУППОЙ ИНЖЕНЕРОВ-СПЕЦИАЛИСТОВ

ПОЛЕЗНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

ножи, мыла, зеркала, красок, чернил, синьки, ваксы, кремов, мази, смазочных масел, духов, одеколона, лаванды, помады, крема, ухода за кожей, волосами, ногтями, а также обработка и окраска кости, рога и мехов и мн. др., с громадным количеством рецептов и рисунков. Цена с перес. 3 р. 50 к. Издательство БРОНГАУЗ — ЕФРОН. Ленинград, внутри Гостиного двора, 124/а. А. Перельман.



ДЕШЕВЫЙ СТОЛ

Настольн. поварен. книга разнообраз. пищу ассорти, меню и 500 разнообраз. вегетарианских диетических блюд (заправки, обеды, ужины, десерты, печенье и пр.) Сост. С. Анна и Т. Р. 50 к. Высыл. наложен. платеж.

Москва, Политехнич. Музей 110/0. Ноол. Т-во „КУЛЬТУРА И ЗНАНИЕ“



любые немедленно высыл. наложен. плат. МУЗСЕКТОР ГОСИЗДАТА (Москва, Ленинская, 14/10).

КАТАЛОГИ (сборники), вокальный, балет, дуэты, орк., струнный, мас. худож. литер. книг по музыке). ТРЕБУЙТЕ БЕСПЛАТНО!

ФОКУСЫ

НОВАЯ ОТГАДЫВАНИЕ МЫСЛЕЙ, ОРУД. ЗАНЯТИЕ. ОПЫТЫ И ПР. В ДВУХ ОТД. КНИЖК. 310 стр. 161 рис. Цена 1 р. 80 коп. с перес. 2 р. 20 к. Москва, Моховая, 22/8. Кооп. Т-во „САМООБРАЗОВАНИЕ“

ХОУДЖЕСТВ. ПОРТРЕТ

УВЕЛИЧЕН. ПОЛУЧИТЬ КАЖДЫЙ ПРИСЛАВ ЛЮБУЮ ФОТОГРАФИЧЕСКУЮ НАПЧОЧКУ. Цены: 18 × 24 см. 5 р. 50 к. 24 × 30—7 р. 80 × 40—10 р. 40 × 50—16 р. 50 × 60—20 р. Тон осли (коричнев.) на 25% дороже, в красках на 50% дороже. Заказы выполняются быстро и аккуратно. Оригиналы возвращаются. Худож. Ателье „ФОТО-АРС“ Москва, пр. Худож. театра, д. 1. п. 15. Заказы направлять: Москва 9, почт. ящ. № 346. А. М. Рубинштейн.

ДАВА ВЫПИЛИВАНИЯ АЛЬБОМ

о руковод. и прилож. 12 иллюстр. 5 л. перес. бум. Высыл. нал. за 1 р. 85 к. с перес. Москва, Изд. 1929 г. Моховая, 22/8. Кооп. Т-во „Самообразование“

ЛЮБУЮ КНИГУ

русскую как новую, так и старую, высылает налож. платеж. в 3-дневн. срок Отдел почтовых отправлений и книжного магазина ВЦПС. МОСКВА, Кузнецкий Мост 20.

Теа-Кино-Печать

МОСКВА 9. СТРАСТНАЯ ПЛ. 2/0

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА НОВЫЙ ЖУРНАЛ „ИСКУССТВО“

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ВОПРОСАМ ВСЕХ ВИДОВ ИСКУССТВА, ОРГАН ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ НАРКОМПРОСА РСФСР.

Содержание № 1-го.

1. Место декларации НАРКОМПРОСА по вопросам искусства. 2. А. Луначарский. — „Классовая борьба в искусстве“. 3. Г. Уто Гунперт. — „Власть и стиль“. 4. Вяч. Полонский. — „Социология литературы“. 5. Проф. П. С. Коган. — „Роль ГАХН в деле межд. народной связи с культурой Запада“. 6. Акад. В. М. Фриче. — „О Лессинге“. 7. Н. Писанов. — „Грибоедов под цензурой“. 8. Диего Ривера. — „Моя жизнь“. 9. Эрнст Писанатор. — „Мысли об искусстве“. 10. В. И. Немирович-Данченко. — „Записки о театре“. 11. Г. И. Чулков. — „Годы странствий“. 12. Нисидор Клейнер. — „Анатолий Глебов“. 13. А. Я. Таиров. — „Георгий Якулов“. 14. Проф. И. Боровин. — „Проблемы изучения художественной культуры Советского Востока“. 15. Василий Беляев. — „Бурто-монгольское искусство“. 16. А. Я. Таиров. — „Роль театра в культурной революции“. 17. А. Дейч. — „Кризис театра на Западе“. 18. А. Оболенский. — „Мейстерингеры“. 19. Н. Равич. — „Роль классического произведения в современном репертуаре“. 20. Ф. Ф. Раскольников. — „Отрывки из пьесы „Воскресение“. 21. Г. Якулов. — „Станковизм и современность“. 22. Е. Половцова. — „О плакате и лубке“. 23. И. Хвойник. — „Всесоюзное совещание художников“. 24. Н. Галаровская. — „Ассоциация художников-декораторов“. 25. С. Эйзенштейн. — „Новые формы кинематографического искусства“. 26. Б. Сухаревский. — „Проблема художественности в культурфильме“. 27. С. Корев. — „Очередные задачи нашей концертной политики“. 28. А. Венрик. — „Бела-Барток“. 29. Н. Домучаев. — „Корбизье-Совье“. 30. Волькенштейн. — „Опыт исследования конструктивной архитектуры“.

ОБОЗРЫ (Январь — Февраль).

31. Театр — Р. Пикель. 32. Литература — Б. Таальников. 33. Музыка — Е. Брауде. 34. Кино — Б. Сухаревский. 35. Живопись — А. Эфрос.

ХРОНИКА ЗАПАДА И ОБЗОР ЗАПАДНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ПО ИСКУССТВУ.

В номере будут помещены свыше 50 иллюстраций. Ответств. редакт. журн. А. В. Луначарский. Зам. отв. редакт. А. И. Свиридовский. Ответств. секретарь редколлегия Н. Равич. Журнал выходит ежемесячно, книжками в 10 печат. листов с иллюстр. на специальн. бумаге. В 1929 г. выйдут 10 номеров журн. Подписная цена за 1929 г. — 15 р., на 5 номеров — 8 р. Для годовых подписчиков допускается расписка: при подписке — 3 р., 15-го апреля 3 р., 1-го июля — 5 р. и 1-го сентября — 4 р.

Цена отдельного номера 1 р. 75 к. ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: 1) в Изд. Теа-Кино-Печати (Москва, Страстной бульв., д. 2/42); 2) в Отделении Теа-Кино-Печати — Ленинград, Проспект 25-го Октября, „Дом Книги“ и в Ростове-на-Дону, ул. Энгельса 67; 3) уполномочен. Теа-Кино-Печати, снабженными удостовер. и квитанц. к книж.; 4) во всех почт.-телегр. конторах; 5) во всех киосках Всесоюз. Контр-ства Печати.

Ленинградский Медснабторг



При заказе не менее 3 флаконов за пересылку не взимается. Продажа во ВСЕХ АПТЕКАХ и МАГАЗИНАХ САНИТАРИИ и ГИГИЕНЫ СССР. При отсутствии препарата заказы и деньги направлять: Ленинград, ул. Гоголя, 11, МЕДСНАБТОРГПРОМ.

КРЫСНЫЙ И МЫШИНЫЙ МОР

вызывает повальн. мор грызунов, покидающ. помещен. Абсолютно безвреден для человека, домашних животных и птиц. Научно обосновано. Разреш. Ленингр. Губздравом. Изготавл. в лаборат. под наблюд. д-ра медии. А. Е. Феоктистова. Цена банки без перес. 100 гр. — 95 к., 200 гр. — 1 р. 60 к., 500 гр. — 2 р. 60 к., 2 кило — 6 р. 10 к., 4 кило — 8 р. Высылает налож. платеж.

ЛАБОРАТОРИЯ М. П. ФЕОКТИСТОВОЙ. Ст. Тайцы, Балтийской ж. д. (близ Ленинграда). В 1912 г. удостоен. золотой медали.

ПОСЛЕДНЯЯ МОДА ПАРИЖА! ОЖЕРЕЛЬЕ ИЗ ЖЕМЧУГА

франц. „КЕПТА“ типа „КЕПТА“ искусство, массивн., тяжеловесн., не бьющ., не отлщ. от настоящ., 42 см., с серебр. замк. — 9 руб., 50 см. с серебр. замк. — 11 р., 65 см., с серебр. замк. — 14 р. 130 см. — 23 р., 150 см. — 27 р., 170 см. — 31 р. СЕРЬГИ франц. типа „КЕПТА“ серебр., последн. модн. фасон — 4 р. 65 к. Упаковка, пересылка и страховка посылки бесплатно. Высылает наложен. платежом. Имеется много благодарностей.

Ленинград 40, Пушкинск. 10, кв. 66., А. В. Штейн

Каждый КУЛЬТУРНЫЙ ЧЕЛОВЕК ОБЯЗАН ЕЖЕДНЕВНО ЧИСТИТЬ ЗУБЫ ОСВЕЖИТЕЛЬНОЙ, МЯТНОЙ ПАСТОЙ

Ментодол



БОЛЬШ. 65к. ЦЕНА ТУБЫ. СРЕДН. 45к. ПРОДАЖА ВЕЗДЕ



Г.Г. Истомина

ДВА ЗВОНКА В ДВЕРЬ

Наверное, самой пассионарной личностью в нашей семье был мой прадед Август. В 21 год он принял решение, в корне изменившее жизнь последующих поколений, и переехал из милого и спокойного эстонского Дерпта в Россию. На пути его сначала был Санкт-Петербург, где он встретил мою прабабушку, совсем юную тоненькую девочку-единоверку, уроженку Таллина, с которой связал свою жизнь навсегда.

Пастор кронштадтской лютеранской церкви Святой Елизаветы отметил акт бракосочетания Августа Лорберга и Луизы-Розалии Гризельски в метрической книге 5 февраля 1884 года.

В 1891 году у них родился первый сын Александр. Молодая семья переехала в Москву и осела сразу на Арбате, сначала в Большом Афанасьевском переулке в доме Тихонова, напротив церкви, а затем в доме 10 по Каложину переулку. В Москве у них родилось еще трое детей, среди которых была и Мария-Анна – моя бабушка.

Моя память хранит ее замечательные рассказы о детстве в Каложинском: о хулиганстве и лазанье по деревьям в профессорском яблоневом саду, о свадьбе старшей сестры, праздновании Рождества, о кукольном театре, который прадед устраивал по праздникам в этом старинном и сохранившемся до наших дней особняке.



Супруги Август и Розалия Лорберг со старшей дочерью Адель

Сейчас покажется абсолютно невероятным, но большинство арбатских особнячков было лишено элементарных удобств. Отопление было печное, поэтому во дворе каждого дома существовали дровяные сараи, сараи для инвентаря, конюшни и другие надворные постройки.

Дела деда в типографском процессе, освоенном в одной из самых именитых типографий Петербурга, шли довольно успешно. Весьма скоро в Ваганьковском переулке он возглавил фотоцинкографическую мастерскую, где имел более двадцати учеников. Он

стал одним из первых фотографов, работал вместе с Гиляровским, дружил с ним. Прабабушка Розалия числилась владелицей магазина фотопринадлежностей. Судя по всему, доходы семьи росли, и в 1914 году, уже после свадьбы старшей дочери, было принято кардинальное решение о переезде в новый дом.

Дом был чудесный, современный, красивый, с просторной ванной и комфортабельной кухней. За строительством, думаю, следили каждодневно, ведь располагался он совсем неподалеку – в Малом Николопесковском переулке, 13, то есть почти напротив, если перейти Арбат. Здесь в семикомнатной квартире поселились прабабушка с прадедушкой и трое их детей. Дочь Адель с мужем и дочерью жила отдельно. Наконец многолетние старания деда увенчались успехом: зажили с комфортом, завели кухарку и бонну для младших детей. Сбылась мечта бабушки о собственной комнате – бонбоньерке, маленькой, но очень элегантной. В доме, как сейчас бы выразились, жили в основном представители творческой интеллигенции, музыканты, деятели театра. В частности, бабушкиным другом детства и ранней юности, писавшим ей весьма романтические строки в девичий альбом, был ставший впоследствии известным советским композитором Матвей Блантер – Мотыка, как бабушка любя называла его всю жизнь. В семье говорили по-прежнему по-немецки, ведь число немцев в предреволюционной Москве составляло 22 554 человека (только протестантов, в эту цифру не вошли католики и обрусевшие немцы, перешедшие в православие), читали по-немецки и по-французски, дружили с Бергерами, Лохмусами и Вельманами. По признанию самой бабушки, говорить по-русски она по-настоящему стала, только когда закончила гимназию и поступила в училище Камерного театра, где познакомилась с моим дедушкой Николаем

Олениным. Однако с момента переезда часы жизни ускорили свой обратный ход в отсчете дней счастливых. Радостной и полной надежд жизни в новой квартире было отмечено всего три года.

Революция ознаменовалась для простых граждан в первую очередь прекращением подачи воды. На мои школьные вопросы о том, как в семье был встречен «Великий Октябрь и прогресс человечества», бабушка всегда отвечала, что сразу удрала, прихватив семейные бриллианты, бонна, а прадед велел всем детям сидеть в коридоре квартиры и для развлечения играть в карты, потому что в окна залетали шальные пули. В этом импровизированном убежище собрали детей и своих и соседских: у взрослых были другие заботы. Старшая сестра Адель носила воду и бегала за молоком для малышей. Однажды ночью кто-то пробрался в квартиру, когда все спали, и украл из прихожей все пальто. Потом бабушка до конца своих дней будет говорить: «Запри входную дверь – пальто украдут!»

Голод 1918 года принес первое настоящее горе – заболел туберкулезом костей, вскоре обернувшимся полным параличом, бабушкин старший брат, выпускник юридического факультета Московского университета, – Шура. Вернулся с фронта и умер дома от ран бабушкин гимназический друг Лёля Лепин. Бабушка присутствовала при этой кончине одна, семья Лёли, опасаясь участвовавших немецких погромов и ничего не зная о судьбе сына, призванного на фронт, бежала на родину предков. Охваченная ужасом беспомощности, возвращалась юная бабушка домой, но, на счастье, на несколько дней вернулся с фронта муж старшей сестры – Александр Карелин. Так и хоронили они Лёлю вдвоем, на подводе, которую Карелину удалось достать. Могилу Лёли на немецком кладбище сегодня не найдет уже никто. Прадеда Августа, естественно, выгнали с работы, назначив там же ночным

сторожем. Периодически он получал на обрывках бумаги леденящие душу приказы НКВД о том, что ему надлежит явиться туда-то с аппаратурой для фотосъемки. В сохранившейся только за 1921 год в Историческом архиве г. Москвы домовой книге дома № 13 по Малому Николопесковскому переулку в квартире № 8 значатся супруги Лорберг Август (60 лет) и Розалия (54 года), их дети Александр (30 лет), Владимир (17 лет), девица Мария (19 лет) – моя бабушка, а также:

Ланкау Елизавета, уроженка города Фридрихштадт, телефонистка 22 лет,

Зими́на Ксения Васильевна, вдова из Смоленской губернии, 75 лет,

Кардаш Павел Степанович, шофер 26 лет, разведен,

Малашина Устина Даниловна, сиделка, Никифорова Анастасия Александровна 15 лет (в прихожей),

Ризина Фейга Шмулевна, вдова из Малаховки, с сыновьями Самуилом (15 лет) и Геней (13 лет),

Розин Арон Ефимович, агент 24 лет, холост,

Розин Абрам Моисеевич, агент 20 лет, холост,

Тихомиров Василий Иванович, красноармеец 22 лет с женой Тихомировой Лидией Сергеевной 18 лет, машинисткой,

Чфис Хися Иосифовна, счетовод 20 лет,

– всего 13 подселенцев.

В 1924 году скончался бабушкин старший брат Шура, и в этом же году бабушка вышла замуж и привела все в ту же, уже совсем не комфортабельную квартиру моего дедушку, Николая Оленина, тоже исконного арбатского жителя. Совпадение в один год радостного и трагического повторилось в ее жизни еще раз в 1932 году: 14 ноября скончался отец Август Лорберг, а 26 ноября родилась моя мама Наталья Оленина. И снова что-то случилось с часами жизни в Малом Николопесковском, всего через два года, в 1934-м, начались дедушкины хождения по мукам: Колыма, Магадан, цинга... до 1953 года...

Они остались втроем в прежней комнате бонны,



Студийцы школы-студии Камерного театра на Собачьей площадке в Москве. Крайние справа во втором ряду мои дедушка и бабушка

осколок некогда большой и счастливой семьи: Розалия, Мария и двухлетняя Наталья. Число подселенцев в квартиру росло. Однажды, уже взрослой, я слышала бабушкин рассказ о том, как шла она по любимому Калошину, совершенно убитая обстоятельствами собственной жизни, поскольку комната бонны предназначалась для одного человека, а не для троих, включая маленького ребенка. Шла и случайно встретила старинного знакомого, разговорилась с ним, и он посоветовал ей сдать площадь государству, перестать быть в квартире бывшей хозяйкой, которой все тычат в лицо ее непролетарским, да еще и нерусским происхождением, и просить замены комнаты. Видимо, он помог ей в осуществлении этого плана, и уже скоро бабушка со своей мамой Розалией и ребенком переезжала на новую квартиру, тоже неподалеку, в Большой Афанасьевский переулок, где когда-то начинался московский отрезок жизни семьи Лорберг, только на этот раз в дом 4 квартиру 10. Квартира была новая, в ней никого не уплотняли. Фундамент старого дома был крепок и хорош, а потому дом надстроили на этаж, поселив на новом этаже в основном опять представителей творческой интеллигенции: дирижера, театроведа, журналиста и т. д. Почему-то считалось, что дом 4 – от редакции газеты «Известия». В этой квартире прошло детство моей мамы.

Из окна открывался совершенно потрясающий панорамный вид на Кремль, часть Гоголевского бульвара и Волхонки, на реку и серый «дом правительства» на другом берегу. Первые годы жизни в этой панораме доминировали купола храма Христа Спасителя, который потом снесли, а долгострой пресловутого Дворца советов сменился лучшей бассейна. Арбатский двор, примыкавший к дому, мог бы стать сюжетом отдельного рассказа, да, собственно, и стал им в од-

ной из юношеских повестей Юрия Нагибина. Двор был почти треугольный и ограничивался со стороны Б. Афанасьевского большими доходными домами, нашим и домом со стороны Нащокинского переулка домом писателей, в котором жили Булгаков, Мандельштам, Габрилович, а на доме впоследствии была одна-единственная мемориальная доска, где поминался Мате Залка. Двор был рельефным. Зимой в нем заливалась горка, кататься на которой приходили многие арбатские дети. После высокого старта, приблизительно в своей середине горка делала крутой поворот, что гасило скорость катающихся и переводило энергию их падения в смех. Именно эта примета позволила мне узнать двор в рассказе Ю. Нагибина, а пара уточняющих вопросов подтвердила пра-



Мария Августовна Лорберг и Николай Михайлович Ленин (моя бабушка и дедущка) вскоре после свадьбы на ступенях храма Христа Спасителя в Москве



После смерти прадедочки и ареста дедушки остались одни:
моя прабабушка Розалия, бабушка Мария
и еще совсем маленькая мама Наталья

вильность моей догадки. Крутых горок в арбатских переулках было всего две, но первая, та, что ближе к самому Арбату, была совершенно прямая.

Со стороны Гагаринского переуллка двор ограничивался тремя маленькими домиками с небольшими палисадниками, и еще один такой домик допожарной Москвы с маленьким садиком числился как дом № 2 по Большому Афанасьевскому. По моему глубокому убеждению, в одном из этих домиков, а именно в том, что был ближе всего к Нащокинскому переулку, и жил герой булгаковского романа Мастер. В этом домике совпадали все указанные в романе приметы, и не нужно было делать никаких натяжек, как с привязкой к адресу в Мансуровском переулке. По детской надобности дворовых игр мне приходилось бывать там у девочки Оли, фамилию которой память не сохрани-

ла. Помню вход со двора через кухню, поскольку вход с улицы был заколочен, и круглую печку слева от входа в длинной комнате, той самой, что напротив кухни и из ее окна были видны только ноги. Помню и главную примету – огромную белую акацию напротив входа в этот дом и твердо знаю, что больше белых акаций в арбатских переулках не было, ну да Бог с ними. Все это давно снесено. На месте этих домиков бездушное многоподъездное сооружение желтого кирпича.

Из квартиры в Большом Афанасьевском, из комнаты окнами во двор, бабушка с мамой уезжали в эвакуацию. Прабабушка Розалия уезжать категорически отказалась. Бабушка тогда собрала бромосеребряные пластины с фотографиями, сделанными моим прадедом Августом, книги и снесла все это в сарай, который у каждой семьи был во дворе. Во время налетов на Москву в сарай было прямое попадание бомбы, уничтожившее творческое наследие деда Августа. Сохранилось всего несколько сделанных им фотографий, да и то уцелели они только потому, что бабушка не попыталась их спрятать.

Из этой квартиры ушла и не вернулась прабабушка Розалия. Молчаливая и крайне сдержанная, она почти стерлась даже в памяти моей мамы. Что могло случиться с немецкой старушкой, плохо говорившей по-русски в осадной Москве 1941 года? Моя мама помнит о своей бабушке только то, что та любила кормить птиц... Из города тогда бежали все кто мог, жгли архивы, в воздухе пахло гарью и летали обрывки горелых бумаг. В паспортном столе Хамовнического ЗАГСа мне выдали справку, что прабабушка скончалась еще в апреле от кровоизлияния в мозг, но мама помнит, что она провожала их в эвакуацию в конце августа! Стоит ли говорить, что значит с позиции сегодняшнего знания и этот диагноз, и несовпадение архивных дат с реальными, а еще националь-

ность... Приводя меня еще в детстве на немецкое иновещерское кладбище в Лефортове, теперь политкорректно именуемое Введенским, моя бабушка всегда говорила мне: «Бабушка Роза в могиле только значится, на самом деле ее там нет, ты помни об этом», — и в ответ на все мои вопросы нелепо добавляла: «Ее машина сшибла». Никаких доказательств в поддержку версии с машиной мне найти не удалось.

В 1943 году вернувшись из эвакуации, получив там известие о гибели матери, бабушка долго боялась пойти в квартиру в Большом Афанасьевском. Несколько месяцев она жила у своей сестры Адель на улице Грановского (теперь Романов переулок). Мне всегда трудно это представить, ведь от Грановского до Афанасьевского моим шагом всего десять минут ходу. Первый раз они вошли в квартиру вместе, мама это хорошо помнит. Было гулко пусто, но квартира не была занята чужими, и они переехали. Бабушка устроилась работать медсестрой в роддом Грауэрмана. Знакома была бабушка со всем Арбатом. «Мария Августовна, помните, как я рожала?» — кричала ей какая-то женщина с другой стороны улицы, перекрикивая поток машин, двигавшихся по Арбату, лишь много позже ставшему пешеходным. Ее вечно пропускали без очереди какие-то знакомые, бесконечно окликали какие-то тетки. Кажется, она была такой же необходимой и неотъемлемой частью Арбата, как 39-й троллейбус, зная про каждого, сколько у кого детей, куда делся муж, кто вдова, кто семья погибшего, при этом никому и никогда не пересказывая чужих тайн.

В квартиру в Большом Афанасьевском вернулся из лагерей и ссылки мой дедушка. После возвращения он больше не работал, а после моего появления на свет дел у него было больше чем достаточно. В своем раннем и начальном школьном детстве я была



Розалия Лорберг, последняя фотография

однозначно продуктом дедушкиного воспитания.

В нашей коммунальной квартире было всего шесть комнат, но эти комнаты все постарались перегородить, так что из одной двадцатиметровой получалось две. Поскольку я тоже родилась и выросла в этой квартире, многих соседей я довольно хорошо помню.

Одно из первых воспоминаний о коммунальных коллизиях я услышала от моей бабушки на поминках по ее двоюродной сестре Марии Иоганновне. Сестра одна воспитывала двух дочерей, времена были очень тяжелые, надо было работать, и они договорились с бабушкой, что девочки поживут в Большом Афанасьевском. Не потому что бабушка не работала, ее тоже не было дома с утра до ночи, но соседи могли присмотреть, да и моя мама была чуть постарше, чем сестры. В общем, пришла как-то бабушка домой, а все три девочки сидят надув губы и чуть не плачут. Оказывается, сосед Митрофанов где-

то достал своим детям надувные шары, те страшно счастливы, бегают по квартире и хвастают. Бабушка нашла решение мгновенно: в роддоме Грауэрмана сестры должны были заниматься просветительской деятельностью о методах контрацепции среди населения, для этого им выдавали брошюры и презервативы. Изделия № 2 были надуты, ну и что, что не цветные, зато каждой по два! Дети счастливы, а Митрофанов посрамлен.

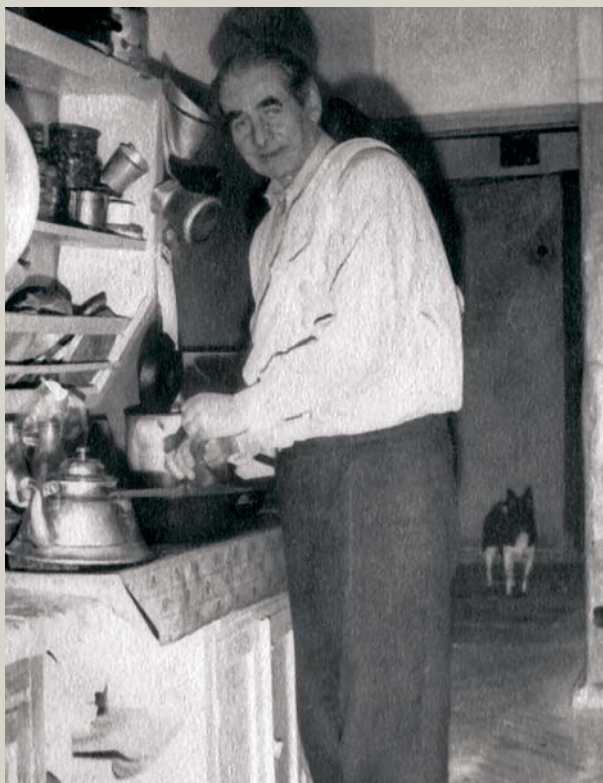
Этот Митрофанов, действительно, личностью был весьма одиозной, такой типичный служащий-снабженец из михалковского «Фитиля». По всей квартире он расклеивал некие призывы и правила, обращенные к соседям. Правила Митрофанова предписывали, как вести себя в туалете и возле телефонного аппарата, сколько минут можно где. Конечно, эти правила никто не соблюдал, а их автора с ночной вазой, наполненной до краев, на вытянутой руке помнят многие мои одноклассники.

На входной двери был вывешен список жильцов с указанием, кому сколько раз звонить. Нам было 2 звонка, а Митрофановым – 3, и так до 6, но возле фамилии Митрофанов было дописано его же рукой на той же бумажке – «инженер». Подозревая в Митрофанове отсутствие всякого образования в период редких, но все же случавшихся квартирных баталий, бабушка использовала для обозначения этого субъекта отрицательную приставку (ан-), смотрела на него уничтожающе, говорила «анжинер» и хлопала нашей дверью. Тонкостей этого лингвистического оскорбления Серафим Филиппович Митрофанов понять был не в состоянии, и слава Богу, наверное. В этой семье было двое детей и собачка Булька. Когда Бульки не стало, ее оплакивала вся квартира, и именно на этом примере мой дедушка объяснял мне, что такое смерть. К Митрофанову же все отно-

сились как к чудаку, только бабушка была его антагонисткой.

Соседка Валя, женщина простая и добрая, работала вышивальщицей. На двери она была обозначена как «Безменовым – 4». Валя вышивала герб Советского Союза на чудовищных плюшевых знаменах, которые потом можно было увидеть в разных учреждениях и в нашей булочной на углу Кропоткинской, теперь Остоженки. Сначала ситец натягивался на пяльцы туго-туго, к нему крепился плюш, поверх с кальки наносился рисунок, все эти колосья, глобус, изречения на языках союзных республик. Валя отделяла шелковую нитку, и ее рука начинала летать вверх-вниз. Мне разрешалось сидеть тихо и вышивать на уголках белого ситца у самого края палец моих птичек. Законченная вышивка натиралась с тыльной стороны каким-то варевом, которое Валя творила на плите с использованием ржаного хлеба.

Напротив кухни была дверь в комнату Иды Залкинд – 5 звонков. На моей памяти Ида была овдовевшая статная блондинка с правильными чертами красивого лица, возраста, видимо, пенсионного либо приближавшегося к нему. Это она, когда мой дедушка слег с инсультом в больницу, а я превратилась в ребенка с ключом на шее, научила меня делать яичницу с помидорами так, чтобы та не подгорела. Между нашими семьями исторически существовали сложные отношения. Дедушка был уверен, что по вине Иды с кухонного стола пропадают серебряные ложки. Сегодня хочется спросить, зачем они были ей? Но отношение дедушки было мне понятно и неоспоримо. Дедушка был воспитанником очень богатого человека, который завещал ему единственную вещь, с которой никогда не расставался. Это была модная в начале века черная тросточка с серебряной ручкой и с монограммой, странная в своей тяжести. Когда бабушка пе-



Мой дедушка Николай Михайлович Оленин на кухне нашей коммунальной квартиры. На втором плане собачка Булька. Фото С.Ф. Митрофанова

реезжала с квартиры на квартиру, тросточка переехала с ней. Соседи у бабушки эту вещь видели. Еще до войны супруг Иды Залкинд сломал ногу. У бабушки попросили трость на время. Бабушка дала. Когда дедушка вернулся из лагерей и ссылки, он, естественно, поинтересовался судьбой трости и буквально за голову схватился. Состоялся скандал, в результате которого трость, про которую соседи говорили, что она потерялась, вернули с отвернутой ручкой и отломанной монограммой, легкую и полую на всю глубину. Вот и вся история, после нее вряд ли кому-то могли быть интересны какие-то ложки.

Мой дедушка еще до революции закончил коммерческое училище и даже в ссылке был бухгалтером. В его квартирные обязанности входило рассчитывать всем квартплату. Он это делал мастерски, а потом собиравшись собрание соседей, и там решали, кто и когда будет подметать коридор и делать еще что-то общественное. Кстати, обществен-

ное за дверью обозначалось как «1 – Общий». За общественное всегда ратовал Митрофанов. Дедушка же, как я теперь понимаю, делал все возможное, чтобы не вникать в общественную жизнь, после своего возвращения он занимался домашним хозяйством и старался ни во что не лезть. Всем арбатским пьяницам он подавал рубль, ходил в «Диету» за продуктами, его хозяйственная сумка хранила запахи ветчины, кофе и бубликов. Дедушка варил борщ и потрясаяще мариновал грибы, писал каллиграфическим почерком и много читал. Поскольку все дореволюционные книги нашей семьи погибли в том самом сарае во время войны, а описываемые мною годы были эпохой страшнейшего книжного дефицита, понятно, насколько значимым было для него еще одно наше квартирное соседство, обозначенное на двери как «Аграновским – 5».

Тетя Деля – она же Адель Леонидовна Аграновская – долгие годы работала заведующей букинистическим отделом маленького книжного магазинчика у метро «Добрынинская». Такого человека сейчас назвали бы экспертом. Про все, что когда-либо издавалось и что-либо из себя представляло, она помнила тираж и время издания. Обладательница уникальной библиотеки, она не давала своих книг никому из соседей, кроме моего деда. Красавица с роскошными волосами, которые сама именovala «соль с перцем», тетя Деля не терпела одежду цвета «яичница с луком», была убийственно остра, даже скорее саркастична на язык. На мое совсем раннее детство пришелся развод с ее супругом Евсеем Ароновичем, к которому я приходила не стучась и со всей детской невинностью говорила: «Дядя Евсей, давай будем пить чай!» – и в их тесно заставленной антиквариатом комнатке на какой-то табуреточке мы организовывали чай из стаканов в подстаканниках с маленькими бутер-

бродиками, сегодня сказали бы «канаше», из швейцарского сыра и бублика. С тех пор и навсегда я полюбила это сочетание.

Мать тети Дели – баба Лия, Лия Иосифовна Атливанникова, дочь богатого самарского ювелира, жила здесь же, в выгороженной темной комнатке. Когда-то она приняла активное участие в моей жизни и судьбе, выкормив меня, ребенка, отказавшегося от материнского молока, мацой, размоченной в чае. Готовила баба Лия божественно, проводила много времени на кухне в беседах с моим дедом, а с меня взяла честное-пречестное слово, что я никогда не буду глотать виноградные косточки.

Еще в этой семье были две дочери: Маша – старшая и Лена – младшая. Лена – на двенадцать лет меня старше, учила меня ходить, кормила, одним словом, всячески упражняла на мне свой материнский инстинкт. У них в семье, у первых в нашей квартире, появился телевизор. Не умея еще тогда толком говорить, я врвалась в их комнату совершенно

по-свойски и выпаливала на одном дыхании: «Тетя Деля, включи телевизор, пожалуйста». И мне его включали!

Уже несколько позже Лена училась на психфаке МГУ, и мой папа помогал ей решать какие-то задачки по логике, а мама, которая была старше ее на двенадцать лет, была посвящена во все ее девичьи секреты. Помню, сколько смеха вызвала бандероль от отвергнутого Ленкиного поклонника, пришедшая откуда-то с Севера. В бандероли в красивой коробочке лежали два страшных и огромных зуба и была приложена записка: «Это зубы от того питекантропа, которого ты когда-нибудь полюбишь». Бабы Лии уже не было в живых, когда Лена однажды варила на кухне стуженку – такое советское лакомство, оно должно было вариться часами в запечатанной консервной банке. Конечно, к ней пришли какие-то гости, она забыла про банки, и стуженка взорвалась, повиснув на кухонном потолке страшными сталактитами. Это Лена, следуя совету моей



Баба Лия (Лия Иосифовна Атливанникова) и маленькая Галя Истомина



Лена Аграновская и маленькая Галя Истомина в кроватке

мамы ставить сирень в кипящую воду, чтобы та дольше не вяла, налила эту воду в роскошную хрустальную вазу, которая от ужаса разлетелась вдребезги. Я помню ее свадьбу в «Праге» и то, как она говорила со своим мужем, лежавшим в больнице, по телефону, закрепленному в коридоре: «Кыська, – шептала Ленка, – ну что тебе принести почитать, может быть, Чехова, хочешь Чехова?» Наверное, она полагала, что ее никто не слышит, но в нашей коммунальной квартире слышимость была безукоризненная, в особенности когда все укладывались и наступала тишина.

Телефон в коммуналке – предмет особенный и совершенно не интимный. Возле него Митрофанов помимо правил вывешивал список необходимых номеров. Угораздило же его сделать в слове «прачечная» сразу две ошибки – получилось «прачешна». Конечно, это дало новый повод высказаться моей бабушке: к понятию «анжинер» прибавилось обозначение «прачешна». Например, после очередного общественного собрания в коридоре, на котором дедушка раздавал квитанции с квартплатой, куда бабушка старалась никогда не появляться, она язвительно спрашивала: «Что там наша “прачешна”, громче всех выступал?»

По мере моего взросления квартира вынуждена была бороться со мной за право доступа к телефонной трубке. По телефону делались уроки, мой дедушка звонил моим одноклассникам, чтобы узнать, что нам задали. В крайнем случае, ему приходилось звывать к маме, которая, в моем представлении, всегда была на работе. До сих пор помню наш номер Г6-64-83 – это ответ на вопрос тех, кто спрашивает в антикварных магазинах, зачем на телефонах с дисковым набором указаны буквы. Когда один из соседей безнадежно висел на телефоне, а другому приспичивало позвонить, этот другой начинал постоянно возникать в коридоре. Сначала он

шел из своей комнаты в кухню, потом в ванную, потом в уборную и, наконец, начинал шипеть: «Ну сколько можно?» Терпение соседей нельзя было испытывать бесконечно, и разговор приходилось сворачивать.

Все телефонные пристрастия соседей были хорошо известны. Например, Митрофанов ежедневно звонил своей родной сестре Рае и во всех деталях рассказывал ей подробности прошедшего дня. Его «Рая, сегодня в квартире так холодно, что мы всей семьей вышли к телевизору в одеялах» я хорошо запомнила. По этой фразе можно было подумать, что у них по крайней мере свой кинозал в особняке, а не две небольшие комнатухи, перегороженные из одной тридцатиметровой. Непонятно, как они осуществляли выход.

Еще одним местом всеобщей необходимости была ванная. Утром и перед сном, когда всем туда надо, очередь в занятую ванную обозначали полотенцами, которые вешали на гвоздики перед ее дверью. «Иди быстро в ванну, а то займут» сохранялось в лексиконе моей бабушки даже тогда, когда мы уже переехали в отдельную квартиру. Кто из соседей сколько там проводил времени, было известно, и Митрофанов регламентировать это был не в состоянии. Я могла торчать в ванной часами, а на возмущенный мамин вопрос, что там можно делать так долго, отвечала: «Перчатки из пены». Остается только представить, как сегодня бы я реагировала сама на такой фрукт в перчатках.

Газовая колонка, служившая источником горячей воды, требовала особого подхода. Если кто-то собирался принять душ (сомневаюсь, что кто-то принимал ванну), то на кухонный кран вешалась перевернутая кружка, поскольку, если кто-то пользовался водой в кухне, душ становился ледяным. К этому все соседи относились с пониманием, и правило никто не нарушал. Устройством колонки

был обусловлен запрет на включение крана с холодной водой даже в ванной во время приема душа. Эта напасть тоже случилась однажды со мной, и чудовище взорвалось, а я в мыльной пене вылетела пулей в коридор. Но это было уже совсем незадолго до того, как мы все покинули нашу коммуналку.

В семидесятые годы наш дом «забрало» Министерство обороны, и всем жильцам были предоставлены отдельные квартиры. Именно тогда мы поняли, как любим наш Арбат и как трудно фактически переезжать в другой город. Самым страшным представлялись безликие новые районы с серыми блочными домами, которые с особым тщанием предлагали всем. Кстати, тогда исчезли и домовые книги, не появившиеся потом в соответствующем архиве, словно мои соседи и мы никогда и не существовали.

Нам повезло, и наша семья уехала на Серпуховку, но в новой квартире дедушка прожил всего полгода. Валя, если мне не изменяет память, оказалась в Новогирееве, Аграновские – в нескольких автобусных остановках от Преображенки. Практически все готовы были согласиться на уменьшение предоставляемой площади с компенсацией за счет района, но наши пожелания никого не волновали. Это был период активного сноса арбатских переулков, когда именно в этот район хлынули совершенно другие люди, про

которых Булат Окуджава потом сказал, что «флора там все та же, да фауна не та».

Арбата как такового больше нет. Это район исключительно приезжих, с какими-то привокзальными запахами и грязью, матерной бранью и отсутствием малейшего интереса к прошлому. Собственно, именно в этот момент «Великий Октябрь и прогресс человечества» до конца уничтожил арбатских жителей. Арбат покинули не только все мои квартирные соседи, но и все родственники нашей семьи, которые тоже во множестве там жили, друзья и знакомые, нет там даже больше ни одного из моих одноклассников. Все эти изменения уложились в десять–пятнадцать лет, начавшись с патриотических настроений, когда на фасаде дома писателей в Фурмановом переулке, назначенного к сносу, ежедневно обновлялась сделанная мелом надпись «в этом доме жил Булгаков», и закончившись внутренним запретом на боль, которая пронзила меня, когда я увидела, что у метро «Кропоткинская» спилили-таки старинный громадный тополь, с него еще мой дедушка во время весенних прогулок срывал мне сережки. На месте тополя теперь несколько тротуарных плиток другого цвета и желтый ларек «Связной». В булочной на углу – обувной. На месте сомнительного бассейна – сомнительных архитектурных достоинств храм на гараже.

Такая знакомая пересадка в Берлине. Полное погружение в язык предков. Чашка кофе, сумерки или солнце, когда дождь и снег, когда жара... Независимо от времени года я четко и всегда радостно знаю, что будет дальше. Бесшумный и удобный немецкий поезд приблизится к платформе, спокойный голос объявит «Хале ан де Заале», я направлюсь к выходу и... как только моя нога коснется платформы, услышу родное арбатское растянутое «Га-а-алка!» и окажусь в объятиях Ленки Аграновской. И не объяснить нам никому, ни ей ее знакомым, ни мне моим коллегам, кем мы с ней приходимся друг другу. Просто мы скажем, что мы родственники, и далеко за полночь усядемся на кухне, я с наслаждением сниму пробу с холодца, приготовленного, наверное, еще по рецепту бабы Лии, а разговор будет крутиться вокруг нашего настоящего и будущего, иногда съезжая на наше прошлое, которое мы очень хорошо помним.



А.С. ХОХЛОВ

КВАРТИРЫ ДЕТСТВА МОЕГО

*Давно ль мы были молодыми,
Пред нами раскрывался мир,
Тогда всех нас в туманном дыме
Жизнь выводила из квартир
Московских, тесных, коммунальных
На переплет путей глобальных,
На поприще грядущих дел,
Нас не тревожил их предел...*

Я стоял как прикованный перед витриной антикварного магазина на углу Бакунинской и Бауманской. Тогда ее называли еще по старинке Немецкой. Мама спокойно оставляла меня здесь и шла за продуктами на Немецкий рынок. Витрину заполняли разные лампы, люстры, вазы, подсвечники, шкатулки... В центре этого блестящего и сверкающего обилия стояли часы, которые и приковывали мое внимание. Они притягивали меня так, что, казалось, нет никаких сил, способных оторвать меня от металлического поручня, защищавшего стекло витрины. Часы были совсем не похожи на ходики, которые висели в нашей комнате. Фронтон с двумя коринфскими колоннами литой бронзы обрамляли белоснежный, круглый, слегка выпуклый циферблат. Его украшали четкие черные цифры и затейливые стрелки. Но главное, что поглощало мое внимание, – это витая струйка воды, дугой вытекавшая из отверстия под ци-

ферблатом. Сколько бы и когда бы я ни смотрел на нее – она никогда не кончалась. И я готов был стоять бесконечно, дожидаясь, когда же, наконец, из такого маленького часового ящичка вытечет вся водичка. Мама с трудом отрывала мои руки от поручня и тащила домой. Легкость, с какой она оставляла меня у витрины, объяснялась еще и тем, что я к трем годам твердо знал свой адрес: Бауманский переулок, дом семнадцать.

Наш дом находился неподалеку. По переулку, который продолжал Бауманскую улицу, мы доходили до трехэтажного кирпичного дома и через его подворотню попадали во двор с четырьмя двухэтажными деревянными домами. Под одним из них в подвале и находилась наша коммунальная квартира.

Родители мои поженились в 1930 году. Отцу тогда шел двадцать седьмой год, а маме – двадцать первый. Крепких молодых людей крестьянской закваски советская власть вынуждала покидать родные деревни в поисках хлеба насущного. С семнадцати лет отец скитался по Центральной России, пока не осел в подмосковном Подольске. Здесь он устроился на Механический завод (бывший завод Зингера) уборщиком территории. Мужичья хватка помогла ему, парню с двумя классами церковно-приходской школы, перепробовать несколько рабочих профессий и выбрать одну из них по душе. Он овладел специальностью слесаря-сборщика и налад-



Родители Мария Тимофеевна и Семен Егорович Хохловы после свадьбы, 1930

чика машин, выпускаемых заводом. Видимо, начальство ценило его: зарабатывал он неплохо, и в скором времени ему предстояло получить комнату.

Наезжая по выходным в Москву, отец у друзей познакомился с моей мамой. Она часто приезжала из деревни к своему отцу, моему деду Тимофею. Дед овдовел, когда маме шел шестой год. Через полтора года он снова женился. От первого брака у него было четверо детей, от второго появилось еще трое, а у новой жены была дочь от ее первого брака. Чтобы прокормить такую ораву, он метался между Москвой и деревней: зимой подрабатывал на Казанском вокзале носильщиком, а с весны до осени занимался сельским хозяйством.

Дед жил недалеко от вокзала в Первом Спасском тупике. Там стоял приземистый одноэтажный кирпичный дом всего с одной-единственной квартирой. По тогдашним понятиям, она была со всеми удобствами: водопровод, канализация и

центральное отопление. Квартира начиналась с необъятной прихожей-кухни, из которой длинный коридор вел к пяти жилым комнатам. Две смежные комнаты в начале коридора занимала семья из трех человек, а в торце – находились две смежные дедовы комнатухи. В пятой – проживал одинокий мужчина.

Когда мои родители подали заявление в ЗАГС, отец предложил маме уехать к нему в Подольск. Но она заявила, что они станут жить у ее отца в Москве. Ах, амбиции любимой женщины! Чего только ни сделает мужчина, чтобы угодить ей. Отец перевелся в Москву работать механиком на крупной швейной фабрике «Большевичка» и переехал жить к деду. Знали бы молодожены, какие сюрпризы преподнесет им это решение.

Пока все складывалось как нельзя лучше. В детстве маме не пришлось учиться: уже с семи лет она помогала по хозяйству, а с восьми – нянчила сводных братьев. Теперь ей представилась возможность посещать

курсы ликбеза и выучиться грамоте. Муж работал на престижном предприятии, которое находилось практически рядом с домом. Вскоре у деда Тимофея поселился и я, крепкий, здоровый (во мне было двенадцать фунтов) и очень горластый бутуз. Дед удивлялся: «Столько младенцев прошло через мои руки, а такого крикуна не было». Не сговариваясь, роддомовская челядь и мои родственники предлагали дать мне имя Илья. Но родители нарекли и крестили меня Александром. Мои крестными были младший брат отца – дядя Вася и сводная сестра мамы – тетя Маруся. Дядя учился в каком-то техникуме и жил в общежитии, а сводная тетя проживала у своей бабки. Оба они и мой дед охотно возились со мной, помогая маме.

Однажды это безоблачное существование было серьезно омрачено. Как-то вечером родители пили чай в проходной комнате, уложив меня спать в соседней, где висела моя люлька. Вдруг из той комнаты раздался крик, совсем не похожий на мой обычный плач. Отец заглянул и увидел на краю люльки крысу. Она мгновенно спрыгнула на пол и исчезла. Лицо мое было в крови: коварный грызун успел укусить меня за левую щеку над уголком рта. Так я получил первое боевое крещение в моей первой коммуналке. Отец несколько дней охотился и поймал злодейку. Как он уверял меня потом, что это была именно та крыса. Так это или нет, но больше кровавые вампиры мою люльку не посещали. На память о случившемся у меня сохранился еле различимый шрам. Страсти улеглись, жизнь потекла по-прежнему, летом мы жили втроем, а зимой – с дедом Тимофеем, и пока всех это устраивало.

Но тут неожиданно-негаданно (мне только что минул год), без всякого предупреждения из деревни приехала мачеха с сыновьями, моими сводными дядьями. Впоследствии дядей я называл только одного из них – Илью.

Он был старше меня на двенадцать лет и держался особняком от своих братьев, Василия и Анатолия. Называть их дядями мне в голову не приходило: первый был на пять лет, а второй – на три года старше меня.

Сразу по приезде мачеха заявила падчерице, чтоб та немедленно съезжала с квартиры. Родители начали лихорадочно искать хоть какое-нибудь пристанище. Но квартирный вопрос уже стоял остро и портил характер москвичей основательно. Мачеха была непреклонна. На правах любимой дочки мама пыталась упросить своего отца подождать, пока она найдет что-нибудь подходящее. Однако дед Тимофей полностью попал под каблук своей жены и хранил недоброжелательный нейтралитет. От слов мачеха перешла к делу. В отсутствие родителей она стала регулярно поливать их постель водой. Делала она это профессионально, видимо, получив сноровку на огороде. Трудно предположить, чем бы все это могло кончиться, но родителям вдруг где-то подвернулся угол, и они не раздумывая съехали.

Полтора года со мной на руках родители мыкались по разным углам и комнатам. Конечно, тяготы этой жизни до моего сознания не доходили. О том времени моя память сохранила несколько разрозненных, не связанных между собой фрагментов. В их калейдоскопе возникали то разные комнаты с таинственными закоулками, то незнакомые дяди и тети. Дяди, как правило, показывали мне «козу» или подбрасывали меня на руках. Тети кормили, раздевали и одевали меня или сажали на горшок. Особенно запомнилось, как одна из них пропускала через мясорубку творог. Отец никогда не мог сосчитать точно, сколько тогда им пришлось сменить углов и комнат. Но при любом подсчете их получалось не меньше десяти.

Последнюю комнату родители снимали в поселке Пушкино. Нас приютили Галеевы,

большая и милая татарская семья. Мне хорошо запомнился их деревянный двухэтажный дом, где мы жили наверху. Дом кишел детворой, и в хорошую погоду вся она высыпала во двор. Двор был большой, с зелеными лужайками и редкими соснами. На вытоптанной полянке перед домом стояли два высоких столба с железной перекладиной, с которой на металлических тросах свисали качели. Часто кто-нибудь из старших ребят забирался на них, и к нему на колени усаживали меня. Постепенно раскачиваясь, мы начинали взмывать под самую перекладину и оттуда падать камнем вниз. Тут я впервые ощутил, что значит – «дух захватывает». Малышня жила дружно, ссор и потасовок из-за игрушек не бывало. Общаясь с обитателями дома, я начинал лопотать по-татарски.

Отец навещался нечасто, иногда его не бывало по нескольку дней кряду. В редкие дни пребывания с нами он много занимался со мной, играл, водил гулять по поселку, качал на качелях. Особенно мне нравилось рассматривать с ним красочную азбуку. Она печаталась на плотной бумаге большого размера. В каждом квадратике азбуки помещалась картинка какого-нибудь предмета и первая буква слова, его обозначающего. Таких азбук у меня было десятка два. Несколько штук из них мы разрезали на отдельные квадратики, и он учил меня составлять из них слова.

Расставание с отцом всегда происходило под мой рев. Я видел со второго этажа его фигуру в черной рубашке, спешившую к электричке на Москву. Обливаясь слезами и вытянув руки, я манил его пальцами и кричал: «Папа, кази ка!» На моем языке это означало: «Папа, поди ко мне». Причина частых исчезновений отца скоро выяснилась. К ним оказался причастен дядя Ваня, старший брат мамы. Ему удалось невероятное: он выхлопотал моим родителям разре-

ние на оборудование жилой площади. Под это разрешение выделялось место в коммунальной квартире, которая располагалась в подвале жилого дома. Пока мы с мамой пребывали в Пушкине, отец занимался обустройством нашего жилища. Для начала требовалось выкопать и вынести наружу не менее пятнадцати кубометров земли. В этом ему помогли родственники, будущие соседи и товарищи по работе. К концу лета комната была отделана, и необходимые на нее документы оформлены. Но самое главное – родители получили прописку в этой комнате, что делало их теперь полноправными москвичами.

В наше новое жилище с улицы вела открытая каменная лестница. Пятнадцать ступеней спускались в приямок, ограниченный фундаментом дома и кирпичными стенками. Внизу лестницы находилась входная дверь рядом с окном. Оно было единственным в этой подвальной четырехкомнатной квартире. За входной дверью начинался узкий темный коридор, освещенный подслеповатой электрической лампочкой, которая горела круглые сутки. Чтобы попасть в него, надо было спуститься еще на три ступеньки, уже деревянных. Сразу слева, в длинной глухой стене, располагалась дверь в жилую комнату. С правой стороны коридора тянулись грубые дощатые столы, заставленные примусами, керосинками, нехитрой кухонной утварью. Над столами висели корыта, тазы, детские санки. В конце коридор расширялся, образуя нечто вроде холла. В этот холл выходили двери трех остальных комнат. Там же находился водопроводный кран с раковиной и уборная. А вот вентиляция и какое-либо отопление в подвале отсутствовали полностью, поэтому с началом холодов керосинки и примусы жгли не только на столах в коридоре, но и в комнатах.

За дверью в самом начале коридора жили Мелковы. Их комната выгодно отличалась от остальных: она была самой просторной (двенадцать квадратных метров), и в ней было окно, которое упиралось в кирпичную стенку приямка. В этих апартаментах проживало шесть человек: дядя Митя с женой, тещей и тремя детьми. Дуся, их старшая дочь, училась в четвертом классе, а младшие, погодки Минька, мой ровесник, и Настя, были дошкольниками. В холле за уборной впятером на десяти квадратных метрах ютились Новиковы. В отличие от Мелковых, у дяди Кузи не было тещи. Его старшая дочь Клава училась в шестом классе, средний Петя – в школе для глухонемых, а Борька, годом старше меня, также был дошкольником. Напротив Новиковых на семи квадратных метрах размещались Беляевы: тетя Параша и ее сын (для меня дядя Коля), парень лет двадцати трех. Тетя Параша приходилась тещей нашему благодетелю дяде Ване. Рядом с ними на шести квадратных метрах жил я с родителями. В отличие от квадратных комнат соседей наша имела форму буквы Г. Все ее называли сапогом.

Обитатели подвала были людьми простыми и работающими. Мелков-старший работал ломовым извозчиком, дядя Кузя столярничал. Их жены трудились на ткацкой фабрике, а тетя Параша – на швейной. Ее фабрика была так близко, что обедать она приходила домой. Не работали только Минькина бабушка и моя мама. Правда, когда мне пошел четвертый год, мама стала работать, только занята она была неполную пятидневку. Днем за малышами присматривали Дуся и Клава, а за мной еще и тетя Параша. Она выручала родителей и по вечерам, когда те уходили в гости. Тогда я перебирался к ней в комнату. Мы устраивались на большом сундуке. Тетя Параша открывала коробочку с нюхательным табаком и начинала рассказывать мне сказки, под которые я быстро засыпал.



Саше Жухову четыре года

Народ нашей коммуналки жил открыто. Двери в комнатах никогда не запирались. Помнится, в них и замков-то не было. Взрослые запросто заходили друг к другу одалживаться по мелочам либо побалагурить. Застолья собирались редко, и если случались, то никто и никогда не напивался до изумления. Тяжб из-за уборки коридора и общих мест не возникало. Единственное, что вызывало трения, – это расчет платы за электроэнергию. Но мой отец радикально решил это затруднение, установив контрольный счетчик для нашей комнаты.

Дети по примеру взрослых тоже жили мирно. Чаще всего мы собирались играть или у Миньки, или в коридоре. К Борьке я ходить побаивался из-за его старшего брата. Петя не был злым мальчиком, но гораздо на всякие страшилки. Он неплохо рисовал и часто делал маски из раскрашенной им бумаги. Впервые познакомиться с этим увлечением мне пришлось вскоре после нашего вселения в подвал. Родители приучили меня регулярно мыть руки перед едой. Как-то я уныло брел к умывальнику, вдруг из темного угла холла возник Петя в самодельной мас-

ке. Я оторопел, хотя в этом чуде и узнал его, но сдвинуться с места не мог. Он смотрел на меня несколько мгновений, сверкая глазами сквозь прорези, потом сорвал маску, беззвучно засмеялся и скрылся за своей дверью. У Мелковых было проще: мы с Минькой и Настей составляли дружную компанию. Когда наши игры, достигнув апогея, начинали докучать Дусе, она приструнивала нас. Мы забирались от нее на полати, где спали Настя с Минькой, и оттуда дразнили ее: «Душка-кадушка».

Одна из таких игр закончилась для меня скверно. Салки были в самом разгаре. Погнавшись за Минькой, я споткнулся и упал ничком, ударившись переносицей о глиняный горшок. Он, не выдержав удара, разлетелся вдребезги. От моего рева зазвенели стекла в окне. Минькина бабушка подхватила меня и стала промывать мне лицо водой из чайника. Вбежала мама, выхватила меня и помчалась в поликлинику, благо она находилась рядом. Я открыл глаза, когда все процедуры были позади. У маленького столика врач в белом халате складывал блестящие никелем инструменты. Перехватив мой взгляд, он сказал: «Ну-с, молодой человек, вам весьма повезло, весьма». Через несколько дней тот же врач снял скобки с моей переносицы. Поговорив о чем-то с мамой, он обратился ко мне: «Теперь у вас, молодой человек, появились особые приметы». В памяти мгновенно всплыло незнакомое слово «весьма». Придя домой, я спросил у Миньки, что оно значит. Тот бойко ответил: «Это такие висюльки». Ответ не убеждал. Никто из присутствовавших тогда в подвале не мог или не хотел удовлетворить мою любознательность. Только вечером отец разрешил безответный вопрос. Меня поразила простота мучившего меня весь день слова. Так я получил второе боевое крещение, на память о котором на моей переносице остался косой шрам.

По будням, когда взрослые были на работе, а старшие ребята в школе, мы вчетвером собирались в коридоре поиграть в старые добрые прятки, жмурки, салочки. При игре в салочки мы нараспев подзадоривали водившего: «Салочка, дай колбаски, мы не ели с самой Пасхи». Были у нас игры и поновее, например демонстрация: все ходили строем, размахивая красными флажками, вздымая разные картинки, прибитые к палкам, и распевали песни. Правда, их содержание не очень соответствовало смыслу этой игры. Мы пели про жареного цыпленка, про одного обмисурившегося американца, про самолет, в котором поп картошку лопал, про матросов, кутивших на палубе папирасы. Но наш репертуар содержал и такое, за что родители могли бы серьезно поплатиться. Например, чего мог стоить в то время куплет:

*В ИТРах и торгсинах
Есть сыр, масло, колбаса,
А в рабочих магазинах -
Солнце, воздух и вода.*

Или:

*Руки кверху, жопу вниз,
Вот и вышел коммунист.*

Никто из взрослых нам не пел подобных куплетов и не учил им. Они приходили в подвал с улицы. К счастью, коммунист нас тогда не услышал или сделал вид, что не слышит?

Радость обживать свою долгожданную комнату у родителей была так велика, что их не обескураживали неприятности, которые очень скоро стали сыпаться одна за другой. Когда отделяли комнату, не обратили внимания на выступ под потолком перед дверью. Этим выступом оказался вылет дву-

тавровой балки длиной около метра. Он заставлял каждого входящего низко кланяться (ко мне это не относилось), чтобы не удариться головой. На этот вылет ничего не опиралось, он просто висел в воздухе. Отец решил избавиться от него, для чего принес с работы электродрель, инструмент весьма редкий для того времени. Будним вечером они с дядей Ильей принялись за дело. Злосчастную балку сверлили, пилили ножовкой, рубили зубилом. Работать под потолком было неудобно, и покончить с нею удалось далеко за полночь. Я от начала и до конца наблюдал за ними. На следующее утро соседка, живущая над нами, сделала маме выговор за то, что мы своим шумом всю ночь не давали спать их Леночке. Ее Леночка была на полтора года старше меня.

Не успели родители привыкнуть входить в комнату не сгибаясь, как у нас случилась беда: на потолке, обшитом фанерой, стали появляться большие пузыри. Отец подставлял таз под такой пузырь и протыкал его. Из прокола вертикальной струйкой вытекала вода. Родители начали долгую осаду ЖАКТа (кажется, так назывались тогда жилищно-коммунальные конторы), которая увенчалась их победой, и водяные пузыри почти прекратились.

Подступала зима. Мама повела меня в магазин купить валенки. Наш путь лежал мимо заветной витрины. Желанный поручень был совсем близко, но мама торопилась и отдернула меня от него. Я заупрямился. И тогда она сказала такое, что сломило мою волю: «Это совсем не водичка, а простая стекляшка». Безропотно повинувшись, я засеменял за ней. Она даже не заметила, как рухнула моя первая сказка.

Холода с улицы пробирались в подвал. В комнате постоянно горела керосинка. На ней лежала толстая стальная плита с двумя кирпичами. Дома на меня надевали бесчис-

ленное количество шерстяных одежек и валенок не снимали. Холод, сырость и затхлый воздух в комнате делали свое дело: я начал часто болеть. Меня не обошли почти все детские хвори. А скарлатина подарила мне воспаленные гланды, из-за которых я мучился долгое время. Дважды меня клали в больницу.

Однажды зимой нас посетила незнакомая мне женщина. Она была одета не так, как обитательницы нашего подвала, и от нее очень хорошо пахло. Незнакомка пообщалась со мной и подарила мне книжку. Потом у нее был долгий разговор с мамой. На прощание она сказала: «Мария, вам надо выбираться отсюда. Для начала займитесь общественной работой с детьми вашего дома». Когда посетительница ушла, я поинтересовался, кто это. Оказалось, приходила сотрудница ЖАКТа. Мне запомнилась только ее фамилия – Будачевская.

Общественную работу мама начала этой же зимой. Она устраивала походы в кино, детские театры, на школьные утренники. Первый поход в кино состоялся на картину «Партизанская дочка». От немого фильма у меня в памяти сохранились лишь кадры, где мужчина в белой рубашке и черных галифе сажал березку в день рождения девочки. Но зато запомнилось, как на сцену поднялся тапер и начал играть, как медленно угасал свет в зале и как кто-то в темноте громко читал титры. На утренниках я скучал: мне были непонятны стихи и песни, которые исполняли со школьной сцены ребята в белых рубашках с красными галстуками. А вот кавказские танцы, в ту пору популярные, мне очень нравились. Я с восхищением и завистью смотрел на белобрых, курносых ребят в мохнатых папах. Эти ребята, путаясь в полах черкесок и потрясая бутафорскими кинжалами, пытались изобразить «кабардинку». Кавказские веянья захватывали не только





школьные подмостки, они проникали и к нам в подполье. В нашем дворе в подвале другого дома жила деревенская подруга мамы с двумя дочерьми-школьницами первого и третьего классов. Мы часто бывали у них, и иногда тетя Таня просила девочек сплясать «Шамиля». Хлопая в ладоши, она запевала лезгинку. Девочки плавно начинали танец из противоположных углов комнаты, двигаясь по спирали навстречу друг другу. При этом руками они выделяли характерные пассы. В центре комнаты одна из них плечом прижималась к спине другой. После чего обе начинали вместе кружиться, прижав козырьком ладони к глазам. Должен признаться, мне больше никогда не приходилось слышать и видеть танец с таким названием.

С началом теплых весенних дней по маминой инициативе к нам во двор стали приносить киноустановку и в сумерки показывать фильмы. А иногда приезжал духовой оркестр, в составе которого бывали и солисты. Бодрые марши и мелодичные вальсы перемежались сольными номерами. Исполнялись классические музыкальные пьесы для какого-нибудь инструмента, а потом выходили певцы. На одном из таких концертов я услышал «Колыбельную» Моцарта. Слова «мышка за печкою спит» очаровали меня. Образы мышки и русской печи были мне очень близки: на лето меня отправляли в деревню к бабушке Мавре по отцовской линии.

Родители стали брать меня с собой в гости, когда мне перевалило за три года. Обычно они посещали деда Тимофея или дядю Ваню. Мне нравилось бывать у них обоих. У деда меня встречало общество Анатолия и Василия. Обычно с Толей мы играли и возились на кухне. Он замечательно делал «колесо», ходил на руках и пытался учить этому меня. Иногда к нам присоединялся Арик, наш приятель по двору. Он забавно пе-

ресказывал истории Мюнхгаузена, выдавая их за свои. Мы еще не читали о подвигах барона и потому надрывали животы от смеха. Это веселое времяпровождение для меня омрачалось необходимостью преодолевать темный коридор, а преодолевать его приходилось по нескольку раз. Он никогда не освещался и был завален какой-то рухлядью. Каждый раз, блуждая в темноте, я набивал себе множество шишек и ссадин.

Иногда у деда устраивали застолье. Взрослые вспоминали родную рязанскую деревню, судачили о делах, иногда ссорились. К ним нередко присоединялся сосед, одинокий скромный мужчина. Он злоупотреблял в разговоре словом «неважно», за что вся наша родня между собой так и звала его – Неважно. Мне он очень нравился тем, что носил форменную куртку с рядом блестящих пуговиц и фуражку со скрещенными молоточками. Каждое застолье не обходилось без песен. Пели много и самозабвенно. Я помню весь их репертуар из замечательных старинных русских песен. Особенно нравилась мне песня «Хасбулат удалой». Она пелась легко, свободно, мощно. Теперь так за праздничными столами не поют. Да и поют ли вообще?

Любые визиты к дяде Ване для меня были праздниками. Его дом находился на Домниковской улице, почти у пересечения с Каланчевской. Жил он в пятиэтажном здании на четвертом этаже. Подниматься приходилось по лестнице, лифт отсутствовал, а высота этажа превышала три с половиной метра. Его квартира, как и наша, была четырехкомнатной, и в каждой проживало по семье. У дяди Вани все было необычно, начиная от электрического звонка в двери на лестничной площадке и кончая обстановкой его комнаты. В ней стоял большой шкаф с зеркалом, буфет, комод, диван, раздвижной обеденный стол. Из перечислен-

ных предметов в нашей комнате ничего подобного не было, исключая двуспальную кровать. Ко всему этому я относился равнодушно. Но были в обстановке еще два предмета, которые всегда очень занимали меня: напольные часы и граммофон. Корпус часов закрывался стеклянной дверцей. Она защищала латунные гири с маятником и огромный циферблат не только от окружающей среды, но и от моей любознательности. Для меня главная прелесть заключалась не в латунных деталях часов, а в их бое. Перед тем как отбить время, часы начинали шипеть. Шипение превращалось в хрип, который переходил в клочкотание, потом на секунду оно умолкало и раздавалось гулкое «бум!». Много времени я потратил напрасно, пытаюсь понять, зачем нужны такие шумовые метаморфозы, чтобы пробить одно только: «Бум». Если часы не представляли для меня абсолютной загадки, то граммофон был вещью в себе. Как, недоумевал я, из такого маленького сундучка с большой трубой, напоминавшей цветок душистого табака, пел то Шаляпин, а то и целый хор Пятницкого? И какое отношение к этому имеют черные диски с разноцветными наклейками?

По праздникам у дяди Вани обычно собиралось много народу: родственники, соседи по квартире. Меня отправляли в одну из соседских комнат, где я проводил время в играх с двумя девочками примерно моего возраста. Когда игра распадалась, я возвращался к гостям, забирался под стол и слушал их песни и разговоры. Со временем в беседах взрослых зазвучали новые, незнакомые мне слова: «Муссолини, Гитлер, Германия...» В этих словах слышалась затаенная тревога: все сидящие за столом хорошо помнили Первую мировую войну и что за ней последовало.

В нашем подвале все шло своим чередом: родители работали, преодолевая сюрпризы

быта, а я болел. Частые простуды и ангины вынуждали меня подолгу не выходить из комнаты и целыми днями быть одному. Иногда кто-нибудь из друзей заглядывал ко мне. Однако теснота комнаты делала их посещения краткими: она сковывала нашу энергию и фантазию.

Скрашивали мое одиночество игрушки, книжки и радио. Я играл не только плюшевыми мишками, резиновыми зверюшками и жестяными автомобильчиками, но и отцовским инструментом. Естественно, что игрушечные звери и автомобили серьезно страдали от соседства с молотком, разводным ключом и ножовочными полотнами. Много времени я возился с пирамидой. Она воздвигалась из картонных кубов выше моего роста. Грани кубов украшали портреты представителей разных рас и рисунки экзотических животных и растений. Обилие интересных картинок делало пирамиду неповторимой при каждом ее новом воздвижении.

Годам к четырем я стал обладателем замечательной игры «Конструктор». Ему удалось примирить страдающих зверей и автомобильчики с отцовским инструментом. Теперь у меня появилась возможность собирать себе самому различные машинки и механизмы. Но, к сожалению, эта увлекательная игра обладала большим недостатком: по вине моих не очень ловких пальцев бесследно исчезали гайки и винтики. А ведь они служили главными связующими элементами всего того, что позволял создавать конструктор.

В три года я уже умел читать и писать печатными буквами, правда, при письме часто путал между собой буквы Е и Ш. Сказки и стихи известных детских поэтов зачитывались мной до дыр и выучивались наизусть. У Клавы и Дуси я рассматривал учебники. Читать их было трудно, но

завалывшийся Дусин букварь одолел без труда. Очень заинтересовал меня ее учебник по немецкому языку, и я стал просить Дусю научить меня немецкому. Мне представлялось это делом пустяковым: надо только выучить буквы. Она растерянно задумалась. Тогда я решил показать, как это просто, и спросил, как по-немецки будет стол. «Дер тыш», – ответила она. «Как, а почему два слова?» – удивился я. С трудом выяснилось, что «стол» по-немецки – все-таки «тыш». Выходило, что «тыш» на одну букву короче, чем наш «стол». Мне представлялось, что одно и то же слово, как по-русски, так и по-немецки, должно содержать одинаковое количество букв. Дуся назвала мне еще несколько немецких слов, и все они по числу букв не совпадали с нашими. Более того, у немцев не было таких букв, как Ч и Ш. Моя лингвистическая теория потерпела фиаско, а с ним и пропал интерес к изучению немецкого языка.

Радио – неглубокая, круглая воронка из плотной черной бумаги, висевшая тогда во всех комнатах нашей коммуналки. Его никогда не выключали: на ночь оно умолкало само. Радио увлекало меня детскими передачами. Уводило «В океан голубой высоты» проникновенным пением Коли Кутузова. Оно рассказывало, как счастливо живет детвора «в нашей юной прекрасной стране» и в каких нечеловеческих условиях живут дети в странах капитала. Было очень жаль этих неведомых мне несчастных деток. Каждый раз, слушая о них, сидя в крохотной, холодной, темной, сырой и затхлой комнате, сердце мое переполняло восторг от сознания, что я живу в СССР.

По революционным праздникам радио вещало и на улице. Гремела бравурная музыка, звучали песни о Родине и Сталине, с Красной площади велись репортажи с громогласными лозунгами и криками «ура!». Нас, мальчишек, заражало это протокольное ли-

кование. Придя домой в один из таких праздников с улицы, я выпалил: «Сталин мудрый, Сталин вождь!»

Отец как-то странно заулыбался, а мама спросила: «Кто тебе об этом сказал?» Было очевидно, родители не разделяют моего пафоса. «Радио», – буркнул я, разочарованно забравшись на свой сундук. Праздничное настроение улетучилось.

Радио оповещало и о трагических событиях. Помню, как в холле первого декабря вечером взрослые допоздна приглушенно обсуждали какое-то сообщение. Утром узнал от мамы, что убили Кирова. В обед тетя Параша зашла ко мне. Она положила на стол газету со словами: «Вот погляди, Кирова убили». Пока она ставила на стол мою еду, я рассматривал газету. Вверху на первой странице прочел большие жирные буквы «Правда». Под ними находился портрет в траурной рамке. Оттуда смотрел мужественный, энергичный мужчина в гимнастерке с орденами. «Ведь он за наших», – подумал я, и мне стало за него обидно. Чтобы развеять горестное чувство, я высказал тете Параше предположение: «У Кирова тоже был наган, и он мог его застрелить, но не хотел».

События, будоражившие страну, преломлялись в ребячьих играх. В конце лета, когда меня привезли из деревни, вокруг только и было разговоров о гибели парохода «Челюскин». У нас появилась новая игра в челюскинцев. Не прошло девяти месяцев, мы уже играли в самолет «Максим Горький».

Череду игр на трагические темы прервала старая игра в «казаки-разбойники». Ребята со двора решили, что я уже годен для нее. Ее правила для меня остались тайной. В «казачьих-разбойничьих» мы играли отчаянно и, азартно гоняясь друг за другом, под клич «Наших бьют!» устраивали бесконечные потасовки. Разбитые носы, царапины, синяки тщательно скрывались от взрослых.

Но бывали случаи, когда их участие было необходимо. Как-то раз осенним дождливым днем я встретился с товарищем по двору Толей Панкратовым. Он держал в руке сгоревшую электрическую лампочку – вещь, высоко ценимую в наших кругах. Мы долго соображали, обо что ее лучше разбить. Толя решил бросить ее в лужу, возле которой мы стояли. Сказано – сделано. Лампочка бухнула, и вода из лужи брызнула мне в лицо. Я почувствовал резь в глазах и стал тереть их ладонями. Резь не проходила, я захныкал. На мое счастье, рядом оказался Борька. Со словами «Не три глаза» он схватил меня за руку и привел домой. Родителей не было. Нас встретила бабушка Мавра, она гостила у нас в это время. Сполоснув мне лицо, бабушка поставила меня на сундук и языком стала обследовать мои глаза. Обработав их таким образом и убедившись, что все в порядке, она сказала: «Не плачь, все хорошо». Ее слова меня сразу успокоили.

История с лампочкой не поссорила нас с Толей. Я продолжал ходить к нему в гости. Жил он на первом этаже соседнего дома в большой светлой комнате. Мне казалось, что у него игрушек больше, чем у всех нас, живущих в подвале. Наверное, так оно и было. Направляясь в очередной раз к Толе поиграть, я встретил его в парадном. Он предложил пойти к его дяде послушать радио. Предложение мне не показалось интересным: у меня тоже было радио. Заметив мой скепсис, он заявил: «У дяди не просто радио, а радиоприемник, пойдем». Толин дядя жил на первом этаже нашего дома. Зайдя в комнату, я сразу обратил внимание на деревянный ящик с окошечком, в котором что-то белело. Ящик стоял на маленьком столике рядом с креслом. Толе поставили стул напротив кресла, его дядя устроился в кресле, усадив меня к себе на колени. Он что-то тронул на передней стенке ящика, и в маленьком окошечке зажглась лампочка. Через некоторое

время в ящике раздался треск. Дядя покрутил маленькую ручку возле окошечка, и вдруг полилась музыка. Она звучала сочно, чисто. Черная воронка так музыку не передавала. Оказалось, ее громкость можно менять. Дядя снова покрутил ручку, зазвучала речь: читали известия. Немного послушав диктора, он опять покрутил ручку, раздалась другая музыка. И никакой трубы, никаких черных дисков, никакой заводной ручки! «Ну, на сегодня достаточно», – проговорил Толин дядя. Он опять что-то тронул, и окошечко погасло. На прощание дядя подарил нам по несколько камешков морской гальки. Придя домой, путано, вздохнув я пытался рассказать об увиденном и услышанном. «Не тарахти, у кого ты был?» – спросила бабушка. «У дяди», – ответил я. «У какого такого дяди?» – вмешался отец. Узнав у какого, он сказал: «Какой же он тебе дядя, его зовут Максим Осипович».

Началась зима 1935 года. В перерывах между болезнями я вел полнокровную мальчишескую жизнь и в коридоре, и в комнате, и, конечно, на улице. Погожими вечерами родители ходили со мной гулять на пустыре, который находился в начале Ольховской улицы. Отец привозил меня на санках. Для такой прогулки мои санки очень подходили: у них была опорная дужка для спины и упоры для ног. Часто по пустырю маршировали новобранцы с песней:

*Даешь комроты,
Даешь пулеметы,
Даешь батареи,
Чтобы было веселее.*

Из-за слов «комроты» и «батарей» эта песня мне была непонятна, и я придумал приемлемый для себя вариант:

*Открывай рот,
Собирай мед.*

Насколько мои санки были хороши для прогулок с родителями, настолько они негодились при катании с горки во дворе. Мой постоянный компаньон Минька ложился в свои приземистые легкие саночки и лихо катил по всей горке. А мои барские санки с большой неохотой, неустойчиво доезжали до середины и сваливали меня на бок. Старшие ребята занимались тем, что строили одну за другой снежные пещеры. Когда заканчивалась очередная, они приглашали малышей войти внутрь и попрыгать там. Мы прекрасно знали, чем кончается такое предложение, но охотно шли на это. Минутное пребывание в пещере заканчивалось обвалом снежного свода, и всех без исключения такой конец очень веселил. Иногда случались дуэли с ребятами из соседних дворов. Наши старшие товарищи обстреливали неприятеля снежками, а мы лепили их и подносили на передовой рубеж.

При возвращении домой с санками наша каменная лестница для меня превращалась в суровое препятствие. Вытаскивать санки мне было легче, чем спускаться. Свои Минька просто пускал вниз, и они сами подкатывали к входной двери. Наблюдая за тем, сколько я проливаю трудового пота на такой пустяк, он посоветовал и мне делать то же самое. В следующий раз я решил последовать совету. Но мои санки не изменили своему нраву и на лестнице. Почуя свободу, они заскакали, закачались и свернули прямо к Миньке в окно. Мой отец действовал оперативно и на следующий день принес нужных размеров стекло, толченный мел и олифу. Мы с Минькой с интересом наблюдали за его манипуляциями. Отец ссыпал мел в большую миску, вылил туда олифу и стал их месить, как тесто. К нашему удивлению, очень скоро в миске образовался комок замазки. Нам он очень понравился, мы отщипнули от него по куску и занялись лепкой. Стекло

отец вставил быстро, и инцидент был мирно исчерпан.

Пришла долгожданная весенняя пора, когда мою тяжелую надоевшую зимнюю одежду убирали в сундук. Во двор я стал выходить в легком пальто и бескозырке. Плохо приходилось ребятам, не успевшим вовремя перейти на весеннюю форму, их хором начинали дразнить: «Зима, лето по пугай».

В середине апреля меня неожиданно отправили на три дня к деду. Естественно, я был рад лишний раз пообщаться с Анатолием и Василием.

Вернувшись домой, я почувствовал в комнате какую-то перемену и вдруг сообразил: «Окно!» В мое отсутствие отец выкопал нишу, обложил ее кирпичом и сквозь фундамент пробил в нее окно. Оно, как и у Миньки, упиралось в кирпичную стенку, но вверху виднелся кусочек неба. В комнату проникал дневной свет, а через форточку – свежий воздух. Я выскочил в коридор и стал звать всех, кто мне попадался, к нам посмотреть на чудо. Но обитатели нашего подвала уже знали об этом. Меня рапирала радость. Я выбежал во двор и с криком «У меня тоже есть окно!» стал ловить своих друзей и приводить к своему окну. Но ребята почему-то равнодушно относились к моему восторгу, наверное, оттого, что у них окна были всегда.

Прорубать окна – дело привычное для России. Результат, к которому оно приводит, зависит от намерений исполнителя и масштаба его деяний. В нашем случае намерение было самым гуманным, а масштаб – микроскопический. Но для моих родителей окно, пробитое из подвала в свет Божий, значило не меньше, чем для Петра Первого – окно в Европу. Мне неизвестно, родители с чьей-либо подачи или самостоятельно пришли к заключению, что у них вдруг появился шанс на обмен жилплощади. Они начали

регулярно посещать бюро по обмену. В результате чего к нам часто стали навещаться разные люди – и парами, и поодиночке. Такие посещения длились больше года. И вдруг нашлась семейная пара, которая согласилась с нами на обмен. Причиной, подвигнувшей этих людей на такой поступок, как выяснилось позже, послужили скверные отношения с жильцами всего их дома. Да и комната, которую они предлагали, могла заинтересовать немногих. Эта пара жила за Крестовской заставой (ныне Рижская площадь) в деревянном одноэтажном доме, который находился в частном владении. Родители совершили подвиг, и мы переехали в третью коммуналку. У нас появилась сухая с окном комната, площадью восемь квадратных метров. В новой квартире, самой малолюдной из всех трех квартир до-

ма, было три комнаты. Отапливалась комната дровяной печью, а все удобства располагались во дворе. Меня это не обескуражило: я привык к таким условиям, проводя лето в деревне. Пока сгружали и вносили вещи в дом, я осмотрел двор: ничего интересного. Двор маленький, обнесен дощатым забором, вдоль которого клочками росла высокая трава. В дальнем углу двора стоял дровяной сарай с тремя дверями. Рядом с ним – деревянная уборная. От нее за торец дома уходило несколько тополей. У ворот росли еще два больших тополя. Через калитку в воротах вышел на улицу. Ничего похожего на ту, откуда я приехал: нет ни асфальга, ни булыжной мостовой, ни тротуаров. Все это живо напомнило деревню. На проезжей части укатанная земля, местами с низкорослой травкой. Нет ни трамваев, ни автомобилей,



Дом, где находилась наша последняя коммуналка

Гаркаллуценрол СССР
Злабласо

Горячие
Московские Котлеты





И. Боград, 1936

людей почти не видно. Домики одноэтажные, деревянные. О том, что Москва близко, напоминал лишь главный корпус завода «Калибр» с большими квадратными часами на объемистой прямоугольной башне. До завода было рукой подать, путь к нему лежал через овраг по деревянному мосту. По дну оврага проходила железная дорога. Ее бурые, шершавые рельсы не сверкали металлическим блеском трамвайных рельсов.

Во дворе меня обступили ребята, человек пять-шесть. Среди них была одна девочка. Они были явно старше и принимали меня за ровню. Состоялось знакомство с новыми товарищами. Я сказал им, как меня звать, откуда приехал и что буду тут жить. Кто-то спросил: «А чего у вас там было интересного?» «Игра в метро», – ответил я. Они удивились: «Как это?» Во дворе нашего (теперь уже старого двора) была большая куча песка. Ребята увлеченно рыли в этом песке тоннели и таскали сквозь них на бечевках игрушечные вагончики. Тема метро была очень актуальна: только что открыли первую очередь. Рассказ о такой игре новым знакомым понравился, и они предложили сразу ей заняться. Я удивленно обвел двор взглядом. «Не здесь, пойдем», – ответила девочка на мой безмолвный вопрос. Все дружно двинулись за ней на улицу. Очень скоро мы подошли к складам на краю оврага. Какого только добра здесь не было! На огромной территории лежали штабели дров, ржавые станины каких-то машин, всевозможные железные колеса, ящики с ядрами и груды неведомых деталей, тоже ржавых, кучи щебня и булыжника. Но что самое главное, там возвышались горы песка. Все это добро располагалось под открытым небом, практически ничем не огороженное и никем не охраняемое. Плацдарм мальчишеских фантазий, воплощенных в реальность, завораживал. Я мгновенно оце-

нил его по достоинству, и он на несколько лет стал моей детской площадкой.

Наша жизнь в новой коммуналке входила в обыденное русло. Когда каждая вещь нашей нехитрой обстановки нашла наконец свое место, комната мне показалась очень просторной. Но пока шло лето и погода стояла хорошая, большую часть времени я проводил на улице. Благо обязанностей по дому у меня было немного: надо было следить, чтобы на кухне в ведре и в рукомойнике всегда была вода. Для этого мне требовалось по нескольку раз в день ходить с маленьким бидончиком «на колонку». До нее было недалеко, не более ста метров по Пятому Марьинскому проезду, в конце которого стоял наш дом. По пути приходилось миновать несколько дворов, и встречи с ребятами этих дворов не всегда проходили мирно. При таких встречах события разворачивались по одному и тому же сценарию. «Ты откуда?» – спрашивали недруги. «Из пятого дома». Кажалось, они не слышат ответа. Обстановка накалялась. Иногда, отмахиваясь пустым бидоном, мне удавалось убежать от преследователей, но предстоял обратный путь с полным бидоном. Ситуация становилась безвыходной.

Как всегда в таких случаях, помощь приходит неожиданно и оттуда, откуда ее не ждешь вовсе. После очередного рейда за водой ко мне подошла девочка, которая была среди ребят в день нашего переезда. Девочку звали Леля. «Ты их не бойся. В следующий раз скажи им, что тебя послал Толя Псих», – посоветовала она. Анатолий, сын хозяйки нашего дома, парень лет шестнадцати, был недавно освобожден из колонии несовершеннолетних преступников, где отбывал срок за воровство. Характером обладал заносчивым и вспыльчивым, за что и получил кличку Псих. Его опасались не только в доме, но и окрест. Когда меня с бидончиком

вновь остановили вопросом: «Это опять ты?» – я с напускным безразличием ответил: «Меня Толя Псих послал на колонку». Интерес к моей персоне был потерян мгновенно: «А, ну это другое дело». В ответе слышались даже слабые дружественные нотки, и с этого дня за водой я ходил по «зеленой улице».

Сосуществовали с нами по квартире одинокий молодой мужчина Леша Козловский и семья Пановых из трех человек. Леша – месяцами не появлялся в квартире, так что маленькая кухонька не создавала больших бытовых неудобств. Чем занимался Леша, неизвестно. Панов-старший скорняжничал, а его жена Анастасия Михайловна шила на дому пинетки. Сын их Юра был на три года моложе меня.

С Пановыми у родителей отношения сложились прохладные, ни та, ни другая сторона не делала никаких попыток сделать их теплее. Разница лет между Юрой и мной также не помогала нормализации межсемейных отношений. Звуки с кухни беспрепятственно проникали в комнату сквозь стенку из тонких досок. Из-за этого приходилось слушать вольно и невольно разговоры наших соседей. Меня всегда забавляло не то, что они говорили, а как они говорили. «Настя! Убязательно купи спички», – кричал вслед супруге старший Панов. Забежавшей на кухню приятельнице Настасьи Михайловны рассказывала: «Вчера на рынте мы купили ботиночки для Юрочки». В разгар подобных бесед отец вполголоса подтрунивал: «Ботиночки в корзиночки». Благодаря хорошему слуху он мастерски подражал говору разных областей, где ему пришлось побывать. «Чай кОрОва пила, чай кОрОва ела», – окол он по-нижегородски. «Месоцек, гребесоцек», – цокал по-вологодски. Иногда начинал гакать на южнорусский манер. О родных рязанцах отец часто напевал частушку:

*Как на нашей на Рязани
Все грибы растут с глазами:
Их бяруть – они бягутъ,
Их ядятъ – они глядятъ!*

Надо отдать должное рязанскому говору: он не украшал разговорный язык перлами, такими как «Тништа, тутушта». В деревне я не ощущал большой разницы между московским и рязанским «произношениями». Лихое рязанское «чаво» для меня звучало приятнее жеманного московского «чиво». У родителей и у меня рязанский акцент отсутствовал, и вместо «чаво» все мы произносили «што».

За продукцией Настасьи Михайловны регулярно заезжала из ее артели приемщица. Во время одной из передач партии пинеток приемщица поинтересовалась: «Насть, у тебя новые соседи, как они?» «А-а, Рязань косопузая», – отвечала Настасья Михайловна. Я хорошо знал это прозвище, но понять не мог причины, породившей его. У отца тоже не было ему объяснения, и он отшучивался от моих домогательств поговоркой: «Хоть горшком назови, только в печь не ставь». Уже учась в старших классах, я наконец нашел для себя объяснение прозвищу. Помог в этом мужской шелковый пояс с тяжелыми кистями, хранившийся у нас с незапамятных времен. Такими поясами мужики и парни в деревнях моих предков по праздникам подпоясывали белые вышитые косоворотки навыпуск. Может быть, пояс, завязанный узлом, кисти которого спадали вдоль бедра, и натолкнул острословов на такое прозвище. Недавно случай свел меня с популярным в Москве мануальным терапевтом. Он оказался рязанцем, очень интересным собеседником, на досуге увлекался философией и русской историей. И конечно, я не мог не поделиться с ним своей догадкой относительно «Рязани косопузой». Однако

мои аргументы не убедили собеседника: он полагал, что ответ кроется в привычке рызанцев, идя на работу, носить топор за поясом. Мое возражение: «Так мужики носили топоры в России повсеместно», — осталось без ответа.

Наделять прозвищами всех и вся — явление общечеловеческое, и обитатели двора на Пятом Марьинском не были исключением в этом деле. В моем предыдущем дворе кличка имел всего лишь один мальчик с замечательным именем Аркадий, которого мы дружно звали: «Адик, гусь сопливый». Надо честно признаться, что кличка совершенно не соответствовала облику Адика: он всегда был ухожен, опрятен, и под носом у него всегда было чисто. Наверное, наше мальчишеское общество задевало, что Аркадий сторонился нас. В новом же дворе прозвища имели все без исключения — и взрослые, и дети. Моими ближайшими партнерами стали братья Коля и Витя Карповы из третьей квартиры и девочка Леля из первой. Среднего из братьев очень часто называли Вильзик, младшего Колю — Хромик. Его прозвище объяснялось просто: Коля в раннем детстве повредил ступню ржавым гвоздем и из-за этого ходил прихрамывая. Девочку из-за огромных глаз дразнили: «Фары». Братья спокойно относились к своим прозвищам, а прозвище Лели употребляли только в моменты острой обиды на нее. Николай и Леля были на два года старше меня, Витя — на пять. В соседних квартирах проживало еще много детей. Правда, эти ребята редко принимали участие в наших затеях.

Леля. Девочка мальчишеских грез. Ее карими огромными глазами были очарованы ребята как нашего, так и окрестных дворов. Но помимо обворожительного взгляда она обладала характером, способным подчинить своей воле любого из нас. Классический типаж «коновода» ребячьей ватаги.

Большинство затей и игр предлагалось ею, она решала, когда сменить игру, а когда закончить. Ей безропотно повиновались не только ровесники, но и старшие ребята, а о малышне и говорить нечего. Случалось, в ее отсутствие ребячья фантазия иссякала, и мы бесцельно слонялись по двору. Вдруг появлялась она и сразу что-нибудь придумывала. Жизнь мгновенно обретала смысл. Однажды Леля предложила пойти в кино на «Чапаева». Предложение приняли с воодушевлением, но, к великому моему огорчению, у меня не было денег, а родители еще не вернулись с работы. Леля, не сказав ни слова, скрылась в чулане их квартиры и вскоре вынесла две пустые водочные бутылки. Витя, обследовав их, констатировал: «Одна пойдет, а у другой немного побито горлышко». Тут же последовал ее совет: «А ты заплывь его сургучом». Тогда водочные бутылки закупоривали картонными пробками в форме наперстка и заливали сургучом, который всегда оставался на горлышке порожней посуды. Витя прекрасно справился с задачей, тару приняли в магазине, и мы обрели необходимые мне двадцать копеек.

Рядом со своими друзьями я казался себе неловким и неуклюжим, ну просто гадким утенком. В разгар игры то рвал штаны, зацепившись за гвоздь в заборе, то ранил пятку, наступив на стекляшку, то терял половину зуба, вышибленную камнем. В результате игры приходилось бросать и идти менять одежду или врачевать раны. Причины моих неудач крылись отчасти и в том, что я общался с ребятами гораздо старше себя. Последняя декада августа выдалась очень жаркой, и мама иногда сажала меня на кухне в корыто с водой. В один из таких приемов ванны со двора донеслись крики: «Цеппелин, цеппелин, дирижабль!» Забыв, что на мне ничего нет, я выбежал на крыльцо и лицом к лицу столкнулся с Лелей. Она запнулась и с инте-



Моя будущая жена Леля Целикова с бабушкой и братом-двойняшкой

ресом рассматривала внезапное видение. Борьба между желанием увидеть в небе серебристую сигару и чувством стыда на мгновение парализовала меня. Но чувство стыда победило, и я, стремительно развернувшись, сверкая пятками, скрылся в доме. Мир рушился от сознания, что я уже никогда не смогу появиться на улице. Приближалась пора моим друзьям садиться за парты. Коля Хромик и Леля готовились к первому классу. Дня за два до начала занятий у калитки я увидел двух ангелочков в белых воздушных платьицах с бантами на головках. Леля и Лида Медковы ожидали маму, чтобы идти на собрание в школу. Они казались такими неприступными, такими надменными. Подойти к ним я не мог: нас разделяла пропасть. Через несколько дней мы случайно встретились с Лелей. Как ни в чем не бывало, она стала рассказывать про школу, про одноклассников, о занятиях. Никакого высокомерия и надменности, пропасть между нами исчезла. Мы стали часто ходить друг к другу

в гости. У нас появилась новая игра в «школу», и, конечно, я был учеником. Играть собирались обычно у меня: у нас было посвободней и никто не мешал. Дома у сестричек было много интересных книг, а Лида собирала альбомы с фотографиями киноактеров и кадрами из кинофильмов. В этом ей действительно помогала младшая сестра. Мы любили рассматривать вместе эти альбомы, их книги я брал к себе домой.

Подошла зима, мягкая, снежная. Откосы оврага уготовили детворе горки на любые вкусы и возможности. Были очень крутые горки для смельчаков и пологие со спокойным спуском, на такие мы и ходили с Лелей. На двоих у нас были одни приземистые санки. Леля усаживалась впереди, а я пристраивался сзади и обнимал ее талию. Моя щека касалась воротничка ее шубки, санки трогались и... нет, не катились вниз, а парили в облаках!

Незаметно подступил Новый год. Предвкушение праздника я острее воспринимал, чем сам праздник, погрузившись с го-



Новогодняя елка в нашей коммунальной квартире, 1945

ловой в хлопоты по установке и украшению елки. Это была моя вторая елка. Первую мне устроили в прошлом году в подвале. В тот год советская власть, изобразив на своем твердокаменном лице умильную улыбку, разрешила детям новогоднюю елку. У Медковых ее украшали очень интересные игрушки, такие мне не встречались на праздничных базарах. По-видимому, их достали из бабушкиного сундука, где они лежали с октября семнадцатого. Моя елка уступала тематикой и разнообразием игрушек, но превосходила освещением. С помощью отца я запрятал вглубь ветвей несколько простых электроламп, предварительно густо окрасив их акварельными красками. Освещение получилось таинственным и заманчивым. На елке у Медковых висели затейливые подсвечники с маленькими разноцветными свечами, но зажигать нам их не позволяли.

Пролетели два года, и я пошел в школу. Тогда было принято отправлять детей в первый класс с восьми лет. Сколько восторженных слов и речей пришлось мне услышать по радио и прочитать в «Пионерской правде», посвященных первому сентября и школе. Учеба в первом классе очень скоро разочаровала меня: читать и писать печатными буквами я умел давно. А игры в «школу» научили меня не только считать до ста, но и совершать четыре арифметических действия с яблоками, спичками и еще незнамо с чем. На занятиях мне было скучно, уроки по чистописанию я возненавидел. Эта нелюбовь отразилась на моей дальнейшей учебе. Наверное, родителям стоило бы отправить меня в школу с семи лет, но сами они до этого не додумались, и никто им этого не подсказал.

Стоял конец октября, лужи подернулись льдом. Родители, закончив трудовую пятидневку, собирались пить чай, а я во сне летел по воздуху. Полет был легкий, бестелесный, мне никак не удавалось коснуться земли. Вдруг тело обрело тяжесть, и босые ноги почувствовали ледяную корку. Сквозь полузакрытые веки в отблесках яркого пламени мне привиделись какие-то люди. Они метались по двору, кричали и что-то тащили. Все еще находясь в полусне, я рванул к нашему крыльцу. Меня перехватили, унесли за ворота и, закутав в одеяло, усадили на мягкие узлы. Я очнулся, наш дом горел. Это было моим третьим крещением в коммунальной квартире. Из дома меня вынесла мама, а отец помогал тушить огонь и пытался спасти наше имущество. Подросшие пожарные быстро справились с огнем, но полностью выгорела третья квартира, во второй – сгорела треть нашей комнаты и одна стена у Козловского Леши. Остальную часть дома огонь не тронул. Два дня мы с родителями перебивались у наших знакомых, а на третий – всех



Школа № 287, где я учился, на Ярославском шоссе

погорельцев поселили в огромном каменном сарае при конюшне. Сарай находился недалеко от пожарища, и мы часто ходили смотреть, как плотники ловко восстанавливают наше жилище. Месяцев семь мы прожили огромным табором на виду друг у друга. Жизнь текла мирно, без особых эксцессов. Когда ремонт дома подходил к концу, хозяйка объявила, что сдает его в ЖАКТ. Жильцы восприняли это заявление равнодушно, и в дальнейшем никто из них не ощутил никаких перемен, перейдя под руку государства.

Въезд в отремонтированную комнату озаглавлен сменой обстановки. Родителям выплатили какую-то компенсацию по страховке, и, добавив свои сбережения, они купили новую мебель. Вместо моего сундука появился диван, вещи из сундука убрали в гардероб с зеркалом, а посуду разместили в буфете со стеклянными дверцами. В нашей ребячьей жизни мало что изменилось, мы учились, играли и ходили в кино. Очень популярна среди нас стала лапта. В нее играли на улице двор на двор. В кино ходили смотреть все, что было в прокате. Показывали очень много антифашистских фильмов: «Болотные солдаты», «Семья Оппенгейм», «Профессор Мамлок». Этим фильмам я предпочитал «Веселых ребят», «Волгу-Вол-

гу», «Трактористов». В «Трактористах» нам очень нравился эпизод, где руководители колхоза, измеряя глубину борозды, находят немецкую каску времен Первой мировой войны. Придя в энный раз на этот фильм, нас удивило заявление администратора перед началом картины, что эпизода с каской не будет. Ребята не придали никакого значения объявлению, но,

когда мы не увидели каски с шишаком, в зале разразилась буря негодования. Юные зрители топали ногами, свистели, хлопали сиденьями, орал: «Отжухали!» Минут через пять буря утихла.

Между тем с экранов исчезли антифашистские фильмы. В конце августа отец принес необычные газетные листки с текстом и фотографиями, напечатанными на синем фоне. С фотографий улыбались Молотов, Риббентроп, Гитлер! Из этих листочков мы узнали про договор между СССР и Германией. А в сентябре я умилялся трогательным плакатам, которые щедро развесили на улицах, в магазинах, в кино и где только можно. На плакате украинец в вышитой рубашке крепко обнимал у пограничного столба красноармейца в полной боевой экипировке.

События развивались стремительно. Не успели успокоиться страсти по западным областям, как разразилась война с Финляндией. Вскоре поползли слухи о неприступности «линии Маннергейма», о наших потерях убитыми и обмороженными. В стране заменили шестидневку привычной для всех недель. Наши СМИ освещали финский конфликт как Merry War. И действительно, наша доблестная Красная армия одержала быструю победу, и в феврале сорокового го-

да мир восторжествовал. Забавные наступали времена: ведущий «Утренней гимнастики» по радио неожиданно стал здороваться со слушателями по-немецки. Он уверял нас, что, запоминая каждый день по три слова, можно очень скоро овладеть немецким. Вдруг по радио зазвучала прелестная мелодия «Молдовеняска». В ребячьей среде откуда-то стали появляться прибалтийские монеты. Меня увлекало занятие рассматривать новые географические атласы старшеклассников.

В сороковом году стоял теплый сентябрь. Вернувшись из школы, наскоро поев и сделав уроки, я поспешил во двор. Там никого не было, на улице стояла Рита и, прислонившись к воротам, смотрела на небо. Солнце клонилось к закату, опускаясь в кроваво-красные облака. Я встал рядом и тоже стал смотреть на закат. Вдруг девочка обернулась ко мне: «Видишь, какое красное небо, скоро будет война». Мне нечего было ответить. Созерцая зловещее небо, я и не подозревал, что свершение ее пророчества не за горами.

Кончились занятия в школе. Предвкушение летней свободы наполняло наши детские души неумемной радостью. Воскресное утро двадцать второго июня было теплым и пасмурным. Отца дома не было, а мама хлопотала где-то во дворе. Ребята, собравшись за воротами на улице, размахивая руками, галдели все разом. Из их сбивчивых и отрывистых восклицаний стало ясно: на нас напала Германия. Возбуждение ребят передавалось и мне, всем нам кружили головы наши недавние победы. В дальнем конце переулочка появился отец, в одной руке он нес сетку с продуктами, а в другой – свернутую трубкой газету. Запыхавшись, я подбежал к нему с восторженным криком: «Па, война началась!» Он, шлепнув газетой меня по затылку, невесело произнес: «Молчи, дурачок».

В этот же день меня отправили в пионер-

лагерь. Он находился недалеко от железнодорожной станции Расторгуево. Нас разместили в деревянной школе деревни Лопасня. Лагерная жизнь протекала своим чередом: походы, военные игры, прополка колхозных огородов. Перед ужином мы собирались у большой карты Европы и с огорчением отмечали на ней очередное отступление наших войск. Истекал срок пребывания первой смены. В один из вечеров после отбоя с улицы кто-то крикнул: «Ребя, Москва горит!» Мы высыпали наружу. В сумерках над Москвой простирался огромный багровый купол. Все стояли молча, не двигаясь. Появились вожатые и принялись нас успокаивать: «Никакой это не пожар, а обыкновенные зарницы». Мы не стали спорить и разошлись по палатам. Пошла уже вторая смена нашей лагерной жизни, но разговоров о ее продлении или возвращении домой не возникало. Вдруг будним днем ко мне приехала мама. Это было удивительно, обычно родители навещали меня по воскресеньям. В качестве гостинца она привезла растаявший брикет мороженого и, как бы извиняясь за него, сказала: «Теперь ведь все по карточкам». Не было обычных расспросов о здоровье и о здешней жизни. Вместо них мама велела мне быстро собраться, и мы поехали в Москву.

Меня встретила незнакомая столица. Вокруг Павелецкого вокзала стояли стены разрушенных домов. Сквозь пустые оконные проемы светило небо. Все это живо напоминало кинохронику Гражданской войны в Испании. У Красных Ворот воздушная тревога загнала нас в метро. Все эскалаторы двигались вниз. На перроне стояли два поезда с открытыми дверями. Я хотел двинуться к ним, но оказалось, что они предназначены для мам с детьми до трех лет. Со всей толпой мы спустились в тоннель и пошли вдоль рельсов. Идти пришлось, пока не отыскался

свободный дощатый щит, на котором мы и расположились. Я не помню, сколько длилась тревога, но, кажется, отбой дали скоро. Мы, уложив щит в штабель, двинулись обратно и без приключений на трамвае добрались до своей остановки «Новоалексеевская». По дороге из вагона я рассматривал дома с заклеенными крест-накрест окнами и считал указатели бомбоубежищ. На задней площадке вагона висел плакат. Его разделяла вертикальная волнистая полоса примерно поровну. Правую сторону от линии заливала красная краска с надписью белыми буквами «СССР». С левой стороны белого цвета к нашей границе простирал костлявые руки Гитлер, оставляя кровавые следы. Ему в темя вонзался русский трехгранный штык. Меня озадачила догадка: Гитлер только наследил кровью, а у нас? Кровавые следы и наша территория были окрашены одним цветом. Сойдя с трамвая, я увидел посередине Ярославского шоссе большой круг свежего асфальта. «Сюда недавно упала полутонная бомба», – объяснила мама. Наши деревянные кварталы война практически не изменила, если бы не заклеенные окна. Но дворы было не узнать: все заборы, разделявшие их, исчезли. В центре территории двух-трех дворов горбились холмики земляных укрытий или, попросту, щелей. Кровля многих домов пострадала от осколков зенитных снарядов.

Укрываться в метро от бомбежек мне приходилось несколько раз. Больше всего запомнилось метро «Бауманская». Мама поехала со мной навестить деревенскую подругу, дочери которой когда-то танцевали «Шамиля». Возвращаясь домой, на Бакунинской нас застигла воздушная тревога, и всю гражданскую толпу направили на строящуюся станцию «Бауманская». От действующих станций она отличалась тем, что не была облицована и в ней не работал

эскалатор.

Начались мои военные будни. Теперь мне приходилось каждый день отстаивать в очередях то за хлебом, то за продуктами, то за керосином. Дома отец бывал редко, повесток в военкомат ему не присылали: его возраст еще не подлежал мобилизации. Очень скоро в армию призвали мужа Настасьи Михайловны. Тетя Настя, собирая супруга, в сердцах отшвырнула книжки, забытые мной на кухне. Я обиделся и пожаловался отцу. Он не поддержал меня: «Ты тетю Настю оставь в покое, ей сейчас очень плохо». Через месяц пришло извещение о гибели Василия Андреевича Панова. В первые дни войны многие уходили на фронт добровольно. Так поступил отец Лели. Добровольцам платили по восемьсот рублей в месяц. К концу июля из нашего дома призвали в армию отца Риты Андриановой, Козловского Лешу, Толю Психа, старшего сына Карповых Петра. А его отца, участника Первой мировой, взяли в ополчение. В конце октября он вернулся домой. Толя Псих погиб под Берлином. Петр вернулся летом сорок третьего с открытой формой туберкулеза и через год умер. Андрианов и Козловский вернулись летом сорок пятого без единой царапины. В конце мая сорок пятого появился Медков, но через несколько дней он исчез на десять лет.

С началом немецких авианалетов жильцы нашего дома, повинувшись чувству коллективизма и слабо представляя, что такое бомбежка, дружно уходили на ночь в убежище. Оно было организовано в подвале семиэтажного дома на Ярославском шоссе. Таких домов на шоссе от Рижского моста и до ВСХВ (теперь ВДНХ) стояло не больше семи. Мы с мамой, проходя затемненными улицами, часто замечали, как окна некоторых верхних этажей высоких зданий периодически полностью освещались. Частота таких световых вспышек увеличивалась, когда

над нами пролетали «юнкеры» с характерным то затихающим, то усиливающимся гулом. Не заметить эту «иллюминацию» было трудно, в нашей округе пяти-шестиэтажных зданий было раз-два и обчелся. В одну из таких прогулок мы наблюдали сбитый самолет, он падал в перекрестье двух прожекторов. Убежище гудело от разговоров об этом, но очень скоро пополз слух, что по ошибке сбили наш самолет. Очевидно, немецкая разведка не дремала в те дни. Посещать убежище мне даже нравилось: шумные компании, интересные разговоры, общение с Лелей. В сорок первом году мы не учились, во многих школах устраивались госпитали, а в мою – перевели школу юнг из Одессы. Наверное, убежище в какой-то мере компенсировало ребятам отсутствие занятий. Мои военные познания настолько расширились, что позволили сделать вывод, что убежище опаснее нашей щели во дворе. Мама с этим сразу согласилась, и мы перестали по вечерам ходить на Ярославское шоссе.

Отсутствие заборов между дворами расширило не только ребячьи возможности, но и упростило общение между женщинами соседствующих домов. Женщины, собираясь стайками, обсуждали происходящее и чаще всего вопрос, когда же кончится война. Однажды я вклинился в их разговор, брякнув: «Через четыре года». Мама всплеснула руками: «Типун тебе на язык!» Верховодила на этих сходках Берта Израилевна Гутман, матрона из соседнего дома. Эта дама всегда имела свое мнение по любому вопросу и была очень категорична в суждениях. На очередной встрече женщины обсуждали падение Смоленска. Все остро ощущали, что немцы близко и нет силы их остановить. Подойдя поближе, я услышал заявление Берты Израилевны: «Когда плидут немцы, я

отлавлюсь». Гутман не выговаривала букву «р».

В конце первой декады октября стала слышна канонада. На продовольственные карточки сверх нормы выдали по пуду разных круп. Нежданное богатство мы уложили в железный бак и убрали в подпол. Отец сокрушался по этому поводу: «Раздают продовольственный запас. Не к добру это». С пятнадцатого числа он перестал ходить на работу. Маму отправили на три дня рыть окопы. Шестнадцатого октября канонада усилилась, мы пошли с отцом к оврагу. Там стоял состав из теплушек. К оврагу подъезжали грузовики, забитые женщинами, детьми, вещами... Бравые старшины и лейтенанты под присмотром комбригов, комкоров и полковников грузили всех и вся в вагоны. Окинув глазом эту военную диспозицию, отец задал вопрос, по-видимому, самому себе: «Ну что, сдадут Москву?» «Нет, па, не сдадут», – ответил я. Мы вернулись, отец ушел в дом, а я остался во дворе слушать орудийный гул. На крыльцо выскочила Надя Кулецкая. С ней я мало общался не только по причине ее малолетства, но и по причине ее неопрятности. Увидев меня, она спросила: «Слышишь, немцы идут?» «Да, совсем близко», – последовал мой ответ. Надя, злорадно улыбнувшись, продолжала: «Вот, подожди, немец придет, мы про вас ска-ажем!» Я бросился к ней задать взбучку, но она успела скрыться в доме. Конечно, эта глупая дурочка говорила с чужого голоса. Отец, выслушав мой рассказ о Надином заявлении, хмуро резюмировал: «Ни за грош продадут кого хошь». Вечером к крыльцу квартиры Гутманов подъехала полуторка с газогенератором. В грузовик погрузились все домочадцы с узлами во главе с Бертой Израилевной, только мы их и видели. Трамваи почти перестали ходить. Пронесся слух, что стали грабить магазины. Спустя несколько дней пос-

ле шестнадцатого октября канонада утихла. По радио выступил Пронин (глава московской администрации) с призывом восстановить работу городского транспорта и предприятий. Отец снова стал пропадать на работе. Виктора, среднего сына Карповых, парня шестнадцати лет, взяли на трудфронт, где он пропал без вести. Сережа Кулецкий, его ровесник, избежал этой участи: он отрубил себе при колке дров два пальца левой руки. В дни редкого пребывания дома отец говорил: «Если Москву сдадут, то в ней никто не уцелеет, все взорвут». Мы с ребятами видели у Рижского моста военных, которые копали подозрительные траншеи. Первую и Вторую Мещанские улицы в нескольких местах перегородили баррикадами, оставив узкие проезды для транспорта. Везде стояли наготове противотанковые ежи.

Настал ноябрь, холодный и снежный. Немцы засыпали нашу округу зажигательными бомбами. Вокруг нас горели дровяные склады и лесотарные заводи, которых бы-

ло довольно много. Мы с ребятами бегали на эти пожары греться. Подойти к горящему складу ближе ста метров не удавалось из-за страшного жара, начинали трещать волосы на голове. К великому счастью, зажигалки щадили наши деревянные домишки. Надо отдать должное МПВО, она лишила немцев возможности вести прицельное бомбометание. Нас окружали такие привлекательные для них объекты: завод «Калибр», громадный Рижский мост, подъездные пути трех железных дорог. Но я не помню, чтобы на один из них упала хоть одна фугасная бомба. Мы не забывали кино, где нам перед каждым фильмом показывали знаменитый парад сорок первого года и Сталина. Москва стиснула зубы, сжалась и ждала.

В начале декабря чуть ли не с самого утра по радио объявили, что в семнадцать часов будет передано важное сообщение. Внезапно появился отец. Он достал три мешка (два больших, один поменьше), приладил к ним лямки так, чтобы их можно было носить за



С 1941 по 1943 г. здесь размещались противотанковые ежи и баррикады

спиной. Радио каждые полчаса напоминало о важном сообщении. Мешки (их прозвали тогда сидорами) заполнили сухарями, солью, спичками и всякой всячиной. Маленький сидор отец примерил на мне. «Па, думаешь, Москву сдадут?» – выдавил я. «Ты давно карту изучал?» – было мне в ответ. С сидорами наготове мы дожидались семнадцати часов. И наконец: «В последний час – разгром немецких войск под Москвой!» – гремел голос Левитана, у нас текли слезы радости и счастья.

В январе в армию призвали дядю Ваню, а в феврале – отца. Оба они служили в частях на дальних подступах к столице. На мне теперь лежала обязанность не только ходить в магазины и за водой, но и колоть дрова и топить печь. Каждое утро, растопив печь, я принимался за работу Золушки. Мама, уходя на работу, насыпала в тарелку крупы из бака, и мне предстояло отделить зерна от мышинных экскрементов. Потом зерно нужно было промыть в мелком сите и ссыпать в кастрюлю с водой до маминого прихода. После этого наступало время заготовки дров для вечерней и утренней топок. Вернувшись, мама варила кашу из подготовленной крупы и заправляла ее льняным маслом. Подсолнечное стало редкостью, а о сливочном масле мы забыли. Но крупа в баке кончилась, и нашей едой стал хлеб и мороженая картошка. За ней мама отправляла меня на Крестовский рынок. Туда я обычно ходил с приятелем из соседнего дома Витей Андреевым, моим ровесником. Однажды, пересекая площадь Рижского вокзала, мы увидели группу военнопленных. Соблазн был велик, чтобы не подойти к ним поближе. Охранял их одинокий красноармеец в огромном тулупе. Он стоял, обняв винтовку, и, кажется, дремал. Пленные, их было человек двенадцать, страдая от холода, прыгали, хлопали себя по бокам руками, терли

уши. К ним подошел человек в гражданском и заговорил. Когда он отошел и поравнялся с нами, мы спросили: «Дядя, чего немцы говорят?» «Это не немцы, это испанцы», – ответил он. Мы понимающе закивали. Он продолжил: «Говорят, что у нас очень холодно». Мы удовлетворенно хмыкнули. «А я им на это сказал, что нам было жарко, когда мы были у них».

Сорок второй год в Москве был самым голодным. Чтобы разнообразить меню, мама иногда пекла пирожки из отрубей с начинкой из картошки. Это случалось, когда ей удавалось добыть хорошей картошки. Весной мама варила щи из крапивы. В конце июня одна сердобольная соседка собрала ребятню и дала нам попробовать корень репейника. Угощение напоминало репу, и скоро все репейники во дворах исчезли. В наших играх доминировала игра в войну с немцами. Правда, она осложнялась тем, что никто не хотел быть немцем, и эту загвоздку решали жребием. И конечно, наши сражения не обходились без ссадин и царапин. Если в мирной жизни я внимания не обращал на такие пустяки, то теперь каждая ссадина и царапина гноилась и долго не заживала. Метки от них у меня остались до сих пор.

Мама, как-то заглянув в сарай, поняла, что дров, заготовленных еще отцом, на следующую зиму не хватит. У меня появилась новая обязанность собирать все, что годится для печи, и складывать в сарае. Я бродил по бывшим дровяным складам и собирал щепки и кору в большую клеенчатую сумку. По пути к этим складам мне приходилось проходить вдоль длинного забора с еле приметной дверью. И однажды эта дверь неожиданно открылась, в проеме появился молодой мужчина, приглашая меня внутрь. Я шагнул за порог и попал в Эльдorado: небольшой двор устлал первосортные дрова. Кругом высились штабели из обрезков досок и чурба-

ков. Мужчина предложил забрать этого добра, сколько смогу унести. Кроме того, он посоветовал мне стучать в дверь, когда буду проходить здесь в следующий раз в это время. Вооружившись двумя сумками, я стал каждый день посещать свое Эльдorado. Но недели через две Сезам не открылся, и мне снова пришлось собирать щепки и кору. Возвращаясь с полной сумкой, я наткнулся на слегка присыпанные песком четыре шпалы. Отличные дрова, но справиться с ними одному было не под силу. О своей находке я рассказал Андрееву Вите, и мы вдвоем ухитрились приволочь шпалы к нашим сараям. Это нам удалось только потому, что они были очень сухие.

В сентябре начались занятия в школах, но теперь мы учились отдельно с девочками. В школе нас регулярно осматривали врачи, нам делали разные уколы и прививки. Наиболее ослабленным школьникам назначали УДП (усиленное дополнительное питание). В этом учебном году к такому питанию меня прикрепляли дважды. Еще с тремя учениками из нашего класса я каждый день ходил в специальную столовую обедать в течение ноября и апреля. Аббревиатуру УДП мы расшифровывали «умрешь днем позже», но обед из трех блюд нами съедался без остатка. Перед началом занятий каждого ученика на парте ждал бублик с ириской. В конце ноября все мы получили великий подарок: под Сталинградом окружены немцы! Новый, срок третий год вернул армии погоны.

Письма от отца приходили редко. Когда почта приносила крохотный треугольник, мама начинала плакать. Я старался ее успокоить: «Ма, там, где он находится, сейчас затишье». В конце марта неожиданно заехал дядя Ваня. К моему удивлению, он был без погон. Оказалось, его комиссовали по возрасту и здоровью. Он помог разрешить один давний вопрос: как наши определяют не-

мецкие потери, если на фронте нет боев. «Очень просто, – объяснил он, – наша гаубица стреляет “бух!” Батальонный писарь записывает – убили двух. Стреляет вторая “грох!”. Писарь записывает – убили трех. А дальше, сам грамотный, подсчитать можешь». Дядя пробыл у нас два дня, подарил маме отрез солдатского сукна и уехал в деревню к жене. Этот отрез хранится у меня до сих пор.

В школе нам увеличили часы военного дела: мы разбирали и собирали винтовку, изучали свойства отравляющих веществ и конструкцию противогаза. Для проверки работы последнего нас приводили в камеру газоокуривания. Там мы надевали свои противогазы, инструктор распылял слезоточивый газ, разбив ампулу над жаровней. Того, кто начинал заливаться слезами, выводили и забирали противогаз на проверку. Остальные ждали команды «Снять противогазы!», после чего мы с заплаканными глазами выбегали из камеры. Во время одного из таких сеансов кто-то из наших учеников украл коробку с несколькими ампулами газа. Дня через два в нашей округе разразилась паника: «Немцы газы пустили!» Люди вдруг начинали выпрыгивать из трамвая, то выбегать из магазина, то разбегаться из кинотеатра, кашляя и утирая слезы. Возмутители спокойствия обнаружили себя тем, что перед началом уроков успели разбить ампулу в нашем классе. Мы плакали и кашляли, с нами страдала и учительница. Несколько минут продержав нас классе, она позволила всем выйти. В результате сурового разбирательства выявили двух зачинщиков: одного исключили из школы, другому объявили строгий выговор с предупреждением.

Наши проделки становились далеко не детскими шалостями. В ребячьей среде появилось множество боевых патронов, от автомата до крупнокалиберного пулемета.





Львиную долю боеприпасов нам поставляла самолетная свалка, которая находилась на площадке, где сходились Рижская и Октябрьская железные дороги. Обследуя сбитые самолеты, наши и немецкие, мы множили наш арсенал. Но были и другие источники: не редкость было увидеть у своего приятеля противотанковый снаряд. Мы научились разряжать патроны и снаряды и делали это с завидным упорством, добывая порох. За это «зелье» ребячье племя платило не только оторванными пальцами, выбитыми глазами, но иногда и жизнями. В моем сарае был верстак с хорошими слесарными тисками, с помощью которых мы успешно разряжали винтовочные патроны. У Вити Андреева обнаружился трассирующий патрон, и он принялся его разряжать. Зажав пулю тисками, он расшатал гильзу, аккуратно отделил ее от пули и ссыпал порох в жестяную коробочку. Потом он взял молоток и стал колотить им по зажатой пуле. Я стоял рядом и наблюдал за происходящим. В это время меня окликнула мама, пришлось выглянуть из сарая, и тут за моей спиной раздался хлопок. Витя стоял с растерянным видом, зажатая пуля светилась малиновым цветом. К счастью, все обошлось. Это был не единственный экссесс. В один прекрасный день я зашел к нему с предложением куда-нибудь пойти. Он разжигал самовар на кухне. Чурки были сырые, и огонь никак не разгорался. Мне было известно, что у Вити имелся порох от немецкого противотанкового снаряда. Этот порох выглядел как современные спагетти. Желая помочь ему, я посоветовал воспользоваться порохом от снаряда. Предложение понравилось. Он достал щепотку «спагетти» и сунул ее в самовар. Поставить трубу не удалось: «спагетти» стали вылетать из самовара как маленькие ракеты. Они горели с одного конца и кружились по всей кухне. Мы бросились ловить их и вышвыривать на улицу.

Каким-то чудом нам удалось с ними благополучно справиться.

У нас появилось развлечение устраивать в овраге костер. Если случалось разжиться картошкой, то запекали ее в золе. Расположившись вокруг огня, мы рассказывали друг другу о прочитанных книгах, кинокартинах, забавных случаях и всяких небылицах. Иногда нашу идиллию нарушали ребята враждебных кланов: кто-нибудь из них, пробегая мимо нас, швырял в костер горсть патронов от автомата. Мы бежали прятаться за железнодорожное полотно, где выжидали, пока хлопнет последний патрон. А недруги с высокого откоса улюлюкали и корчили нам рожи. Как-то после всего этого я охладел к своему арсеналу, собрал все патроны и выбросил в уборную. А накопленный порох втихомолку сжег в овраге маленькими кучками.

Дела на фронте нас радовали. По карточкам иногда стали выдавать американские продукты: яичный порошок, упакованный в симпатичную коробочку из вошеного картона, и сыр. Несмотря на хронический аппетит, омлет из порошка я ел с трудом, от сыра отказывался наотрез. Сыр ядовитого светлоранжевого цвета обладал противным вкусом, а его марлевая обертка ассоциировалась с госпиталем. Настасья Михайловна ходила мимо мамы гоголем, к ней частенько заходили в гости военные. Ее сын бегал днем по двору, хвастаясь крупной купюрой, а вечером я заставлял его заплаканным на крыльце. От предложения пойти к нам он упрямо отказывался.

В середине июня от отца пришло очередное письмо, против обыкновения, мама заплакала и засмеялась одновременно. Он общался, что жив-здоров, что его скоро демобилизуют и через месяц надеется вернуться домой. Мы никому не сказали об этом известии и с затаенной радостью жда-

ли. Каждый день по несколько раз я пересчитывал дни в календаре. И этот день пришел! Отец появился под вечер в солдатской шинели, сапогах и с тяжелым мешком на плече. Нет у меня таких слов, чтобы описать первые минуты встречи. Когда страсти улеглись, отец достал две банки с тушенкой и колбасой. Я с недоверием покосился на американские консервы, но на этот раз был неправ. И был пир, и были разговоры до полуночи.

Демобилизация отца объяснялась очень просто: во-первых, возраст, во-вторых, из армии отзывали специалистов для предприятий. На «Большевичке» практически некому было поддерживать машинный парк в рабочем состоянии, кроме того, фабрику стали оснащать американской техникой. Возвращение отца повергло Настасью Михайловну в истерику. «Всех задарили, всех купили!» – кричала она на весь дом. Что касается меня, то отец вернулся вовремя. Трудно сказать, сумел бы я без него устоять перед влиянием улицы. Многие из моего окружения стали шарить по чужим сараям, играть в «очко» и, конечно, покуривать. В моей родне никто и никогда не курил ни со стороны отца, ни со стороны мамы. Табачный дым был мне противен с раннего детства. Мальчишки, собравшись в укромном месте, раскуривали грязные, замусоленные окурки и передавали их один другому. Когда очередь доходила до меня, я отказывался, с трудом скрывая брезгливость. На мою голову обрушивалась лавина насмешек и скверных слов, самым мягким из которых было «баба». Но мне удалось выстоять и не пристраститься к этому пороку.

А вот с картами у меня вышла осечка. Я любил играть в подкидного, «петуха» и в «короли и принцы». Расплачивались в таких играх щелчками по лбу, отсидкой под столом, шлепками картами по кончику носа. Как-то

я собрался пойти выкупить по карточкам хлеб. Во дворе меня встретила картежная компания ребят из соседних домов. Заметив в моих руках деньги, они предложили сыграть в «очко». Мне была известна эта игра, но я никогда не интересовался ею. Тщетная попытка отказаться («А если проиграю?») была отбита: «А если выиграешь?» Аргумент поколебал меня, и я согласился и конечно проиграл целый рубль. Подавленный, я стоял возле крыльца, где меня застал отец. «За хлебом сходил?» – спросил он. Мне нечего было сказать в свое оправдание, и я молча потупил взор. Тут один из моих доброжелателей игриво проговорил: «А он деньги проиграл в карты». Отец схватил меня за шиворот и втащил в комнату. Расплата была суровой, он взял приводной ремень от ножной машинки «Зингер» и стал им сечь меня по заднице. Закончив порку, отец отпустил меня со словами: «Еще раз сыграешь на деньги, убью».

К счастью, мое общение не замыкалось на ребятах соседних домов. В классе я подружился с Андрюшей Гудимом, белокурым синеглазым мальчиком из культурной семьи. Мы сидели за одной партой, ходили вместе в кино и друг к другу в гости. Он жил в пятиэтажном доме от завода «Калибр». Их семья, отец и два сына, Андрей и младший Миша, занимала две комнаты на пятом этаже трехкомнатной квартиры. У Андрея всегда было интересно, стену одной из комнат занимали шкафы, полностью заставленные книгами. Такого я еще не видел у своих друзей и приятелей. Андрей позволял мне выбирать книги и брать их домой. Первое, что я прочел из его библиотеки, была книга Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль». Кроме библиотеки, существовал еще и чердак. Он находился прямо над квартирой, и проникали мы туда беспрепятственно. На чердаке наша буйная фантазия расцветала махровым цве-



Соседи по коммуналке. В центре - Леля

том.

Андрюша пригласил меня на день рождения. Это случилось впервые в моей жизни. Озадачившись подарком, я безрезультатно обошел все книжные магазины на Первой Мещанской. По дороге обратно завернул на Крестовский рынок и там, на развале, мне приглянулся двухтомник «Приключения Перигрина Пикля» Тобайаса Смоллетта.

Приобретя книги, я в назначенный час был у Андрея. Праздничная обстановка ошеломила меня: стол был уставлен и завален, с моей точки зрения, лишней посудой и приборами. Но это было не все, за столом Андрей сидел рядом с бабушкой, и они спокойно беседовали по-французски. Андрей обрадовался моему приходу, вышел из-за стола и стал показывать мне подарки. Полу-

чив двухтомник, он порадовал меня: «О, у меня такого нет». Несколько дней спустя он порадовал меня вторично: «Знаешь, интересно читать про Пикля». Когда успехи нашей армии стали отмечать салютами, я прибежал к Андрею, и мы с балкона смотрели на победные фейерверки. Особенно нам нравились первые салюты за освобождение Орла и Харькова, тогда помимо ракет все небо



Колхозная площадь, первые дни после войны



Советская площадь в день 800-летия Москвы. На месте фонтана сейчас – памятник Юрию Долгорукому

расчерчивали трассирующие пули. Я бесконечно благодарен своему первому школьному товарищу, общение с которым оказало глубокое воздействие на становление моего мировоззрения.

Отношения с Лелей осложнились: сказывалась возрастная разница. От моих глаз не ускользало, как ребята постарше норовили потискать ее при удобном случае. В один из августовских вечеров я увидел Лелю в объятиях парня, который жил через дом от нас. Парочка никого не замечала. Мне было непонятно, почему Леля не пытается вырваться, почему не убегает, не зовет на помощь, наконец. И вдруг меня осенило: ей это нравится! Сердце мое было разбито, я страдал, строил планы отмщения. Но отроческая жизнь продолжалась: школа, друзья, книги не давали мне уйти в себя, и моя сердечная рана стала затягиваться. Однажды при встрече взглянув Леле в лицо, я изумился про себя: «Да она похожа на лягушку!» Со

мной произошла та же метаморфоза, что и у Николеньки при визите к Сонечке в юности у Льва Толстого.

Страна встретила новый, сорок четвертый год. Школа устроила нам елку в Доме Красной армии. В зимние каникулы мы гоняли в Останкино на лыжах. После каникул все классы перед занятиями собрали в спортзале, и мы стали разучивать новый гимн. Так продолжалось недели две. В Москве разобрали баррикады и убрали все ежи. По вечерам главные магистрали начали освещаться тусклыми электрическими лампами. В затемнении автомобильных фар прорезали маленькие щелочки для света. Открылись коммерческие продовольственные магазины. Всех это радовало, но больше всего радовали успехи нашей армии. Вскоре после окончания занятий союзники подали нам повод для ликования: наконец-то они открыли второй фронт. В середине лета прокатился слух, что по Москве проведут



Во дворе дома, 1946

пленных немцев. Ребята начали деятельно готовиться к этому. Семнадцатого июля, набив карманы камнями, мы в компании четырех ребят приехали к нашему однокласснику. Он жил в семиэтажном доме на Первой Мещанской. План был прост: залезаем через чердак на крышу и пускаем в ход камни. Когда первые шеренги пленных ступили на Первую Мещанскую, мы понеслись на седьмой этаж, но неусыпные чекисты не дремали, и на чердачной площадке появился военный с вопросом: «Чего тут забыли, пацаны?» Как горох, мы ссыпались вниз, вытряхнули из карма-

нов камни и выбежали на улицу. Пробравшись сквозь бесконечную толпу москвичей в первый ряд, стали рассматривать немцев. Солдаты как солдаты, с хорошей выправкой, идут спокойным походным маршем. Многие пленные выглядели лучше наших солдат. Люди безмолвно рассматривали поверженных врагов. Редкие вспышки истерии быстро улаживались.

В августе вернулись Гутманы, и снова у их крыльца собирались сходки под предводительством Берты Израилевны. Собралась очередная сходка, я стоял поблизости и играл полуфунтовой гирькой с дужкой, перекидывая ее с ладони в ладонь. Неожиданно кто-то напомнил Берте Израилевне, что она собиралась отравиться. Гутман, подболевшись, отбрила: «А вы тут все оставались немца встлечать?» Я поперхнулся и сжал в ладони гладенький кусочек металла. Женщины мгновенно стали расходиться. Меня заметила Лелина мама и, очевидно, поняла мое состояние. Она увела меня за руку со словами: «Пойдем отсюда, нечего тебе здесь делать».

Заканчивался последний военный учебный год. Фронт переместился в Германию и в союзные с ней страны. На Пасху мама приготовила традиционные красные яйца, ку-



Мама, 1945. Первый портретный снимок сына



Саша Хохлов осваивает новые радиочастоты, 1946

лич и творог. Все это она предварительно освятила в церкви и отстояла Всенощную службу. Я тоже был на этой службе и встретил многих своих одноклассников в церкви. Мы старательно делали вид, что ничего особенного в этом нет, что так и должно все быть. В понедельник все мы, не стовариваясь, не пошли в школу. На следующий день классная руководительница не допытывалась о причинах наших прогулов. Мама всю пасхальную неделю пребывала в приподнятом настроении. И вдруг она запела: «Боже, царя храни!» Я поспешил ей объяснить, что это не молитва, а царский гимн. Она верила в Бога, но не была набожной и не знала ни одной молитвы.

Пал Берлин. Все предвкушали близкую победу. И тем не менее капитуляция Германии застала нас, ребят, врасплох. Орать и носиться по дворам казалось недостаточным, чтобы дать выход чувствам, переполнявшим нас, хотя мы этим занимались уже целую неделю. Близился вечер, и вдруг кто-то крикнул: «Ребя, айда на Красную площадь!» Очень скоро мы оказались на Театральной и оттуда с толпами ликующего народа пошли на Красную площадь. Над площадью на аэро-

статах висели портреты руководителей страны. Небо пронзали бесчисленные лучи прожекторов. Эти лучи то застывали на месте, то пускались в неистовый танец, выхватывая из небесной мглы облака и аэростаты. Военному человеку пройти по площади было невозможно: толпа его мгновенно обступала и начинала качать на руках. Люди плакали, смеялись, обнимались, целовались... Молодые парни лет семнадцати–девятнадцати

устроивали танцы, где под гитару, где под аккордеон, танцевали и соло, и группами. В глазах этих ребят светилась вселенская радость. Народ захмелел не от вина (пьяных тогда не было) – от радости долгожданной Победы. Мы исходили Красную площадь вдоль и поперек, обошли раза три вокруг Кремля, и везде были бесконечные людские толпы, излучающие радость и счастье. Было уже поздно: куранты показывали за полночь. Отправились домой на трамвае. В полупустом вагоне, высунувшись из открытых окон, мы беспрестанно кричали: «Мы победили! Ура!» Никто из пассажиров нас не останавливал, с улицы нам махали руками и тоже в ответ кричали: «Ура!» Жизнь приноравливалась к мирным условиям.

С окончанием занятий в школе в честь победы отец подарил мне фотоаппарат ФЭД. Аппарат был старенький, но в хорошем состоянии, и я с головой окунулся в тайны фотографии. Война не сумела полностью растратить жизненные силы моих родителей. В конце года они обменяли комнату на крохотную отдельную квартиру, и началась новая страница нашей жизни.



А.А. Ходак

ПОД ЗЕЛЕНЫМ КУПОЛОМ

В самом центре Москвы, напротив Кремля, находится Софийская набережная. В этом доме, выходящем на три улицы – Софийскую набережную, Фалеевский переулок и Болотную набережную, – прошло мое школьное детство. Сейчас это приметное здание с зеленым куполом занимает компания «Роснефть». А до войны именно под этим зеленым куполом бывшей домово́й церкви знаменитого Бахрушинского дома находилась наша коммунальная квартира.

Бахрушинский дом назывался «вдовьим», строился для вдов, но заселен он был в советское время, как настоящий улей, огромным количеством жителей, в том числе и с детьми. Это место по-прежнему остается в памяти как моя малая родина. Наша семья, состоявшая из четырех человек, занимала одну комнату. В квартире был длинный коридор, там жили пять семей, всего двадцать один человек, у каждой семьи – по комнате. Построен дом был добротно, подъезд – с отличной двухсторонней лестницей и огромными окнами. При входе в квартиру большой коридор, две кухни, две ванные комнаты, два туалета. И украшал наше жилище один телефонный аппарат.

Дом был теплым, уютным, все соседи дружили, помогали друг другу. Домой всегда хотелось идти. Большой достопримечательно-

стью квартиры был сибирский кот Микки, которого обожала вся детвора. Он был важным, гордым, очаровательным животным! Хорошо знал месторасположение комнат и не любил ходить в гости, хотя мы его всячески приманивали и зазывали.

В одной из комнат жил профессиональный фотограф Иосиф Израилович – дядя Изя. Он, конечно, фотографировал всю нашу «колонию», но снимков у меня, к сожалению, не сохранилось. Зато осталось сделанное им в 1941 году до войны фото, на котором запечатлена я и моя младшая сестра Нина.

Новогодние праздники были грандиозным событием в нашей коммуналке. Накануне собирался «исходный материал»: открытки, крупные марки, фантики, бумажные кружева и тому подобное. Моя бабушка в то время работала на кондитерской фабрике «Ударница» и приносила нам цветные обрезки, бумажки – все, что могло пойти в дело. Из яичной скорлупы мы делали петрушек в колпачках и разные фигурки. Из ваты, тряпочек, клея придумывали матрешек, куколок. Все это доставляло нам огромное удовольствие! А потом устраивались смотрины, определялись чемпионы.

Дом был очень большой, с площадкой во дворе, где каждую зиму заливали каток. Ходить на каток было самым заманчивым времяпрепровождением. Площадка была

радиофицирована, заводились пластинки, и мы под музыку катались, танцевали. Радости не было предела!

В нашей квартире жила молодая семья, в которой рос внук детской писательницы Александры Яковлевны Бруштейн – Саша (его все звали Аликом). Книгой А.Я. Бруштейн «Дорога уходит вдаль...», очень популярной в те годы, мы зачитывались. Ее дочь Надежда Сергеевна была руководительницей танцевального ансамбля «Березка», который мы хорошо знали и очень любили. Сама Александра Яковлевна была глуховата. Однажды ее привезли в гости к нам в квартиру, а она забыла свой слуховой аппарат. Стучит во входную дверь. На вопрос «Кто там?» – ни ответа, ни привета. С каждым разом стук раздается все сильнее и сильнее. Все, кто был дома, собрались в коридоре. Наконец кто-то из мужчин рискнул открыть дверь. Разгневанная писательница набросилась на нас, а мы все долго смеялись.

Особой достопримечательностью нашей коммунальной квартиры была бабуля-домработница в семье Бруштейнов. Она вырастила их сына, а потом внука Алика, заботилась об этой многочисленной семье. Нянюшка, так мы ее называли, опекала и детвору нашей коммуналки. Иногда нам перепадали пирожки или котлетки, которые она готовила. Мы шиковали!

Большинство ребят из нашей квартиры учились в школе № 19, расположенной в конце набережной около Дома правительства или, как его называют, Дома на Набережной, с легкой руки Юрия Трифонова. В одной школе со мной училась Людмила Лысенко, дочь «агронома-академика» (потом она поступила в медицинский институт), внучка писателя Серафимовича Жася Попова, в параллельном классе училась дочь председателя Президиума Верховного Совета СССР Майя Горкина. Ее отец был гостем

нашего прощального школьного вечера. Тогда мы решили встречаться каждый апрель в день гибели В.В. Маяковского.

Самым тяжелым воспоминанием о военных годах был голод. Нам, детям, всякая пища казалась верхом блаженства! Основной темой наших детских разговоров была еда. Кто что любит, что готовили мама или бабушка перед войной. Но вот здесь-то и выручала коммунальная квартира: почти во всех семьях пекли оладьи из картофельных очисток. Это был настоящий деликатес! Мы крутились на обеих кухнях, и взрослые, конечно, не могли удержаться, чтобы не угостить нас. Казалось, что вкуснее еды не существует. Мы наслаждались и запахами, которые исходили от других коммунальных кухонь. А как эти запахи возбуждали аппетит!

В нашей семье мне доверяли до школы сходить в магазин, к которому мы были прикреплены, где отоваривали хлебные карточки. Я шла туда примерно часам к семи утра, крепко зажав карточки в ладошке. Очередь уже ждала открытия магазина. Нас запускали партиями. И далее – томительное ожидание... В уме я все время, пока продвигалась очередь, молила Бога, чтобы мне выдали довесок хлеба, так как этот «подарок» по дороге мне разрешала мама съесть. Я медленно шла домой, отщипывала малюсенькие кусочки, клала их под язык и смаковала, как сладкую конфету. Это была моя награда за труд.

Летом 1941 года младшие школьники (нам было по одиннадцать-двенадцать лет) отправлялись на работу в совхоз на Ленинские Горы, где теперь возвышается здание Московского университета. Мы убирали урожай картофеля, моркови, срезали мощные кочаны капусты. В тот год был невероятный урожай капусты, мы даже не могли закинуть эти кочаны в машины, и нам помогали мальчики из соседней школы и взрослые колхозники. Совхоз за труд выдавал нам

овоши. Это и спасло мою семью от наступившего впоследствии голода. А в 1942 году от школы нас направили в совхоз «Непечино» на все лето. Работали мы наравне со взрослыми. Уезжая домой, колхозники втащили в наш грузовик несколько мешков картошки! Она-то нас и выручала зимой 1942/1943 года.

Хорошо помню день 23 февраля 1942 года – День Советской армии. Немцы устраивали бомбежки как будто по графику. Началось приходилось часов на шесть пополудни. Конечно, они целились в Кремль. В этот день они решили, видимо, особенно постараться, взрывы раздавались со всех сторон. Несколько авиационных бомб попали в наш дом! Шум, крик, детский плач. Стекла повывлетали, взрывной волной сорвало входные двери. Все, что стояло на столах, снесло и разметало. Мы, «юные защитники», не хотели идти в подвал, рвались на крышу. У выхода дежурили взрослые, которые не пускали нас наверх, так что жертв бомбежек у нас в доме не было. Одна бомба разворотила ограждение Москвы-реки, и вода залила всю набережную.

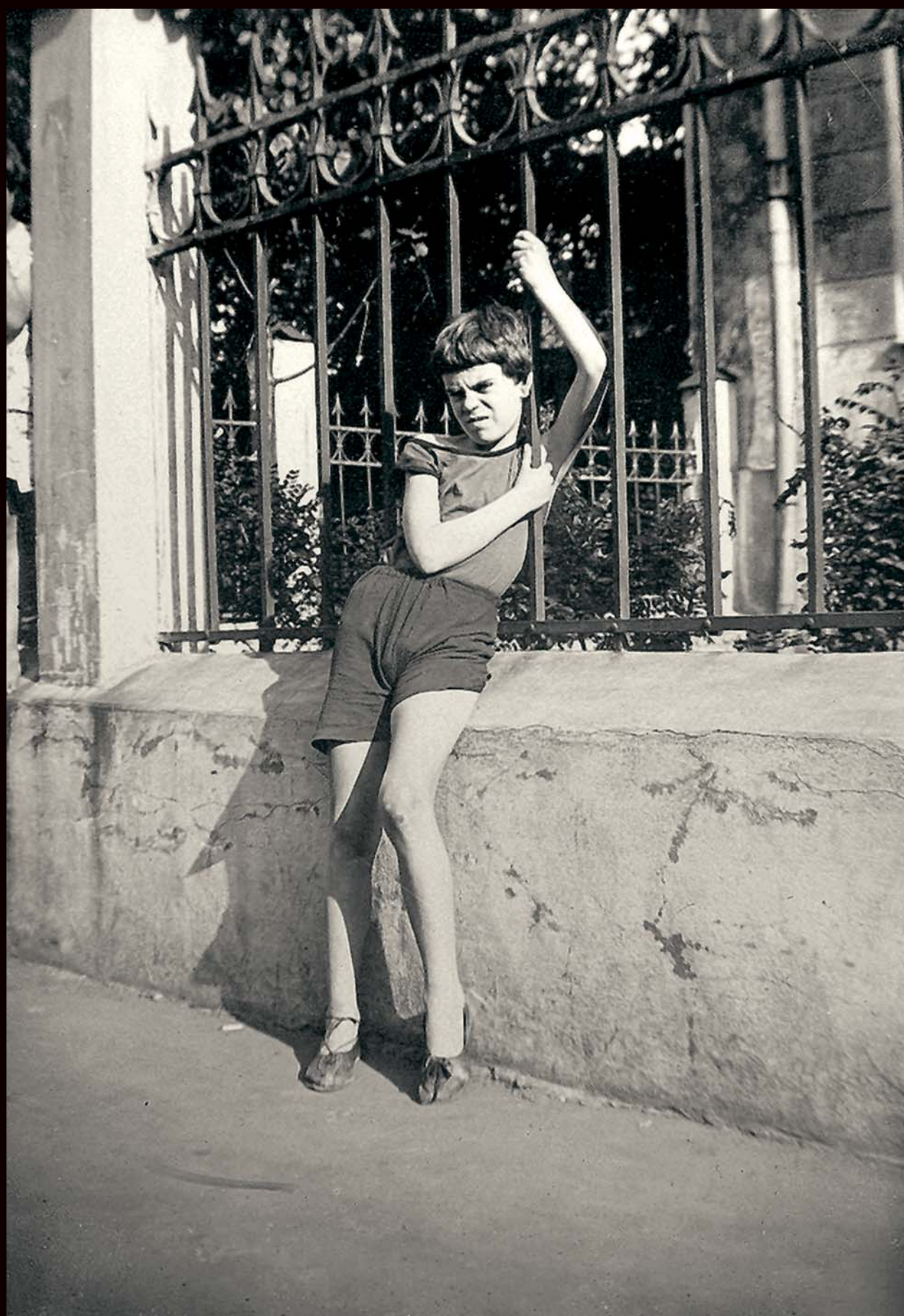
На другой день, когда обстрел уже закончился и все проснулись, мы вдруг заметили, что моя младшая шестилетняя сестра стала заикаться. Сказался испуг. Оправилась она после этой травмы только через год.

Вся наша квартира была свидетелем трагедии, произошедшей около нашего дома. В торце здания, где мы жили, вдоль притока Москвы-реки, был пустырь, свалка. Там во-

енные разместили зенитный расчет, защищавший от авианалетов Кремль. Зенитчицами были одни девочки, в нашем представлении – старшекласницы. Мы бегали к ним, знали их имена – словом, подружились. Мы даже знали, что им не разрешалось обстреливать немецкие самолеты, когда те появлялись над расчетом. Но в тот день (кажется, 23 февраля 1942 года, когда был особенно сильный обстрел, точно – не помню) девочки-зенитчицы дали по ним залп, таким образом обнаружив себя. Немецкий летчик нанес ответный удар по ним, и весь расчет был уничтожен.

Место быстро оцепили и все убрали... кроме нашей памяти. Очень долго мы вспоминали девчонок, плакали. Именно на этом месте был разбит сквер, а в центре сооружен фонтан, огражденный барьером. Существует сквер и сейчас, напротив кинотеатра «Ударник». Там расположена скульптурная композиция Михаила Шемякина «Дети – жертвы пороков взрослых». Замечательный памятник, но думаю, что именно здесь должен быть военный мемориал.

Однажды летом 2007 года, проходя по своему дачному поселку, я обогнала двух женщин, что-то громко обсуждавших между собой. И вдруг слышу: «Софийская набережная». Я тут же остановилась, мы разговорились, и оказалось, что в прошлом они тоже жители Бахрушинского дома! Долго мы простояли на дачной тропинке, вспоминая с Майей Владимировной Сенкевич наше детство и юность...



В.И. Прохорова

МАРСЕЛЬСКИЙ КАБАЧОК

Мое беззаботное детство закончилось со смертью папы в 1927 году. Мой отец, Иван Николаевич Прохоров, был последним владельцем Трехгорной мануфактуры. Когда папа умер, мне было девять лет. Рабочие Трехгорки на руках несли гроб отца до Ваганьковского кладбища. И потом, когда мы с мамой жили в коммунальной квартире на улице Фурманова, рабочие долгое время помогали нам и продуктами, и деньгами. Мама осталась с



Петр Петрович Боткин, владелец крупной чаепитательной фирмы, со своими внучками Надей (моей мамой), Любой и Верой (слева направо)



Дедущка Николай Иванович Гучков с женой Верой Петровной (урожд. Боткиной) и детьми

двумя детьми: мной и моим младшим братом Колей.

В 1937 году папу в очередной раз пришли арестовывать:

- Нам Ивана Николаевича Прохорова.
- Его здесь нет.
- А где он?
- На Ваганьковском кладбище, – ответила мама.

Спустя время в этом же доме были арестованы мамина родная сестра Любовь Николаевна, ее муж Юрий Николаевич Висковский и сын Николай. А как все хорошо начиналось!



Родители Иван Николаевич Прохоров
и Надежда Николаевна (урожд. Гучкова), 1915

Отец моей мамы, московский городской голова Николай Иванович Гучков, владел доходным домом в Нащокинском переулке (только одним! – замечу в скобках). Когда в 1916 году тетя Люба, младшая сестра моей мамы, выходила замуж, свободных квартир

в доме не было. Дедушка не мог выселить никого из жильцов: «Любушка, первая же освободившаяся квартира будет твоей», – и с большими извинениями предоставил ей единственную свободную квартиру в цокольном, полуподвальном помещении. Грянула революция. Тетя Люба так и осталась там со своей семьей. Через десять лет в этой квартире оказались и мы с мамой и братом.

Нас, детей, было четверо: старшие и младшие. К старшим относились я и двоюродный брат Коля. К младшим – мой родной брат и двоюродная сестра Люба (они были моложе нас на два года). Обоих братьев звали Николаями, но старший назывался Котя, а младший – Кота. К нашей шайке примыкал еще и Кот Эфрон, сын Веры Яковлевны Эфрон и Михаила Соломоновича Фельдштей-



Отец Иван Николаевич Прохоров, 1914



Мама Надежда Николаевна Прохорова, 1916



С родителями и братом Колей, 1920

на, живших этажом выше. Настоящее имя Кота Эфрона – Константин, Костя, но так его никто не называл. Он был младше меня на четыре года.

Самым любимым нашим развлечением в детстве были спектакли. Мы сами писали сценарии, сами придумывали декорации и сами разыгрывали «захватывающие дух» сюжеты. Почти все наши спектакли были на революционную тему. Моему двоюродному брату почти всегда доставались «злодейские» роли. Для роли жандарма ему приклеивали усы, обязательно надевали военную фуражку его отца и давали пашку. Основным его занятием было ходить и угнетать граждан. Он стучал саблей и восклицал: «Ты арестован, пойдешь на каторгу!» Мой родной брат был благородным революционером и отвечал всегда в таком духе: «Ведите меня! За народ я пойду на смерть!» – и уходил на смерть, но всегда чудом спасался, убегал, переплывал то Иртыш, то Енисей. Наконец он возвращался к революционной деятельности.

Я была женой революционера. Первым моим делом было написание листовок, вторым – письма любимому на каторгу. Естественно, письма передавались тайными путями. Ответные послания были примерно следующего содержания: «Любимая! Я в глубине сибирских руд, храните гордые терпе-

нья!» Это было первое, что мы восприняли от Пушкина. Наша фантазия пыталась включить в какой-то момент индейцев, но мы поняли, что это несколько разная география, поэтому задействовали крестьян из каторжников. Полковник Кобылкин, так звали жандарма, обычно настигал супругов-революционеров в момент

расклеивания листовок, но они спасались бегством. А в конце всегда побеждала революция: из-за сцены раздавался гул счастливой толпы. Неожиданно появлялся Кобылкин и бросался на юного революционера Кота Эфрона, но его спасал вернувшийся из



С папой, 1920



Кот Эфрон возле дома на ул. Фурманова, 1926

ссылки старший товарищ. Для финальной сцены был заранее приготовлен реквизит: из картона вырезаны серп и молот (серп был похож на половинку бублика, а молот выглядел внушительнее). Кот, держа перед собой символ великого счастья и лучезарного будущего народа, выходил на сцену, делал шаг вперед и, обращаясь к публике, вопрошал: «Ну, скажите, когда было лучше: сейчас или теперь?!»

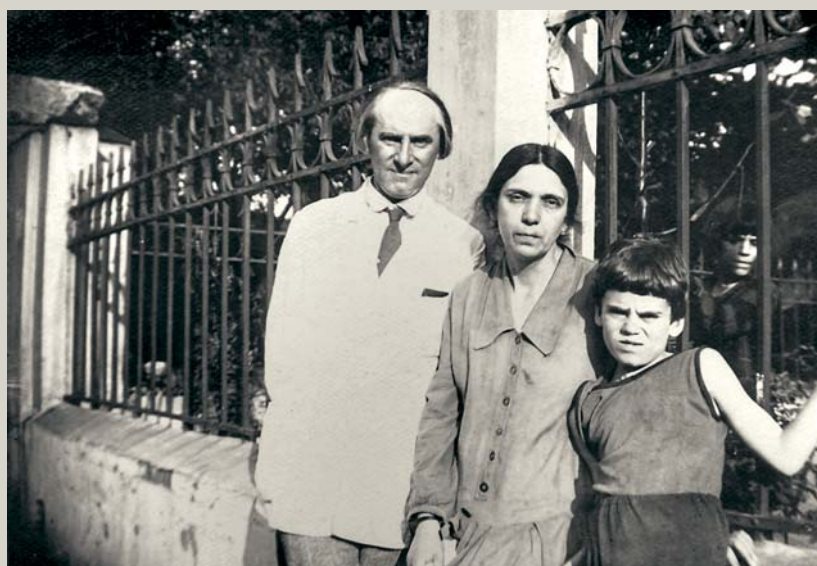
Родители были в восторге. Хохотали до слез. Часто на наши спектакли приходила Лиля, Елизавета Яковлевна Эфрон, родная тетка Кота, дававшая актерам уроки художественного слова. Особый восторг испытывал пришедший с ней Дмитрий Журавлев. А вот Сергея Эфрона я видела только раз.

Наше увлечение домашними спектаклями продолжалось класса до седьмого-восьмого, потом стали посещать школьный драмкружок.

Наша коммунальная квартира также напоминала театр, и тут мы имели такое разнообразие персонажей, что о них можно было бы рассказывать и рассказывать. Некоторые, самые яркие, конечно, достойны, чтобы их вспомнить.

Гаврилов-Терский – потомственный дворянин и лютый пьяница. С чуть рыжеватыми волосами, постоянно опухшей физиономией, напоминающей тыкву, он был главным редактором и гордостью журнала «Долой алкоголь». И он действительно боролся с алкоголем, уничтожая его в больших количествах. Частенько он становился объектом забав детей и нашей семье с завидной периодичностью доставлял неудобства. Дело в том, что мы жили в большой комнате, бывшей столовой, отделенной от холла тяжелым занавесом, который выполнял функцию перегородки, а в наших спектаклях служил театральным занавесом.

Обычно вечером Гаврилов-Терский в боевом состоянии возвращался с редакторского заседания и каждый раз на пороге заводил



Кот с родителями Верой Яковлевной Эфрон и Михаилом Соломоновичем Фельдштейном, 1926

одну и ту же песню: «Мы не пивом и не водкой, эй, смелей взводи курок, самогоном зальем глотки (на этом месте он обязательно ревел) – погуляем хочь разок!» Беднягу кидало, как в шторм по палубе, туда-сюда, и шел он всегда от одной стены к другой, пока не достигал нашего занавеса. Тогда он начинал цепляться за него как за единственное свое спасение, но чаще всего не удерживался и влетал к нам в комнату прямо под стол. Приходилось звать соседей на помощь, и его за ноги оттаскивали из нашей комнаты.

Периодически Гаврилов-Терский становился предметом шуток живущих в доме детей. Однажды он пришел домой с собутыльником. Пили всю ночь. Наутро протрезвели. Глядь в окно, а оно залеплено снегом. «Мы погибли, нас снегом занесло!» – и тут началась паника... Оказалось, дворовые мальчишки решили так подшутить над пьяницей: они играли во дворе и залепили ему окно снегом. Вот было ликование!

А другой раз мой брат и двоюродная сестра Люба залезли в коридоре около двери на сундуки и, когда Гаврилов-Терский (как всегда в хорошем подпитии) вошел, начали сверху бросать в него шапками и размахивать старым пальто, изображая землетрясение. Они так увлеклись, что хохоча упали на бедного пьянчужку, повалили его на пол и, услышав фразу «здесь, кажется, враги», резво скрылись.

Потом Гаврилов-Терский обменялся комнатой с дамой, «промышлявшей своей кра-



Кот Эфрон, 1936

сотой», которая у нее, между прочим, отсутствовала напрочь. Запомнилась она тем, что своего грудного ребенка укачивала словами: «Смерть тебя позабыла», – что приводило всех нас в совершенный ужас. По счастью, она прожила у нас недолго и обменялась с довольно кроткой женщиной из деревни. Очень богобоязненная, благообразная, Шурочка всегда ходила в платочке, ей уже тогда было сильно за сорок, и она любила повторять: «Все мы девушки, все мы женщины, у всех у нас пережитки, терпеть надо». Обращаясь к нам с Любой, она непрерывно повторяла слово «девушки»: «Девушки, конечно, замуж я хочу. Девушки,

конечно, глаз у меня неправый» (у бедняжки было бельмо на глазу). Шурочка тщательно следила за порядком. «Мой голубой рай» – так она называла свою комнату, где у нее все было в голубом: и обои на стенах, и покрывало, и занавесочки на окнах... И вот ей улыбнулось счастье: во время войны к ней стал захаживать некий Григорий. «Девушки, он интересный, росточком невысок, но интересный». А история у Григория была такая: он попал на фронт, но потом упал с какого-то столба (где он нашел столб, всегда оставалось загадкой), после чего стал заикаться. На фронт его обратно не взяли, а направили работать при тресте «Арагат», где его должность называлась «сопроводитель бутылок в вагонах». Несмотря на его заикание («те-те-те...»), Шура страшно им гордилась и преданно любила. «Девушки, жениться он не хочет, но я ему как жена. Девушки, вы скажите ему,



С папой, 1921



С мамой и братом, 1922

что жениться надо. Я кагор куплю, выпьем, посидим хорошо». Мы ее по-женски поддерживали: «Григорий, вы б женились на Шуре, какая чудная!» «Те-те-те-девочки, я себе те-те-те-покраше найду, помоложе», – и он все время грозился ее оставить.

«Я те-те-те-иду по бульвару, а там те-те-те-дамочка такая красивая, те-те-те-меня увидела и как те-те-те-набросится с криком “а-а-а!”» С тех пор у нас это восклицание и «жест-бросок» вошли как обозначение чего-то невообразимого, из ряда вон выходящего.

Но самое интересное, Григорий все-таки женился на Шуре. Однажды он вернулся из своей очередной поездки в качестве «сопроводителя бутылок». Шура, как хорошая жена, растопила дровами колонку, приготовила ему ванну, вручила Григорию чистое белье и отправила его мыться. И вдруг слышим из

Шуриной комнаты страшный крик:

– Девушки, идите скорей сюда!

– Шурочка, что случилось?

Шура стоит над раскрытым чемоданом Гриши и размахивает женским чулком, как в цирке плетью: «Девушки, жена об нем страдает, а он с бабой. Поглядите, в чемодане чулок! Ой, девушки!» – и в рев. Мы ей:

– Шура, может быть, случайность?

– Девушки, мужики все такие, он же интересный!

Входит Гриша, слышит рыдания, настороженно смотрит на нас. Мы говорим ему: «Гриша, что ж это такое, как же так?» – и указываем на чулок в чемодане. Шура не отрывает рук от лица, горько рыдает. Гриша растерянно: «Те-те-те-черть его знает, бабы...» Тут Шура гордо вскидывает голову и говорит: «Уходи, Григорий, иди к ним туда, на

бульвар... Жена для тебя все, а ты чулок чужой бабы в чемодане таскаешь...» — и опять рев и причитания. Мы смотрим на Григория с укоризной. Тот побагровел и неожиданно выдал: «Те-те-те-хватить, это... хватить... все, в субботу в ЗАГС». Мы обрадовались:

— Гриша, как замечательно!

— Те-те-те-хватить, девушки, те-те-те-будем жениться, хватить!

И действительно, свадьба состоялась. Мы с Любой были свидетелями. Шура сделала стол, Гриша был такой тихий, приличный, в галстуке, в начищенных сапогах. «Теперь, Григорий, ты хозяин. Девушки, я



Двоюродный брат Коля Висковский, 1921

теперь не Услякова, а Филатова. Девушки, я самая счастливая». Мы искренне радовались за нее: «Шура, вот видите, как бывает: не было бы счастья, да несчастье помогло. Если бы не было у Гриши вот того...» Шура тут нам и выдает шепотом: «Девушки, так я сама ему чулок-то положила. Девушки, все мы женщины, все мы девушки, у всех у нас пережитки, терпеть надо. Но мужик, он без бабы не может, не может

он без бабы». Жили они дружно и были хорошей парой. Правда, спустя какое-то время Шура немного загрустила: «Все мы женщины, все мы девушки, у всех у нас пережитки, терпеть надо. Григорий теперь по мужской



Вера Ивановна Прохорова в кругу институтских подруг (верхний ряд, первая справа), 1940

части ко мне не придирается: удушен тру- дом».

Чтобы скрасить одиночество Шуры во время командировок Гриши, супруги решили завести собаку. Назвали ее благородно – Жекин. Это была довольно неприятного вида коротколапая собака, откормленная колбасными обрезками треста «Арарат». Голодный Жекин настолько разжирел, что стал лысеть. Тогда Шура торжественно на поводке повела его к ветеринару. Вернулась в слезах: «Девушки, не поведу больше Жекина к ней, она же ничего не понимает, ничего! Я говорю, вот привела собаку, а она в ответ: “Где же это со- бака, это у вас свинья!” Это про Жекина?!»

Жекина посадили на пшеничную кашу, ко- торую разрешили чуть-чуть подсластить. Это после обрезков-то! И Жекин объявил за- бастовку. Он стал рычать и кусать хозяев, ко- торые перед ним просто благоговели. Шура частенько умоляла соседей, особенно меня, разыграть сценку, чтобы пес поел кашу: «Ве- ра (громко говорила Шура), пойдите, я каш- ку сварила, хорошая, пшеничная, маслица до- бавила, с сахарком». Я громко в ответ: «Иду!» Озлобленный Жекин сидит под кроватью. Топая ногами, прохожу мимо него и гово- рю: «Где здесь моя каша? Каша где моя? Шура, где каша?» – «Вера, идите, кушайте. Кашка хорошая! Молошная, с маслицем, песочком посыпана. Кушайте, Вера, на здоровье». Я по второму кругу: «Где здесь моя каша?»

Сначала из-под кровати доносится слабое рычание. Подхожу ближе и усиленно топаю ногами: «Буду есть Жекину кашу!» Рычание становится сильнее, когда я начинаю двигать миску. И вдруг неожиданно: «Р-рав!» Жекин стремительно кидается из-под кровати к ми- ске и с остервенением поедает кашу, вылизы- вая емкость. А Шура умиленно: «Спасибо, Вера, теперь я спокойна, Жекин покушал».

Шура с большой теплотой приняла друга нашей семьи Святослава Рихтера, когда он



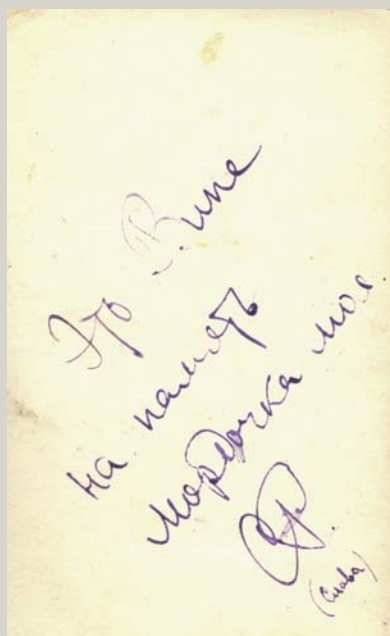
Святослав Рихтер, 1940-е гг.

переехал к нам на улицу Фурманова в нача- ле войны. Но сначала – немного предысто- рии. Моя тетя Милица была замужем за Ген- рихом Густавовичем Нейгаузом. Открытый и гостеприимный дом Нейгаузов на улице Чкалова запомнился очень многим. «Ах, право, Гари, какая у нас талантливая моло- дежь!» – любила повторять тетя Милица. Та- лантливая молодежь не только бывала в до- ме, но и жила. Здесь поселился осиротевший племянник тети Милицы – Сережа, его все звали Воробей. Оставался ночевать в доме талантливый пианист Толя Ведерников, у ко- торого арестовали родителей. Кроме Мил- ки, дочери Нейгаузов, тут росли дети Генри- ха Густавовича от первого брака – Стасик и Адик. Стал этот дом родным и для Святосла- ва Рихтера. «...Когда началась война, Мос- ковская консерватория эвакуировалась. Шла посадка на специальный эшелон.



рительной” национальности, особенно российские немцы... Арестовали и Нейгауза 4 ноября 1941 года. Его держали в тюрьме на Лубянке». После восьми месяцев допросов на Лубянке Нейгауз был отправлен в город Свердловск. После ареста Генриха Густавовича нависла угроза и над Святославом Рихтером (по паспорту он был немец). И действительно, вскоре в дом Нейгаузов явился участковый и принес повестку на имя... Святослава Лихтера «с паспортом явиться в милицию». «Я не Лихтер, – спокойно сказал Святослав, – никуда не пойду». Тетя Милица срочно позвонила моей маме, и после семейного совета было решено: Святослав, не теряя ни минуты, должен переехать к нам на улицу Фурманова. Стараниями НКВД у нас на тот момент освободилась комната: были арестованы родители и брат моей двоюродной сестры Любочки. Святослава поселили в их комнате. Ко всему происходящему он относился очень спокойно, полагая, что у

А Нейгауз продолжал заниматься с учениками в своем консерваторском классе. К нему пришли и потребовали, чтобы он немедленно прекратил занятия и собирал вещи для отъезда – немцы подходили к Москве. Нейгауз, крайне раздраженный вторжением посторонних в класс, бросил: “Что вы сеете панику?” Это было воспринято как предательство, и последствия могли бы быть для Нейгауза крайне тяжелыми. В те времена, особенно в начале войны, соответствующими спецслужбами были арестованы, этапированы в концлагеря или высланы почти все граждане СССР “подоз-

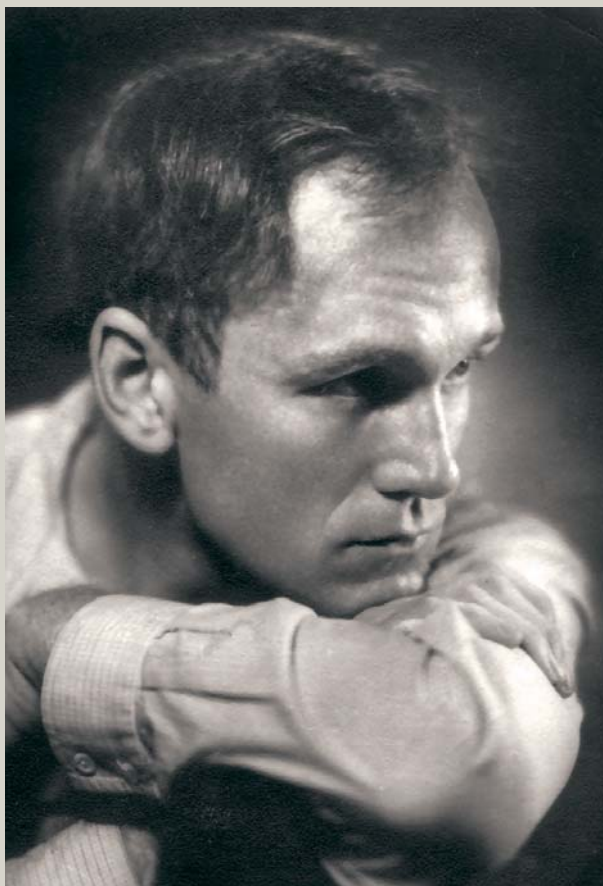


Надпись на фотографии

всякой затруднительной ситуации есть выход. Печка дымит? Давай я противогаз надену и буду эту печку топить. И топил! Дым был страшный, затем проветривали, а после уже решили на этой печке чайник нагревать. Надо сказать, что температура для войны была приличная, мы не мерзли. Несмотря на то что паек был скудным, безысходного голода не ощущалось.

Святослава мы называли или Светом, или Светиком, редко – Славой. Меня он называл Випой (первые буквы от моих ФИО), а Любочку – Лю.

Несмотря на тяжелое военное положение, у нас каждый год была елка. Как-то дос-



Святослав Рихтер, 1940-е гг.

тавали ее, праздновали и Новый год, и Рождество. Правда, туговато было с елочными украшениями. Обычно украшали елку кусочками ваты, имитируя снег. Зажигали на ней принесенные из церкви свечки. Однажды вата вспыхнула, сначала в одном месте, потом – в другом. Соседка Шурочка запаниковала: «Мущины, защитники! Погибнем, пожар, девушки, женщины!» Святослав спокойно подходит к елке и каждый маленький костер начинает гасить руками, зажимает пламя в ладони. Мы кричим: «Руки, руки!» – а Свет смеется: «Что такое? Если сразу схватить, то никогда не обожжешься». Показывает ладони – все в порядке. Невероятно!

О бесстрашии Светика можно рассказать много историй. Раз-два в неделю обязательно навещал тетю Милицу, жену Генриха Густавовича, и Милу. Тетя Милица умоляла его не приходиться (могли заметить), на что Свет

отвечал: «Почему? Я иду себе спокойно. Им и в голову не придет, что я тот самый Лихтер».

А вот еще один случай. Однажды летней ночью Свет проснулся и увидел, что кто-то лезет в открытое окно. Подошел неслышно к окну и схватил руку крадущегося. Тот дико заорал от неожиданности, начал вырываться, а Свет еще крепче сжимает его руку, как будто пытается втащить вора в окно. Утром он со смехом рассказывал нам про свое ночное приключение.

Своим спокойным видом Святослав очень поддерживал нас. Особенно напряженная атмосфера царила во время осады Москвы. Часть людей эвакуировалась, часть оставалась в Москве по разным причинам. Мы остались, потому что не могли ни везти, ни бросить бабушку Любу, больную мать арестованного дяди Юры, за которой нужно было ухаживать. Мы отвели ей самый теплый кусочек нашей коммуналки около коридора, но она вскоре скончалась.

У нас была семейная традиция – собираться к обеду дома. Обед готовила моя сестра Люба, отличная кулинарка. У нее оставались еще какие-то старые приправы, и нам казалось, что обед был невероятно вкусным (вместо супа была почти вода). Самым праздничным блюдом считались пирожки из мороженой картошки и черной муки, которую периодически мы получали по карточкам. Свет говорил, что никогда в жизни ничего вкуснее не ел. Но ощущения бесконечного голода не было, наверное, оттого, что мы часто пили чай и грызли из чего-то сухарики. И конечно, это был праздник, когда маме за урок иностранного языка давали банку тушенки.

С начала 1942 года Святослав состоял на службе в ВГКО (Государственное концертное объединение СССР), куда входили акробаты, фокусники, чтецы, пианисты, певцы, аккомпаниаторы, и с конца 1941 года начал

выезжать с концертами на фронт. Ватные брюки, телогрейка, бушлат и шапка – такой набор выдавался всем тем, кто летал на фронт. Во время одного из таких вылетов Свет познакомился с Лидией Руслановой. Он ее очень уважал и ценил, рассказывал, как она выступала на передовой, даже немцы слушали. Святослав играл в госпиталях. В основном народные песни, но были случаи, что и классику просили (Шопена, Бетховена), и тогда Свет удивлялся, с каким огромным удовольствием солдаты слушали ее и понимали. Обычно за такие концерты ему давали паек: банку с тушенкой и еще какие-то консервы. Когда он возвращался домой, то требовал, чтобы мы немедленно съели весь его паек. Хозяйственная Любочка пыталась делать запасы, но Свет протестовал. «Будем есть сейчас, Надежда Николаевна придет с урока и тоже поест». И начал громко шутиливо командовать: «Пей, ешь, пей, ешь!» Когда мама вернулась, Шурочка испуганно доложила ей: «Надежда Николаевна, чтой-то у них было?! Он кричит: “Бей, режь, бей, режь!” А они не то плачут, не то смеются...”»

Свои продовольственные карточки Святослав оставлял тете Милице, а все, что он как-то зарабатывал, приносил в наш дом.

К этому времени мы познакомились с Юрой Нагибиным и его родителями, которые поселились напротив, в «писательском доме». Юра вернулся с фронта и был демобилизован после контузии. Отчим Юры, Яков Семенович Рогачев, был автором популярной в то время повести «Царь-девица» о войне 1812 года (героиня книги – кавалерист-девица Надежда Дурова), но в узких кругах был больше известен как критик. Очаровательная мать Юры, Ксения Алексеевна, была остра на язык и блистательно иронична. Наша дружба началась с уроков английского языка, которые давала Юре моя мама.

С сестрами Геккер мы познакомились у Генриха Густавовича, дружившего со всей семьей. Глава семьи Юлий Федорович, ученый-социолог, вернулся в 1922 году в Советскую Россию с женой и пятью дочерьми. Он верил в светлое будущее и готов был отдать все силы для достижения этой цели. Но легко можно догадаться, что судьба семьи сложилась трагически. В 1938 году Юлия Федоровича и его жену арестовали. Сам он был расстрелян, жена на долгие годы попала в лагерь. А в 1941 году пришли за дочерьми. Их было пять сестер, четырех арестовали. Марселе повезло – она вернулась с Лубянки, куда явилась с грудным ребенком. Сестер Геккер обвинили в пособничестве немцам. «Как вы думаете, я могла ждать немцев, если у меня ребенок наполовину еврей, а муж-еврей на фронте?!» – заявила Марсела следователю. Следователь-еврей посмотрел на грудного ребенка и ночью отпустил Марселу домой. Олю не арестовали только по случайности – она задержалась в Москве и приехала домой на последней электричке. Следователи ее ждали-ждали и махнули рукой. Оля приехала – дом пустой. На другой день вернулась только Марсела с младенцем.

В войну зимой они частенько ночевали у нас (в доме на Клязьме были какие-то проблемы с отоплением), у нас же Ольга познакомилась с Толей Ведерниковым, другом Святослава. На второй год войны они поженились, и у них родился Юлий.

Когда наши войска уже «твердой поступью» шли на запад, Святослав стал ездить с гастрольями в освобожденные города. Был на Кавказе, довелось играть в Тбилиси. Об этом городе Светик рассказывал: «Женщины нарядные, очень много мужчин на улице. Такое ощущение, что войны вообще нет». Святослав жил надеждой, что сразу после войны он соединится с матерью. То, что его отец, профессор Одесской консерватории

Теофил Данилович Рихтер расстрелян, он не мог себе даже представить.

Сразу же после освобождения Одессы Свет написал несколько писем матери, чтобы сообщить, где он, и условиться, когда они встретятся. Одно из писем, адресованных Анне Павловне (так звали мать Светика), мы передали с инженером-строителем, отвечавшим за план восстановления освобожденных городов, когда он полетел в Одессу. Вернулся он со страшным известием: «Анна Павловна добровольно покинула Одессу с немцами». Для Святослава уход матери стал большой личной трагедией: для него мама всегда была самым близким другом, образцом нравственности и душевной силы. Спустя годы он встретится с ней на гастролях в Америке. Но это уже другая история.

Может показаться странным, но особенно остро в военное время ощущалась потребность получить какую-то радость от соприкосновения с искусством, творчеством. По вечерам нашим любимым времяпровождением стали игрища. Так мы называли живые картины. Выбирался какой-нибудь сюжет или эпизод (из истории, литературы или музыки), его нужно было изобразить так, чтобы зрители его угадали. Святослав настаивал, чтобы в инсценировку была вложена душа, чтобы зрелище выглядело остроумным, красивым, словом, запоминающимся.

Так, Люба со Святославом изображали разговор двух гор из тургеневского стихотворения в прозе. Они стояли на двух очень высоких табуретках. Люба укутана в длинные цветастые шали до пола, Святослав завернут в тяжелое коричневое одеяло, а внизу была груда чего-то, «отдаленно напоминающая» подножие гор. И вот две горы молча поворачивали головы друг к другу и смотрели, как внизу что-то копошилось. Все угадали стихотворение Тургенева и отметили эффективность инсценировки.



Святослав Рихтер. На обороте: Киев, 1948 г. Птицы поют!

У Алексея Толстого есть замечательные баллады. Одна из них о русском князе Изяславе, который молодым сражался с врагами и в одном из боев утонул. И вот князь лежит на дне речном в боевой кольчуге с разломанным мечом. «Днепра подводные красы лобзаться любят с ним и гребнем витязю власы расчесывать златым». Святослав загорелся: «Випа, давай князя Изяслава поставим? – обратился он ко мне. – Я буду князь, а ты Днепра красы». Я возразила: «Нет уж, Днепра подводные красы я изображать не буду» (у меня были волосы до плеч). «Тогда, Випа, ты будешь князем Изяславом, а я – Днепра подводными красами».

На подкладку куртки из атласа наклеили елочные блестки, получилось что-то вроде кольчуги. Разломанным мечом стал старый нож. Свет разделся, обмотал себя от пояса и до ступней зеленым одеялом, изображая русалочий хвост, а на голову нацепил взятый у Любы моток зеленой пряжи (якобы водо-

росли), для несчастного «князя» прихватил здоровую деревянную гребенку.

И вот сцена: я в кольчуге с закрытыми глазами лежу на полу, а Святослав, весь в образе, очень пластично сидит рядом со мной, шевелит своим «хвостом» и гребнем прямо по полу скребет мои растрепанные волосы, от чего я почти подпрыгивала. Зрители умирали со смеху. Эту балладу угадали быстро.

Светик замечательно изображал Одиссея: вместо сандалий – ремешки, которыми он перевязывал ноги, вместо шлема – дуршлаг. Водруженное на стол корыто было лодкой, в ней находился Одиссей, а стоявший тут же на столе Игорь Шафаревич выступал в роли Полифема. Он держал огромную подушку и готов был броситься на Одиссея. Зрители проявили снисходительность к несоблюдению некоторых исторических деталей.

Интересной сценой было прощание Гектора с Андромахой. На Святославе был костюм, аналогичный костюму Одиссея. Я была задрапирована тканями. На голове закрутили косы наподобие ручек римских ваз. На руках у меня был игрушечный медведь, и Свет его гладил и целовал, вроде как сына, и со мной прощался очень нежно.

Из удивительно красивых «картин» вспоминается «Подснежник» («Времена года» Чайковского). Этот цветок изображала удивительно нежная и грациозная Олечка Геккер. У нее были длинные волосы и очень тонкое лицо. Святослав потребовал у Любы белую чистую простыню, но сестра категорически дала отказ: стирка была нелегким занятием.

– Возьмешь из несвежего белья.

– Ты предлагаешь мне взять грязное?

– Это мартовский снег, и он не должен быть белым, – логично возразила Люба и выдала простыню, приготовленную для стирки.

Свет поворчал, но согласился. И вот сце-

на: белый буторок начинает шевелиться, и постепенно показывается из-под «снега» милое личико Оли. «Подснежник», – разом ответили зрители.

Была сцена из «Войны и мира», когда Пьер Безухов узнает, что Элен его обманывает, и у них происходит ужасная сцена объяснения. Жена оскорбляет мужа, Пьер в бешенстве хватается мраморную доску стола, кидает в Элен, и она убегает. Свет был Пьером, я – Элен. Пьер вошел в такой раж, что в пылу схватил тяжелейшую партитуру Вагнера и со всего маху запустил в меня. Потом хвалил меня с большим воодушевлением:

– Випа, ты так хорошо, так естественно нагнулась и так побежала...

– Я думаю, Светик, это потому, что у меня над головой так естественно просвистела партитура,

– Это ради искусства, – ответил он невозмутимо.

В игрищах иногда принимал участие и кто-то из наших зрителей. Частенько участвовала Милка Маслова (хорошенькая молодая преподавательница), другая Милка, дочь тети Милицы и Генриха Густавовича Нейгауза. Мила Маслова играла у нас царицу Тамару. Светик решил, что сцена обязательно должна происходить на башне. Башней был выбран наш высоченный буфет с узорным наличником. И вот наверх этого буфета Святослав начал взгромождать Милу. Она отчаянно протестовала:

– Святослав, пусти, я могу свалиться оттуда!

– Мила, ради искусства ты должна.

«Царица Тамара» сбрасывала с «башни» своих незадачливых поклонников: много-страдального мишку, обезьянку, старых кукол – все летело вниз. Некоторые догадались сразу, а некоторые нет. Игорь сказал: «А я думал, что это сцена из Малера – бешеная обезьяна сидит на могиле, а это оказалась царица Тамара».

Иногда мы менялись партнерами, Свято-слав ставил «картину» с Любой, а я – с Игорем. Однажды мы поставили «Чудо святого Николая». По легенде, двоих детей убил злой человек, а потом засалил в бочке. Святой Николай пришел и, узнав про злодеяние, воскресил детей. Они ожили, и судьбы их как-то сложились. А сложились их судьбы уже по Анатолю Франсу очень юмористически-саркастически: не надо было их воскрешать! Мальчик стал энергичным боевым солдатом, который не только участвовал в войнах, но и буйствовал, и грабил, и в конце концов кончил свою жизнь где-то на каторге. А его сестра была соблазнена и стала «дочерью радости». Словом, мораль такова – не надо было их воскрешать.

Когда мы с Игорем обсуждали, кто кого и как играет, решили, что я солдат, а Игорь – девица. У Игоря было очень интересное лицо. Когда же я повязала ему платочек и надела свой халат, передо мной предстала прелестная барышня. На мне (как на солдате) была шапка, в руке здоровая палка и сумка. Солдат врывался, хватал девицу, стаскивал со стула, а девица только мотала головкой в платочке. В конце концов несчастная свалилась на пол – это был финал. Зрителям пришлось непросто, без нашей подсказки они вряд ли бы угадали персонажей.

Как-то мы решили поставить рассказ Мопассана «Ожерелье». Молодая женщина, жена мелкого чиновника, встречает свою подругу, вышедшую замуж за богача, которая приглашает первую на бал в честь своего дня рождения. Та согласилась. Кое-как справила себе платье, а ожерелье одолжила у именинницы. Это был замечательный бал. Мелкий чиновник и его жена, счастливые, вернулись домой, полные впечатлений. И вдруг обнаруживают, что ожерелье потеряно. На другой день муж отправился к ювелиру, приблизительно описал, как оно

выглядело, и отдал за него все свои сбережения. Короче говоря, ожерелье оказалось дешевкой с искусственными бриллиантами, а жизнь мелкого чиновника и его жены была загублена.

Мы поставили три сцены: бал, встречу подруг через десять лет и жалкое существование семьи мелкого чиновника. Успех спектакля был огромный! Нашими зрителями были Юра Нагибин, его друг Немка Мельман, подруга жизни Юры Лена, «все невеста и вечно жена», моя мама, мать Юры Ксения Алексеевна, одесская знакомая Светика Ольга Сергеевна с сестрой Ниной Сергеевной, двоюродные племянницы Римского-Корсакого, Оля Геккер.

Ее муж Толя Ведерников после неудачного актерского опыта перешел в зрители. Как-то мы хотели поставить «сцену угнетения рабов». Толя категорически отказывался обмываться черной краской. Светик настаивал на реализме. В конце концов пошли на компромисс: Толю чем-то помазали совсем немного, но этого хватило, чтобы он навсегда отказался от «актерских проб», а если и соглашался играть, то только немых персонажей без изменения внешности, какую-нибудь роль сурового профессора или тюремщика.

Ставили «У Лукоморья» Пушкина. Свято-слав был котом. Он даже потом некоторые открытки подписывал – «Кот». В чулане нашли какую-то старую цепь, привязали ее за ножку стола, а другой конец как ошейник надели на Светика, и он ходил «по цепи кругом». Я была Бабой-ягой в ступе. Люба-русалка лежала на столе и выглядывала из-за «ветвей». А кот ходил на четвереньках, оставливался, вытирал морду и усы, а потом шел в обратную сторону. Эта сценка всех очень насмешила.

А картина, которая всех и восхитила и напугала, была из «Идиота» Достоевского. Показывали сцену после убийства Настасьи



Мама в доме на ул. Фурманова, 1939

Филипповны, когда Рогожин и князь Мышкин сидят вместе. Свет был Рогожином, а я князем. Надо было изобразить мертвое тело Настасьи Филипповны. Составили стулья, накрыли покрывалом сложенные вместе одеяла, имитировавшие контуры человеческого тела. Свет посмотрел и говорит: «Нет, не хватает ощущения реальности». Взял Любины туфельки и приставил к одеялам. Потом снова: «Нет, не так», – и вдруг одну туфельку носком чуть вбок сдвинул. Зрители вздрогнули. Совершенное ощущение, что лежит женское тело, накрытое покрывалом. Герои сидят возле ног покойной, и князь Мышкин утешает Рогожина. Второй был в распахнутой рубахе, с озверелым лицом. Кажется, еще фигурировал стакан, в нем топил свое горе Рогожин. Свет очень выразительно изображал, как он расправлялся с несчастной. А Мышкин то хватался за голову, то принимался успокаивать убийцу.

Так что у нас был очень разнообразный репертуар. А уже поздно вечером, когда все расходились, мы читали. Очень много – Ибсена, Гёте. А потом Свет спрашивал: «Который час?» Почему-то считалось, что если до четырех не пришли – значит, можно идти спать. Нет, конечно, мы не сидели и не ждали ареста, просто мы были молодыми полуночниками и старались жить полной жизнью. И безусловно, это было влияние Святослава, который принимал жизнь как она есть. Он очень поддерживал меня и в те страшные дни, когда на моих глазах уходила из жизни мама, благословив меня со Светиком. Она умерла в августе 1945 года, так и не узнав, что ее Коля «пропал без вести». Но жизнь продолжалась.

Одним из самых грандиозных событий в жизни нашей коммуналки первых послевоенных лет был «марсельский кабачок». Удивляюсь, как нам сошло с рук это многолюдное мероприятие: собрать в общей квартире больше сорока человек в 1947 году, когда началась новая волна репрессий, это было делом совершенно невероятным.

Получилось так. Шура и Григорий каждый праздник уезжали к родственникам в деревню. Так случилось и накануне дня 8 Марта. Идея организовать «марсельский кабачок» пришла в голову Святославу еще в феврале, когда соседи стали планировать свою праздничную поездку в деревню.

– Светик, почему «марсельский»? – поинтересовались мы.

– Потому что в Марсель отовсюду приходят корабли. И в наш кабачок может зайти любой. Пусть друзья приводят своих друзей, родителей, близких. Единственное условие для каждого – на пороге забыть свое настоящее имя и предстать в образе одного из посетителей кабачка, будь то простой моряк или «дочь радости», путешественник или портовый рабочий, журналист или бывалый капитан.

В нашем распоряжении было три комнаты. Все они оказались смежными, две из них выходили в коридор, а маленькая находилась в углу. В самой большой комнате Светик предложил устроить сцену, которой может служить большой обеденный стол. Рояль, по мнению организатора, будет выполнять функцию стойки буфета. В другой комнате можно поставить столики, тут же предполагались танцы. Но больше всего Святослава грела мысль об устройстве восточной маленькой комнаты.

Началась усиленная подготовка!

– Прежде всего, – сказал Свет, – нужно достать четыре больших шали.

Речь шла о дореволюционных павловопосадских платках громадных размеров, они чаще всего в домах служили покрывалами. У нас был один такой платок. Добыли по знакомым еще два и вспомнили, что и у тети Милицы (Нейгауз) есть такой. Тетя Милица категорически отказалась с ним расставаться даже на время. Мы в отчаянии. Тогда с заявлением выступил Свет:

– Я иду на помойку. Буду там до тех пор, пока дело не разрешится.

– Как на помойку?! – недоумевали мы. – На улице зима!

Надо сказать, что эта дворовая помойка почему-то приглянулась Святославу. Она была огорожена небольшим заборчиком, и там стояла скамейка, на которую Свет ложился, выражая таким образом свой протест. С одной стороны, шутка, с другой – его невозможно было поднять, пока он не добивался своего. Так произошло и в этот раз. Через полчаса дочь тети Милицы и Генриха Густавовича Милка торжественно вручила мне платок возле метро. Итак, все платки были собраны. Светик связал их четыре конца большим узлом, закрепил под потолком в основании люстры, с которой был снят абажур, а другие концы прикрепили к разным

углам маленькой восьмиметровой комнаты. На пол постелили ковры, раскидали по ним подушки, и получился удивительной красоты шатер из «Тысячи и одной ночи».

Следующим шагом был светильник. Святослав считал, что он непременно должен быть в восточном стиле. Выход нашли неожиданным образом: в кладовке обнаружили старую жестяную сахарницу с литым основанием и ажурными боками. В качестве подставки служила палка с небольшой лопаточкой у основания, куда положили книги, имитируя камень. На палку надели сахарницу, а внутрь поместили сухой спирт кусочками, который горел прекрасным синим светом.

В шатре должны были сидеть две восточные девицы. На эту роль мы определили двух юных красавиц, облаченных в соответствующие наряды и украшения. В их обязанности входило угощать гостей сладостями и фруктами.

«Восточная комната» выходила в самую большую комнату, где стоял рояль. Этот рояль отдал Святославу один музыкант перед отъездом в эвакуацию. «Хвост» рояля служил барной стойкой, за ней стоял Светик, изображая владельца кабачка. Он же был и тапестром. В центре размещался стол-сцена, а по углам комнаты стояло несколько маленьких столиков, для которых Люба сшила небольшие скатерти. Она же была назначена «ответственным за фонарики». По замыслу Святослава, потолок должны украшать гирлянды с разноцветными фонариками. «Клязьменские дети» (дети наших друзей, сестер Геккер), им было тогда пять-семь лет, с энтузиазмом стали мастерить эти самые фонарики. Зимой ребята часто приезжали к нам погостить, потому что отопления на Клязьме почти не было. Фонарики делали следующим образом: к картонному основанию крепились свечки, оставшиеся после

Нового года, и приклеивалась «обертка» из самых разных материалов (фантики, папиросная и цветная бумага, страницы из старых книг и др.). В итоге получилось двадцать четыре фонарика. Из них соорудили две гирлянды и крест-накрест повесили под потолком. Посуду собрали в складчину, кто дал бокалы, кто – рюмки, кто – стаканы.

В третьей комнате располагался собственно сам марсельский кабачок. Святослав так обрисовал его стиль: кабачок – место народное, поэтому никакой роскоши, здесь должны быть только веселые плакаты. Плакаты нам помогли нарисовать Рыбниковы. На одном из них был изображен петух из «Царя Салтана». Неприглядный потолок решили обыграть разноцветными полосками. Для этого покрасили обои. Помню, было три краски – рыжая (ужасного цвета), зеленая и красная. Разрезали обои на полоски, потом прикрепляли их к потолку, перекручивали... В итоге получилось нечто фантастическое: то ли гирлянды, то ли узоры.

Все было готово к приему гостей. Долгожданный день наступил. Забавное происшествие, случившееся с Игорем Шафаревичем в тот день, могло сорвать наше праздничное мероприятие. Игорь, выбравший роль любопытного журналиста, вышел из дома с наклееными усиками и бородкой, которая неожиданно отклеилась в метро. Это заметил милиционер и пошел за ним. Игорь долго кружил по улицам, пока не «запутал следы».

Несмотря на трудное время, стол у нас получился роскошный, скопили продовольственные талоны, карточки. Люба приготовила в большой кастрюле плов с «восточными» фруктами. Помню, колбаса, сыр, хлеб были изящных размеров, но это был настоящий пир с вином. В «восточной комнате» на медных тисненых блюдах были разложены чернослив, курага, яблоки. На рояле, на бронзовых блюдах, лежал пример-

но такой же набор, добавились только сушеные груши.

Одними из первых пришли Рыбниковы, они с собой привели троих друзей. Потом явились Юра Нагибин с матерью и отчимом. Позже подошел Сережка-Воробей, племянник Нейгаузов. Так постепенно наша квартира наполнялась людьми. Некоторые заглядывали ненадолго и уходили, другие оставались до конца.

Выбранные «амплуа» отличались разнообразием. Так, Сережка-Воробей был французским грандом, Олечка Геккер – официанткой кабачка, а ее сестра Марсела – «дочерью радости». У Марселы был интересный наряд: роза в волосах, открытая яркая блуза и сине-красная в полоску юбка. Любопытный журналист (в исполнении Игоря Шафаревича) сразу начал за ней ухаживать, а она ему бойко: «Я не желаю иметь с тобой дела, ты мне не заплатил за прошлую ночь». Он удивленно: «Как не заплатил?!» Начинаясь словесная перепалка.

Замечательная актриса Таня Панкова (она сейчас в Малом театре) играла знатную путешественницу, решившую посмотреть на жизнь простых людей. Черное платье, старинный тяжелый медальон на груди, шляпка и изящная записная книжечка с металлическим карандашом в руке. Она спрашивала и все записывала:

– Простите, вы откуда?

– Я из Африки.

– Не расскажете, как там?

И начинались очень интересные повествования.

Гости входили, их встречали с особыми приветствиями «официантки» Оля Геккер и моя сестра Люба. Святослав был одновременно и хозяином и тапером. Он играл на рояле только то, что заказывали. Степан Бубнов, муж Паши Рыбниковой, был матросом, а их маленькая дочка Машка требовала: «Хо-

чу матросскую песню!» Паша была бродячей маркитанкой, пела и плясала. А сестра ее Марина (первая жена Алексея Ивановича Кандинского) изображала цыганку. Святослав разыгрывал влюбленность в нее:

– Ну, вы такая!..

– Нет, я боюсь своего мужа.

– А где ваш муж?

– Он может быть среди нас инкогнито...

Я была путешественницей, любившей острые ощущения. Мой наряд был смесью ковбойского с пионерским, очень легкомысленный, даже с точки зрения климата. Венчала все огромная соломенная шляпа, которая никому из моих домашних не понравилась. Мне же, напротив, мой вид казался очень экзотичным.

Позже всех приехала в кабачок Мила Машлова с мужем Павлом. Он был на двадцать лет старше Милы и великолепно говорил по-французски. «Месье Любера» поставили за стойку «бара», и он очень лихо стал обслуживать клиентов.

«Восточные красавицы» поначалу скушали и ждали, когда же гости дойдут до их уголка. Первыми, кто заинтересовался комнатой, были родители Юры Нагибина, Ксения Алексеевна и Яков Семенович.

«Боже, я всю жизнь мечтал о восточной женщине!» – воскликнул Яков Семенович и устремился к девушкам. «Ах! Мерзавец!» – застала его на месте преступления ревнивая супруга. Вмешался хозяин кабачка:

– Мадам, это достойные девушки.

– Вижу, какие достойные! Сейчас же отсюда!

Яков Семенович оправдывался: «Ну что ты, милая, я просто восхищался красотой покрывала и обстановкой этого шатра...»

Тут «сцена ревности» прекратилась, потому что громко объявили номер: «Господа! Сейчас у нас выступает чудесная певица варьете Эдмунда де Форсьер!» Певицей была

Кира Алемасова, замечательный музыкант и дирижер (занималась народными хорами). У нее была серая шелковая юбка, а вместо бюстгальтера – широкая красная повязка и совершенно голая спина. Кира очень гордилась своей хорошей фигурой. Внешне она не отличалась красотой, но в ней было так много очарования и внутренней силы, что все с восторгом смотрели на нее. Свое выступление певица закончила словами песни: «Грозный муж, не люблю я тебя, убей меня!» – пронзительно воскликнула она и бросилась вниз со стола к Юре Нагибину.

«Кира, ну ты смело одета», – потом заметила я, а она: «Ты имеешь в виду спину? А вот Юрка Нагибин оценил, сказал: “Ух, какая спина!” – и погладил меня. Молодец! Я его рассказы сразу стала читать».

После Керы вышли «восточные женщины». Они исполнили на столе загадочный и вместе с тем очень плавный танец. Девушки, кажется, учились в балете, во всяком случае одна – точно.

А потом начались танцы. Святослав играл и вальсы, и польку, и краковяк, и вообще все, что заказывали. От танцев переходили к разыгрыванию сценок, в перерывах объявляли номера, тогда все снова собирались в большой комнате, раздавались бурные аплодисменты. Фонарики, на наше счастье, горели очень долго и, даже почти догорев, мерцали таинственным светом. И не было никаких заминок, никаких неловкостей. Только однажды какой-то приятель Воробья несколько опьянел от вина и попытался высказаться нелестно о другом госте, но его быстро усадили в уголок, отпоили чаем, он скоро пришел в себя и снова приобщился к веселью. Больше никаких эксцессов не было.

Царила атмосфера влюбленности. Яков Семенович очень элегантно ревновал Ксению Алексеевну к хозяину кабачка:

– Люси, нам пора на корабль.

– О нет, только не сейчас.

За знатной путешественницей Таней Панковой ухаживал Месье Любер, муж Милы. Степа приударил за Валею Лихачевой, которая пришла с Юрой Нагибиным. Она так резво откликнулась, даже собралась куда-то с ним удалиться, но ее удержали. А Кира кокетничала со всеми. «Ну, подойдите же, прекрасная певица, выпейте с нами!»

Святослав все время «держал руку на пульсе», следя, чтобы никто не скучал. Официантки Люба с Олей помогали ему в этом: «Месье, не хотите ли отведать это блюдо?» или «Посмотрите, какая девушка! Она не танцует. Может быть, вы пригласите ее на танец?» Был один страшно застенчивый гость, которого кто-то приволок к нам. Он все время настаивал, что его зовут Борис, а никак иначе.

– Ну, нет такого имени. Вы, наверное, месье Жорж? Из соседней парикмахерской?

– Да нет же, я – Борис, – не сдавался молодой человек.

– Нет, друзья, он просто еще не выпил. Пожалуйста, месье Любер, предложите что-нибудь нашему гостю.

Усилиями Киры молодой человек вскоре забыл свое настоящее имя и представился знаменитым писателем.

Наш кабачок «открылся» в семь часов вечера, и резвились мы до восьми часов следующего утра. Многие разошлись, а те, кто остался, собрались в «восточной» комнате. Стали вспоминать старинные романсы и песни... И хорошо, между прочим, пели! Павел, месье Любер, вспомнил одну какую-то студенческую песню начала века и прекрасно ее исполнил на французском языке.

Удивляюсь, как нам удалось проверить все это без дальнейших последствий. В ночное время было многолюдно, шумно. И ни одного доноса! А наш марсельский кабачок

назывался «Ночные бабочки». До сих пор у меня хранится прозрачная бумажная бабочка. Дети вырезали бабочек и наклеивали их на стены, столы и стулья кабачка.

Приехавшие из деревни Шура и Григорий с интересом слушали наш рассказ о том, что происходило в их отсутствие.

Когда меня арестовали в 1950 году и отправили на десять лет в лагерь, мою комнату отдали одной хмурой даме, Екатерине Максимовне, заведовавшей каким-то магазином. Она очень презрительно смотрела на соседей, в особенности на Шуру, потому что та была из деревни. Эта женщина жила с одноногим, после фронта, мужем-инвалидом, он всегда ходил с палкой, но если приходилось идти требовать каких-то привилегий, то обязательно брал костыль. Супруги считали себя культурными, Екатерина Максимовна говорила с гордостью: «Брат у меня ученый. Он в музыке». Шура не очень жаловала брата-интеллигента, который всегда приходил в плаще и фетровой шляпе: «Какой он ученый, ты на харю, на харю-то посмотри!» На что Екатерина Максимовна презрительно восклицала: «Шура, вы – хамка!»

После лагеря я получила маленькую комнату на Петровке, напротив ЦУМа. Восьми-метровая комната, окнами во двор-колодец, в котором не было ни одного дерева. Мне там не нравилось. По счастью, вскоре Люба узнала, что ее сосед по дому хочет обменять свою комнату на другую. Сестра сообразила, что моя комната на Петровке может ему понравиться. Мы подсустились и с доплатой обменялись на тринадцатиметровую комнату в моем родном доме, в том же подъезде, только этажом выше.

Моими новыми соседями стали супруги Валерий Исаакович и Нина Степановна Бурковичи, а также страстная любительница животных Ольга Николаевна (Ока или Окчин, как ее еще называли).

В большой комнате жили Нина с Валерой и дочкой Ирочкой, в примыкающей комнате, буквально дверь в дверь, – Окчин с котами, а я с племянником Сережей оказалась в комнате при кухне.

Ольга Николаевна, будучи в детстве лингвистически одаренной, как считали ее родители, изобрела для них оригинальные названия: не папа и мама, а пап-чин и мам-чин. Правда, потом «пап-чин» был переименован в «гражданина Дмитриева». В свою очередь родители называли ее не Ольгой, а Окой или Окчин.

Ока была плодом любви интеллигентной учительницы и бывшего партизана из Сибири, с которым я обменялась комнатой. Он периодически поколачивал свою кроткую жену и однажды привел в негодование дочь Оку, когда жестоко обошелся с ее рыбками и часть аквариума вылил в уборную. С тех пор дочь возненавидела отца, стала называть его не иначе как «гражданин Дмитриев». В довершение всего она провела посередине комнаты черту и сказала: «За шкаф гражданин Дмитриев не имеет право ступать». Он и не ступал.

После смерти жены «гражданин Дмитриев» получил в этой же квартире тринадцатиметровую комнату. О прощении не могло быть и речи. Окчин даже не выходила на кухню, если там был отец. Это, собственно, и вынудило «гражданина Дмитриева» пойти на обмен. Он, напротив, обожал дочь и готов был все для нее сделать, умолял с ним примириться, но Окчин была непреклонна.

Позже он получил место в доме престарелых, но его не покидали мысли о любимой дочери.

– Вера, я вообще-то очень рад, что вы снова будете жить рядом с близкими, но ведь у вас племянник.

– Да, – отвечаю я.

– Сколько же ему лет?

– Пятнадцать.

– Вы же знаете, как Ока не любит мужчин. Он не будет за ней ухаживать?

– Я готова дать вам клятву, что этого не произойдет никогда, – уверила я старика.

Удивительно, что убежденная противница мужского пола, Окчин как-то благосклонно отнеслась к моему племяннику. «Здравствуйте, Сережа!» – говорила она ему, в то время как соседи, которых она считала «ненавистниками животных», не были удостоены даже кивка головы. Ее не смущал и «спартанский вид» юноши, иногда выскакивавшего в коридор в трусах. А на Валерия Исааковича была написана докладная в домоуправление с жалобой на то, что он появляется на кухне в «непристойном виде, шокирующем всякого интеллигентного человека, так как нижняя часть его туалета не соответствует требованиям приличия».

Внешне Окчин была похожа на классную даму или экономку со строгим выражением лица, которой доверяли ключи от дома. Речь ее была отрывиста, а тон всегда категоричен: «Я должна упражнять волю и ходить в ботинках, поэтому не собираюсь носить тапочки, которые вы решили мне подарить». Мы, действительно, хотели скинуться и купить ей домашние тапочки, ибо грохот от ее тяжелых ботинок стоял в коридоре уже с пяти утра. «Ботинки, которые я ношу, были созданы для ходьбы по тротуарам, и стук их не мешает прохожим!» – торжественно говорила она.

Она работала в Библиотеке им. Ленина, очень любила животных, но терпеть не могла людей. Со страшным презрением относилась к тем, кто не принадлежал к интеллигенции, в частности к нашей соседке Нине, приехавшей из деревни и вышедшей замуж за молодого рабочего (Валера вырос в нашем доме, и комната осталась ему после смерти родителей). Ока любила повторять:

«Нина Степановна, конечно, не столичная штучка».

Трения между Окой и соседями начались до того, как я переехала. Однако я стала не только свидетелем настоящей войны, но и ее участником. В своей восьмиметровой комнате Ока держала двух котов – Пуфа и Тутуньку (первоначально их было в четыре раза больше), которых из комнаты не выпускала, «потому что там ненавистники животных, Нина Степановна и Валерий Исаакович». Ненавистниками животных никто не был, но соседи категорически не приветствовали, что кошки «все свои дела» производили в комнате на блинных сковородках, расставленных хозяйкой повсюду. «Животные должны справлять свои потребности свободно и радостно». Они и справляли... на диване, на этажерках, на стульях – везде, где стояли маленькие блинные сковородки! С тех пор терпеть не могу этот вид кухонной посуды.

А по утрам хозяйка брала чайник с кипятком и поливала сковородки, для дезинфекции. И ядовитые пары проникали густым шлейфом под дверь соседей. Однажды утром Валерий нагнулся зашнуровать ботинки, и ему стало плохо. Нина высказала глубокое возмущение и попросила Оку считаться с людьми, а не только с животными. После этого частенько можно было услышать ее разговор по телефону: «Да, я живу в стане врагов. Да, дети мне сочувствуют. Они смотрят на меня скорбными глазками, но ничего сделать не могут с силами зла».

Война была объявлена!

На кухне были натянуты веревки для сушки белья, и Ока начала демонстративно вешать свои панталоны над столом и стулом Валерика. Произносить слова «панталоны», «штаны» и «рейтузы» Ока считала дурным тоном и прибегала к использованию эвфемизмов, называя эти предметы «часть моего

туалета». Плохо отжатая «часть туалета» капала на стол Нины и Валерика. Чтобы не дотрагиваться и в то же время уберечь мужа от противной капли, Нина нашла выход: палкой отодвигала в сторону неприглядную «часть туалета». Валерушка в это время морщился от брезгливости. Но однажды произошла катастрофа. Нина, как обычно, в очередной раз отодвинула «часть туалета», а «часть» возьми и упади на пол. Поднялся страшный крик. Окчин вызвала милицию. Пришел молоденький милиционер, смущенно посмотрел на эту «часть туалета» и нашел в ней мало привлекательности. А Окчин объясняла ему это происшествие следующим образом: «Вы знаете, Нина Степановна из деревни, где эта часть туалета весьма непопулярна, поэтому она испытывает ненависть ко всякому признаку культуры». И начался опять дикий скандал. Я пыталась в присутствии милиционера всех примирить, но меня также причислили к стану врагов: «Вера Ивановна, справедливо отбывавшая наказание в наших исправительных советских лагерях, естественно, по складу ума, присоединилась к ненавистникам животных».

Святослав же, по ее мнению, относился к числу поклонников ее котов. «Он прекрасный музыкант, но мне было бы это безразлично, если бы он не ценил Тутуньку и Пуфа», – говорила она. Действительно, Святослав, впервые увидев дико уродливую кошку, которая превзошла все сроки не только зрелого возраста, но и старости, сочувственно сказал: «Бедненькая, она, наверное, устала, надо бы ей дать молочка, что ли... Почему она так медленно идет? Наверное, долго гуляла. Какая милая кошечка!» – и погладил ее, чем завоевал вечное уважение и любовь нашей соседки.

Ока обязательно праздновала дни рождения своих питомцев. В такие дни собира-







А. Зеленский, 1938

МИНИСТЕРСТВО ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР. ГЛАВКОНСЕРВ.



ЦИТРУСОВЫЙ СОК

НАТУРАЛЬНЫЙ НАПИТОК

В. С. САХАРОВ

Художник С. Сахаров. Д. 44710. Заказ № 308. Тираж 25000. Г. Заг.-10000.

СОЮЗЦИТРОПРОМРЕЗЛМА.
(1952)

Литографический завод имени И. Ф. Федорова, Ленинград.

С. Сахаров, 1951

лись «друзья животных» («ненавистники животных», по понятным причинам, старались не появляться), приносили всевозможные съедобные и несъедобные дары: котлетки, рыбешки, бантики... Тутунька, бедная, плохо реагировала на все подношения, подавленная годами, но Пуф радостно приветствовал и котлету, и пирожное, и вино, разведенное бульоном. Однажды кто-то из «любителей животных» принес завернутого в цветную бумагу... дохлого мышонка. Этот ценный презент объевшийся Пуф съесть не смог. «Слушай, Вера, – обратилась ко мне Ока еще в период мирного сосуществования. – У меня нет холодильника. Как ты думаешь, если я твоей сестре Любе отнесу мышку, согласится ли она поддержать ее в своем холодильнике?» – «Я тебе точно говорю, Люба даже не подпустит тебя к нему». Ока задумалась: «Как жаль, в ранней юности, когда мы дружили, Люба обещала быть настоящим гуманистом, очевидно, судьба сложилась иначе. Я вижу, что она скорей готова примкнуть к лагерю ненавистников животных».

Ока пробовала привлечь на свою сторону мнение «общественности», как она называла Анну Ивановну, нашу общую соседку. Она жила в доме еще до революции, а к моменту «объявленной войны» была уже старенькой, почти слепой, но хорошо всех помнила. Ее периодически вызывали для решений наших коммунальных споров. Вызвала ее и Ока.

– Олечка, да что ты меня зовешь?

– Анна Ивановна, я вас вызываю, чтобы вы засвидетельствовали поступок с одной частью моего туалета.

– Олечка, я же не вижу ничего, я же слепая, это ты о чем?

– Это часть моего туалета.

– Да какого туалета?! Туалет у нас вот здесь.

– Вы, очевидно, Анна Ивановна не разбираетесь, но это то, что называется панталонами.

– Штанами, что ли?

– Да-да, эта часть моего туалета носит и это название тоже.

– Да брось ты, Олечка, ничего я не вижу. Ты с людьми мирись! Вот, Веру я знаю давно, еще когда она молодая совсем была. И Валерушку – я его еще на руках носила. Ну, что же вы так, они же хорошие. Не надо, Оля, ты уж Бога побойся!

– Не агитируйте меня за религию, Анна Ивановна.

– Ну, Бог с тобой, Оля, – сказала старушка и ушла.

Когда Тутунька скончалась, Ока решила похоронить ее по всем правилам. Она заготовила ящик, положила туда цветы, гофрированную зеленую бумагу, поверх – шелковое зеленое покрывало (Ока считала, что этот цвет Тутунька обожала). Похоронный обряд должен был совершить молодой дворник, очень сообразительный парень.

– Виктор, я надеюсь, вы исполните свой долг.

– Конечно, конечно, – говорил дворник.

– Видите, это была замечательная предводительница кошачьего рода.

– Да, видать прожила долго, хорошо, – вторил Виктор.

– Я вам доверяю.

– Будьте спокойны, а класть как будем? Головкой на восток?

– Подумать только, какое внимание!

Поведав мне этот рассказ о дворнике, Ока добавила: «Ты знаешь, Вера, я дала ему на чай. Он так понял душу моей Тутуньки».

С «ненавистниками животных» она боролась очень активно. После происшествия с «частью туалета» нас вызвали на товарищеский суд. Недалеко от нас был какой-то клуб. Меня соседи, можно сказать, под руки вели,

потому что я болела и у меня была температура, кашель: «Вера Ивановна, ну что делать? Погибать, так вместе». Мы пришли. Нас посадили на дальнюю скамью, буквально как на скамью подсудимых, но все-таки, слава Богу, вдалеке от «любителей животных». Помоему, они готовы были нас просто разорвать.

Тут Ока начала речь: «Здесь, к сожалению, мы собрались не по радостному поводу, а наоборот. Но я надеюсь, что правосудие восторжествует над злодейством и виновники понесут достойное наказание». Мы сидим, слушаем. «Дело в том, что ненавистники животных Валерий Исаакович и Нина Степановна, происходящие из дальней деревни, где им не удалось соприкоснуться с культурой, были поддержаны в этом Прохоровой Верой Ивановной, недавно вернувшейся из наших советских лагерей, где отбывала наказание. Так ненавистники животных сплотились, воодушевленные общей ненавистью к моим питомцам. Валерий Исаакович грозился умертвить меня, но, как видите, пока этого еще не произошло». Тут наступила пауза, и начался страшный гул проклятий со стороны «любителей животных». Пожилая председательница говорит: «Ну, ладно. Вы уже сказали, а что скажут свидетели?» Одна дама, выглядевшая довольно добродушной, выступила с обвинительной речью: «Да, это убийцы. Да, я разговаривала с Ольгой Николаевной, мы говорили о благополучии животных, но в это время раздался грубый мужской голос, который кричал: "Убью! Убью!" Ольга Николаевна, очевидно, выронила трубку, и разговор прекратился». Председательница вмешалась: «Но ведь хорошо, что Ольга Николаевна не пострадала?» «Да, Бог спас ее», – ответила дама.

У нескольких последующих свидетелей показания были очень похожи: каждый раз, когда они навещали животных, из коридо-

ра раздавались проклятья и злобные выкрики соседей. Мы чувствовали себя совершенно приговоренными. Но тут выступил Валерий: «Позвольте задать вопрос Ольге Николаевне?» Ока насторожилась:

– Ну, хорошо. Я могу ответить.

– Ольга Николаевна, когда были больны, вы просили зайти к вашей племяннице и принести вам лекарства?

– Да, что-то в этом роде было, я смутно припоминаю этот разговор.

Тогда Валерий обратился к племяннице Оки Азazelле Васильевне, которая была тут же: «Азazelла Васильевна, вы помните, что вы мне сказали, когда я пришел к вам за лекарством для вашей родственницы?» Та несколько смутилась: «Не помню что-то». Но Валерий воодушевился: «Вы сказали: "Ну и дура же Ока, такие соседи, а она с ними не может жить в мире!"» Племянница замялась: «Я этого совершенно не помню!»

Тут снова вмешалась председательница:

– Значит, вы, Ольга Николаевна, обращались к соседям с просьбой?

– Это не мешало, тем не менее, Валерию Исааковичу и Нине Степановне замышлять всевозможные планы по убийению как меня, так и моих животных.

Тут нас попросили выйти. Мы скромно удалились и ждали вердикта в каком-то маленьком коридорчике. Судья, посоветовавшись с двумя несколько запутанными личностями женского и мужского пола, вынесла решение: «Видно, что сосуществование немыслимо. Советуем Ольге Николаевне срочно обменяться комнатой». Ока была недовольна решением суда. «Очевидно, заслуженная кара откладывается на неопределенный срок», – заявила Окчин. Мы удалились под гул проклятий «любителей животных».

Вскоре Ольга Николаевна занялась обменом и обменяла свою комнату на отдельную



В доме на ул. Фурманова, 1970-е гг.



С внучатыми племянницами Верой и Нютой, 1978

маленькую квартиру, которая принадлежала очень приятной пожилой женщине (у нее недалеко от нашего дома жили родственники). Правда, в Окчиной комнате ей пришлось делать большой ремонт. Кроме того, она вызывала бригаду из санэпидемслужбы, потому что зловоние в комнате было невыносимое. Несколько лет подряд после отъезда Оки мы праздновали «день освобождения» – 12 апреля.

После Ольги Ивановны, прожившей не очень долго в нашей коммуналке, в ее комнату въехала молодая семья. Главой семьи

был чудаковатый молодой человек Женя, причислявший себя к хасидам. Вот одна из его причуд: «Восходит звезда – нельзя гасить свет, а если он потушен – нельзя зажигать». По праздникам он облачался в простыню с прорезанной дыркой для головы и выскакивал с песнопениями в коридор, чем распугивал гостей. А некоторые даже отказывались приходить к нам.

Потом он был одержим усовершенствованием квартиры, в частности туалета. Как-то прихожу и вижу: дверь в туалете открыта, и там Женька над самым унитазом навешивает какой-то ящик:

– Вера Ивановна, посмотрите, я хочу, чтобы здесь была литература.

– Женя, а зачем вам литература?

– Ну, вы знаете, не всегда же сразу выходить, можно поинтересоваться.

– Ну, Женя... во-первых, это дело вкуса, о вкусах не спорят, у каждого это бывает по-разному... Я бы не хотела... а потом, простите, как пользоваться унитазом, если под ваш ящик даже подлезть невозможно?!

– Вера Ивановна, можно вполне. Попробуйте, садитесь...

Я говорю: «Нет, Женя, я бы воздержалась это демонстрировать. Сейчас не имею к этому никакого стремления. Предпочитаю делать этот опыт в более подходящих условиях». Он не сдавался: «Да что вы! Вот так можно!» – неожиданно резво бросился на

кольцо унитаза и вдруг на нем, как на салазках, выехал прямо в коридор. Хорошо, что не покалечился. «Нет, Жень, вы меня простите, примириться с этим я никак не могу». Тут, по счастью, пришла его жена и поддержала меня: «Жень, твои фантазии иногда заходят слишком далеко», – и велела этот ящик убрать.

Родители Жени были киевляне, очень симпатичные люди, они с ужасом смотрели на все его причуды: «Когда же он займется нормальным делом?»

Женин сын Мошка болел астмой, и ему требовался морской климат. Его мама, воспользовавшись отсутствием отца Мош-

ки, быстро обменяла комнату в нашей коммуналке на небольшую квартиру где-то на побережье моря и уехала туда с ребенком.

После их отъезда моей новой соседкой стала врач Татьяна Васильевна. Это был уже последний этап жизни нашей коммунальной квартиры. Ее расселили усилиями соратников В. Жириновского. Теперь в бывшем доходном доме московского городского головы Николая Ивановича Гучкова разместился штаб Либерально-демократической партии России. Воистину, пути Господни неисповедимы!



Е.П. Морозова-Утенкова

ЭТА ПУТЕВОДНАЯ НИТЬ ПАМЯТИ...

Казалось бы, чего проще – написать об общей квартире, где прошли мое детство и юность, но возвращение в нее, в тот дом, которого уже сорок лет как нет, всколыхнуло столько противоречивых чувств, что задача оказалась не из легких. Почему-то всплывает в памяти февральский день из раннего довоенного детства, такого еще счастливого. Счастье это творила в основном наша с братом мать, отца мы реже видели: работа адвоката, диссертация отвлекали его от семьи.

Жили мы все в небольшой двенадцатиметровой комнате. Но тогда она казалась мне и просторной, и красивой. Высокая белая изразцовая печка-голландка с бронзовой выюшкой наверху, большое окно с узкой форточкой. Оно все в зимних узорах, которые так интересно рассматривать. Только в самом верху февральское желтое солнце уже пробилось сквозь мокрую проталину, отражается на изразцах печки и по паркету продвигается к высокой двустворчатой двери. Скоро весна – я всегда жду ее. Тогда откроется окно и впустит тот особый весенний запах влажной земли, и ветви высоких ясеней, что стоят под окнами, заглянут к нам в комнату, достанут почти до стола, так что можно дотянуться до них рукой.

Стол у нас ломберный со сложенной вдвое столешницей, внутри нее зеленое сукно.



Мама Елена Михайловна Замятина, 1919

Иногда стол раскрывали, он становился просторным, квадратным. За ним мы рисовали, лепили, мастерили к Новому году елочные игрушки, заваливая его цветной бумагой, лоскутами, фольгой. У взрослых, особенно у мамы, получались замечательные клоуны и матрешки из яичных скорлупок и лоскутов, а у нас с братом всего лишь цепи из золотистой конфетной бумаги, которую рулонами

(брак) приносила с фабрики наша соседка тетя Вера.

В углу между окном и пианино вставляла елка в бусах и игрушках, поблескивая ими в темноте ночи от лунного света, пробивающегося в окно. Вместе с нами елка ждала праздника, того момента, когда зажгутся свечки, не электрические гирлянды, а настоящие восковые свечки в маленьких старинных подсвечниках (четыре из них целы до сей поры). Я помню, как дети толпятся у елки – у каждого «своя» свечка. Все заморожено смотрят на огоньки – чья дольше погорит. Кто выиграл – не важно, но ощущение торжественности момента и самого большого праздника осталось навсегда. Ведь недаром этот праздник не смогла одолеть даже наша безбожная власть, сместив его только с Рождества на Новый год.

Мама гасит догорающие свечки, они перед тем, как погаснуть, ярко вспыхивают, и мама боится пожара.

«Ну, прямо как звезды», – говорит сын соседки тети Веры Коля, мальчик лет шестнадцати. Он помогает маме тушить свечки, залезая на стул – елка-то высокая.

«А звезды гасить нельзя», – заявляет мой трехлетний братишка Сережа.

Все смеются, отец берет Сережу на руки.

– Ну, конечно, нельзя.

– А почему они гаснут?

– Они не гаснут, их закрывают тучи.

– Тьфу на тучи, – заявляет Сережа.

Впоследствии это станет его жизненным кредо: разгонять тучи, не дать погаснуть последней надежде.

Дальше я вижу себя, стоящей на диване в костюме боярышни. Все смотрят на меня, по-



Катя, бенефис, первая елка...

тому что я должна читать стихи. Мама сидит за пианино спиной ко мне, и без ее подбадривающего взгляда мне совсем страшно. У печки, прижав ладони к теплым белым изразцам, стоит отец, над всеми возвышающийся, и хохочет, потому что стихи я читаю непомерно взрослые:

*Сквозь волнистые туманы
Пробирается луна,
На печальные поляны
Льет печально свет она...*

Никакой печали я не испытываю, а только страх, что забуду, как дальше. Почему-то все



Папа Петр Степанович Филимонов



Е. Замятина и ее класс

смеются, громче всех отец. Я спрыгиваю с дивана и бегу к матери. Про зимнюю скучную дорогу читать отказываюсь.

Я очень скоро увижу ее, эту дорогу в глухой рязанской деревне, куда занесет нас начавшаяся война. Я буду вспоминать как потерянный рай эту предвоенную елку, и детей, танцующих под мамин аккомпанемент, и Сережино «тьфу на тучи», и тепло изразцовой печки, и веселое лицо отца. Война его унесет навсегда, он погибнет на фронте в 44-м. Останется фотография его, смеющегося, в этот день. Мама поставит ее в витой рамке на пианино, а потом улыбка эта выцветет, выгорит до желтоватого пятна. Но я ее помню...

Елка та была на Рождество, 7 января 1941 года. Так уж получилось.

У нас в семье не справляли ни Рождество, ни Пасху, но от Бога не отрекались. На стене у окна висела иконка Спасителя в терновом венце на фарфоровой белой дощечке с золоченым ободком и еще репродукция «Тайной вечери» Леонардо да Винчи в деревянной рамке... За предательством Иуды следовало

распятие, а перед распятием тот самый терновый венец. Обо всем этом я узнала из Священной истории, книжки маминого детства, ее читала она мне зимними вечерами, когда возвращалась с работы из Дома культуры, где была педагогом искусства движения: танцев и гимнастики. Я очень ждала того момента, когда садились мы с ней на тот же диван и она читала нам образно, даже артистически, чудесные детские книжки, из которых эта, с картинками под папиросной бумагой, была самой загадочной и красивой.

Все это было счастьем: и праздник, и книжки, и ясени во дворе под окном, и наша комната с теплой белой изразцовой печкой.

Комната эта была первой после длинного коридора, заставленного сундуками с театральными костюмами маминых постановок. На одном из сундуков спала нянька — девушка из деревни, с родины отца.

В другой комнате, уютной и чистенькой, жила соседка тетя Вера с сыном Колей. Дверь в эту комнату, когда-то смежную с нашей, была закрыта и заклеена обоями. Вход был из

коридора. Дальше – кухня с огромной плитой посредине, раковиной с оловянным крапом, столами, уставленными керосинками. За кухней, в маленькой узкой комнате, бывшей комнате прислуги, до войны обитала старушка, одинокая, вежливая, которая очень боялась пожара от свечек на елке, от жаркого пламени, вырывающегося из конфорок плиты на кухне.

До одной комнаты маму «уплотнили» после революции. Было ей тогда семнадцать лет, и она осталась совсем одна. О всех нас, что стали ее потомками, не было тогда, конечно, и речи.

Казалось бы, что в нем особенного, в этом обычном старом московском доме в Гарднеровском переулке у Немецкой (Бауманской) улицы, и в этой квартире на втором этаже без газа и ванны? Да и дома этого давно уже нет, а ясени, его стражи и братья-ровесники, давно спилены, с корнем выкорчеваны. Но если мне снится сон, что я «дома»... Нет, что за вздор!

«...Можно ли вернуться в дом, который скрыт?» А я возвращаюсь. Иду по лестнице, по нашей широкой просторной лестнице с деревянными перилами на литых змеистых стойках (по перилам этим так весело было кататься сверху вниз на два пролета). Потом, во сне же, лестница неожиданно обрывается, и я перескакиваю через обрыв на площадку. Краем сознания я понимаю, что дом «скрыт» и что мы остались там одни. Кто мы? Я и моя семья: муж, дети и мама, мы еще живем в нем, хотя все остальные жильцы уже съехали, и у нас тоже есть другой дом, другое жилье, но я его не могу найти и должна возвращаться сюда. И сюда же я поселяю своих родных. Лестница отходит все ниже, и квартира как бы парит в воздухе, но меня это не волнует, я знаю, как в нее войти и выйти. Это через «черный ход», а дальше – прыжок и ты... Где ты? На земле? Ты в саду, над тобой шелестят ветки ясе-



Екатерина Александровна Замятина, моя бабушка

ней и трава по колено. Говорят, она такая была в мамином детстве, не в моем, нет. Тогда травы уже не было. «Ау! – кричу я, – мама!» – как малое заблудившееся дитя. А мама стоит у окна нашего потерявшего связь с землею дома и тоже зовет меня: «Катю...ю...ю...» И я бегу, но куда?

Я просыпаюсь в слезах. Мамы уже пятнадцать лет нет в живых. Я опять в своем земном доме. Я и его люблю, бесконечно люблю мужа, дочь, сына, внуков и, может быть, для них (и для себя в них) должна воскресить тот дом и, как сумею, соединить то, что ушло, с теми, кто живет, и опять же уйдет по тому же пути, и вдруг не узнает ранее ушедших, но ведь узнать можно только то, что знал и любил, и полюбить – то, что знаешь.

Связь любви неразрывна и вечна, и мы порой даже не подозреваем, как нужна нам эта связь, чтобы не потеряться ни в этом мире,

ни в будущем. С чего же она начинается. Эта путеводная нить памяти?

На фотографии из семейного альбома бабушка моей матери, Мария Ивановна Замятина. Какой это год? Неизвестно. Конец 19-го века. Здесь ей лет пятьдесят. Красивой ее не назовешь. Но лицо яркое, черноброе, темноглазое. Такие же глаза были у ее внучки, а моей двоюродной тетки Жени – очень живые и внимательные. Полный старик Александр Николаевич Замятин, дед матери, о нем мне ничего не известно. Есть смутные сведения о некоем селе Замятине в Тверской области – имении этой семьи. Но к концу 19-го века оно уже ей не принадлежало, только няньки и прислуга оттуда были. Детей было трое. Сын военный, служивший в Средней Азии, в Ашхабаде. И две дочери: Надежда и младшая Екатерина (моя будущая бабушка), которые воспитывались в институте благородных девиц, а по его окончании поступили работать гувернантками в богатые семьи. Старшая дочь Надежда вышла замуж, родила двух дочерей, Марию и Евгению, и

умерла родами сына Дмитрия, оставив детей на попечение бабушки и мужа, но он тоже вскоре умер, был много старше жены.

Вот и все, что я знаю о том времени. А Катя? Моя бабушка, чье имя я ношу. Что она? Красивая и гордая, лучшая ученица в классе. «Уж она-то могла устроить свою жизнь, да вот не захотела», – скажет много, много лет спустя моя двоюродная тетка Женья.

Почему не захотела? Где предел нашей воли, через который нельзя переступить? Видимо, у каждого он свой. А пока, после института, добропорядочный культурный дом архитектора Чернышева, управляющего знаменитым подмосковным имением Горенки. Девочки Лиза и Маша, у них Катя работает гувернанткой, поездки с Чернышевыми за границу в Париж, и все искусство французское, вольное, пока еще ей непонятное, но будоражащее воображение. В пику ему она вышивает крестом русские наряды. Да как? Мастерски, блестяще. Часть этого наряда, фартук, я повесила дома на стену, и сейчас еще он прекрасен.



С гимназическими подругами и их братьями. Лена – третья слева

А по возвращении в Россию – встреча. Не с художником, нет, у тех же Чернышевых с жандармским офицером, человеком женатым, старше Кати, добрым и мягким, встреча на всю оставшуюся жизнь. Трудно устоять, когда тебя так любят, как полюбил Катю этот офицер. От их союза за год до конца века родился сын Николай, а через два года после начала нового – дочь Елена, моя мать. Крестными детей стали опять же Чернышевы.

По причине невенчанного брака работа гувернанткой Екатерине Александровне была уже заказана, и она пошла работать бухгалтером в булочную Чуева. Нехитрое хозяйство вела кухарка, а жили очень скромно в этом самом доме, в той же небольшой квартире на втором этаже, что стала впоследствии общей квартирой, о которой идет речь.

Отец их, в то время уже полковник, смотритель Хитрова рынка, где обитали бродяги и разный опустившийся люд, заботился о семье. У детей были дорогие игрушки, у Лены французские куклы, прекрасные книжки, музыкальные шкатулки. И до сих пор хранится у нас в шкафу чудесный стереоскоп со множеством картинок – курс географии, а в нем чего только нет: вулканы, гейзеры, водопады, ущелья гор, пустыни, плантации риса и т. д. Опять же стараниями и заботой отца дети учились в привилегированных учебных заведениях. Лена – в частной гимназии на Гороховской, брат – в реальном училище. Но все равно они были незаконнорожденными. Чтобы снять это клеймо с детей, отец их собирался выйти в отставку, развестись и узаконить брак, но не успел – умер, когда маме было десять

лет. Но его не забыли в нашем доме, где в нижнем подвальном этаже с рождения жила наша будущая соседка тетя Вера. Маленькой девочкой она запомнила полковничьи сапоги со шпорами, поднимающиеся по парадной лестнице этого дома, – неоспоримая улика нашего непростого происхождения (на что не раз нам намекалось). Сама тетя Вера была вполне пролетарского происхождения, стала она работницей на фабрике, общественницей и, кажется, членом партии.

Мы, дети, ее любили, комнаты наши не запылились, и жили мы вполне дружно. Наша мать много занималась с ее сыном, пока своих детей не было. Тетя Вера в свою очередь уже во время войны опекала нас с братом, варила нам еду, когда мама заболела и ее на месяц положили в больницу. Безмужняя, тетя Вера одна растила сына. У нее периодически появлялись «кавалеры». Никаких вопросов нам задавать не разрешалось, а уж тем более «обсуждать или осуждать дела взрослых».

Осуждала «такую разгульную жизнь» наша следующая соседка, поселившаяся в комнате



Новое поколение, Катя и Сережа во дворе дома 6 по Гарднеровскому переулку, 1939



В костюмах из нашего сундука

за кухней на месте умершей старушки. Она же непримиримо боролась с сундуками с костюмами в коридоре и даже вызывала домоуправа и пожарного. Но сундуки так и простояли до слома дома. Куда же их было девать? Периодически из них извлекались чудесные сарафаны с лентами, нашитыми по подолу, атласные кокошники с бисером или бархатная душегрейка, отороченная поеденным молью мехом. Мать все это чинила, прилаживала на своих учеников и потом опять убирала в сундук до следующего «Кота в сапогах» и «Спящей красавицы». Воевала эта соседка и со мной в послевоенные годы, когда до меня доходила очередь по уборке квартиры. И если я на день задерживалась, на единственном кране холодной воды в кухне висел «меморандум» с перечнем страшных санкций, уж не помню каких. А если и это не имело действия, в квартире разгорался скандал с

криками и угрозами выселения. Пол в коридоре был дубовый, паркетный, выдержал еженедельное мытье, хотя мать опасалась, что он «вздуется», — не «вздулся», видно, крепко был когда-то сложен.

Если вернуться в предреволюционные годы, то в жизни обитателей дома мало что предвещало грядущие перемены, хотя время испытаний стояло у дверей, даже стучалось в них.

Началась Первая мировая, брата Николая взяли в армию. Двоюродный Митя служил где-то в Польше, слал оттуда письма и фотографии. Вот и бронепоезд, на котором их перебрасывали на фронт, и прощальное фото офицеров полка, среди них и Митя — красивый, бравый поручик; все поражения и потери даже не сняты, а уж тем более пожизненная эмиграция, куда он попал после революции.

В Москве стало голодно, кухарку разжаловали, она уехала к себе в деревню.

Семнадцатый год принес первое несчастье. Летом во время крестьянских погромов убили в имении мужа двоюродную сестру Марию (Мушку).

Революция разбросала всю семью. Николай воевал где-то на юге, от Мити не было никаких известий. В Москве начался голод, и в восемнадцатом году бабушка моя Екатерина Александровна поехала к сыну в Одессу повидать его и привезти оттуда муки. На обратном пути она заболела тифом, ее сняли с поезда, и она скончалась на каком-то полустанке. Лена об этом узнала спустя много времени, а потом пришла открытка, опущенная перед дорогой, последняя и единственная. Лена осталась совсем одна. Она никому не говорила о маминой смерти. При встрече со знакомыми:

– Ну, как вы, как мама?

– Ничего, скоро обещает вернуться.

Не выговаривал язык, что ее на этом свете больше нет. Полностью осиротела Лена шестнадцати лет от роду.

А я, восьми-девяти лет, во время другой войны носила в себе этот ужас сиротства, хотя еще никто тогда мне не рассказывал историю смерти моей бабушки. Я жила в постоянном страхе, что у нас может умереть мать. В войну, чтобы чем-то истопить нашу буржуйку, железную печурку, поставленную в комнате, маме приходилось ночью ходить на дровяной склад за дровами, вернее, пролезать в дыру в дощатом заборе, пока не видит сторож, тащить бревно по темным переулкам, чтобы потом распилить и расколоть его прямо в комнате. Хватало ненадолго, на завтра она шла снова.

Вернувшись из этого опасного похода, мать заставляла меня перед дверью у замочной скважины в темном холодном коридоре



Курсы «Искусство движения», класс В.И. Цветаевой



Е. ЗАМЯТИНА (СЛЕВА)

нашей квартиры всю в слезах. Я ничего не могла с собой поделать – так боялась, что мама не вернется.

А что передумала бабушка, умирая, кому молилась, оставляя несовершеннолетнюю дочь в такое тяжелое время. Мы никогда не узнаем... Но все же весьма строгое материнское воспитание, гимназические годы не пропали даром: мама не растерялась, не вступила в ряды «разрушителей старого мира», не опустилась ни морально, ни физически. Жить в этом стремительно меняющемся времени ей было все-таки интересно, несмотря на голод, холод и все лишения. Революцию они с братом приняли, видимо, сказалась их «незаконнорожденность» и множество прошлых обид, с нею связанных. Новое время это клеймо снимало. Они и дворянами не считались, хотя и отец и мать были дворянами. Так и писали – «из служащих». Карточки отца в форме жандармского полковника были сожжены. Так мы и не знаем, каким он был.

Брат мамы вскоре вернулся с войны, женился на ее гимнастической подруге и навсегда покинул квартиру в Гарднеровском переулке.

Сюда вселились новые жильцы, мама осталась в одной комнате, но не унывала: зачем ей больше?

Вскоре жизнь ее вошла в совсем иное русло, и не до квартиры было. В начале 1920-х годов в Россию приехала танцовщица Айседора Дункан с ее свободными танцами босиком в греческой тунике. Вольное, не скованное никакими канонами движение под музыку Шопена, Бетховена, Вагнера, под знаменитую «Марсельезу» с шелковым красным шарфом-знаменем. Все это

заворожило Лену, и не одну ее. Очарована и покорена этим искусством была Валерия Ивановна Цветаева, дочь знаменитого основателя Музея изобразительных искусств и сестра еще мало кому известной Марины Цветаевой. Случай свел Валерию Ивановну с



Занятия в Тарусе, лето 1923



Е. Замятина с соседками, сестрами Сахаровыми, из дома 10 по Гарднеровскому переулку

мамой, к тому времени Валерия Ивановна уже училась у Айседоры и преподавала в Москве в основанном Айседорой училище «Искусства движения». Валерия Ивановна стала для Лены учителем и другом. В 22 или 23 года начинать карьеру танцовщицы было поздно. Но Лена начала заниматься. Упорно и с полной отдачей, как все, что она делала, тренировалась ежедневно по двенадцать часов в сутки и достигла неплохих результатов. Танцовщицей и акробаткой она не стала, но на всю жизнь приобрела профессию преподавателя пластики и танца. Так и появились в нашем коридоре сундуки с театральными костюмами, которые впоследствии так раздражали нашу соседку и домоуправа. Раздражали ее не только сундуки, но и вообще само наше существование, особенно детей, раздражали незапертые двери, наши гости, наши кошки, игра в мячик в том же коридоре. Мать старалась «держат детей в комнате», но это было трудно, вернее, вообще невозможно.

Мы стали просто наваждением для нашей соседки. Одинокая (единственный сын женился и ушел жить к жене, мать навещал крайне редко), она почти никого не знала в доме, не было у нее здесь «корней», как у нас и у тети Веры, общалась только с домоуправами и участковым на тему наших «безобразий».

Все это добавляло нашей матери множество неприятностей. Тетя Вера поначалу заняла соглашательскую позицию, понимала: куда не денешься, жить всем вместе придется, но и она вскоре стала для нашей соседки врагом № 2.

Шла война. Из эвакуации мы вернулись в 1943 году. Москва жила трудно и голодно, но уже салютами от первых побед. Тетя Вера «соблюла» нам комнату, обрадовалась нашему возвращению, но тут же горько заплакала. Ее Колю призвали, и он без вести пропал, писем с фронта от него не было. Наш отец тоже был на фронте, так что заботы и беды у нас были общие.

Первые годы были особенно трудными. А в декабре 1944-го пришла к нам похоронка, что отец наш Петр Степанович Филимонов погиб смертью храбрых где-то в литовской деревне. Я никогда не была на его могиле, а уж теперь и не буду... А мама, получив этот конверт с черной рамкой, закричала: «Не может быть! Не может быть, он так любил жизнь!» И долго еще ей снились город, улица, даже дом, в котором будто бы живет наш живой, не погибший отец. «Не может быть», – повторяла она и втайне долго ждала его, ждала и я, но не дождалась.

А тетя Вера Колю дождалась. Он попал в окружение, а потом в плен, вернулся после «проверки» только в 1947 году.

Все молчал о плене, ничего не рассказывал. Был он по природе талантливым художником, мастером рукотворных вещей. В плену научился делать птиц, павлинов или жар-птиц, из вымоченного в воде дерева. Сделал и нам павлина. На работу не брали – был в плену. А когда устроился куда-то слесарем, женился на худой, рыжей женщине, жившей в доме напротив, у них родился сын Витя, которого я бегала к ним нянчить (очень любила маленьких), а тетя Вера почти совсем пе-

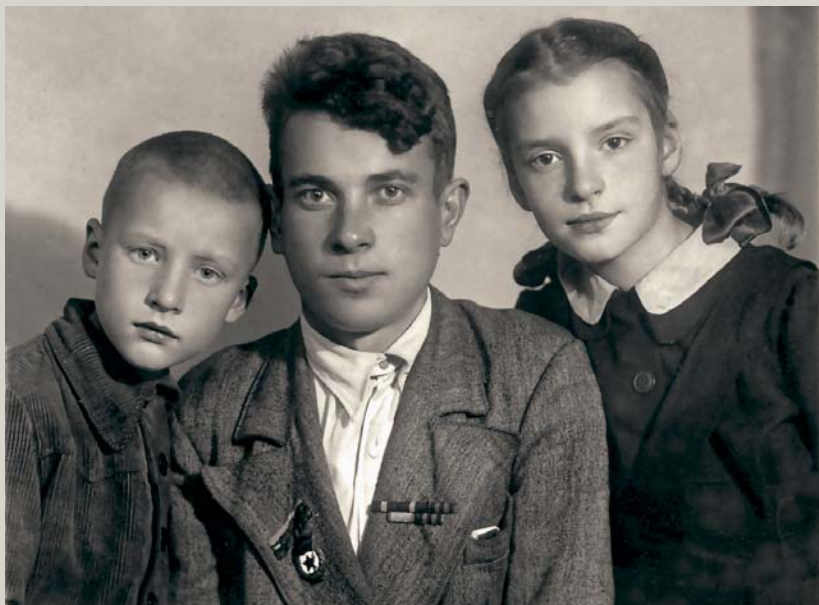
ребазировалась в дом напротив. И мы остались один на один с нашей второй соседкой.

Встав пораньше, чтобы первой успеть умыться (кран-то один) и бежать в школу, я неизбежно заставляла в кухне соседку: а вдруг я на пол набрызгаю или свет в уборной оставлю, – тогда можно вывесить счет. А вечером, если наследят гости в коридоре – мальчишки, друзья моего брата, или снег стряхнут на пороге, – ну тогда скандал. Какой злой ангел нашептывал ей все это? Думалось, она этими скандалами питается. После них соседка наша веселела и даже пела романсы, стоя у керосинки.

Все жили надеждами на возвращение близких с войны, ожиданием победы. У нас же после похоронки на отца ждать стало некого, как-то померкла, обеднела наша жизнь.

Помню осень 45-го или 1946 года. Я иду из школы после второй смены в Дом пионеров (бывший Дом культуры). Там я занимаюсь в театральной студии Серпинского. Дорога была по Рязанской улице, а затем налево на Бакунинскую через сквер, мимо особняка Пушкинской библиотеки (моего будущего пристанища от жизненных невзгод). На пути как-то неожиданно встает гро-

мада Елоховского собора Богоявления. Смеркается. Черные тени богомольцев движутся по широкой пологой лестнице. Служба еще не началась. Сквозь открытые двери видно мерцание свечей в темном храме. Я пристраиваюсь к общему потоку, вхожу в притвор. Зачем? Не знаю, но тянет войти. Останавливаюсь у дверей, денег на свечи у меня все равно нет. «Господи, – говорю я про себя, – только бы мама была жива».



Катя и Сережа после войны с братом К. Ермаковым, 1945

Мама часто болела, похудела так, что мне с ней страшно ходить в баню, где худобу эту не спрячешь. А главное, смотрит льдистым взглядом, в котором вообще нет радости. Приступы раздражения и гнева, переходящие в ярость по незначительному поводу (по моему понятию), случаются с ней все чаще, пугают нас с братом. Так что брат, во избежание столкновений, мало бывает дома, учится кое-как, чем приводит мать в еще большее негодование. Голод, холод, отсутствие интересной работы, людей, с кем жизнь делить. Муж убит на фронте, в Доме культуры, где мать руководила танцевальной студией, после эвакуации ее место оказалось занятым. А кому в такое время нужны ритмика и искусство движения? Такие все же находятся, и мама работает в школах, ведет кружки, уроки пения, но заработка катастрофически не хватает. Чтобы получить рабочую карточку, работает и дома: шьет рукавицы и еще что-то, определив на эту должность и меня, чтобы больше работы давали, поэтому делала двойную норму.

А недавно чуть не случилось нечто ужасное. Вечером, когда мы сели за стол пить чай с черным хлебом, посыпанным сахарным песком (немыслимое лакомство!), мама стала гнать брата на кухню мыть руки. Он долго с ней препирался, но все же идти в темную холодную кухню пришлось. Только он вышел, раздался треск – с потолка упал метровый кусок штукатурки прямо на то место, где сидел Сережа. Комнату заволочло белой пылью, а на полу и на столе все было погребено под толстыми кусками штукатурки. Таким же белым было лицо матери. От ужаса? От пыли?

«Господи, спаси мою маму... и нас», – говорю я уже вслух и выхожу из храма на улицу.

Идти до Дома пионеров еще довольно далеко, и я повторяю стихи, которые должна там читать:

*Кавказ подо мною. Один в вышине
Стою над снегами у края стремнины...*

Я не была никогда в горах, стихи мне не очень по душе, куда лучше: «Я к Вам пишу. Чего же боле?...» – но дали эти. Серпинскому не нравится мое исполнение, он слушает, морщится и ничего не говорит. Это плохой знак, видимо, совсем не верит в мои артистические способности. Я и сама в них не очень верю, но хожу пока. Это все же лучше, чем сидеть дома и просто убивать время.

Идут дожди. Дырявая крыша нашего дома течет. Мы каждый день лазаем на чердак выливать тазы и ведра, но мокрое пятно на потолке растет, и вода капает мне прямо на кровать. И еще эта штукатурка отвалилась. На потолке зияет огромное темное пятно с висящими ключьями пакли. Заявляли, просили, приводили домуправа – не чинят. Мать в отчаянии: в любой момент может рухнуть потолок. На все это уходит мамино время. А наше? Мы еще дети и ждем радости. Как-то прихожу домой позже обычного, уже затемно. Мама в волнении. Я с гордостью объясняю: был сбор пионерского отряда класса, и меня выбрали звеньевой. Теперь мне нужна красная нашивка на рукав и шелковый пионерский галстук (у меня сатиновый, весь скручивается). Мать в ярости: «Что? Они бы посмотрели на твою обувь, ноги опять мокрые. А еще пусть глянут на наш потолок! Ни на какие сборы больше не смей ходить и, вообще, из этих пионеров выходи – одна болтовня, эта пионерия!»

На другой день, собираясь в школу, я не нашла свой сатиновый пионерский галстук, куда-то он запропастился. Так и пришла в школу не только без нашивки, но и без галстука. На вопрос пионервожатой, что это значит, ответила, что я теперь пионеркой быть не хочу и прошу меня исключить. Все резоны им изложила: никакого счастливого детства нет, а все обман.

В школе все не на шутку испугались, такого еще в их практике не было. Стали меня уговаривать не горячиться... А дожди все шли, и потолок все протекал.

Неожиданно придумала выход старинная мамина подруга Ольга Александровна Кадошникова – тетя Оля:

– Нужно написать письмо Сталину. У нас у одной читательницы (тетя Оля – библиотекарь) пол провалился, она написала письмо Сталину, и им починили.

– Нет уж, я писать не буду, какая ерунда.

– А пусть Катя напишет: «Дорогой товарищ Сталин! Я дочь погибшего воина-фронтовика. Пожалуйста, помогите: у нас потолок обвалился». Я согласилась, и письмо такого содержания, или несколько иного, было отправлено от моего имени. В скором времени появились какие-то люди – комиссия, а затем и рабочие, которые залатали варом крышу над нами, совсем обрушили потолок и соорудили новый. А из пионеров, при таком повороте дела, я не вышла. Мне даже дали ордер на обувь, и я щеголяла в черных «мальчишечьих» полуботинках, вытирая их на перемехах от пыли и грязи промокашкой из тетради. Радость? Хотя недолгая, но радость.

Дом наш, темный с неосвещенным подъездом, вечерами пугал нас. Какой-то хулиган пристал ко мне в темноте, и мать прекратила мою артистическую карьеру:

– Из школы – сразу домой. Никуда вечером не выходи, – был мне приговор.

А дома что? В подвальных квартирах творилось нечто страшное. Жила там тогда Маруся со своим мужем, женщина уже не молодая.

Работала она на заводе и из любви к ребятишкам (своих у нее не было) носила с завода какие-то бракованные детальки, дощечки, кубики – все то, чего давно уже нигде не достать, – мальчишечья радость, в том числе и

для брата Сережи. Эту Марусю убил ее же муж. Топором зарубил. Мы поминаем ее за упокой до нынешних дней как нашу благодетельницу, убиенную Марию. А тогда это было потрясением для нас, страшно было ходить мимо ее окна.

Мужа Маруси посадили, а в их комнату вселилась новая семья: испитая, с папиросой женщина, ее вечно пьяный сожитель и с ними девочка лет шести. Девочку эту родители не мыли и не кормили. Ходила она в отрепьях, а сверху было надето кем-то отданное красное бархатное пальто. Звали ее Майка. С ней никто из детей не дружил, а меня пронзила жалость к ней, и я взяла ее под свое покровительство, делясь с ней тайком от своих крайне скудным пропитанием. Я даже брала ее с собой в школу и там отдавала ей часть школьного завтрака – половину бублика. Она ждала меня во дворе до конца уроков. Но однажды, соскучившись ждать, она решила покидать камни за высокий забор, отделяющий школьный двор от соседнего, где был госпиталь. Начальство госпиталя пожаловалось нашей директрисе, даме строгой и принципиальной. Та спросила Майку, откуда она, и получила ответ, что пришла с Катей. По этому имени меня тут же вычислили (других Кат в школе в то время не было) и запретили приводить Майку с собой в школу. После этого она поджидала моего прихода в подъезде нашего дома, чтобы получить кусок бублика.

Как сейчас вижу ее чумазую рожицу, встрепанные темные волосы, торчащие во все стороны, а особенно ручки – худые, грязные, с черными ноготками, как лапки зверька, выглядывающие из рукавов бархатного пальтишка. Приводить Майку в квартиру соседка не разрешала, просто гнала ее.

Майкина эпопея кончилась так же плохо, как история с Марусей. Мать Майки убил сожитель в очередной пьяной драке. Его посадили, а девочку взяли в детский дом. Я наве-

щала ее там, считалась ее сестрой, пока не переехали этот детский дом куда-то далеко за город.

Жажда дружбы у меня была огромная, неутоленная. Подруг-ровесниц в доме не было. Шайка лихих и хулиганистых девчонок из соседнего дома совсем не привлекала.

Все же весной, когда ясени засыпали двор розовыми мохнатыми сережками, а середина его утаптывалась, как мостовая, усидеть дома было невозможно. Добыв где-то длинную пеньковую веревку, девчонки самозабвенно прыгали через нее (и я с ними), а мальчишки так же самозабвенно гоняли мяч или его подобие. Как-то в конце войны, году в 44-м, мама решила, по примеру многих, взять кусок земли за городом и посадить картошку. Получив участок, кажется, в Краскове, мы с ней майским солнечным днем поехали его вскопать. Я быстро утомилась от «полевых работ» и двинулась изучать окрестности.

Пригорок вблизи нашего огорода цвел мелкими розово-лиловыми лесными фиалками и еще какими-то пахучими цветами на длинных стеблях. Я решила выкопать несколько кустов этого великолепия, чтобы посадить их дома. А где?... Мы долго искали место с девочкой Галей из соседнего дома и придумали... на крыше: там никто не найдет и не сломает.

Через черный ход мы пробрались на чердак. Он был хорошо мне знаком. Дальше через слуховое окно вылезли на крышу. Ясени, уже покрывшись листвой, скрывали нас от всевидящих глаз ребятни, бегающей по двору, и мы, натащав земли, разбили прямо на железе замечательный сад с клумбой в центре. Но просуществовал он весьма недолго. Он оказался над комнатой старенькой учительницы немецкого языка, жившей по соседству с нашей квартирой. Несмотря на преклонный возраст, она тоже проделала тот же путь

через черный ход, услышав странные звуки и топот ног над своей головой, и не пришла в восторг от увиденного. «Катя, ведь ты же приличная девочка из приличной семьи, – сказала она укоризненно вместо полагающегося в таких случаях... “Вася, ты не прав”».

Моя мама была в ужасе: барьера у крыши не было, а нам было по девять лет. Да и ветхое ржавое железо мы могли проломить, а это вообще была бы катастрофа. Но главный ее аргумент: «Как ты могла – над комнатой старого человека, ведь она осталась бы без крыши над головой!»

Надо сказать, что на нашем этаже жили вполне благожелательные люди, к нам, во всяком случае. У этой старушки-учительницы мы оставляли ключ, когда все уходили (один-единственный, остальные были потеряны).

В другую квартиру я ходила звонить по телефону. Там жила немолодая дама из бывших, худая крашеная блондинка с рыжей лисой на шее. Сын ее служил во флоте. Я робко стучала в дверь:

– Разрешите, пожалуйста, позвонить, я очень коротко... но мне так нужно.

– Ну, заходи, только дверь прикрой, не стой на пороге, – слышала я в ответ.

Она панически боялась жуликов.

А воровство было. Через нашу частенько незапертую дверь из коридора с вешалки украли мамино единственное черное драповое пальто с большими роговыми пуговицами. А у соседки тети Веры пропала из кухни сумка с хлебом и, главное, с хлебными карточками. После этого были попытки ограничить визиты дворовых мальчишек к моему брату, но двери так и не запирались.

Бедная наша вторая соседка после истории с «садом на крыше» получила новое доказательство моей «невменяемости» и маминого «попустительства». Были написаны

новые заявления «куда следует» и даже ко мне в школу.

В школе никак не могли понять: какой «огород», на какой крыше, зачем? «Невменяемость, психическая болезнь, хулиганство» – такие аргументы вкуче приводила наша соседка. «Опасность совместного проживания» – все это из заявления в школу.

В чем было дело? И почему мне так жаль ее теперь, эту нашу невольную сожительницу, причинившую нам столько неприятных минут?

Была ли возможность как-то изменить эту дурную последовательность оскорблений, обид и раздражения, добиться какого-то взаимоприятия, уж не говоря о просто уважении. Последнее обе стороны иногда пытались выдать из своих упрямых характеров. Один случай успеха я помню. В год окончания школы, в апреле, совсем незадолго до экзаменов, я вышла на кухню после своих длительных жалоб матери на то, что стол у нас один, а нас с братом двое, и мне негде заниматься, а в читальню (Пушкинской библиотеки) со своими учебниками не пускают. Посреди кухни, как неожиданное привидение, появилась соседка. Надо сказать, была она очень некрасива, пожилая, рыхлая, с жирными неубранными прядями волос, неряшливо или просто нелепо одетая. Она смотрела на меня в упор. Я поздоровалась, чего уже давно не делала. И вдруг: «Тебе негде заниматься. Займи, я разрешаю, мой кухонный стол у окна».

Я опешила, она не разговаривала с нами уже не один год, общалась только с помощью «меморандумов» или домоуправов, которым тоже порядком досаждала.

Я заняла стол с радостью, но тут же обнаружила первую смертельную рану нашего дома: за столом прогнившее бревно образовало окно на улицу. Там, снаружи, желтая штукатурка дома давно уже местами отвалилась, и в

отверстие прорывался весенний сквозной ветер, а временами даже проникал солнечный луч. Мне было страшно сообщить об этом старшим: ведь это было начало конца нашей жизни в этом доме, в Гарднеровском переулке. А пока дыру заткнули тряпками, никакого ремонта не производили, несмотря на хлопоты соседки. Но эти хлопоты несколько отвлекли ее от наших «несовместимых с совместным проживанием действий и нарушений правил общего распорядка». И одновременно включили в эти хлопоты и нашу маму. Тетя Вера, как всегда, стояла в стороне, и ее позиция обычно была соглашательской: то с мамой, то с местным начальством в виде домоуправа и даже несколько подбострастной – не только по отношению к начальству, но и к бывшей хозяйке всего нашего дома, проживавшей на первом, высоком, этаже теперь уже в одной комнате с сыном и внуком. Туда тоже ходила тетя Вера сетовать на жизнь: сын Коля – ее надежда и опора, начал пить, и чем дальше, тем больше. После возвращения из плена в новой мирной жизни укрепиться ему не удалось.

А у меня при виде этой прорехи в стене больно сжалось сердце. Я вспомнила наше счастливое довоенное детство в этом доме, молодую незамученную мать и отца – такого живого и веселого.

Шел 1952 год – мой семнадцатый, брата Сергея – пятнадцатый, матери нашей – пятидесятый, для всех нас троих переломный. У нас с братом переход из детства в юность, у мамы – вход в длинную череду преклонных лет, ею изжитую сполна. А тогда?

Пока мы все еще живем все вместе, и еще почти десять лет нам здесь жить. Только комната наша стала совсем мала. Даже спать негде: кроватей было только две, вернее, одна плюс сундук с приставленной к его торцу скамейкой – это ложе моего выросшего брата. (Несмотря на скамейку, ноги его упира-



Катя во дворе

лись в изразцовую печку.) Мать спит на полу, кровать отдала мне. Каждый день на пол стелется старая клеенка, сверху матрас и постель. Ночью ходить мимо этого ложа мама не разрешает: «С вечера надо думать». Спит она чутко, даже от скрипа железной кровати, на которой я ворочаюсь, просыпается.

Целый день нас нет. Мать на работе, мы в школе. А после школы я в читальню, брат — к друзьям. Домой не тянет, мать приходит в пустую холодную комнату, ждет нас.

Она старается как-то приукрасить быт. Взамен когда-то белых с серебристым рисунком обоев, которые от сырости отстали от стен, она купила новые в красненький и синенький цветочек. Мы с ней наклеили их, убрали в угол за пианино две картины маслом: старинный пейзаж и бандуриста в саду. Краска с них облетела и шелушилась. У пианино с бронзовыми подсвечниками лопнула дека, и оно издавало дребезжащие звуки, да мать и не играла больше, а я в своем обучении музыке дальше этюдов Майкапара не дошла. Скопили немного денег и купили раскладушку, я перешла спать на нее. Пол освободился. На нем брат, вскоре поступивший в институт, чертил чертежи, приколов их прямо к половицам. Всем было ясно, кончался

этап нашей жизни, и дом наш, счастливый дом детства, стал тесен и не мил. Кончился этот этап переездом в «хрущевку» на окраину Москвы. Дом стоял у самого леса, на лыжах мы с мужем становились у подъезда, а коляску с дочкой, родившейся уже в этот период нашей жизни, ставили под раскидистую елку, но все равно личико нашей дочки загорело как печеное яблочко. А весной в лесу там пели соловьи, прямо

под нашими окнами.

Но я, возвращаясь домой на метро из института, вдруг неожиданно сходила на Бауманской станции и почти бегом бежала в Гарднеровский переулок только для того, чтобы посмотреть: не сломали еще? Пока стоял. Но очень скоро его, нашего дома № 6 не стало.

У всех потом были совсем другие адреса. Появился и свой дом за городом в любимой Тарусе, в которую ездили мы каждое лето с 1946 года.

Но если мне снится, что я «дома», то это всегда в квартире 11 дома № 6 в Гарднеровском переулке, в нашей когда-то общей квартире.

Почему бы это?

Кто я теперь? Я бабушка, сижу на том же скрипучем стуле, на котором сидела моя мама и с которого однажды упала, чтобы больше уже фактически не встать. Я бабушка и должна рассказать (нет, я ничего уже не должна)... я просто хочу, чтобы внуки мои знали историю этого совсем не замечательного дома и помнили, сколько возможно, его обитателей. А может быть, этот незатейливый, но правдивый рассказ будет еще кому-то интересен.



СТАНДАРТНЫЕ ПОСЫЛКИ



№ 144. КОЖАНАЯ КУРТКА, шевретова—43 руб.
№ 113. 1/2 дюж. ЧУЛОК КРУЧЕН. ДАМСКИХ ВЫСОКАЯ ПЯТКА, со швом разного цвета—8 р. 45 коп.
№ 138. ДВЕ ПАРЫ ДАМСКИХ ШЕЛКОВ. ЧУЛОК—7 р. 50 к.
№ 136. 1 дюж. ДАМСКИХ НОВЫХ ПЛАТКОВ—4 р. 60 к.

№ 133. 1 1/2 дюж. Шоколаду ЛОМА—10 р. 30 к.
№ 3. БРИТВА безопасная с 3-мя лезвиями и прибор для бритвы—6 р. 25 к.

№ 71. БЕЗОПАСНАЯ БРИТВА в 1 лезвие—3 р.

№ 118. 10 штук ЛЕЗВИЙ "Интон" для безопасной бритвы—3 р.

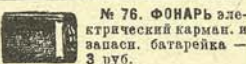
№ 168. БРИТВА "Эра" опалованная из нержавеющей стали—8 р. 75 коп.

№ 158. КЕРОСИНОВЫЙ ФОНАРЬ "ЛЕУЧАЯ МЫШЬ"—6 р.

№ 141. ДВЕ ЧАСОВЫХ ХОДИМОВ отенных—11 р. 50 к.

№ 159. ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬ "БОНО" с запасным патроном, действует при всяком напряжении, быстро кипятит воду (применим в каждом доме, где есть электричество—6 рублей).

№ 154. АНГЛИЙСКИЙ ЗАМОК с 3-мя ключами—7 руб.



№ 76. ФОНАРЬ электрический карман. и запас. батареей—3 руб.

№ 122. МЕЛКОКАЛИБРНАЯ ВИНТОВКА "Тоз" по типу заграничных ружей "Гекко", с принадлежностями—42 руб.

Примечание. Стрелки и охотничьи организации без разрешения отдельных граждан должны присылать разрешение соответствующего Адмтдела, район. или волосткома.

№ 85. БАЛАЛАЙКА 3-струн., самоучитель и запас. струны—9 р. 40 к.

№ 96. МАНДОЛИНА итальян., самоучит., сборн. пьес, запас. струны и 2 мнотатора—21 р.

№ 97. ГИТАРА орех., самоучитель и запас. струны—22 р. 20 к.

№ 139. ГАРМОНИЯ венск. двухрядная 6-планочная, 36 клав., 12 басов., в брезент. футляре—126 руб.

№ 105. РАДИОПРИЕМНАЯ ДЕТЕКТОРНАЯ СТАНЦИЯ с детектором, телефоном и полным набор. антенн—20 руб. 80 коп.

№ 145. ТОНЕ, лучшего качества—27 р. 75 к.

Цены с упаковкой и пересылкой.

Заказы выполняются по получении денег вперед. К стандартным посылкам стоимостью свыше 3 рублей прилагается ПРЕМИА.

При неимении в момент получения заказа товара деньги немедленно возвращаются.

Госуд. Почтово-Посыл. Предпр. **УНИВЕРПОЧТ МОСКВА 12,** Москварецкая ул., д. 24/0.

ПОЛНЫЙ ПРЕЙС-КУРАНТ № 20—60 коп.

РЕШЕБНИКИ ЗАДАЧИ

с подробными решениями, предлагающиеся на конкурсных экзаменах в ВУЗ'ах и ВТУЗ'ах.

1. **ГЕОМЕТРИЯ И ТРИГОНОМЕТРИЯ** Проф. Делоне и Житомирского 719 задач с решениями, 349 черт. 852 стр. ц. 4 руб.

2. **АЛГЕБРА**—проф. Я. Везикевича 524 задачи с решениями, ц. 2 р. 25 к.

3. **РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ** к задачкам алгебры Н. ШАПШИНОВА и Н. ВАЛЬЦОВА с подробн. объяснениями. 617 решен. задач, 300 стр. ц. 2 р. 70 к.

Заказы направлять Акц. О-ву Книжной Торговли, Ленинград, Внутр. Гостиного Двора № 123/а.

МУЗЫКА В РАССРОЧКУ

ГАРМОНИИ, ГИТАРЫ, МАНДОЛИНЫ, БАЛАЛАЙКИ, ГРАММОФОНЫ. БЕЛКОРУССКИЕ ОРКЕСТРЫ

Москва, Тверская, 70. МУЗ. ДЕПО Д. В. ЛИСТЕЛЬ. Телефон. 4-43-57.

Прейс-куррант и условия рассрочки высыл. за три 10-коп. марки, влож. в конверт.

Новое 4-ое изд. 1929 г.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ
НЕ ПРИБЕГАЯ К АБОРТУ
А. ОСКИН, с рисун. в тексте
Цена с пересылкой 1 р. 50 к.
Москва, Китай-гор. стена Помещ.
№ 7/2. Заказы и деньги (можно мелк. почт. марк.) направлять.
Москва, почт. ящик № 867/2.
Ил. Дело "БУНИНЕРИ" И. А. Дувидзон.

НЕ ТРЕБУЕТСЯ ЗНАНИЯ НОТ
Новый общий самоучитель
ДЛЯ ГИТАРЫ, МАНДОЛИНЫ И БАЛАЛАЙКИ
с нов. песнями, романс. и пр.
Цена 2 р. 50 к.
ДЛЯ ГАРМОНИИ
(духр.) такой же самоуч. с 80 муз. №№ высыл. за 2 р. 25 к.
Москва, Политех. музей 110/о.
Кооп. Т-во "Культура и Знание".

НЕОБХОДИМО
каждому кино-работнику
и кино-любителю.
КИНО-БИБЛИОТЕКА
16 книг по истории, теории, технике и практике кино, и биографии всех американ. и немецк. киноарт. и режис. Более 1647 стр. 134 иллюстр. и 346 порт. на отд. листах. Выход 13 р. 65 к.—за 9 р. Выслать, деньги вперед за пересылку по платат.
Изд-во "АКАДЕМИЯ". Москва, 9. Тверская, 26/о.

ПРИБОР ПРОТИВ КУРЕНИЯ "НЕ КУРИ"
Испытан Гос. Научн. Институтом Разрешен НАРКОМЗДРАВом
На каждом приборе имеется номер Свид. Ком. по Дел. Наб. 17628. Требуется только по способу употребления, снабженном озаглавленной подлинной инструкцией. Цена 3 р. 75 к. (вкл. нал. плат. при зал. в 2 р. можно мелк. почт. марк.) При 3-х лет. перес. беспл. (Имеется мужская и женские).
МОСКВА, почт. ящик 733.
Э. Тинман.

НОВИНКА 1929 г.
Д-р мед. В. Дембская.
СРЕДСТВА И МЕРЫ ПРОТИВ БЕРЕМЕННОСТИ
Описание старых и новейших средств и способов предупрежд. беремен. С 10 рис. ц. 1 р. 65 к.
БОЛЕЗНИ ВОЛОС И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЛЫСИН
Д-ра С. Бормана. Изд. 1929 г. С 22 рис., мног. рец. ц. 2 р. **УХОД ЗА ЗДОРОВОЙ И БОЛЬНОЙ КОЖЕЙ.** (Медицинская косметика). Д-ра С. Бормана. 2-е дополн. изд. с рисун. и рец. ц. 1 р. 25 к. **ОПЯНИЗМ И ВОРЬБА С НИМ.** Половые отклонения и полов. воспитание д-ра В. Хачатуряна Изд. 1929 г. Цена 1 р. 25 к. **МОЕ ВОДОЛЕЧЕНИЕ** непер. в течение 40 лет/Пер. со 103 нем. изд. с 19 рис. ц. 1 р. 50 к. Цены указаны с пересыл. Книги высылать (можно нал. плат.). Книжн. Дело "ЛИТЕРАТУРА" И. М. Довожен. ОДЕССА, ул. Лассалы, 26/о.

ГОС. ИНСТИТУТ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ЭНДОКРИНОЛОГИИ
НАРКОМЗДРАВ'А

ВЫПУЩЕН ГИЗ в ПРОДАЖУ

СПЕРМОКРИН

ИСПЫТАН КЛИНИЧЕСКИ
ПОКАЗАН ПРИМЕНЕНИЮ ПРИ:
НЕВРАСТЕНИИ, ПОЛОВОМ БЕЗСИАНИИ, СТАРЧЕСКОЙ СЛАБОСТИ, АРТЕРИОСКЛЕРОЗЕ, МАЛОКРОВИИ.
ПРОДАЖА ВО ВСЕХ АПТЕКАХ И МАГАЗИНАХ САНГИГИИ
ЦЕНА ФАЛКОНА 30.0 1 р. 50 к.

ПРОСПЕКТЫ ВЫСЛАЮТСЯ ПО ПЕРВОМУ ТРЕБОВАНИЮ
АДРЕС ИНСТИТУТА: МОСКВА, Б. ВОРОБЬЕВСКИЙ ПЛ. 10

БЕРЕГИ СВОИ ВОЛОСЫ, УДАЛЯЙ УГРИ ЛИЦА

Испыт. преп. лабор. Инстит. Исслед. Москва, ул. Воробьев. № 1А (у Арбата, пл.). М. Б. Коен. Письма адресуйте: Москва 19, почт. ящ. 11/0.
1). порош. "Кути-Фрик" (преп. проф. Унна) угрей и следы после удаления и ег. л. у б. о. к. оспел. РЯВ угрей. Цена 3 р. кор.
2). Мед. мыло "Сена" (преп. П. Жироуиде, и красноты, д-ра Катцен) прот. угрей. Ц. 85 к. (вкл. не менее 3 к.с.).
3). "Хна-Саннин" против ПЕРХОТИ, зуда, выпаден. волос. Ц. 2 р. фл.
4). "Электрель" стягивает ПОРЫ и удаляет угри, черные точечные, открытые ПОРЫ и сальн. кожк. Ц. 2 р. фл.
5). "БАЛЬЗА-НРЕМ" прот. сухости, раздраж. и шелуш. лица. Ц. 1 р. Высылается не менее 2 туб.
Заказы высылаются по получ. записка в 50 коп. почт. марками.



ЛУЧШЕЕ УХОД-ЖЕНЧУГ исключ. красноты, франц. типа, не отлич. от настояц. мас-ливи, неощ. ожерелье, разн. 45 сант. с сер. замк. 9 р., 60 сант. с сер. замк. — 11 р., 100 сант. — 16 р., 130 сант. — 20 р., 180 сант. — 23 р. Сервис с сер. замк. — 4 р. Высыл. наложен. платж.
Перес. у пак. и страх. беспл. И о о я в а, Почтамт, ящ. № 7210. М. Н. ВАСИЛЬЕВОЙ.

КРОЙКА мужского, женского и детского платья и белья

Составлено по программам, разработ. и утвержд. Главпрофобразом. Комиссией по учебным научно-технической секции Госуд. Ученого Совета допущена в качестве учебного пособия для профишкол и курсов швейной промышленности. Руководство дает возможность каждому вполне научиться теории и практике кройки, как главной основы техники швейного дела.
Руководство состоит из 2 томов большого формата, с 200 чертежами и рисунками, специально исполненными художниками, и многих таблиц по вычислению пропорциональности мерки.

ТРЕБУЙТЕ ПОДРОБНЫЕ ПРОСПЕКТЫ.
I том вышел из печати; II том выходит в марте.
Цена за 2 тома по предварительной подписке 15 руб.; задаток 3 руб.; остальная сумма уплачивается по 5 рублей при получении каждого тома. Пересылка за счет заказчика. Принимается подписка отдельно на I том (мужская кройка), цена 7 р. 50 к., и на II том (женская и детская кройка) цена 8 р. 50 к. Заказы и деньги направлять по адресу: Москва, 6., Цветной б. 25/0. Акц. О-ву МОСКОВСКОЕ НАУЧНОЕ ИЗ-ВО "МАКИЗ".

ПОЛНЫЙ НАЛОГОВЫЙ СПРАВОЧНИК

СПУТНИК — ПРАКТИЧЕСКАЯ НАЛОГОВАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
Под редакцией Артемьева и Киноградова
4-е издание (3 издания разошлись полностью).
Цена 5 руб. в роскошной переплете и напике.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИЗДАНИЯ:
1. Полнота материала. 2. Свежесть и нетустарел. (благод. сист. доп.). 3. Полная документир. и точность справок. 4. Быстрота справок. 5. Удобный формат книжки.

СКЛАД ИЗДАНИЯ: Москва, пл. Революции, 1/3 МОСФИНИЗДАТ.

ЧИТАЙТЕ № 4-й ЖУРНАЛА

ЗА РУЛЕМ

Цена номера 25 коп.
Требуйте во всех киосках.

ЧИТАЙТЕ № 5-й ЖУРНАЛА

СОВЕТСКОЕ ФОТО

Цена номера 30 коп.
Требуйте во всех киосках.

ЧИТАЙТЕ № 2-й ЖУРНАЛА

ИЗОБРЕТАТЕЛЬ

Цена номера 35 коп.
Требуйте во всех киосках.



И.М. Зеленова

«НАМ ПРЕГРАД ДАЖЕ В КОСМОСЕ НЕТ!»

Старый трехэтажный дом, где прожила я с родителями в коммунальной квартире двадцать лет (с 1936 по 1956 год), находился практически в центре Москвы, между Таганской площадью и Крестьянской заставой. После окончания института я покинула «родные пенаты», уехав работать на Кольский полуостров, а родители оставались там вплоть до начала семидесятых, когда сносились дома в связи с реконструкцией Марксистской улицы. Говорили, что до революции здесь была гостиница. Скорее всего – дешевые меблированные комнаты, так как первый этаж был подвальным: его окна находились вровень с землей, даже чуть ниже. Во время войны тут было бомбоубежище. Правда, жильцы дома спускались сюда только в начале войны, затем к налетам привыкли, сидели дома, выключив свет и прислушиваясь к грохоту зениток.

Наши окна выходили на школьный двор, школа была совсем рядом. Однажды, вернувшись из бомбоубежища, мы с мамой увидели такую картину: в угол школы, прямо напротив нас, попала бомба. Окно нашей комнаты было разбито, взрывной волной выбило стекло, а все, что стояло у окна, превратилось в грудку мусора. Когда прекратились бомбежки Москвы, помню, с какой радостью все снимали с окон крест-накрест приклеенные по-

лоски бумаги, предохранявшие стекла от воздушной волны.

Папа ушел на фронт в начале войны. Маму тоже «мобилизовали», как и многих домохозяек. Она стала работать машинисткой в машбюро ЗВШС (завод внутришлифовальных станков). Это было военное предприятие, пройти через его проходную было практически невозможно. На заводе всем работникам полагались обеды. Все лето 1942 года я ходила к маме на завод, и она отдавала мне свой обед. Завод был расположен на Дербеневской набережной. Я шла пешком из дома до Крестьянской заставы, спускалась к Краснохолмскому мосту по Динамовской улице и, перейдя через мост на противоположную сторону Москвы-реки, оказывалась на Дербеневской набережной. Машбюро находилось на первом этаже, зарешеченные окна были довольно высокими. В определенное время мама открывала одну створку окна и через решетку передавала в какой-то емкости (точно помню, что не в тарелке) «первое блюдо». Я его тут же съедала, передавала маме пустую емкость, а она мне протягивала «второе» – пюре. Потом я шла обратно домой.

Позже нам в школе по очереди (всем сразу не хватало) давали талоны на питание. Столовая, которая обслуживала обладателей этих талонов, находилась за Крестьянской заставой, в Дубровке. В этом же районе был

расположен мясокомбинат, куда мы с моей подругой Раей (из квартиры напротив) ходили за бульоном и костями. Из какого-то помещения во дворе мясокомбината, отстояв несколько часов в очереди, мы получали мутный и крепкий бульон (его специфический запах помню до сих пор) и кастрюлю костей, много костей с мизерными остатками мяса. Так и говорили: «Пойдем за костями». Несли это все домой, а вечером наши мамы из этого мясного «набора» готовили какую-нибудь нехитрую снедь. Походы наши были регулярными – два раза в неделю.

Когда стала поступать «американская помощь» в Москву, в магазинах появились продукты. Однажды произошло событие: по карточке маме дали банку сгущенного молока. Она поставила сгущенку в комнате, под окном, прямо на полу. Я очень быстро съела полбанки, несмотря на то что пользовалась чайной ложечкой. Мои расчеты оказались ошибочными, чайная ложка меня подвела, и я получила хорошую взбучку от мамы. Она-то надеялась, что нам надолго хватит сгущенки. «Американская помощь», кроме продуктов, включала также и одежду. До сих пор помню зеленое пальто и бархатное платье, в котором мама привела меня в фотостудию.

Хлеб во время войны выдавали по карточкам, и приходилось занимать очередь рано утром. Вставала в пять – и бегом к булочной в «низочке» (там, где улица Гвоздева шла вниз). Очередь растягивалась иногда до половины переулка, почти до Воронцовской улицы. Ждали, когда хлеб привезут, потом ждали, когда подойдет очередь. Мама была служащей, ей полагалось 400 г хлеба в день плюс моя детская карточка (я родилась в 1933 году), но сколько это составляло граммов, я забыла.

Во время и в первые годы после войны по карточкам один раз в месяц выдавали две

бутылки (по 0,5 л) водки. Мама ездила на попутных грузовиках под Москву, кажется в Бронницы, и меняла эту водку в деревне на картошку. Позже под Москвой выделили две сотки земли для выращивания картошки. Ездили туда на попутках, сажали, копали картошку, потом хранили ее в сарае во дворе.

Кирпичные сараи разделяли наш двор на две половины. Соседи по квартире делили один сарайчик между собой: чем больше соседей, тем меньше места доставалось жильцам. В сарае был подвал, погребок, выступавший в роли холодильника, вниз вела деревянная лестница. В сарае держали всякую утварь, которая не помещалась в квартире (санки, ящики и т. п.), но в основном – дрова, т. к. отопление в квартирах было печное. Бревна выдавали на складе по ордерам, которые выписывались в домоуправлении. Их количество (один, два или три кубометра) зависело от площади помещения. Бревна нужно было довести до дома, распилить и сложить в сарай. Склад был очень далеко. В войну, когда папа был на фронте, мы с мамой возили бревна на санках от склада к дому, привязав их веревками. Это было ужасно. Да и ходить в сарай за дровами зимой тоже было не слишком большим удовольствием.

Приближался конец войны. Какую радость вызывали у всех сводки о взятии нашими войсками городов! Мы, дети, бегали по Марксистской улице, останавливали каждого прохожего с известием: «Тетенька (дяденька), наши Киев взяли». И все прохожие разделяли с нами эту радость, лица светлели, появлялись улыбки. Почему-то больше всего запомнилось ликование по поводу взятия Киева. И совершенно незабываемый салют Победы! Мы с родителями были на Москворецком мосту, куда заранее пришло множество людей. Трудно описать ту радость, то

чувство гордости и единения, которые испытывали, глядя на салют, и взрослые и дети. Небо было все расцвечено лучами прожекторов, в воздухе висели на дирижаблях портреты Сталина, Ленина и других, как тогда говорили, «выдающихся деятелей страны». Словом, салют Победы – одно из самых ярких впечатлений моей жизни.

После отмены карточек жизнь постепенно налаживалась. В магазинах появлялись все новые и новые продукты. В «Гастрономе» на Таганской площади, в отделе, где продавали мясные и колбасные изделия, продавцами были только мужчины в белых халатах и высоких белых колпаках. Они тонко резали продукты острыми длинными ножами, о специальных машинах никто даже не слышал. Во дворы домов высыпали люди. Двор был неотъемлемой частью дома. На скамейке у подъезда собирались женщины, мужчины сидели за столиками возле сараев. А дети летом играли в салки, прятки, «штандер», «казаки-разбойники», прыгали через веревочку, зимой – катались с сугробов на санках. У многих ребят с нашего двора, в основном подростков, были прозвища. На первом этаже жил Колька Косой, он «ухаживал» за моей подругой Раей, которая впоследствии вышла замуж за Витьку-Котлету из другого флигеля нашего дома. За мной «ухаживал» Юрка, тоже Косой. По существу, никаких «ухаживаний» не было. Это мы, девчонки, так распределили мальчиков-сверстников из нашего двора. Они об этом даже и не догадывались. В том же флигеле, что и Котлета, жили Витька Рыжий и Колька Длинный. Была Люська-Мартышка с лицом, изуродованным родовой травмой. Вдобавок к этому говорила она невнятно. Тем не менее Люська принимала участие во всех наших играх, обзывали ее только за глаза. Отпетым хулиганом был Серега по кличке Аанада.

За порядком во дворе следил дворник, татарин, как и многие московские дворники. Он жил с семьей в пристройке. Жена у него была русская, дети, правда, не отличались сходством с отцом. Мы их обидно дразнили, особенно одного, всегда кричали ему: «Ванька, глянь-ка! Пупырь лятить!» Почему? – теперь уже не вспомню.

Во дворах соседних домов дети из нашего двора не гуляли, даже не заходили туда: это была другая вотчина. У ворот дома по вечерам всегда стояла кучка «наших» парней. Это были далеко не подростки. Некоторые успели уже побывать в тюрьме, другие работали на заводах. Стоящие у ворот молодые люди были одеты в куцые пальтишки, почти все поголовно носили кепочки с маленькими козырьками, кто не курил – обязательно держал руки в карманах. Жильцы дома, увидев такую компанию у ворот или у подъезда в поздний час, не опасались, зная, что «своих» никто не обидит.

Известной достопримечательностью нашего района была Таганская тюрьма. Ей посвящена популярная в те годы песня. Тогда ее пели на посиделках, сейчас исполняют по радио.

Цыганка с картами, дорога дальняя.

Дорога дальняя, казенный дом.

Быть может, старая тюрьма центральная

Меня, парнишечку, по новой ждет.

Таганка, все ночи полные огня,

Таганка, зачем сгубила ты меня?

Таганка, я твой бессменный арестант,

Погибли юность и талант в твоих стенах.

Я знаю, милая, моя любимая,

Как тяжело на свете жить.

Куда ни гляну я – кругом решетки,

И как-то медленно проходят дни...

Министерство пищевой промышленности СССР
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ШАМПАНСКИХ ВИН



Советское Шампанское
ЛУЧШЕЕ ВИНОГРАДНОЕ ВИНО

НАРКОМПИЩЕПРОМ СССР „ГЛАВТАБАН“

КУРИТЕ
КАПИТАНСКИЕ
СИГАРЫ



С. САХАРОВ

*Прощай, любимая, больше не встретимся,
Дороги разные нам суждены.
Опять по пятницам пойдут свидания
И слезы горькие моей родни.*

*Таганка, все ночи полные огня,
Таганка, зачем сгубила ты меня?
Таганка, я твой бессменный арестант -
Погибли юность и талант в твоих стенах.*

Недалеко от тюрьмы находилось здание военкомата. Во время призыва около военкомата гуляли призывники, провожающие их в армию родственники, друзья, девушки. Гармонь, пляски, песни! – а вот слез и причитаний, что «дитя» уходит в армию, не было и в помине.

Родители, конечно, волновались за своих детей, но не было такой опеки и контроля, как теперь. Ребята ходили в школу без сопровождения взрослых, сами принимали решение, в какой кружок или секцию записаться. Вот так я однажды поступила в школу при музыкальном училище им. М.М. Ипполитова-Иванова. Когда я училась в классе пятом или шестом, мои подружки, пожелавшие пройти конкурс в эту школу, попросили меня составить им компанию.

Я согласилась, тем более что петь любила. Это был настоящий экзамен: нам задавали разные вопросы, проверяли музыкальный слух и т. д. Каково же было мое удивление, когда через два дня я нашла себя в списке поступивших, в то время как мои подружки не прошли конкурс. «Но как же я буду заниматься? – подумала я. – Ведь у меня дома нет пианино!» Признаться в этом кому-то из музыкальной школы было неловко, тем более просить маму купить мне инструмент. А ведь можно было бы обойтись без него и заниматься в школе хоть каждый день. Вот к чему иногда приводит излишняя самостоятельность.

Во время летних каникул мы с подружками, когда родители были на работе, сами «выезжали на дачу». Взрослые даже не догадывались об этом. На самом деле дачи не было и в помине. Мы садились на трамвай на Воронцовской улице, ехали несколько остановок за Крестьянскую заставу, там, где проходила окружная железная дорога. К железнодорожному полотну спускались откосы, поросшие травой и кустами. Там мы располагались, играли в «дочки-матери» с куклами, устраивали скромный пикник. Через несколько часов ехали обратно домой.

С подружкой Раей мы сами мастерили себе кукол из тряпок, ваты, раскрашивали цветными карандашами кукольные лица. Потом шили этим куклам платья. Как-то мама подарила мне – о чудо! – настоящую куклу с закрывающимися глазами! Почти весь двор приходил ко мне посмотреть на нее. Честно говоря, мы радовались любой мелочи, подаренной нам. Родители не баловали детей дорогими подарками. Отец моей одноклассницы привез ей из Америки, где был в командировке, настоящие часы! Они казались чудом. Помню, во время урока, начиная с середины, все взоры одноклассников были устремлены на нее, и со всех сторон раздавался шепот, переходящий в «шип»: сколько времени осталось до конца занятий? Она показывала на пальцах, стараясь быть невозмутимой.

Новую одежду покупали редко, перелицовывали, перешивали. Из военных шинелей шили женские и детские пальто. Кто – сам, а кто – у частных портных, их было много. Обувь по многу раз сдавалась в мастерские, я это очень хорошо помню, так как сама носила сапожнику и мамины и свои туфли. В мастерской на Таганской площади были отдельные ящички для «готовой», т. е. отремонтированной обуви. Прежде чем получить заказ, приходилось самостоятельно



С подружками на Воронцовской улице, 1947

отыскать свою пару обуви. Ящички были во всю стену мастерской. «Эта конструкция» мне почему-то радовала глаз.

Рядом с домом были известные в Москве Воронцовские бани (на Воронцовской улице, во дворе). Там было здорово! После всех банных процедур, в раздевалке тебя закутывали в полотенце, и обязательно мама давала яблоко. Раздевалка в бане представляла собой большой зал с широкими скамьями. Их длинные спинки были разделены на отсеки. Банщица давала номерок на веревочке, который указывал место, где ты должен раздеться, и не дай Бог этот номерок потерять! Обычно номерок привязывали к ручке шайки (таза, который выдавали в мыльном отделении). Мыльный зал был тоже большой, место на скамейке и шайку иногда приходилось ждать. Прежде чем пользоваться шайкой, ее нужно было хорошо вы-

мыть. Была также и парилка с отдельным входом из мыльного зала, но мы туда не ходили, а только заглядывали. В раздевалке находился косметический кабинет – там делали педикюр и маникюр. Мама там бывала очень редко. Вообще, поход в баню был событием, занимал много времени. Иногда ходили в бани у Павелецкого вокзала, вернее, у Краснохолмского моста, на Кожевнической улице. Это были элитные бани в старинном доме, внутренняя отделка казалась нам шикарной.

Мои дети тоже ходили в эти бани с моей мамой или со мной. Но время уже было, видимо, другое, и такого чувства восторга и удовольствия они не испытывали. Может быть, еще и потому, что на Севере, где мы жили большую часть года, у нас в квартире была ванная. А в доме на Таганке ни ваннх комнат, ни душа, ни горячей воды до самого

слома так и не было. Постирала белье, сушили его во дворе. У каждого была протянута своя веревка, но пользоваться другими (соседски) не возбранялось. Иногда спрашивали: «Можно я на вашей веревке повешусь?»

Соседи в квартирах жили относительно мирно. На нашей лестничной клетке было четыре квартиры. В свою очередь в нашей квартире было две комнаты: большую (24 кв. м) занимали соседи, меньшую (18 кв. м) – мы. У нас были «тихие» ссоры, во время которых мы не разговаривали с соседями день, два, максимум – неделю! А потом обиды забывались. Причина ссор была в основном одна и та же: когда подросли соседские мальчишки, они включали радио и появившийся у них проигрыватель на полную мощность. У папы часто было высокое давление, вот он и просил их уменьшить звук. Молодежь сопротивлялась – возникал конфликт. Но в целом «все было прилично». Соседи даже уступали нам иногда свою «большую» комнату на вечер, когда, например, мне исполнилось шестнадцать лет и мы пригласили много гостей. И окончание института тоже праздновали в их комнате.

Первоначально семья соседей состояла из трех человек: набожной, очень спокойной Елизаветы Николаевны, ее мужа Сергея Николаевича, контролера на железной дороге, и их сына – Славы, который считался у нас в доме завидным женихом. Меня всегда поражало, что утром он на завтрак ел и суп, и второе, и третье, приходил вечером с работы, и снова – первое, второе, третье. Потом он женился. Его жена Людмила, некрасивая, выше его ростом, худая, но очень общительная и веселая женщина, была дочкой священника, служившего в Всехсвятской церкви. Иногда священник с женой приезжали в гости к родителям зятя.

Для меня это было событием: не каждый день увидишь настоящего священника в рясе с бородой. Я специально ходила из комнаты в кухню, чтобы лишний раз на него посмотреть. Но признаться, мы были далеки от мыслей о Боге. Нас волновали другие «ценности». В 1946 году я написала стихотворение, которое было опубликовано в «Пионерской правде», главной газете всех советских школьников:

*Мне бы очень хотелось, ребята,
Полететь на Луну и на Марс.
Жизнь земная, конечно, богата,
Но ведь этого мало для нас.*

*Взвиться ввысь на ракетоплане
И лететь среди небесных светил.
А по радио чтобы Сталин
Со мною с Земли говорил.*

*Он заботился бы, конечно:
Так ведь еще не летали.
Но я бы бодро ответила:
«Все в порядке, товарищ Сталин!»*

*Управление в полном порядке,
Мимо Марса сейчас пролетаем.
А теперь я готовлюсь к посадке.
До свиданья, товарищ Сталин!»*

*Звезды в небе заманчиво светят
Сколько там неизвестных планет!
Мы советские смелые дети,
Нам преград даже в космосе нет!*

Через десять лет я покинула родной дом и осталась верна своим «космическим» идеалам: после окончания института отправилась с мужем на Кольский полуостров. До свидания, Таганка!

СЕКАДОВСКАЯ ЖИКОСТЬ

ЛАБОРАТОРИЯ КОМПЛЕКТОВАНИЯ
Гален-Москва
МОСКВА
№ 3/А

РАСПРОДАЖА ПОЛНЫХ СОБРАНИЙ СОЧИНЕНИЙ РУССКИХ И ИНОСТРАННЫХ КЛАССИКОВ

(ПЕРВАЯ ЦЕНА БЕЗ ПЕРЕПЛЕТА, ВТОРАЯ — В ПЕРЕПЛЕТЕ)

Алехин — в 1 т. — 4 р. 50 к. Андреев — 17 кн. 5 р. — 7 р. Анисимов — в 1 т. в пер. 5 р. Беранже — в 1 т., изд. Вольфа, в пер. 5 р. Боборыкин — 12 т. 5—8 р. Бунин — 12 кн. 2—3 р. Верещагин — 10 кн. 3 р. 50 к. — 5 р. Бутт Гамсу — 13 кн. 4 р. 50 к. — 7 р. Галин — 20 кн. 4 р. — 7 р. Галин — в 1 т. в пер. 2 р. 50 к. Гаушман — 10 кн. 1 р. 50 к. — 3 р. Гейне — 16 кн. 2 р. 25 к. — 4 р. 50 к. Гоголь — 12 т. в пер. 6 р. 50 к. Горбунов — 4 кн. 1 р. — 2 р. Гончаров — 12 т. в пер. 10 р. Григорьевич — 12 т. в пер. 7 р. 50 к. Гофман — 8 т., изд. Пантелеева, в пер. 10 р. Даль В. (Назак Луганский), изд. Вольфа, в 10 т. в пер. 8 р. Данилевский — 24 т. в пер. 8 р. Диниев Н. — изд. Сойкина, 46 кн. 15 р. — 20 р. Досоговский — 24 кн. в 12 т. в пер. 18 р. Дюма А. — полное собр. соч. изд. Сойкина, в пер. 50 р. Жуковский — 12 т., в пер. 5 р. Иоржиза — 18 т. изд. Пантелеева, в пер. 20 р. Иосиф — 18 кн. 2 р. 50 к. — 4 р. 50 к. Кавелин К. — 4 т. в пер. 7 р. Колдцов — в 1 т. изд. Ак. Наук, 3 р., изд. же Маркса в пер. 1 р. Купер Ф. — в изд. Сойкина, с рис. в пер. 17 р. Короленко — 27 кн. 6 р. — 10 р. Де-Ностер — 3 кн. 75 к. — 1 р. 50 к. Иовлев Н. — в 1 т. 1 р. Ильянг — 20 кн. в 6 пер. 12 р. Куприн — 23 кн., в 9 т., в пер. 12 р. Лисовский — 36 кн. 6 р. — 10 р. Лермонтов — соч. в 1 т., в пер. 4 р. Его же — полн. собр., изд. Ак. Наук, 5 т. 13 р. Максимов С. В. — 20 т., изд. „Просвещение“, в пер. 15 р. Мамин-Сибиряк — 60 кн. 10 р. — 18 р. Марриэт, капитан — в 8 т. в пер. изд. Сойкина 15 р. Марк-Твен — изд. Сойкина, в пер. 20 р. Майков — 8 кн. 1 р. 75 к. — 2 р. 50 к. Моржковский — 17 т., в пер. 30 р. Мельников-Печерский — 5 р. — 8 р. Мей — 8 кн. 1 р. — 2 р. Метерлини — 3 кн. 2 р. — 3 р. Михельсон И. И. — Русская мысль и речь, НИИГ высыл. налож. плат. до 10 р. без задатка, свыше — необходимо задаток 30% стоимости, книжн. маг. „НАУКА И ЗНАНИЕ“ Ленинград, пр. Водопольского, 59/6. Цены без перес. и упак. Л. С. СТЕПАНОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ Юрия Слезкина

В 7 томах, с портретом автора.

Поступили в продажу:

- Т. II. Бабье лето. Роман. 2 р. 50 к.
- Т. III. Глухое сердце. Ром. 2 р. 50 к.
- Т. IV. Фантазматория. Пов. 2 р. 50 к.
- Т. V. Столовая гора. Ром. 1 р. 75 к.

На днях выходят из печ.:

- Т. I. Ольга Орг. Роман.
- VI. Кто смеется последним.
- VII. Orientalia. Роман.

Высылка налож. платеж. без задатка. Открыта льготная подписка. Проспект с подр. услов. высыл. бесплатно.

ЛЮБУЮ КНИГУ всех издательств налож. плат., а также 64 портрета совр. русск. писат. в иллюстр. катал. за 10-к. марку высыл. „Моск. Т-во Писателей“ Москва, 9, ул. Герцена, 22.

МУЗЫКА В РАССРОЧКУ

ГАРМОНИИ, ГИТАРЫ, МАНДОЛИНЫ, БАЛАЛАЙКИ, ГРАММОФОНЫ, ВЕЛИ. ОРК. Москва, Тверская, 70, ул. Саловой-Триумфальной.

Музыкальное депо Д. ДИСТЕЛЬ. Т. 4-43-87.

Прекскуртант и условия высылаются за две 10-коп. марки, вложенн. в конверт.

АВТОМОБИЛЬНЫЙ СПРАВОЧНИК. Систематич. руководство по всем вопросам автопрактики. Таблицы, математич. формулы, необходим. при ремонте и эксплуатации. Перечень авто-марок, Маршруты. Кратк. русско-франц., немецк., англ. словарь. Спорт-отдел. Изд. 1925. 320 стр. текста. В пер. Ц. 3 р. Высыл. налож. плат. Москва, Политехн. музей, 110/В. „КУЛЬТУРА И ЗНАНИЕ“

РУЧНОЙ ТРУД

Работы на дому и в школе. Мастерская и ее оборудование своими руками. — Самод. токарный станок и работы на нем. — Столярные работы. — Изготовление игрушек. — Работы по металлу и с металлом. Лужение, никелирование, золочение. — Серебрение зеркал. — Плетение сетей и гамаков. 263 рис. Цена 3 р. с перес. Наложен. платеж. 3 р. 20 к. Ленинград, внутри Гостиного Двора, 118/5. Контора журнала „В Мастерской Природы“.

ВЫШЛИ
Александр Дюма
10 ЛЕТ СПУСТЯ
Ч. I. (ВИНОНТ ДЕ-БРАМЕЛОН)
4-й том похождений трех мушкетеров, пол. пер. 858 стр. 60 рис. Цена в сати. пер. с зол. 3 р. 80 к. и 2-е издание

Аленко. Дюма
ТРИ МУШКЕТЕРА
полный пер. 920 стр. 70 рис. Цена в сати. пер. с зол. 4 р. 20 к. Высылаемые деньги вперед за пересылку не платит. Изд-во „АКАДЕМИЯ“, Москва, 9, Тверская, 26/В.

ХУДОЖЕСТВ. ПОРТРЕТ
увеличен. Паста прекрасно отделанный тушью

КАЖДЫЙ может иметь, прислав любую фото-карточку.

Разм. с роскошн. паспарту „рококо“

ЦЕНА: 30×40 см. — 5 р., 34×46 — 7 р., 45×55 — 10 р., 55×70 — 15 р., 70×80 — 20 р. Красками на 50% дороже.

АГЕНТАМ и ФОТОГРАФАМ СНИДНА

Зак. выполн. быстро и аккуратно без задатка нал. плат. Карточки возвращаются

Москва, 1-я Тверская-Ямская, 34. Художеств. мастерская **И. БОРОДУЛИНА**

АКО

ЗУБНАЯ ПАСТА

ЛАБОРАТОРИЯ КОМПЛЕКТОВАНИЯ
Гален-Москва
МОСКВА
№ 3/А

АЛЛО! ВСЕМИ
АЛЛО! ВСЕМИ
АЛЛО! ВСЕМ

Радиостанция и радиолобителям

ПОСЛЕДНЕЕ ДОСТИЖЕНИЕ

РАДИО-БАТАРЕИ
(работают лучше наливных)
Батареи анодные 80 в. Руб. 18.—
45 в. „ 10.—
накала 4 1/2 в. „ 10.—

— РУПОРЫ —
(Папье-маше)

Точная копия заграничных. Отзывы „Радиолобитель“ №11, 12 за 1927 г.

„Вестерн“ Р. 7.—
„Малый Вестерн“ 5.50
„Телефункен“ 7.—
„Лидипут“ 2.50

Пересылка и упаковка за счет заказчика; при заказе 25% задатка. Заказы и деньги направляйте по адресу:

Москва, 66, Жеребцовский пер. дом № 17/19-В.

ПРОКЛЯТЫЙ ДОМ

и др. московск. легенды, собр. Е. З. Барановым, высылает за 60 к. книжн. склад Ц. К. СВЯЗИ. Москва, Солянка, 12, Дворец Труда, № 201. Склад высылает также ЛЮБУЮ КНИГУ налож. плат.

ВНИМАНИЮ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ

Элементы BLITZ тип АС

для сборки анодных батарей.

Не требуют зарядки, сохраняют энергию в течение года и более. Незаменимы для микропередатчиков. Пригодны для анодных батарей любого напряжения. Не дают короткого замыкания с осудами. Напряжение 1,5 volt. Цена за шт. 30 к. При целостности банок, сохранность энергии гарантируется 12 мес. Производство „Молния“, Москва, 1, Б. Садовая, 19/В.

ВСЕ ИЗ МОСКВЫ

Проз. и стихотворения, беллетристика, галатерео, тексты (шутки), энциклопедии, головные уборы, аптекарские, парфюмерные и косметические товары, театр. грим, британские принадлежности, клубные игры, детские игрушки, радио-фото-охотничий отдел, кровати, хозяйственные предметы, канцел. товары, музыка, инструменты, технический инструмент и проч.

Можно ВЫПИСАТЬ через госуд. почтово-посыл. предприятие „УНИВЕРПОЧТ“.

МОСКВА, 12, Москворецкая ул., д. № 24/ВЗ. Новый прейскурант № 18 высылается по получении 30 коп. (можно почтовыми марками).

ПОСЛЕ БРИТЬЯ

Устранит раздражение кожи, дезинфицирует и заживляет порезы, потертости, ожоги лица

Для лица и рук вытиснут кристалл, крем и одеколон

Требуйте в аптеках и магазинах санитарию в бутылке

ЦЕНА 37 КОП.

КОМПЛЕКТОВАНИЕ Гален-Москва МОСКВА
УЛ. ГЕРЦЕНА 3

В КАЖДОЙ СЕМЬЕ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ

ШТОПАЛЬНЫЙ ПРИБОР

с которым легко и скоро можно ШТОПАТЬ всякие ткани: чулки, носки, шелковые и фильдеперсовые, скатерти, вязанные и полотнян. изделия ШТОПАЕТ всевозможной ПРЯЖИ: чудоточной шерстью, пухом и шелком. ШТОПКА получается машинная, быстрая, гладкая и ровная. Цена прибора с руководством и показательной работой 3 р. с пересыл. При заказе 50% задатка, можно марк. Москва, центр. Аниевский п., д. 16, кн. 24. П. ЗАГОРЕДИНУ

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ „ПОЛИГЛОТ“ УМЕНЬШАЕТ БЕЗРАБОТИЦУ

- Заочные промышленно-экономическ. и худож.-технические курсы, учрежденные в 1917 г.
- Заочное преподавание ведется по четырем отделениям курсов:
- 1) **ВЫСШИЕ СЧЕТНЫЕ КУРСЫ.** — Новые формы бескишного учета. Банков. счетов. Статистика. Фабрично-заводское счетов. Фин. выч. Основы законодательства. Анализ баланса. Организация счетов. по принц. НОТа.
 - 2) **КУРСЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ.** — Бухгалт. Коммерч. выч. Декоратив. Коммерч. и администр. корресп. Стенография. Каллиграфия (исправление почерка).
 - 3) **ТЕХНИЧЕСКО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ КУРСЫ.** — Техническо-худож. черч. Машинистронт. черч. Рисование.
 - 4) **КУРСЫ ИНОСТР. ЯЗЫКОВ.** — Заочное обуч. англ. языку.
- По оконч. курса и проэк. испыт. в Квалификац. Ком. выд. соотв. ДИПЛОМ.
- Требуйте бесплатно проспекты и программы.
- В 1927—28 учебн. году окончили КУРСЫ 5,986 человек.

ПОСЛЕ БРИТЬЯ

Устранит раздражение кожи, дезинфицирует и заживляет порезы, потертости, ожоги лица

Для лица и рук вытиснут кристалл, крем и одеколон

Требуйте в аптеках и магазинах санитарию в бутылке

ЦЕНА 37 КОП.

КОМПЛЕКТОВАНИЕ Гален-Москва МОСКВА
УЛ. ГЕРЦЕНА 3

ЛЮБУЮ КНИГУ

высыл. нал. платеж. в 3-дневн. срок, также книгу проф. Г. Ван-Луи

ИСТОРИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

разошедшаяся в Америке в колл. 1,000,000 экз. в 2-х том. 500 стр. больш. форм. с многочисл. иллюстр. Перевод с посл. англ. изд. Ц. за 2 тома 4 р. В роскошном переплете 5 р. 50 к.

АДРЕС С: Москва, Политехнический музей, 110/В „КУЛЬТУРА И ЗНАНИЕ“



Н.А. Тамирина

О ПРИЕМНОЙ СТАЛИНА, ВИННЫХ ПОГРЕБАХ И БРИЛЛИАНТАХ ФРЕЙЛИНЫ ИМПЕРАТРИЦЫ...

Квартиры, в которых жило временно несколько семей, никогда не назывались общими. Они назывались коммунальными. Эти коммунальные квартиры в эпоху раннего социализма не случайно носили такое название. Они отражали тогдашний образ жизни и были предвестниками коммун и грядущего коммунистического общества.

Мой папа, Тамарин Александр Фомич, был военным, и в 1930 году его перевели из города Скопина Рязанской области в Москву. Мне в это время шел четвертый год, моему брату Александру было два с половиной. Папа получил комнату в пятиэтажном доме, в Сокольническом районе, куда он был назначен начальником мобилизационной части, – в маленькой коммунальной квартире из трех комнат. В каждой комнате жила семья. У нас была комната восемнадцати метров, куда мы вчетвером и поселились. Но общие помещения, кухня, ванная, прихожая, коридор, были большими и свободными.

Дети из нашего дома учились в школе № 369, возглавляемой замечательным директором Ляховичем, который сумел собрать высококвалифицированных учителей старого образца. Центром общения жителей района был клуб имени Русакова, построенный гениальным архитектором Константи-

ном Мельниковым в стиле конструктивизма. В здании клуба помимо главного зала с висячими балконами располагалось большое количество помещений и предусматривалась возможность перераспределения площадей этих конструкций. Это давало возможность принять большое количество детей в самые разные кружки. Я занималась в кружке рисования. В выходные дни для детей устраивались так называемые утренники. В праздничные дни в первой половине дня клуб принимал детей на представления и концерты, а вечерами на праздничные мероприятия приглашались взрослые.

Вторым центром активного общения был известный парк культуры «Сокольники» с его аллеями, торговыми точками и множеством красочных аттракционов. Мы больше всего любили колесо обозрения и качели.

Началась война...

После эвакуации в город Сызрань, куда мы уехали в 1941 году, мы вернулись в совершенно иной дом, а именно в известный дом № 19 в Трубниковском переулке. Папа, остававшийся во время войны в Москве, переселился в этот дом без нас, когда мы находились еще в эвакуации. Это был Краснопресненский район, один из самых крупных районов Москвы, протянувшийся от Текстильщиков, то есть границы Москвы тех лет, до Красной площади. Этот район

был знаменит совершенно разными социальными микрорайонами. Здесь находились рабочие районы, например Трехгорка, деревообрабатывающий комбинат, учебные и образовательные учреждения, которые возглавлял Московский университет, центры культуры – музеи, театры, в числе которых: театр Революции (он тогда так назывался, а теперь это театр Маяковского), театр Вахтангова, Консерватория.

Переселение папы в дом в Трубниковском переулке своеобразно отражало ситуацию военного времени. Районные комиссариаты во время войны занимались не только формированием армии, но были фактически центрами, куда тянулись люди со своими бедами и нуждами. Матери военных, вдовы – все обращались туда за помощью. Все остальное пребывало в разрухе, зато комиссариаты работали днем и ночью. Днем формировались полки, дивизии, но-

чью отправлялись с вокзалов, прежде всего с Белорусского, эшелоны с воинскими частями, шедшими на фронт.

Однажды папе доложили, что пришла вдова, мать троих детей, и просит встречи. Ее пригласили войти. Оказалось, она живет в большой комнате, муж погиб, платить за площадь нечем. Она просила переселить ее в комнату поменьше. Папа посмотрел ее жилье, оказавшееся в Трубниковском переулке, на третьем этаже дома №19, в центральной, самой парадной комнате дома. Папа показал ей нашу комнату в Сокольниках, где женщины очень понравилось, и они договорились об обмене.

Дом № 19 в Трубниковском переулке уникален. Он был построен в 1912 году архитектором П.П. Малиновским и соединял в себе промышленный объект и жилой парадный фасадный особняк. На конкурсе промышленных зданий в Париже этот проект получил золотую медаль.

Дом имеет форму буквы «П», под ним находится огромный глубокий подвал. Весь двор – это фактически бетонная крыша (в ее строительстве впервые были применены монолитные бетонные плиты), под которой находятся залы высотой в четыре этажа. Перекрытия поддерживают бесконечные колоннады. Эта подземная галерея занимает площадь три с половиной тысячи метров. Здесь располагалось знаменитое хранилище вин, принадлежавшее князю Голицыну, которое носило титул удельного – то есть имевшего право поставлять продукцию царскому двору. (В квартире, куда мы позже въехали, жил раньше управляющий винными погребами князя Голицына, занимавший весь этаж.)

Над поверхностью земли поднимается высокое жилое здание с изящным серым фасадом в стиле модерн, украшенным эркерами, ленточными балконами, огражденны-



Нина Тамарина. На обороте: Папуле от дочки.
Приезжай к 8.IX.42 г., мне исполнится 16 лет



Дом № 19 в Трубниковском пер. Эркер и окна на третьем этаже слева от подъезда - наша квартира № 6

ми коваными железными перилами с огромной дубовой дверью, которая вводит в мраморно-зеркальный вестибюль, завершающийся беломраморной широкой лестницей.

Слева от входа в центральный подъезд располагалось огромное зеркало, справа – монолитный гарнитур красного дерева из двух диванов и стола со столешницей зеленого мрамора. Этот вестибюль оказался единственным в «околотке» теплым местом, где могла собираться молодежь. А поскольку молодежь вела себя по-разному, порой шумно и задиристо, жители первого этажа однажды запротестовали, милиция вызвала рабочих, которые «демонтировали», а фактически уничтожили гарнитур, порубив его топорами и ликвидировав нежелательный «клуб». И когда мой брат вышел после разгрома во двор, он увидел лишь большой осколок зеленого мрамора, мы его сохранили, и сейчас он находится у нас на даче.

Дальше от входа в вестибюле стояли две колонны зеленого мрамора, увенчанные бронзовым литьем. Наискосок от них располагались два лифта, не видные от входа. Двери – литой чугун. А потом шла лестница, круглые перила были сделаны из рифленого красного дерева, держащегося на бронзовых опорах. На каждом этаже висела бронзовая люстра, украшенная орлами. (После неизбежной реконструкции этот интерьер был утрачен, да и фасад претерпел изменения – исчез литой чугун оград ленточных балконов, эффектные выпуклые стекла эркер-ов сменились на плоские и невыразительные.)

Помещение, куда мы переехали, было в самом центре дома (это хорошо видно со стороны фасада), имело отдельный вход с лестницы помимо общего, квартирного (мы его, правда, заделали и пользовались общей дверью со всеми жильцами квартиры), и располагалось в центральном эркере.

(Во время войны у нас часто протекала крыша эркера – на ней собирался снег и потом таял, только впоследствии нам удалось как следует отремонтировать его.) Это пространство даже комнатой трудно назвать – очень большое, пятьдесят – шестьдесят метров, разделенное нами впоследствии на две половины с помощью раздвижных стеклянных дверей. Потолки высотой 4,2 метра были украшены лепниной, беломраморный камин с венецианским зеркалом доходил почти до потолка. Встроенный дубовый шкаф был обрамлен серым мрамором и украшен бронзовыми декоративными деталями: в центре – круглый бронзовый медальон с головой Бахуса и виноградными гроздьями. Паркетные полы с черным рисунком.

Когда папа увидел это прекрасное помещение, оно находилось в страшно запущенном состоянии. Но он сумел распознать и оценить красоту, поскольку в дореволюционное время в какой-то период был управляющим имением Гончаровых «Полотняный завод» (построенный при Петре Первом для производства парусины для российского флота) и тесно общался с потомками Н.Н. Гончаровой, жены А.С. Пушкина. Увиденное в доме на Трубниковском не могло не произвести на него впечатления. Папа без сомнений принял решение переехать в эту квартиру, которую мы тщательно восстановили собственными руками по возвращении из эвакуации. Мы отмывали полы, красили четырехметровые потолки... Так мы оказались в этом доме.

Во время войны в огромной коммунальной кварти-

ре жило тринадцать семей (тридцать три человека): общая внушительных размеров кухня, большая ванная с окном и широченный коридор метра три шириной заканчивался французским балконом, смотрящим на теперешний Новый Арбат. (В соседнем двухэтажном особнячке жил художник и коллекционер Илья Семенович Остроухов, там сейчас располагается Литературный музей.) Около французского балкона в конце коридора всегда стояли комнатные цветы, этот торец был абсолютно свободен от вещей. Один раз в две недели приглашался полотер Алексей, он до блеска натирал паркетный пол коридора одной ногой, к которой на ремне пристегивалась специальная щетка на ремне. Желающие могли натереть пол в своих комнатах, и мы всегда пользовались этой возможностью.

Квартира в Трубниковском переулке (он соединял Поварскую со Старым Арбатом, пока между ними не врезался Новый Арбат) была классическим примером коммунального жилья. Во-первых, она была многонаселенной, во-вторых, ее обитатели были интеллигентными, дружелюбными людьми,



Над дипломной работой в Трубниковском пер., 1949

уважавшими особенности и нравы каждой семьи, – настоящая старая арбатская интеллигенция. Вечерами женское население оказывалось в кухне. Кто готовил, кто пришел поговорить, послушать или просто покурить. Табуреток не было, сидели на деревянных ящиках, на них же стирали. А готовили на столах и на трех газовых плитах.

Во время войны электричества не было, сидели с маленькими коптилками. Не было и газа. Пользуясь тем, что в нашей комнате находился камин, а значит, и дымоход, папа в маленькой комнате соорудил большую плиту с несколькими конфорками и даже духовым шкафом. Плиту топили один раз в день с утра. Всем семьям разрешалось ею пользоваться. В первой половине дня все должны были успеть, пока плита горячая, приготовить еду. Для топки папа периодически выписывал на деревообрабатывающем комбинате отходы, которые привозили на грузовой машине. Их сваливали около нашего черного хода, и все, кто был дома, быстро переносили дрова в кладовую квартиры, размещавшуюся позади кухни.

Между жильцами никогда не возникало раздоров. И более того, все внимательно относились друг к другу. Например, если я, торопясь на учебу, не успевала помыть посуду, поскольку нужно было дождаться очереди к водопроводному крану, и посуда оставалась невымытой, приходя домой, я обнаруживала, что она вымыта, вытерта и аккуратно накрыта полотенцем. Так было принято. Холодильников не было, вместо них использовались широкие, глубокие окна в кухне и коридорах, где каждой семье отводилась полка.

Отношение у обитателей друг к другу было очень уважительным. Например, поскольку ванная была одна на всю квартиру, а народу жило много, в кухне на одном и



Н.А. ТАМАРИНА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ЛАБОРАТОРИЕЙ, 1959

том же гвозде всегда висел листок бумаги, на котором нужно было отметить час, когда ты собираешься мыться. Если планы менялись, свой час нужно было вычеркнуть заранее, чтобы очередью мог воспользоваться другой сосед, чтобы время не пропало. Бывало, я звонила маме из университета с просьбой вычеркнуть меня из списка и переписать на другой день. За этой очередностью следила старшая по квартире – первая жена Марка Донского. У нее же было записано, у кого какие лампочки горят, и она виртуозно рассчитывала долю каждой квартиры по общему и единственному электрическому счетчику.

В нашей квартире жила бывшая фрейлина императрицы. После революции она стала беловшивкой, и ее очень ценили женщины-заказчицы, поскольку купить белье было трудно, а шила она великолепно. Жила наша соседка очень скромно в маленькой комнате, где на стене висела единственная фотография, изображавшая ее в молодости,

гарцующей на великолепном рысаке. Всем было известно, что в молодости Евдокия Кузьминична была фрейлиной при дворе Николая II. Между соседями ходили слухи о ее бриллиантах, которых, правда, никто никогда не видел. И действительно, когда она скончалась, к нам пришла жена папиного помощника, жившая в соседней квартире и обшивавшаяся у Евдокии Кузьминичны, и при-



1960

несла завернутый в белую ткань большой золотой крест, весь усыпанный бриллиантами. Она сказала, что этот крест та дала ей на сохранение. Теперь, когда Евдокия Кузьминична умерла, соседка решила передать ее бриллиантовый крест жителям нашей квартиры. Мама пригласила соседей, вызвали представителей властей, им сообщили о ситуации и о том, что у бывшей фрейлины была племянница. Ее нашли, и государственный представитель наследственного отдела, живший здесь же, составил акт, что гражданке такой-то, являющейся наследницей, передается крест, украшенный «бриллиантоподобными камнями» числом пятьдесят семь штук, который должен быть подвергнут экспертизе.

Когда В.Д. Бонч-Бруевич перевез правительство из Петрограда в Москву в 1918 году, Наркомат по делам национальностей (Наркомнац) был размещен в доме на Трубниковском. В центральном помещении, имевшем отдельный вход с лестницы, то есть в наших комнатах, находилась приемная Сталина, бывшего тогда наркомом. В смежной с нами комнате соседней квартиры располагался кабинет Сталина. Как известно, все республики дарили вождю множество по-

дарков, они хранились в Музее Революции и никогда не экспонировались. Когда приближался 70-летний юбилей Сталина и ожидался особо большой поток подарков, было решено делать отдельный музей подарков. Для этой цели выбрали наш дом, поскольку имя Сталина с ним было реально связано. Но оставалось непонятным, каким образом приемная сообщалась с кабинетом Сталина. К нам приходило

несколько комиссий, которые простукивали стену в поисках замурованной двери. Казалось, пустота была найдена, и в заднем левом углу большой комнаты пробили круглое отверстие. Оно находилось около моей кровати, и его просили не заделывать. Так оно и оставалось там, скрытое под ковром. Но Сталин умер, и все связанное с его именем стало неактуально. Я-то считаю, что проход из приемной в кабинет находился в нише в ближайшей к двери части нашей огромной комнаты. Но вскоре идея создания музея подарков в нашем доме совсем забылась...

В подвалах дома во время нашей там жизни размещался Московский вино-разливочный завод. Туда в больших дубовых бутах высотой в два человеческих роста, перетянутых стальными обручами, заворачивали высококачественное марочное вино отечественного производства. В бортовой грузовой поместилась только одна такая бута, которую, разгружая, скатывали, откинув борт, на землю. Вино разливали по бутылкам и отправляли в московские магазины. В подвалах хранилась потрясающая коллекция вин. Однажды такой бут не удержали при разгрузке во дворе и грохнули. Вино буквально полилось рекой.



Сын Антон Ланге, будущий фотохудожник,
у камина в доме на Трубниковском пер., 1960

Судя по запаху, это было хорошее массандровское вино. Ароматный поток тек из двора под уклон по переулку в сторону теперешнего Нового Арбата. Мы узнали об этом случайно. Миша, мой двоюродный брат, в то время живший у нас, пришел обедать. То есть не пришел, а вбежал с криком: «Что вы тут сидите! Там вино рекой льется! Скорее давайте кастрюли!» Все помчались на улицу, прихватив бидоны,

кружки, ведра. И действительно, вино можно было черпать. Дело в том, что Трубниковский переулок был тогда выложен брусчаткой. Во всех углублениях образовывались лужи и заводи из вина. Жители окрестных домов сбегались, черпали кружками и переливали в кастрюли чистейшее, ароматное вино. На углу Воровского (ныне вновь Поварская улица) и Трубниковского останавливались машины, и не только пассажиры, но и водители выбегали, привлеченные невиданным зрелищем. У кого не было тары, черпали из луж прямо пригоршнями и пили вино. Школьники высыпали из соседней 103-й школы... Около переулка образовалась длинная пробка из машин, что для тогдашней Москвы было немыслимой редкостью. Милиция потребовала от нашего единственного дворника-татарина (он не очень хорошо выговаривал по-русски свое имя, поэтому все называли его «дядя Лёшам»), чтобы он смывал вино из брандспойта, которым пользовался для полива улиц. Чуть не плача, дядя Лёшам смывал это вино, и сердце у него буквально разрывалось. Машины наконец тронулись... Об этом курьезном эпизоде жители долго помнили и с удовольствием рассказывали о нашем замечательном доме, где вино льется рекой. И это чистая правда. А подвал этот объявлен памятником промышленной архитектуры и функционирует до сих пор.



Т.Я. Батасова

КЛУБ НА КУХНЕ

Я родилась 31 августа 1927 года в Москве в доме № 24 по Фурманову переулку в семье военного инженера и преподавателя физкультуры средней школы. Дом был построен в 1912–1914 годах и состоял из четырех-, пяти-, шестикомнатных квартир, в общей сложности их было двадцать четыре.

С 1922 года дом стал принадлежать Военно-воздушной академии им. Н.Е. Жуковского. В нем поселились слушатели академии с семьями, у каждого была комната. В одной из квартир разместился клуб, где собирались вечерами, а в подвале была устроена столовая, там отмечались значительные праздники и выпускные вечера слушателей академии. Для «перевыпивших» выпускников устанавливали санитарную палатку, в которую «уставших» укладывали штабелями. Клуб и столовая, куда мы с няней ходили за обедами, закрылись в самом начале 1930-х годов. Постепенно дом превратился в жилище преподавателей академии, где семья могла уже занимать две или три комнаты. Коммунальных склок не помню, так как заселены квартиры были офи-

церами авиации в разных воинских званиях, работающими вместе, а если что-то и происходило, то между офицерскими женами, и об этом сразу же узнавал весь дом.

Примерно в начале 1950-х годов в доме появилось три отдельные четырехкомнатные генеральские квартиры.

Я прожила в этом доме двадцать девять лет, с 1927 по 1956 год, в одной и той же пятикомнатной квартире. Сначала в ней жило пять семей, тогда у нас была одна комната. Кажется, в 1937 году (точно не помню) нам дали вторую комнату за выездом, а третью – примерно в 1943–1944 годах. Я была единственным в квартире ребенком. Все дети дома дружили между собой и бегали большой оравой по всем этажам и квартирам.



Во дворе дома: маленькая Таня в белом капоре, папа с лопатой, 1932

С середины сороковых годов в квартире постоянно жили семьи генерала, полковника и майора (периодически один майор с семьей сменял другого). Жили дружно, на кухне был клуб, в котором собирались все домочадцы и обсуждали прошедший день. Хозяйки попеременно пекли пироги, угощали соседей, а если кто-то заболел, все проявляли участие, давая полезные советы.

Из довоенной жизни воспоминаний мало: точно помню, что почти в каждой семье, где работали оба родителя, была домработница. В нашей квартире их было две. От мамы узнала, что наш сосед Владимир Николаевич Веняминов, которого я, маленькая, называла Колянчик, а он меня – Топатыч, застрелился. Он был преподавателем математики в академии. По словам мамы, он пошел на этот шаг, боясь ареста, чтобы защитить свою семью. Это случилось в 1931-1932 годах, в так называемый период Промпартии. Тем не менее руководство факультета замяло историю с самоубийством и вопреки случившемуся похоронило Веняминова с почестями. Его мама прожила с нами в квартире до начала войны, потом уехала к младшему сыну в Озера, где и умерла. А жену Веняминова, актрису Соколовскую Зинаиду Михайловну, арестовали в 1937 году (за что – никто не знал). В Москву она вернулась уже в начале 1950-х годов, ей выдали маленькую однокомнатную квартирку.

В конце 1930-х годов стали исчезать соседи по дому. Нам, детям, объясняли, что это шпионы: в соседней квартире взяли якобы немецкого шпиона, другой был Аузан из Прибалтики (большой начальник, у него было два или три «ромба» –

примерно уровень генерал-лейтенанта). Забирали практически всех, кто побывал в командировке за границей. Семьи арестованных из дома со всеми удобствами (газом, ванной и т. п.) выселяли в бараки в Коптево или в Чапаевский переулок. Туда же выселя-



Наша комната, 1933

ли потерявших связь с академией и армией. Начались массовые изгнания из армии офицеров: Ливчука — за то, что у него есть тетушка-графиня в Америке, о существовании которой он даже не подозревал; Костецкого — за польские корни; Альшевского — за то, что у него бабушка была таборная цыганка... Впоследствии их всех восстановили в прежних званиях. Дети не понимали всей серьезности и ужаса происходящего, нам достаточно было объяснения родителей.

В 1937 году было совершено два беспосадочных перелета через Северный полюс из Москвы в США. Экипаж состоял из трех человек во главе с В. Чкаловым, а самолет был производства КБ Туполева. Но мало кто помнит, что в середине августа 1937 года беспосадочный перелет по этому же маршруту совершил семиместный тяжелый бомбардировщик, экипаж этот возглавлял известный летчик-полярник, герой Советского Союза Сигизмунд Леваневский. Самолет вез подарки от советского правительства президенту США Рузвельту. Судьба самолета трагична: при перелете через Северный полюс началось обледенение двух моторов из четырех. Затем он пропал из эфира. Его дальнейшая судьба неизвестна по сегодняшний день, несмотря на многолетние поиски, в которых принимали участие лучшие летчики Европы.

Одним из конструкторов самолета был мой папа Яков Моисеевич Курицкес, он непосредственно следил за полетом и был на связи с экипажем. После потери связи группа наблюдения за полетом не выходила из эфира несколько суток. За день до полета весь экипаж был у нас в гостях.

В нашей квартире до 1939 года жил бригадир инженер (сегодняшний генерал-майор), начальник ЦИАМ (Институт авиационного моторостроения) Алексей Каширин, благодаря которому мы раньше газет узнали о гибели В. Чкалова в декабре 1938 года, так как он был назначен председателем комиссии по изучению причин гибели легендарного летчика.

В памяти остались разные отрывочные, порой казусные воспоминания. Например, как сосед случайно съел чужую простоквашу и вся квартира искала пропажу. Другой сосед, майор, увидел в ателье объявление «Вяжем детские костюмчики из шерсти родителей». «Как быть? — шутил он. — У меня на груди шерсти хватит, но нет детей, а как тем, у кого есть дети, но нет шерсти?!»

В середине 1930-х годов мечтой каждой семьи был патефон (наследник граммофона), стоил он по тем временам очень дорого — четыреста рублей, не каждая семья могла себе этого позволить. Мама купила патефон в 1939 году на деньги, выигранные по облигации государственного займа, а выиграла она целых пятьсот рублей. Патефон был единственным на всю квартиру, зачастую им пользовались и соседи из других квартир. Под этот патефон танцевали все жильцы нашей коммуналки и ее гости до начала 50-х годов.

Однако нелегко было приобрести хорошие виниловые пластинки: танго, вальсы, фокстроты, рيو-рито, песни К. Шульженко, И. Юрьевой, Т. Церетели, В. Козина... Чтобы купить одну из таких пластинок, нужно было сдать четыре-пять «пластинок-боя» (битых) или такое же количество «ненужных».

В августе 1941 года наша дружная коммуналка разъе-





Двоюродные сестры Ирма и Таня, в центре - папа Тани, 1944

халась: кто – на фронт, кто – в эвакуацию, а летом 1943-го мы все опять собрались под родной крышей. Армия наступала, исход войны был ясен, и жизнь потекла своим чередом. Осенью 1943 года учиться в МГУ на истфак приехала из Уфы из эвакуации моя двоюродная сестра Ирма, ей было двадцать лет. Вскоре у нее завертелся роман с любвеобильным майором, нашим соседом, о котором случайно узнала его жена. Причиной огласки стала неаккуратно лежащая на столе с общей почтой открытка, адресованная Ирме, от подруги с роковыми словами: «Наплюй на свою майоршу!» После этой открытки «майорша» потребовала немедленно убрать Ирму из квартиры. Моя мама долго сопротивлялась, объясняя уязвленной жене: «Женечка, она еще ребенок», – но все-таки весной 1944 года Ирму пришлось отселить.

Осенью 1945-го почти одновременно стали возвращаться наши многочисленные родственники: мужчины – с фронта, женщины, дети и старики – из эвакуации. Количество временно живущих превышало количество спальных мест: дети спали на креслах, ординарцам приходилось класть на

стулья доску с матрасом. Стульев и кресел своих не хватало, были вынуждены одалживать у соседей. Таким образом, наши три комнаты в коммунальной квартире были превращены в общежитие, однако соседи все терпели. Бывали дни, когда родственников скапливалось больше, чем стульев и кресел, на полу места не бы-

ло, ходили боком, тогда вызывалась срочно «тяжелая артиллерия»: мой папа в генеральской форме шел к военному коменданту на вокзал и отправлял неустроенных родственников по нужному им маршруту. Такая жизнь продолжалась месяца два, к неустроенности относились с юмором, генеральского пайка папы и моей рабочей карточки студентки хватало на всю ораву. Кроме того, открылись коммерческие магазины, где можно было купить продукты.

Моя бурная студенческая жизнь проходила в этих же стенах при активном участии соседей. Здесь часто собирались мои друзья. Мальчишки-однокурсники, вчерашние фронтовики, впервые пришедшие ко мне в гости, испытывали неподдельный шок, столкнувшись нос к носу с моим папой, когда он открывал им дверь в генеральской форме.

Одной из наших соседок была жена полковника, «большая любительница искусства». Однажды летним днем в конце 1940-х годов раздался крик от входной двери: «Идите все сюда скорее смотреть картину и решать, куда ее вешать. Я купила Айвазовского!» Кажется, на картине были изображены беспо-



Таня с папой, 1944



Таня у парадного подъезда, 1947



Маленькая Маша с мячом в нашем дворе, 1953

койное море и парус. Вслед за этим криком появились, пыхтя, два грузчика, несущие эту картину, примерно 1,5 x 2 метра, в шикарной золотой раме. Дружно стали обсуждать, куда ее вешать (она должна была занять почти полстены восемнадцатиметровой комнаты). И вдруг моя мама воскликнула: «Тася, смотри, это же не Айвазовский – здесь написано “с Айвазовского!”» Картина была немедленно из комнаты выставлена в коридор, где простояла много лет. Когда и куда она исчезла – никто не заметил.

Иногда в нашей квартире происходили парадоксальные истории. Зимой 1947 года, в один из выходных вечеров, когда все обитатели квартиры были дома, из коридора пропали мое зимнее пальто и боты (резиновые сапоги на небольшом каблучке, которые надевались на туфли – «кот в сапогах», страшно модные, дефицитные и дорогие: 2000 рублей). Верхнюю одежду в комнатах никто не держал, она висела в прихожей на вешалке. Пропажу обнаружили только в понедельник, когда я собиралась идти в университет. Вечером вызвали милицию, которая пришла с собакой. Собака набросилась на моего школьного приятеля, в то время гвардии капитана. Дознаватели пошли опрашивать соседей: что они видели, что они слышали, и первый вопрос был к соседке:

– Не могли ли этот капитан унести пальто и боты, так как на него бросилась собака?

– Вы что?! – воскликнула соседка с возмущением. – Это невозможно, он к нам ходит с первого класса!

Пропажа так и не нашлась.

В 1949 году я вышла замуж, на свадьбе гуляла вся квартира и добрая половина дома. Спустя несколько лет здесь же родилась моя дочка Маша. Увеличение семьи не прибавило неудобств ни нам, ни нашим соседям.

Через пять лет после рождения дочери мы переехали в отдельную трехкомнатную квартиру напротив Новодевичьего монастыря, тогда это был край Москвы. О чем сожалел мой папа в отдельной квартире – это о нашем клубе на кухне коммуналки. Первое время он нередко по привычке возвращался с работы в старую квартиру. Этот дом в Фурманном переулке стоит до сих пор. Он подвергся капитальному ремонту с перепланировкой квартир, вместо одного подъезда стало три. К лучшему это или нет – кто знает...



Е.С. Юрова

ШЕСТЬ ЗОЛОТЫХ ПОД ДОЩЕЧКОЙ

Во время Гражданской войны мой дед, инженер-путеец Гавриил Федорович Юров, работал по восстановлению железных дорог, взорванных отступающей белой армией. Вместе с ним была и его жена – моя бабушка Мария Павловна. Не знаю, были с ними мой папа, который был тогда еще совсем маленьким (Сергей Гаврилович Юров, 1915 года рождения). Возможно, он оставался в Вязниках со своей бабушкой и тетей.

Во всяком случае, когда дед с бабушкой вернулись в Москву и получили ордера на осмотр жилплощади, бабушка съездила в их бывшую большую отдельную квартиру в Лихоборах и пришла в ужас от перспективы остаться на зиму без дров в промерзшей квартире. После этого она поехала в коммунальную квартиру на Покровке. Там было тепло, на кухне приветливо гудели керосинки и примусы, и бабушка решила вселяться в предоставленные деду две комнаты в этой квартире, в которой они втроем, а потом и присоединившаяся к ним моя мама (Вера Матвеевна Миримова) прожили больше сорока лет. Я появилась на свет там же, на По-



Мой дед Гавриил Федорович Юров. 1930-е гг.

кровке, и из этих сорока лет на мою долю пришлась ровно половина. Тогда существование в коммунальной квартире меня нисколько не удивляло, потому что все мои одноклассницы, за редчайшим исключением, жили точно так же. Некоторым приходилось еще хуже: Лида Кошелева вместе с мамой, вдовой погибшего летчика, ютилась в нашем дворе в полуподвале; семья моей подруги Тани Белоусовой, дочери военного переводчика

высшей квалификации, обреталась в Зарядье в двух крохотных комнатках, переделанных, насколько я помню, из келий и вполне подходящих для умерщвления плоти, но не для нормального житья.

Наш дом стоял во дворе на углу ул. Чернышевского (Покровки) и Покровского бульвара (ул. Чернышевского, д. 10, кв. 38, тел. К7-87-19). Наискосок, на втором этаже двухэтажного дома находился кинотеатр «Аврора», а напротив – сначала трамвайное кольцо, а потом стоянка такси. Именно в этом месте в марте 1953 года кончалась очередь желающих проститься со Сталиным. Мы с мамой шли домой, и она, правда без особого энтузиазма, предложила тоже



Праздник на Покровке, конец 1920-х гг. Слева направо: Галя (дочь Елизаветы Кирилловны), сестра моего деда Таисия Федоровна, папа, бабушка, дед, их друзья Зинаида Семеновна и Василий Ипатьевич Онохриенко (известный отоларинголог, консультировал в Большом театре)

встать в эту очередь. Стоять в длинной очереди мне не хотелось, я решительно воспротивилась и, таким образом, возможно, спасла жизнь нам обеим, потому что в давке на Трубной площади погибло в этот день множество народа.

До революции наш дом и все дворовые постройки принадлежал купцу Оловянишникову, который обеспечивал «предметами культа» (ризами, окладами, паникадилами, колоколами и т. п.) почти всю Россию. Квартиры в доме отдавались внаем, а во дворе долгое время стоял маленький домик без окон с толстенными стенами. По рассказам, в нем испытывали звучание колоколов. В наше время там бы-

ла сначала керосиновая лавка, а потом какой-то склад. Наш дом был выстроен с купеческой основательностью: стены были толщиной около метра, и летом в детстве я спокойно загорала на подоконниках. На наш второй этаж вела ажурная чугунная лестница.



Прогулка на Чистых прудах. Мне семь месяцев и я в коляске. Бабушка сидит на скамейке вторая слева, 1940



Мы с бабушкой Маней и тетей Верой на черном кожаном диване с львиными мордами, начало 1950-х гг.

Высота потолков была около четырех метров. Комнаты отапливались высокими белыми кафельными печами. Зеркало печи и выюшки выходили в комнату, а дверцы для загрузки дров в коридор, чтобы «кухонный мужик» мог выполнять свои обязанности, не мешая хозяевам (разумеется, институт «кухонных мужиков» исчез вместе с прежними хозяевами квартиры). Все печные дверцы были литыми чугунными с разнообразными античными сюжетами, я их очень любила рассматривать. Еще одним интересным занятием было пристальное вглядывание в паркет, выложенный большими кубиками, которые при долгом разглядывании и переворачивались. Печи и паркет были, пожалуй, самыми роскошными составляющими нашего интерьера. Мебель представляла собой соединение немногочисленных, купленных еще до революции предметов, типичных для обстановки служащего среднего достатка, и позднейших, совсем

примитивных приобретений. К первым относились: буфет красного дерева, мощный дубовый письменный стол и обтянутый черной кожей диван с бронзовыми львиными мордами на валиках. Все это украшали две пальмы в кадках, чугунные подсвечники с нимфами, мраморный письменный прибор и маленькая люстра с бисерной бахромой. Судьба этих вещей была разнообразна, но одинаково печальна. Моя мама — в то

время сторонница модернизации, воспользовалась отъездом семейства на дачу, продала буфет, срубила пальмы и подмела ими пол, а кадки выбросила. Бабушка, вернувшись с дачи и обнаружив отсутствие буфета, горестно сказала: «Ну что, Вера, продала буфет? А ведь у меня там под дощечкой было спрятано шесть золотых. Ведь те, кто его купит, даже никогда об этом не догадаются». Чугунные подсвечники были сданы в школу, и таким образом был выполнен план по сбору металлолома. Некоторую пользу принес и письменный стол. Во время бомбардировок родители, не любившие спускаться в бомбоубежище, спали на полу, спрятав головы под этот стол, являвшийся, по их мнению, достаточно надежной защитой от осколков.

Когда я подросла и училась в старших классах, мне с разрешения домоуправления выделили маленькую отдельную комнату, переделанную из бокового коридора. Там мы нашли клад. Произошло это, когда родители



Мама Вера Матвеевна Миримова, Покровка («бабы сплетни» стоят на подсвечнике с нимфой, еще не сданном в утиль), 1950

решили протопить никогда до тех пор не топившуюся печь и перед этим, естественно, открыли выюшку. Оттуда пошел густой черный дым, и папа, просунув в дымоход какую-то палку, вытащил сверток, который тут же разорвался, и на нас посыпался дождь (к сожалению, не золотой) дореволюционных бумажных денег и акций. Бумажки были очень красивые, и я успешно раздала их на память своим школьным подругам.

В моей новой комнате появился еще один источник развлечений, кроме переворачивающегося паркета. Дело в том, что окно моей комнаты, в отличие от остальных окон, было до половины закрыто стеной соседнего дома. Между окном и краем крыши этого дома была щель шириной десять–пятнадцать сантиметров и глубиной, равной половине высоты окна, потому что снизу она ограничивалась подоконником. Как только мартовские коты заводили свою военную песню где-то наверху, на коньке крыши, я сразу отправлялась в свою комнату, чтобы быть на месте ко времени развязки. Немного попев, коты вцеплялись друг в друга и, потеряв всякую осторожность, с грохотом катились по скату железной крыши. А на краю их ожидала моя коварная щель, куда они проваливались с душераздирающим воплем, пролетали до подоконника, ударялись о него и с диким воем, позабыв о своих распрях, выскакивали обратно на крышу и разбегались в разные стороны.

Были у нас и свои коты: три поколения Микешек. Но после того, как украли последнего и самого лучшего их них – черного Мику с белым галстучком, больше ко-

тов мы не заводили. Зато бесхозные кошки время от времени накапливались на коммунальной кухне в немыслимых количествах. Однажды, потеряв всякое терпение, бабушка с домработницей Машей задумали враждебную акцию. Выждав, когда на кухне никого не было, они распихали всех кошек по двум хозяйственным сумкам, довели их на трамвае до конца маршрута, вытряхнули из сумок в чей-то подъезд и быстро закрыли дверь (наверное, для того, чтобы кошки не могли проследить, на каком трамвае их привезли). Дома они еще долго лицемерно осведомлялись, куда это подевались всеобщие любимцы.

Стержнем нашей коммунальной квартиры был длиннейший коридор, по нему дети катались на велосипеде. В коридор выходили все многочисленные комнаты, в которых обитало восемь семей. Больших скандалов среди этой разношерстной публики не было, но и идиллической дружбы с взаимопомощью и совместными праздниками, как это нередко описывается в литературе и изображается в кино, тоже не наблюдалось. Почвой для конфликтов были: телефон, ви-

севший в коридоре и занятый всегда, когда нужно было позвонить; единственный туалет, куда по утрам выстраивались нервные очереди; уборка мест общего пользования. Были, по-видимому, и другие скрытые от нас источники напряженности.

Не дружили даже дети, каким-то образом чувствовавшие всю противоестественность подобного коммунального существования. Кроме меня, детей было четверо: две девочки Галущенко и близнецы Ермолае-



Лена Юрова. Чистые пруды, 1947.
Снимал уличный фотограф



Бабушка с Елизаветой Кирилловной у нее в комнате, 1950-е гг.

вы-Фрисман. У близнецов, как это ни странно, были разные фамилии, и вот как это получилось. Когда началась война, мама близнецов – Галина Павловна как раз была в положении. Отца призвали в армию, и они договорились, что если родится девочка, она получит фамилию отца Фрисман, а если мальчик, фамилию матери – Ермолаева. Отец погиб на фронте, а родились близнецы, мальчик и девочка. Так они и стали Боря Ермолаев и Леночка Фрисман. Их мама Галина Павловна была косметичкой, и дамское население квартиры широко пользовалось ее услугами.

Иногда у нас появлялись «временные» дети. Это происходило, когда дочь Елизаветы Кирилловны, министерский работник Галя, приводила какого-нибудь очередного мужа с ребенком. Но долго эти мужья и дети не задерживались. Мой папа и Галя были приблизительно одного возраста, оба выросли в этой квартире, и на этой почве между их матушками, моей бабушкой и Елизаветой Кирилловной, установились более дружеские отношения, чем между остальными соседями. Когда-то у Елизаветы Кирилловны были

даже некие матримониальные проекты относительно папы и Гали. Несмотря на то что проекты не осуществились, две приятельницы продолжали ходить друг к другу пить чай, причем Елизавета Кирилловна угощала бабушку из нашего же самовара. Когда мы уехали в эвакуацию, он остался вместе с другим имуществом в наших комнатах. Одни из наших соседей решили воспользоваться моментом, собрали приглянувшиеся им вещи по всей квартире и стали их

пропивать в ожидании прихода немцев. Несмотря на военное время, а может быть, именно благодаря этому, их деятельность очень быстро прекратили, все семейство то ли посадили, то ли выслали, а вещи отобрали. Наш самовар они, по-видимому, успели продать Елизавете Кирилловне, и так он у нее и остался. За очередным чаепитием Елизавета Кирилловна доверительно говаривала бабушке: «Я, Мария Павловна, конечно, знаю, что это ваш самовар, но так к нему привыкла, что просто никак расстаться не могу».

В самом конце коридора жила скромнейшая и тишайшая Шура, работавшая швеей на какой-то фабрике. После того как папа в первый раз съездил в командировку за границу в качестве главы советской делегации на Международном светотехническом конгрессе, вся квартира, естественно, пришла в большое волнение, а Шура, напротив, погрузилась в глубокую задумчивость. Через некоторое время она все-таки сформулировала вопрос: «Сергей Гаврилович, вот вы во Франции были. А что, правду говорят, что там никто нашего языка не знает и все только по-французски разговаривают?» После



Бабушка в нашей комнате на Покровке, 1958. Машинка «Кейсей», приданое моей прабабушки, функционирует до сих пор

посещения Франции родителей по какому-то поводу пригласили во французское посольство. Квартира снова заволновалась, смогут ли они достойно представить советский народ. Поэтому накануне приема к нам явилась другая соседка – Зинаида Николаевна Галущенко, с украшенной перьями черной суконной накидкой 1880-х годов и благородно предложила дать ее маме на прокат. Если я не ошибаюсь, мама отказалась от этой великолепной вещи, сославшись на отсутствие аксессуаров столь же высокого уровня.

Напротив наших комнат жила малюсенькая старушка Ревекка с внуком Зюкой. Ее дочь Раю посадили по неизвестной причине еще до войны, и Ревекка из сил выбивалась, хотя и лелея ненаглядного Зюку. У Ревекки мы снимали угол для наших последовательных домработниц: Дуси, Маши и Александры Васильевны. Бабушка Ревекку жалела, но не одобряла за бестолковость и безудержное баловство внука. Время от времени к Ревекке приходила ее родственница Соня, она выхо-



Бабушка Мария Павловна Юрова, Покровка, 1950

дила на общественную кухню и развлекала всех чтением анекдотов из своей записной книжки. Эта записная книжка была ее основным орудием труда, поскольку она зарабатывала тем, что ходила по квартирам и уговаривала жильцов отдать увеличить свои фотографии или отпечатать их на настенных тарелках. Для этого она разработала специальную стратегию, включавшую в себя анекдоты как обязательный элемент. Думаю, что ее метод был очень близок к тому, что рекомендует Карнеги, а кое-что она могла бы, наверное, к его наставлениям и добавить, поскольку для того, чтобы в послевоенное время заставить людей раскошелиться на увеличение фотографий, надо было быть настоящим виртуозом. После смерти Сталина вернулась Рая. Выглядела она

старше своей матери, непрерывно курила и виртуозно ругалась. Появление матери не повлияло на Зюку сколько-нибудь благотворным образом. В ранней юности он подавал какие-то поэтические надежды, но спился и исчез из нашего поля зрения.

В ближайших ко входной двери комнатах жила чета Вулкановых: Катя и алкоголик Сергей. Катя была намного старше Сергея и проводила жизнь в тщетных попытках отучить его от пьянства. В какой-то момент она решила, что ему может помочь какое-нибудь коллекционирование. Они стали собирать спичечные этикетки, но это средство оказалось слишком слабым. Катя была не

лишена некоторой доли кокетства. Понаблюдав за тем, как одевается моя мама, она объявила на коммунальной кухне, что ничего хитрого тут нет и она может выглядеть ничем не хуже. Для этой цели она купила голубые носочки с зеленой каемочкой и белый нитяной вязаный берет. Надев все это, она ощутила себя на вершине элегантности и больше беспокоиться о своей внешности не стала. Уже после нашего отъезда Сергей Вулканов повесился в деревянном сарае, а Катя умерла от ожогов, сунув голову во вспыхнувшую духовку.

Истинным воплощением склочной «вороньей слободки» была некая Марья Григорьевна, занимавшая комнату в конце коридора до Шуры. Прямая, как палка, с волосами, закрученными в классический «кукиш», в своем атласном халате с завязками, она появлялась в коридоре и немедленно начинала наводить порядок: делала ядовитые замечания насчет качества уборки, запахов на кухне и в туалете, графика пользования ванной и т. п. Особенно невзлюбил ее мой дед. Он хорошо пел и, проходя мимо нее, всегда мурлыкал себе под нос песню собственного сочинения, в которой главным действующим лицом была некая кроко-

дилица. Марья Григорьевна прожила в нашей квартире недолго и покинула ее, оставив по себе самые неприятные воспоминания. Остальные члены коммунального коллектива были людьми в общем неплохими, но слишком разными для того, чтобы жить вместе.

Каждым летом, а иногда и зимой наше семейство ехало куда-нибудь подальше от Покровки. Родители снимали дачу последовательно в Малаховке, на Рижском взморье, в Ясной Поляне, Тарусе, Верее, Архипо-Осиповке и Можинке. Обычно там селились мы с бабушкой и примкнувшие к нам мои или бабушкины подруги, няня или домработница. Родители отправлялись путешествовать, изредка радуя нас «инспекционными» посещениями.

Нашу Покровку мы покинули в 1961 году, когда папе дали новую трехкомнатную квартиру в кирпичной «хрущевке» на проспекте Мира. Ни у кого из нас не было ни малейших сожалений, но особенно счастлива была мама, всегда отличавшаяся исключительной независимостью и, вероятно, очень страдавшая от постоянного нарушения своего индивидуального пространства, неизбежного в коммунальной квартире. Она уехала на новую квартиру с первой же машиной, расстелила в углу еще пустой комнаты

шубу, села на нее и поклялась, что ее ноги на Покровке больше не будут. Свое слово она сдержала. Мы еще несколько раз ездили на старую квартиру, перевоза вещи, но мама там действительно больше не была. И сейчас я думаю, что, несмотря на хорошо известные выкрутасы Хрущева, многие и многие люди до сих пор вспоминают его с благодарностью за идею строительства дешевого жилья и быстрое расселение коммунальных квартир.



Мои родители и я («счастливы вместе»), Рижское взморье, 1949



А.Ю. Хржановский

С ТЕХ ПОР...

Требуется няня...

Из объявления в газете

Были здесь ворота...

А.С. Пушкин. Медный всадник

Л6-87-12. Именно такой номер был у телефона, висевшего на стене длинного коридора нашей коммунальной квартиры. На стене рядом с телефоном было написано многое, в том числе и эти цифры. С тех пор номер менялся не раз. Я не запомнил ни одной цифры последующих номеров. Этот же помню как «Отче наш»...

А какой номер у Вяземского? У Жуковского?

Если бы тогда существовала телефонная связь...

«Вам все равно, с чего бы ни начать...» – так говорит в «Каменном госте» Лепорелло, обращаясь к своему господину, и это не только характеристика пылкого воображения, но и намек на неисчерпаемость предмета, над которым это воображение трудится.

Пушкин неисчерпаем, как сама природа.

Мысль не новая, но это не умаляет ее справедливости. Вот отчего для меня, когда я думаю о Пушкине, не имеет никакого значения последовательность сопряжений.

Но вот в случае, когда какие-то чувства, догадки, наблюдения должны быть зафик-

сированы, существенной становится отправная точка. От нее зависит построение дальнейшего маршрута.

И тут я всякий раз теряюсь, как та сороконожка, которая однажды была поставлена перед необходимостью ответить на вопрос, с какой ноги она начинает обычно свой путь.

Сегодня я делаю такой выбор. Пусть моя нога будет совсем маленькая, как правая, так и левая. И обе эти ноги пятилетнего мальчика приведут меня по длинному коленчатому коридору коммунальной квартиры из наших комнат, расположенных по правую руку от входной двери, в противоположный конец, туда, где напротив очередного колена, ведущего в кухню, находится небольшая комната, единственное окно которой смотрит на дом архитектора Топленинова – одноэтажный особняк, описанный в «Мастере и Маргарите».

Войдя в дверь, вы утыкаетесь в массивную спинку дубового буфета, отделяющего пространство комнаты от закутка, что образует, благодаря этому буфету, нечто вроде прихожей.

В этой комнате живут двое из двадцати шести наших соседей, постоянных жильцов, не считая уважаемых гостей столицы, перманентно проживающих у кого-нибудь из них.

Две сестры – старшая, Елизавета Иванов-

на (я звал ее Лика), и младшая, Нина Ивановна (Ника).

Скажу сразу, что хотя Пушкин и жил в наших комнатах в виде желтого шеститомника с коричневым витиеватым орнаментом на корешках, но первая моя встреча с ним состоялась в комнате сестер Лавровых.

Здесь мне бы впору перейти к этажерке с книгами, что стояла между изножьем Ликиной кровати и резным высоким зеркалом в раме из орехового дерева с двумя стройными колонками по бокам, украшенными резьбой коринфского ордена. Именно с полка этой этажерки извлекался вересаевский том «Пушкин в жизни», а чуть позже томик Гоголя с «Повестью о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» и «Вием» и тургеневские «Записки охотника». Но прежде чем добраться до этой этажерки, мне необходимо было пройти через всю квартиру.

Мимо ближайших соседей во главе с угрюмым и тишайшим дядей Васей – он служил в роте охраны «товарища Сталина», что порождало ощущение нашей всеобщей прямой связи с Кремлем.



У ворот нашего дома с соседом Юрой Оленчуком (слева)

Когда я подрос, дядя Вася обучал нас, меня и моего товарища, своего пасынка Юрку, технике выпивания с гарантией трезвости: я думаю, эта учеба по своему уровню могла быть оценена дипломом Оксфордского университета.

Далее шла комната явных сексотов. Их роль исчерпывалась в основном подслушиванием и подсматриванием, замаскированными под заботливое участие в жизни остальных соседей. А поскольку следили многие за многими, то атмосферой теплого сочувствия и неподдельного интереса к проблемам ближних было согрето все наше существование.

Крошечная комната архитектора дяди Буси помещалась, словно между молотом и наковальней, между комнатой того, кто едва ли не ежедневно видел Молотова и Сталина, и жилищем, занимаемым многочисленным семейством младшего лейтенанта НКВД.

На пути к приюту моих покровительниц, одна из которых была моей крестной, мне приходилось миновать также прибежище тишайших интеллигентов Клары Григорьевны и Моисея Соломоновича Берковских. Они были столь застенчивыми, что я редко

когда слышал не только их самих, но и о них. Я до сих пор не знаю (или напрочь позабыл), чем они занимались.

Помню только, как Клара Григорьевна, узнав о том, что я «занимаюсь музыкой» – именно так назывались героические усилия родителей и моих педагогов сломить мое внутреннее сопротивление... (Чему? Тому, чему я должен был ежедневно жертвовать часом, а то и двумя часами дворового

футбола. Сегодня мне стыдно признаться, но имена Савдунина и Сергея Соловьева, не говоря про Хомича и Бескова, значили для меня в ту далекую пору куда больше, чем Бетховена и даже Баха, не говоря про Черни с его этюдами), – подарила мне стопку нот, по которым она занималась в свое время в киевской консерватории.

Часть этих нот с красивым росчерком в правом верхнем углу до сих пор стоят у меня на полке.

Из этой географии становится ясно, что тонкая прослойка интеллигенции помещалась, как слой повидла между коржами, между комнатами сотрудников НКВД.

Два офицера из одних и тех же органов – согласитесь, немалая плотность на душу населения одной квартиры.

И вот, не осознавая в полной мере, по недомыслию, извиняемому малолетством, всей значимости социального состава жильцов квартиры № 2 дома № 10, что помещался «в одном из арбатских переулков», так назвал М.А. Булгаков наш Мансуровский, я совершал ежевечерний путь «к Пушкину» через все слои нашего общества, равносильный путешествию «в люди», а также «моим университетам»...

В комнате Лики и Ники я усаживался за стол под оранжевым абажуром и ждал, когда мне выдадут несколько листков бумаги, обыкновенно это были негодные для дела бухгалтерские документы. Ника работала бухгалтером в каком-то учреждении, и мне нравилось, как она щелкает на счетах, шевеля губами и что-то записывая.

Каждая исписанная страница, как известно, имеет оборотную сторону. И вот эту-то



Отец Юрий Борисович Хржановский - художник, актер, артист эстрады, 1930-е гг.

чистую поверхность с еле проступающими буквами и цифрами, выведенными на лицевой стороне, я мог использовать для рисования. Цветные карандаши я приносил с собой.

Мое увлечение рисованием было известно всей квартире. Однажды приехал из Ленинграда друг родителей, художник Андрей Капустин. Он остановился у нас, и те несколько дней, что он гостил в Москве, я был ужасно горд.

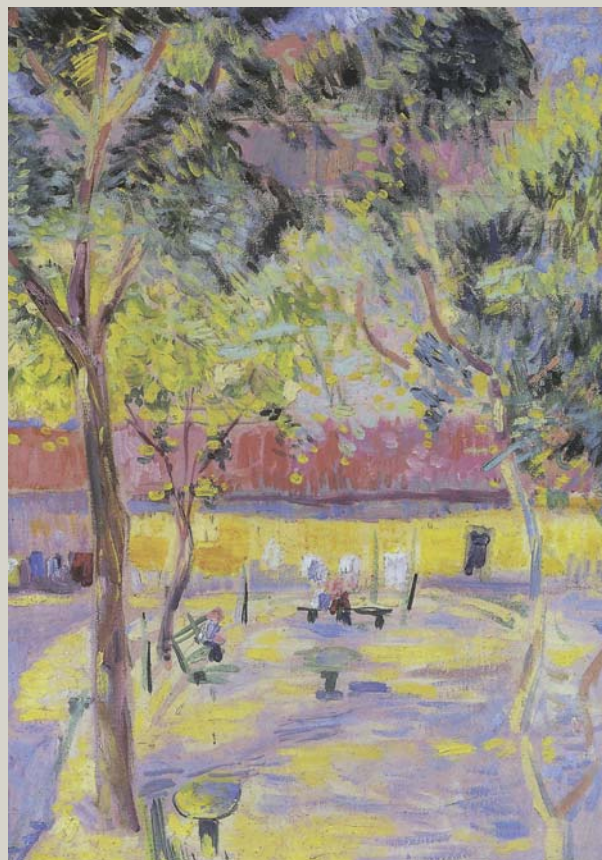
Мне очень нравилось его бледное лицо с глубоко запавшими синими глазами, его



Родители Вера Михайловна и Юрий Борисович Хржановские, Ялта, 1930



Ю.Б. Хржановский. Наш двор. 1939. Бумага, акварель



Ю.Б. Хржановский. Двор в Мансуровском переулке. 1939. Холст, масло

длинные пальцы, но особенно нравилось то, что он, как и я, – художник. Именно так я думал о себе, причем иногда и вслух. Поэтому сестрам Лике и Нике я тут же доложил: «У нас теперь в доме три художника». «Кто же третий?» – на всякий случай поинтересовались они. «Ну как же? Папа, Андрей Капустин и я...» (Впрочем, не исключая того, что этот краткий перечень я открывал собою, о чем моя память почему-то умалчивает.)

Устроившись за столом, я принимался разглядывать вересаевский том «Пушкин в жизни»... Я вижу худую Ликину фигуру в халате цвета редко тогда встречавшегося напитка – кофе с молоком, такого же цвета волосы (цвет молока в их окраске явно преобладал над кофейным) и дымок, струившийся над оранжевым прозрачным мундштуком, – Лика много курила.

Я вижу ее фигуру, согнувшуюся над этажеркой, молчаливо достающую оттуда Ве-

ресаева и торжественно кладущую книгу на стол (эта торжественность, то есть замедленность, была вызвана не столько величиной минуты, сколько тяжестью книги).

Перед тем как начать рисовать, я в который раз (в сотый, должно быть) пролистывал книгу. Драматургия этого пролистывания повторяла ход жизни, случившийся столет тому назад. Открывался этот обзор тропининским Пушкиным. Должно быть, есть в его облике – в светлых, слегка навывкате глазах, в кучерявости волос, в завитках бакенбард – та магия, которая располагает и притягивает к себе всякого, даже включая тех, кто и слышать-то не слышал ни о Пушкине, ни о его стихах.

Сузу по своему годовалому внуку: он еще не сразу и зачастую неуверенно ориентируется в ближайших родственниках, но при словах «А где Пушкин?» его лицо озаряется улыбкой двойного блаженства: во-первых,

от явного узнавания портрета с настенного календаря, во-вторых, от общения с существом, вызывающим то безусловное доверие, на которое в воображении ребенка может претендовать только котинька-коток из любимой колыбельной...

Далее в книге следовала Наталья Николаевна. Красота ее лица на портрете привораживала сама по себе, но выющиеся вдоль щеки локоны, но рюши и кружева на платье вызвали неизменный прилив влюбленности, возможно, одной из первых.

Наконец, дрожащая в предвкушении роковой и неизбежной встречи рука ребенка открывала страницу, где был запечатлен убийца Пушкина. Мне очень нравился рисунок Т. Райта. Наталья Николаевна, кстати, также была изображена этим художником, и это непроизвольно проявленное стилистическое сходство сближало в моем подсознании образ Натали более с Дантесом, нежели с Пушкиным.

Кавалергард был изображен в мундире с отвернутым бортом. Если говорить правду, при первой же встрече с этим персонажем я мгновенно отделил содержание от формы.

Высоко поднятый подбородок (чему обязывал стоячий ворот мундира), щегольские усики, наглый взгляд – все это производило впечатление. Особенно эполеты. Настолько, что любимую глазунью я переименовал в «яичницу с эполетами» и просил на завтрак только ее.

Я без конца умолял то Лику, то Нику, то родителей пересказывать мне известные им подробности дуэли, пытаюсь найти хоть какую-нибудь деталь, которая могла бы оказаться спасительным препятствием в развитии трагедии. Поскольку, упрощая сюжет до уровня детского понимания, мне объяснили, что причиной столь жестокой развязки были танцы Дантеса с Натальей Николаевной вне установленной очереди, я в своем бессмысленном и запоздалом рвении готов был взять на себя обязанности регулировщика (это понятие мне было ближе, нежели какое-нибудь другое, вроде церемониймейстера). История дуэли меня влекла неуклонно. Каждый день я просыпался с мыслью о том, что должен спасти Пушкина. В конце концов я стал рисовать дуэль, но противников поставил так, что они были

обращены лицом не друг к другу, а к нам, то есть к потомкам. И пистолеты их были направлены в противоположные стороны, так что пуля Дантеса не могла достичь Пушкина.

Реальность моих переживаний была усугублена еще и тем, что отец, с юности и навсегда влюбленный в Ленинград, читал мне те места из «Записок д'Аршиака» Гроссмана, которые, по его мнению, наиболее точно и в то же время наиболее живописно воспроизводят атмо-



С сыном Ильей, будущим кинорежиссером, 1975





сферу города и, в частности, пейзаж места дуэли. Я с голоса заучил эти отрывки, и это помогало мне воспроизводить в воображении место у комендантской дачи с подробностями, изложенными в книге.

«Безукоризненно, согласно правилам боя, Пушкин сложил к плечу правую руку, и вдоль его кудрявого лица протянулась вверх блестяще граненое дуло.

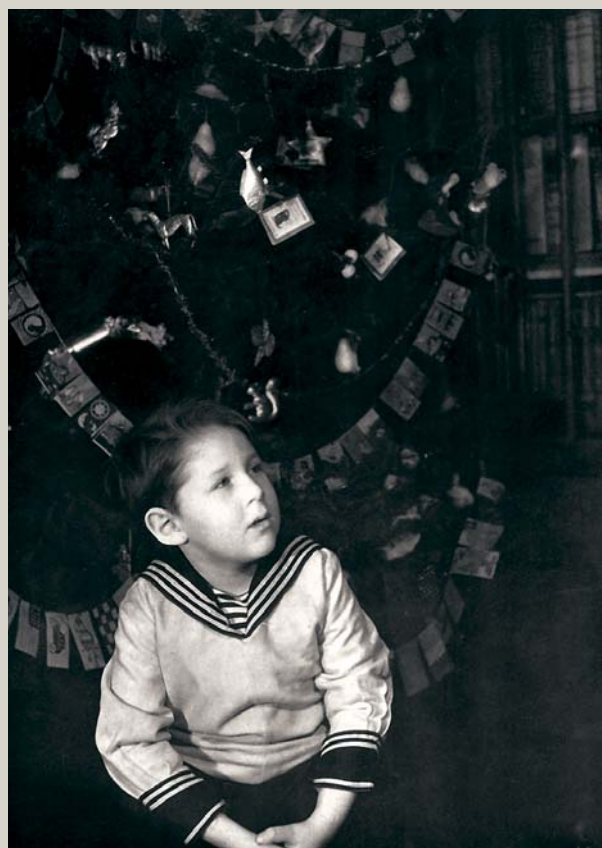
Сумерки приближались. Голубизна снега и воздуха сгущалась. В стороне комендантской дачи кое-где начинали мерцать оранжевые огоньки. Но под открытым небом еще было совершенно светло, и снежная пелена отчетливо обрисовывала все контуры фигур и предметов.

Ясный морозный день заканчивался торжественным зимним закатом. Солнца не было видно. Но где-то над горизонтом сизые небеса были неожиданно прорезаны на несколько минут медным отсветом невидимого светила. Легкие багровые блики пробежали местами по черным ветвям и синему снегу, углубляя тенями черноту деревьев и синеву равнины. Все было тихо. Только ветер продолжал завывать в соснах, качая их тяжелые верхушки...»

Кроме Ники и Лики, у моего рисования был еще один зритель. Из темного угла на меня смотрел строгим, но в то же время, казалось, одобрительным взглядом Николай Угодник в резном окладе изумительной работы. Я знал, что он пережил несколько революций и войн, уплотнения и чистки, однажды попал в опустошительный пожар, в котором сгорел весь дом, но у иконы даже уголка не обуглилось.

Эти истории также поддерживали мою веру в чудесное, адресованную прежде всего Пушкину.

Когда я летом гулял во дворе, а иногда не выходя из дома, в раскрытое окно, я слышал звуки то мужского, то женского голоса, рас-



Первая послевоенная елка, декабрь, 1945

певавшего сначала гаммы, каждая из которых открывалась трезвучием с повышением на одну ступень, а затем – романсы и арии. Сейчас мне почему-то кажется, что все эти арии и романсы были на стихи Пушкина:

«Я к вам пишу – чего же боле...», «Мой голос для тебя и ласковый и томный», «Не пой, красавица, при мне...» и так далее.

Я знал, откуда раздастся голос, – в соседнем доме жила учительница пения Мария Ивановна Прозоровская. Ее любили все дети, несмотря на ее строгость и на то, что она могла сделать замечание любому. Собственно, она, я думаю, была тем единственным человеком, чьи замечания не казались обидными. Что-то в ней было от облика святых, изображенных на многочисленных иконах в ее доме. Кроме рояля и этого иконостаса, перед которым всегда теплилась зажженная лампада, в этом доме, кажется, ничего и не было.

Мария Ивановна гуляла со мной, когда

мы с мамой вернулись из Иркутска, где были в эвакуации в первые годы войны. Чаще всего эти прогулки приводили нас в сквер на углу Зачатьевского переулка. Из этого сквера хорошо был виден особняк А.И. Кекушевой, на крыше которого возлежал роскошный лев. Няня уверяла меня, что лев непременно махнет мне хвостом, но при одном условии: если я буду хорошо себя вести. Жизнь показала, что это условие было для меня невыполнимым – всегда находилось что-нибудь, что мешало мне заслужить благосклонность льва. Выяснилось это по дороге домой. Между мной и М. И. происходил примерно такой разговор:

– Ну почему же он и сегодня не махнул мне хвостом?

– А ты сегодня чистил зубы?

– Чистил, чистил.

– А за завтраком все съел?

– Все, – врал я.

– А спасибо маме не забыл сказать?

– Не забыл.

– А поздоровался сегодня со всеми?

– Со всеми, со всеми, – отвечал я, и в голосе моем чуткое ухо педагога улавливало неуверенность.

– И с Василием Алексеевичем?

– Я его сегодня не видел. Он ночью охранял Сталина, пришел рано утром и теперь спит.

– А с Леонидом Степановичем? – спрашивалась няня относительно другого чекиста.

– Он был очень мрачный, – неуверенно оправдывался я.

– Должно быть, международное положение его огорчает, – высказывала предположение няня. – В отличие от внутреннего. Так ты все-таки с ним не поздоровался?

Я потупил голову.

– Вот видишь. Лев – он все про тебя знает...

Я тоскливо вздыхал и надеялся на реванш. Как выяснилось, напрасно... «На свете счастья нет», понял я уже тогда и как же был обрадован, найдя впоследствии подтверждение этой догадки у Александра Сергеевича.

Позже, когда я уже учился в школе, а потом в институте, Мария Ивановна, встречая меня во дворе, просила зайти к ней «на несколько минут». Я знал, что это означало, и всегда выполнял ее просьбу.

– Я не спрашиваю тебя, веришь ли ты в Бога, – говорила она, подводя меня к киоту. – Я

хочу помолиться за тебя и за твоих родных. Подумай о Боге хотя бы сейчас. Я не доживу до того дня, когда все, что происходит вокруг... – Мария Ивановна делала широкий жест, простирая руку в сторону окна, явно подразумевая при этом пространство более обширное, чем наш двор, – ...всему этому придет конец... Ибо все это противно Богу. Насилию всегда приходит конец. Я верю, что ты доживешь до того времени, ко-



С Наташей Рысс, дочерью писателя Евгения Рысса, автора популярной в то время повести «Девочка ищет отца», декабрь, 1945



С родителями, 1945

гда люди научатся отличать ложь от правды...
А теперь – ступай, и храни тебя Господь...

Мария Ивановна осеяла меня крестным знаменем и давала просфорку, которую надо было съесть натошак.

Иногда я видел ее, подойдя к окну своей комнаты, смотревшему на ворота. Это были чугунные ворота, оставлявшие место также и для калитки. Чугунные пики с острыми наконечниками затрудняли процедуру перелезания через ворота, когда они были закрыты. Сейчас этих ворот уже нет. Они исчезли в недавнее время, когда сограждане уяснили себе всю пользу тяжелых цветных черных металлов. Задолго до этого исчезла медная ручка у парадных дверей, прикасаясь к которой, я любил вспоминать те светлые моменты познания жизни, даже если это происходило на уровне законов физики, когда мы, пяти-, шестилетние, по очереди припадали розовыми языками к тускло мерцающим из-под инея, покрывавшего их, желтым граням. Языки примерзали, казалось, раньше соприкосновения с поверхностью металла, и особую радость доставляло

освобождение от этой мучительной, но и сладостной, как многие искушения, связи. Мы с болью отдирали наши языки от медной поверхности, оставляя на ней мельчайшие лоскутки нежной кожи. О, если бы мы знали тогда, какие страдания доставит каждому из нас впоследствии его собственный язык...

Марию Ивановну можно было видеть чаще всего

днем, возвращающейся после заутрени от Ильи Обыденного или ближе часам к пяти спешащей ко всенощной. Шла ли она домой или из дома, она никогда не проходила через широкий проем ворот, но всегда пользовалась калиткой. Ее примеру следовала моя мать и без всяких пояснений посоветовала так же поступать и мне. Позже я нашел разгадку этого совета, и не одну – в Святом Писании, и подумал о том, что только «самостоянье человека», воспетое Пушкиным, уводит его от проторенных путей.

На этих страницах я попытался вспомнить о своих первых встречах с Пушкиным. Но получилось так, что я рассказал о своих встречах с Ариной Родионовной, да еще в трех лицах...

Г6-87-12... Когда мне порой бывает невесело, рука моя непроизвольно тянется к телефону, чтобы набрать эти шесть знаков и пригласить к телефону Лику, Нику или того вихрастого мальчика, который, высунув от усердия язык, трудится над портретом Пушкина. Если он, конечно, не играет в это время в футбол.



Андрей Хржановский (в центре)
со съемочной группой своего первого фильма
«Жил-был Козявин», лето 1966

УЧИТЕСЬ САМИ



играть с помощью самоучителей по нотно-цифровой системе

НА ГАРМОНИКЕ

Самоуч. Сергеева и Голубева для венск. двухр. русск. или нем. строя 21 кл. 12 бас. с прилож. 20-ти пес. Ц. 1 р. 25 к. 2 альбома пес (по 10 №№) по 75 к.

НА БАЛАЛАЙКЕ

Самоуч. Илюхина. Ц. 1 р. 25 к. 4 сборника песен. Луканихина от 60 к. до 80 к. Илюхин А.—Самоуч. (только по цифр. системе). Ц. 60 к. Красев М.—Сборник песен—отрывки из опер (только по нотной системе). Ц. 40 к.

НА МАНДОЛИНЕ

Самоучит. Петрова. Ц. 1 р. и 13 альбомов от 50 к. до 75 к.

НА ГИТАРЕ

Самоуч. Успенского. Ц. 1 р. 75 к. 6 альбомов от 50 к. до 75 к. Альбомы Любавина (только по цифровой сист.) от 1 р. до 2 р. СТРУНЫ и мелкие музыкальные принадлежности для всех инструментов, а также: БАЛАЛАЙКИ, МАНДОЛИНЫ И ГИТАРЫ. Заказы до 5 р. высылаются налож. плат. без задатка; свыше 5 р. по получении задатка. Пересылка за счет заказчика. Москва, центр, Неглинная, 14/31 МУЗСЕКТОРУ ГОСИЗДАТА

НОВЫЕ КНИГИ

СОБАКА

и ее служба человеку. Описание всех пород, разведение, уход, лечение, воспитание, дрессировка, сост. А. Федорович-Шенеп. 270 стр. с 60 рис. 1928 г. 2 р. 50 к.

ТРАКТОР „ФОРДЗОН“

Общепонятные и подробнейшие сведения в вопросах и ответах об уходе, устройстве и ремонте с прилож. об уходе за автомашинами вообще, сост. „Нико“ (Н. А. Орловский), больш. том по 300 стр. с 209 чертежами и раскладными таблицами. 1928 г. Ц. 4 р. 50 к. в переплете 5 р.

„КОНДИТЕР“

Приготовление конфет, пряников, печений, напитков и других всевозможных сладостей, всего до 1000 рецептов, сост. З. Рудь. 320 стр. с рисунками. 1928 г. Ц. 2 р. 50 к. Цены без пересылки. Высыл. наложени. платежом. Бесплатно высылаются каталог технической и производственной литературы. 5500 названий. Почт. отд. объединенных книжных магазинов И. Косцова и Н. Полякова „Экскурсант“. Ленинград, 14, пр. Володарского, 47/В.

ЗАГОТОВКИ И ЗАПАСЫ

Руководство для домашн. хоз. Сушка, Мариновка, Соление. Консервы. Вина. Наливки. Квасы. Пиво. Мед и пр. 150 стр. Ц. 1 р. Высыл. нал. плат. Москва, Политехн. муз., 110/В. „КУЛЬТУРА И ЗНАНИЕ“.

РЯБИНИКИ и следы после угрей. Цена 3 руб. кор. жирнов. елен. и красноты. Ц. 85 к. (выс. не менее 3 кус.)

ПЕРХОТИ и зуд. Цена 2 руб. флакон. и увлажн. угрей, черные точки и расширенные, открытые ПОРЫ. Цена 2 руб. флакон.

Заказы высылаются по получ. задатка в 50 коп. (марками)

ПЕЧАТНЫЙ НАБОР



Полный алфавит кауч. букв с принадл. и руков. для печатан. бланков, конвертов, имени, отчества, фамилии и проч. Печат. алфав. из 80 б. 1 р. 75 к.; 115 б.—2 р. 50 к.; 220 б.—3 р. 50 к.; 320 б.—5 р.; 500 б.—7 р. 50 к.

Цены с пересылкой. Высылаются нал. плат. по получ. 1/2 стоимости заказа ЛЕНИНГРАД, почт. ящ. 363/6. И. Е. БЕККЕР

ПОЛЕЗНЫЕ КНИГИ

СТОЛЯРНОЕ РЕМЕСЛО

Полный курс главнейших столярных работ. ПРОИЗВОДСТВО МЕБЕЛИ. Модельное дело. 174 стр. С 407 рисунками. Сост. Несокский. 28 г. В перепл. Ц. 3 р. 50 к.

НОВЫЙ АЛЬБОМ РИСУНКОВ ДЛЯ ВЫПИЛИВАНИЯ

из дерева. 250 детал. на 30 лист. 28 г. Сост. Тараканов. Ц. 3 р.

ЗЕРКАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

наводка кустарным способом Сост. О. Бильченко. 23 г. С рис. Цена с перес. 85 к.

Петров и др. ШОРНОЕ производство. 28 г. Ц. 1 р. 75 к.

Булгаков. МЕХОВОЕ производство. 28 г. Ц. 2 р. БОЧАРНОЕ производ. выделка бочек, ведел, решет и др. Ц. 50 к.

ГОНЧАРНОЕ производство. Ц. 50 к. МАСЛОБОЙНОЕ производство. Ц. 60 к. КУСТАРЬ-СМОЛОКУР (как получить из дерева: уголь, смолу, каанифоль, деготь, скинпид, древесный спирт и др.). Ц. 35 к. ОГОРОДНИЧЕСТВО (как вырастить лучшие овощи и корнеплоды). Ц. 75 к. ДОМАШНЕЕ МЕДОВАРЕНИЕ. Варка крепких медов. Ц. 60 к.

Полный справочник по физкультуре

Джигу-джигу, бокс, борьба, футбол, гребля, плавание и другие виды спорта. Составл. Короновский. Ц. 2 р. 50 к.

полный иллюстрированный самоучитель пчеловодства

рис. 333 стр. 1926 г. Сост. Буткевич. Ц. 4 р.

ЭКСПЕРТИЗА ответы экзаменующихся

будущ. ст. счетоводов, помбухов и бухгалтеров на вопросы экспертов. Сост. Волоченок. 28 г. Ц. 75 к.

полный самоучитель слуховой стенографии

по системе Терне-Гильдебранд. (Текст и атлас). 27 г. Ц. 2 р. 85 к.

А также ЛЮБУЮ КНИГУ высылают наложенным платежом книжный магазин „НАУКА И ЖИЗНЬ“, С. Н. Николаева, Москва, 9, Воздвиженка, 4/С. Фирма существует с 1905 г. На ответ и за книги можно мелк. почтов. марками.

полный справочник по физкультуре

рис. 333 стр. 1926 г. Сост. Буткевич. Ц. 4 р.

ЭКСПЕРТИЗА ответы экзаменующихся

будущ. ст. счетоводов, помбухов и бухгалтеров на вопросы экспертов. Сост. Волоченок. 28 г. Ц. 75 к.

полный самоучитель слуховой стенографии

по системе Терне-Гильдебранд. (Текст и атлас). 27 г. Ц. 2 р. 85 к.

А также ЛЮБУЮ КНИГУ высылают наложенным платежом книжный магазин „НАУКА И ЖИЗНЬ“, С. Н. Николаева, Москва, 9, Воздвиженка, 4/С. Фирма существует с 1905 г. На ответ и за книги можно мелк. почтов. марками.

полный самоучитель слуховой стенографии

по системе Терне-Гильдебранд. (Текст и атлас). 27 г. Ц. 2 р. 85 к.

А также ЛЮБУЮ КНИГУ высылают наложенным платежом книжный магазин „НАУКА И ЖИЗНЬ“, С. Н. Николаева, Москва, 9, Воздвиженка, 4/С. Фирма существует с 1905 г. На ответ и за книги можно мелк. почтов. марками.

полный самоучитель слуховой стенографии

по системе Терне-Гильдебранд. (Текст и атлас). 27 г. Ц. 2 р. 85 к.

А также ЛЮБУЮ КНИГУ высылают наложенным платежом книжный магазин „НАУКА И ЖИЗНЬ“, С. Н. Николаева, Москва, 9, Воздвиженка, 4/С. Фирма существует с 1905 г. На ответ и за книги можно мелк. почтов. марками.

полный самоучитель слуховой стенографии

по системе Терне-Гильдебранд. (Текст и атлас). 27 г. Ц. 2 р. 85 к.

А также ЛЮБУЮ КНИГУ высылают наложенным платежом книжный магазин „НАУКА И ЖИЗНЬ“, С. Н. Николаева, Москва, 9, Воздвиженка, 4/С. Фирма существует с 1905 г. На ответ и за книги можно мелк. почтов. марками.

полный самоучитель слуховой стенографии

по системе Терне-Гильдебранд. (Текст и атлас). 27 г. Ц. 2 р. 85 к.

А также ЛЮБУЮ КНИГУ высылают наложенным платежом книжный магазин „НАУКА И ЖИЗНЬ“, С. Н. Николаева, Москва, 9, Воздвиженка, 4/С. Фирма существует с 1905 г. На ответ и за книги можно мелк. почтов. марками.

полный самоучитель слуховой стенографии

по системе Терне-Гильдебранд. (Текст и атлас). 27 г. Ц. 2 р. 85 к.



любые, немедленно высыл. налож. платежом МУЗСЕКТОРУ ГОСИЗДАТА

Москва, Неглинная, 14/31. КАТАЛОГИ (фортепиан., вокальный, больш. духов. орк., струнный, мас.-худож. литер. книг по музыке).

ТРЕБУЙТЕ БЕСПЛАТНО

ПИСАТЬ ЧЕТКО И КРАСИВО

можно быстро научиться, приобрести „Руководство по исправл. почерка“ М. Я. Казымова. Полный, общедоступный курс в 240 упраж., дополнен. и исправл., изд. 1928 г. Ц. с перес. 1 р. 75 к. Москва, ул. Герцена, 31/12. Кооп. Т-во „СОВРЕМЕННОК“.

ИГРЫ ОСТРО УМΙΑ

Задания, курьезы, шутки, головоломки и др. из разл. област. жизн. и знан., с 763 ответ. по кн. „Развл. на досуге“, 188 стр., 184 рис. Ц. 2 р. 50 к. перес. Москва, ул. Герцена, 31/12. Кооп. Т-во „СОВРЕМЕННОК“.

135 ФОКУСОВ ЗАБАВ

занимат. опытов в клубе и дома по книге А. Мирлеса „Физика в развлечен“. Рекомендовано ГУС'ом. 138 стр. 186 рис. Ц. 1 р. 75 к. с пересылкой МОСКВА, ул. Герцена, 31/12, Кооперативному Т-ву „СОВРЕМЕННОК“.

САТИРА И ЮМОР

В. СЕРЕЖНИКОВ Сборн. лучших сатирич. и юмор. произв. прошл. и нов. врем. для чтен. и деклам. 330 стр. 2 р. 35 к. в перепл. с перес. Москва, ул. Герцена, 31/12. Кооп. Т-ву „СОВРЕМЕННОК“.

ПОЛНАЯ ПОВАРЕННАЯ КНИГА ДЛЯ ХОЗЯЕК

Мясн. и вегетарианск. стол. Различное тесто. Пирог. Печенье. Овощи. Зелень. Наставлен. для готовки на примусе Цена 2 р. 85 к. с перес. Коопер. Т-во „СОВРЕМЕННОК“, Москва, ул. Герцена, 31/12

ПОЛНЫЙ СПРАВОЧНИК ПО ФИЗИКУЛЬТУРЕ

Одобрен Ленин. Сов. Физкультуры. Свыше 500 стр. 100 рисунков. ВСЕ ВИДЫ СПОРТА Цена с пересылкой 2 р. 90 к. Москва, ул. Герцена, 31/12. Кооп. Т-во „СОВРЕМЕННОК“.

ЗАЩИТА

И НАПАДЕНИЕ. Ловкость

и силу тренирует единств. руков. по БОРЬБЕ, БОКСУ, ФЕХТОВАНИЮ, СРЕЛЬБЕ, Франц. борьба. Стиль. Тактика. Приемы. Англ. бокс. Бляжн. бой и на дистанц. Запрещен. удары. Тренировка. Офиц. правила стрелк. спорт. С 75 снимк. Стр. 228. Сост. Короновский. Ц. 1 р. 35 к.

Высыл. налож. платежом Москва, Политехнический музей, 110/В. „КУЛЬТУРА И ЗНАНИЕ“

Высыл. налож. платежом Москва, Политехнический музей, 110/В. „КУЛЬТУРА И ЗНАНИЕ“

Высыл. налож. платежом Москва, Политехнический музей, 110/В. „КУЛЬТУРА И ЗНАНИЕ“

Высыл. налож. платежом Москва, Политехнический музей, 110/В. „КУЛЬТУРА И ЗНАНИЕ“

Высыл. налож. платежом Москва, Политехнический музей, 110/В. „КУЛЬТУРА И ЗНАНИЕ“

Высыл. налож. платежом Москва, Политехнический музей, 110/В. „КУЛЬТУРА И ЗНАНИЕ“

Высыл. налож. платежом Москва, Политехнический музей, 110/В. „КУЛЬТУРА И ЗНАНИЕ“

Высыл. налож. платежом Москва, Политехнический музей, 110/В. „КУЛЬТУРА И ЗНАНИЕ“

Высыл. налож. платежом Москва, Политехнический музей, 110/В. „КУЛЬТУРА И ЗНАНИЕ“

Высыл. налож. платежом Москва, Политехнический музей, 110/В. „КУЛЬТУРА И ЗНАНИЕ“

Высыл. налож. платежом Москва, Политехнический музей, 110/В. „КУЛЬТУРА И ЗНАНИЕ“

Высыл. налож. платежом Москва, Политехнический музей, 110/В. „КУЛЬТУРА И ЗНАНИЕ“

Высыл. налож. платежом Москва, Политехнический музей, 110/В. „КУЛЬТУРА И ЗНАНИЕ“

Высыл. налож. платежом Москва, Политехнический музей, 110/В. „КУЛЬТУРА И ЗНАНИЕ“

Высыл. налож. платежом Москва, Политехнический музей, 110/В. „КУЛЬТУРА И ЗНАНИЕ“

Высыл. налож. платежом Москва, Политехнический музей, 110/В. „КУЛЬТУРА И ЗНАНИЕ“

Высыл. налож. платежом Москва, Политехнический музей, 110/В. „КУЛЬТУРА И ЗНАНИЕ“

Высыл. налож. платежом Москва, Политехнический музей, 110/В. „КУЛЬТУРА И ЗНАНИЕ“

Высыл. налож. платежом Москва, Политехнический музей, 110/В. „КУЛЬТУРА И ЗНАНИЕ“

Высыл. налож. платежом Москва, Политехнический музей, 110/В. „КУЛЬТУРА И ЗНАНИЕ“



ВЫ НЕ РИСКУЕТЕ ПОКУПАЯ

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

У НАС ПО ЦЕНАМ И КАЧЕСТВУ ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ ЗАКАЗЧИКАМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПРАВО ОБМЕНА КУПЛЕН. ИНСТРУМ. У НАС

ГИТАРЫ 18, 20, 22, 24, 26, 30, 40, 50 р. и дорож. 150, 18, 19, 20, 24, 26, 30, 35, 45 руб. и дорож.

БАЛАЛАЙКИ 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30 р. и дорож.

МУЗКРУЖКАМ, КАЛУБАМ и ВОИНСКИМ ЧАСТ. скидка 5%.

Заказы исполняются быстро и аккуратно наложенным платежом по получении 30% задатка.

Упаковка и перес. за счет заказчиков по себестоимости.

Иллюстрированный прейс-курент с истор. муз. инстр. пр.-доц. С. И. Чесоданова и календарем высыл. за 20 к. марками.

Краткий прейс-курент бесплатно.

„СПЕЦ-МУЗЫКА“ Москва, центр, Покровка, 16/В.

„СПЕЦ-МУЗЫКА“ Москва, центр, Покровка, 16/В.

„СПЕЦ-МУЗЫКА“ Москва, центр, Покровка, 16/В.

„СПЕЦ-МУЗЫКА“ Москва, центр, Покровка, 16/В.

„СПЕЦ-МУЗЫКА“ Москва, центр, Покровка, 16/В.

„СПЕЦ-МУЗЫКА“ Москва, центр, Покровка, 16/В.

„СПЕЦ-МУЗЫКА“ Москва, центр, Покровка, 16/В.

„СПЕЦ-МУЗЫКА“ Москва, центр, Покровка, 16/В.

„СПЕЦ-МУЗЫКА“ Москва, центр, Покровка, 16/В.

„СПЕЦ-МУЗЫКА“ Москва, центр, Покровка, 16/В.



Элла Опальная

А МНЕ ТАК ЖАЛЬ МОИХ УШЕДШИХ ЛЕТ...

*...а мне так жаль чужих ушедших лет,
Жаль тех, кто в этом бывшем доме
Варил борщи, листал свой «Крокодил»
да ссорился с соседями...*

Бахыт Кенжеев

В коммуналках уже давно и много написано. Проведены научные исследования этого явления. В медицине даже появился термин «болезни коммунальных квартир». Но у каждого человека есть свой опыт, и именно он уникален. Например, когда я родилась, а было это в 1935 году, в сознание народа (особенно жителей крупных городов, куда хлынули, спасаясь от голода, изувеченные деревни) уже прочно вошло понятие: комната в квартире с соседями. Явление это было чуждое русскому укладу жизни. Даже самые бедные крестьяне, обзаведясь семьей, старались отделиться, всем миром помогали молодоженам построить новую избу. Скотина рядом – это пожалуйста, но чтоб другие, пусть даже родные, а тем более чужие, посторонние люди – это было что-то запредельно немыслимое. Но ко всему привыкает человек, как сказано у классиков. Все спешили переехать в Москву из провинции.

Получить ордер (жировку) на комнату считалось великим везением, просто счастьем. Сейчас российским детям вообще



Злочка Певзнер в доме у Красных Ворот. На полках – немецкие игрушки, присланные родственниками из Берлина в 1935 гг.

такое и представить себе невозможно: встаешь утром, хочешь в уборную, а там – очередь, особенно если не просто коммуналка, а «коридорная система». Словом, как в песне у Высоцкого: «на тридцать восемь комнаток всего одна уборная». Но в те годы начали появляться в Москве первые «кооперативные квартиры», т. е. такие, за которые жильцы вносили довольно солидную плату. Например, знаменитый и по сей день дом



С мамой

рядом со старой станцией метро «Красные Ворота», на котором мемориальная доска «В этом доме жил нарком Литвинов», как раз и состоял из отдельных квартир. Они были куплены (причем за валюту) теми, кто вернулся, отработав за границей, как моя мама в Берлине, в советском постпредстве. В тридцать седьмом большую половину жителей из сотни квартир, естественно, посадили. И уже никто не думал, что деньги пропали. Слава Богу, что живы остались! Кто в такой ситуации будет выступать, доказывать, что это его кровные метры?! Уплотнили эти квартиры, т. е. вселили-подселили жильцов. Но до войны как-то было не принято, чтобы соседи откровенно ругались или дрались. «Все жили вро-

вень, скромно так» — опять же по Высоцкому.

Нам, например, повезло — вселили в нашу трехкомнатную квартиру семью: муж и жена, оба партийцы. Сначала, кроме простой железной кровати, канцелярского стола да портрета Сталина с трубкой в зубах на стене, у них ничего не было. Двери в комнатах (у нас — две, у них — одна) никогда не запирались. Тетя Шура по ночам просиживала на кухне и, не выпуская изо рта папиросы, запоем читала толстенные советские романы. С Мякишевыми я прожила двадцать пять лет, пока не переехала к мужу. И вся жизнь, их и наша, была на виду. Относились друг к другу очень уважительно, называли по имени-отчеству. И без преувеличения можно сказать, что тетя Шура спасла мне жизнь. Вернувшись в 1943 году в Москву из эвакуации, я была обычным ребенком военных лет, слабенькой, худой, но готовой разделять со взрослыми любые трудности. Во втором классе я попала в больницу и провела там больше полугода. Это был военный госпиталь в Измайлове, которое тогда считалось и не Москвой вовсе, а ее окраиной. Этому предшествовала следующая «история болезни». У меня три дня подряд страшно болел живот. Вызвали, как полагалось, врача из районной (Чистопрудной) поликлиники.



Папа

Молодая особа, видимо только после института, посмотрела, пощупала, сказала: «Поставьте грелочку». Я могла терпеть любую боль, но живот просто разрывало. И мама побежала в кухню, поставила на газ чайник и только хотела налить кипятка в грелку, как тетя Шура сказала: «Мария Исааковна, не надо, подождите, что-то Элка (это я) очень стонет, а вдруг все-таки молодая врачиха не распозна-



Во дворе дома у Красных Ворот, 1947

ла, и это аппендицит – грелку тогда нельзя ни в коем случае!» Назавтра бабушка вызвала ко мне своего знакомого, знаменитого еще до революции доктора Босина. Он, едва дотронувшись до моего живота, страшно побледнел и закричал: «Немедленно в больницу – острейший приступ аппендицита!»

Было решено ехать в измайловский госпиталь, где работал мамин двоюродный брат хирург Минц. Мама заметалась. Как добраться до больницы? В нашем дворе стояла единственная машина генерала НКВД Иванцова, который жил в пятом подъезде. К счастью, он оказался дома – обедал. На просьбу мамы он моментально отдал распоряжение доставить меня в больницу. Страшно подумать, что бы случилось, не окажись рядом тети Шуры или этого генерала.

Конечно, далеко не всегда было так идеально. Еще у Булгакова в романе «Мастер и Маргарита» сказано, что москвичей «испортил квартирный вопрос». Я убедилась в этом на собственном опыте, переехав в 1960-е годы в огромную коммуналку к мужу в Уланский переулок. До революции вся квартира принадлежала какому-то успешному доктору. Было в ней шесть комнат вдоль огромного (до тридцати метров в длину) коридора,

в конце которого, слева, находился отдельный туалет и ванная комната. Затем коридор сворачивал направо и упирался в обширную кухню, имеющую выход на черную лестницу. Окон в кухне не было. Квартира являлась просто копией знаменитой «Вороньей слободки» из «12 стульев» Ильфа и Петрова. Но время пошло дальше.

Перед каждой комнатой висел электрический счетчик. Как у Владимира Ковенацкого в «Сонете коммунальной квартиры»:

*Большая коммунальная квартира
Жила, как многолюдная семья.
Работал счетчик, и в тиши сортира
Ревела мощно бьющая струя...*

*и спать ложились. Лампочка одна
Тускнела в коридоре, как луна.*

Коридор почти все время был погружен в потемки. Если ответственная съемщица Татьяна Орефьевна Мусатова (она же стукачка и дура, говорившая, что у нее «надавление») шла из своей комнаты в кухню, то в своем коридорном отсеке она зажигала свет на секунду, чтобы не столкнуться с соседкой, идущей навстречу ей из кухни с раскален-

ным утюгом, например, или вскипевшим чайником. Дальнейший путь они проделывали в абсолютном мраке.

Две газовые плиты в кухне по четыре конфорки были яблоком раздора (как разделить восемь на шесть?). Кухонные столы с выдвижными ящиками и нижними шкафчиками «украшались» висячими замками. Иногда на кухне устраивалась полная иллюминация: когда все хозяйки были в сборе, над каждым столом зажигалась своя лампочка,

чтобы не пользоваться «чужим светом». Гением изобретательности оказалась одна особа, вселившаяся в 1938 году в комнату, откуда увели какого-то мелкого жулика, а может, и врага народа – об этом квартирный фольклор умалчивал. Тетка в первую очередь вывернула в своем коридорном отсеке лампочку и шла в кухню по длиннющему коридору... со свечой в руке, которую демонстративно водружала на кухонный стол. Ее не смущало, что вокруг горело пять лампочек.

Всем своим независимым видом она показывала, что в чужом электричестве, дескать, не нуждается.

Обычно в кухне проводилось общее собрание жильцов. А однажды был устроен «товарищеский суд», обвинивший меня в нарушении запрета стирать в ванной. Я не могла взять в толк, почему для стирки требовалось кипятить воду в кухне, если имеется газовая колонка в ванной комнате. Там же стояла длинная деревянная лавка и висело на стене шесть оцинкованных корыт. Кроме того, ванная была огромных размеров. Когда у меня родилась дочь, я стала стирать пеленки в ванной. Возмущению соседей не было предела. Им было проще смириться с кипятившимися ежедневно пеленками в ведре на плите, чем с «эксплуатацией» газовой колонки, которая предназначалась исключительно для мытья тела. Стирка представляла собой ритуальное



С дочерью Юлей, будущей художницей



В заботах о новорожденной. Уланский переулок, дом 5

действие. Сначала из ванной выносилась громоздкая лавка, на нее водружалось корыто, потом туда выплескивался кипяток и т. д. Несокрушимая Марь-Ивановна, мы с мужем ее прозвали Табуреткиной, так усердно стирала в своем корыте половики и тряпки, что брызги от них летели во все стороны, в том числе и в кастрюли с едой, готовящейся на плите. Мы почему-то ее особенно раздражали, хотя и независимо от нашего «пятого пункта»: кроме нас, евреев в квартире было



Наша комната в доме в Уланском переулке

предостаточно. Она попеременно объединялась то с одними, то с другими, воюя против основного врага. К Табуреткиной с готовностью примкнула картавая Софья Марковна, немолодая медсестра психиатрической больницы. Дело в том, что комната мужа была последней, и около нее, на стене, висел общий квартирный телефон, его-то и облюбовала Софья Марковна, каркая «во все воронье горло» после круглосуточного дежурства. Когда мы робко просили говорить потише («поздно, ребенок только что уснул»), в ответ раздавалось гнусное шипение: «Это не ваш личный телефон!» На просьбу протянуть длинный телефонный шнур до ванной комнаты слышалось злобное: «Ванная комната — это не телефон-автомат!»

Нам, в свою очередь, не разрешалось заходить в собственную комнату и говорить оттуда по телефону, это считалось, говоря нынешним языком, не «политкорректно».

Производить уборку мест общего пользования, равно как и говорить по телефону, следовало в присутствии соседей. У входной

двери висел «график уборки». Иногда он не совпадал с моим графиком жизни. Тогда приходилось брать в руки швабру или рано утром, или поздно вечером. Соседи выразили свой протест и обязали меня убирать квартиру в присутствии Полины Абрамовны: «Мы должны видеть, как вы это делаете».

За каждым действием соседи вели строгое наблюдение, и наш уклад жизни не вызывал у них одобрения. 17 апреля мы наконец-то решили отпраздновать свадьбу и пригласили сто человек-

гостей (по пятьдесят с каждой стороны). «Торжественное событие» совпало с пасхальным днем. Было решено сварить сто яиц. За бурным обсуждением сценария нашей свадьбы мы забыли, что поставили их на плиту. «Ваши яйца все обуглились», — радостно сообщила нам Софья Марковна. Пришлось закупать другую сотню. Яркие раскрашенные яйца вызвали неподдельный восторг наших друзей. Надолго запомнили нашу свадьбу и соседи по коммуналке.

Я не могу сказать, что равнодушие и безучастность по отношению друг к другу определяли атмосферу нашей квартиры. К примеру, когда мой муж был маленьким, Полина Абрамовна угощала его пирожками собственного приготовления. Правда, впоследствии родители мальчика тайком выбрасывали угощение, услышав однажды чистосердечное признание Полины Абрамовны: «Наконец-то очистились руки. Сегодня я месила тесто, такая грязь была под ногтями!» Разумеется, она не собиралась причинить вред здоровью ребенка. Наша другая соседка Александра Даниловна постоянно имела де-



Певзнерэлла - так называли меня друзья

ло с пищевыми продуктами. Она работала в лаборатории при столовой на Лубянке. В ее обязанности входило брать пробы на предмет наличия яда или каких-нибудь вредных веществ в еде для сотрудников НКВД, в числе которых был и ее муж Василий Кузьмич Китаев.

Их восемнадцатилетней дочери, работавшей в то время патронажной сестрой после окончания медицинского училища, я обязана спасением жизни моего еще не родившегося ребенка. Галя, в отличие от меня, сразу распознала первые симптомы наступающих родов и стала немедленно бить тревогу. Слава Богу, все обошлось сравнительно благополучно, и на свет появилась моя дочь Юля.

Через три года мне чудом удалось обменять комнату мужа в Уланском переулке и мою десятиметровую «малышку» возле Красных Ворот на двухкомнатную отдельную квартиру на первом этаже дома в новом

спальном районе. Мы были счастливы. А спустя годы всей семьей оказались в эмиграции.

Жизнь на Западе была мне испытанием, а иногда – даже искушением. И я просто исчезла бы там, пропала бы, как это случилось со многими, если бы мои дорогие друзья не одаривали меня своими бесценными письмами.

Видимо, пришло время и мне взяться за перо и отве-

тить всем друзьям сразу. Ведь сколько раз они твердили мне: «Элка, ты должна написать обо всем, что было в твоей жизни, обо всех событиях (это порой почище любого детектива), обо всех встречах (а люди-то какие!). Смотри, будет поздно!» Сколько раз слышала я эти настоятельные пожелания, уговоры, а подчас и требования в приказном порядке.

Действительно, Господь посылал мне удивительные встречи с удивительными людьми при удивительных, почти фантастических обстоятельствах. Наш дорогой отец Александр Мень сказал однажды золотые слова: «Все встречи Создатель посылает нам либо для испытания, либо для утверждения. Нет ничего случайного!»

Пусть этот краткий «опус» о коммунальном житье станет одной из глав моих воспоминаний, которые уже давно сложены... Осталось только перенести их на бумагу.

ВМЕСТО ТОГО, ЧТОБЫ ПЛАТИТЬ
РУБЛЬ ИЛИ ПОЛТОРА
== ЗА ЖУРНАЛ МОД, ==
ПОКУПАЙТЕ ЖУРНАЛ
„ИСКУССТВО ОДЕВАТЬСЯ“

Многочасовая обложка и иллюстрации.

Масса фотографий и рисунков.

Новейшие моды дамских, мужских и детских
костюмов.

ЦЕНА ЖУРНАЛА ВМЕСТЕ С ПРИЛОЖЕННОЙ К НЕМУ
БОЛЬШОЙ ВЫКРОЙКОЙ 50 к.
ТРЕБУЙТЕ У ГАЗЕТЧИКОВ

ИЗДАТЕЛЬСТВО
„КРАСНАЯ ГАЗЕТА“

ВЫШЛА И ПОСТУПИЛА
В ПРОДАЖУ

НОВАЯ

К
Н
И
Г
А

МЯТЕЖ КОРНИЛОВА

ИЗ БЕЛЫХ
МЕМОАРОВ

272 стран.

ОБЛОЖКА
в 2 краски

ЦЕНА в розничной
продаже 1 р. 50 к.

ПРОДАЖА ВЕЗДЕ

Заказы и деньги направлять:
ЛЕНИНГРАД, 2, Фонтанка, 57

Изд-ву „КРАСНАЯ ГАЗЕТА“

Издательство „КРАСНАЯ ГАЗЕТА“

ЛЕНИНГРАД, 2, Фонтанка, 57.

ПОСТУПИЛА В ПРОДАЖУ

НОВАЯ КНИГА

Л. ФРИДЛАНД



ТО,



ЧЕГО НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ

(Записки врача о половых
страданиях).

ЗАКАЗЫ НАПРАВЛЯТЬ:

ЛЕНИНГРАД, 2, Фонтанка, № 57.

Издательство „КРАСНАЯ ГАЗЕТА“.



Н.С. Смирнова

ВОСПОМИНАНИЯ НЕ КО ВРЕМЕНИ...

*Времена не выбирают,
В них живут и умирают.
Большей пошлости не свете
Нет, чем кланчить и пенять,
Будто можно те на эти,
Как на рынке поменять.*

Александр Кушнер

Разобьем капитал – станет жить веселей!

Лукавит тот, кто говорит, что коммуналка – это хорошо. Коммуналка – это плохо. Даже очень плохо, это безобразно и противно человеческой природе. Нет ничего привлекательного в скученности, тесноте, бедности и общем принудительном житье под одной крышей. Пытка присутствием везде: на работе, дома, в школе, в кино, в театре, на улице, в транспорте... И парадокс – только так называемые места общего пользования дают призрачную возможность побыть ненадолго наедине с самим собой. Твое личное пространство сведено к минимуму, и в него вечно кто-нибудь заступает без твоего на то дозволения. Трудно любить и сохранять хорошие отношения в такой обстановке. Иногда случается другая крайность, когда семья становится настолько «своей крепостью», что невозможно общаться вне нее. А уж о личной жизни говорить нечего! И самое главное – безысход-

ность. Коммуналка – это навсегда! А ведь в свое время «товарищи» обещали землю крестьянам, заводы рабочим и коммунизм, правда, к восьмидесятому году вместо Олимпийских игр. Выросло целое поколение, не знающее, что это такое, коммуналная квартира. Во многих европейских языках такого понятия нет. Многословное толкование не всегда дает точное представление о реальной сущности вещей. И слава Богу!

Наша коммуналка была из самых типичных. Мы из нее выехали в начале шестидесятых, когда мне было шестнадцать лет, совсем взрослой девочкой я была. Через два года нашу квартиру расселили окончательно и бесповоротно. Все разъехались в разные концы Москвы, следы многих потерялись. Если я сейчас расскажу о некоторых обитателях нашей огромной квартиры, они на меня в обиду не будут. Кроме того, многих и в живых-то нет. Я не к тому, что можно освободиться от их контроля, а к тому, что врать тут совсем неприлично и непристойно. Да и жизнь в коммуналке настолько у всех на виду, что имена можно будет поменять, а события – нет, тут нельзя придумывать, можно только вспоминать. Вспоминать, правда, буду я не тогдашняя, а теперешняя. Тогда-то мне в голову не приходило запоминать подробности жизни день ото дня. Теперь хотелось бы рассказать все подробно, но память –

вещь ненадежная. Детали ушли, лица расплываются в сорокалетней дали. Но стоит только начать, как четко возникает наша жизнь в скопище людей, характеров, судеб и запутанных взаимоотношений. Может, это не так неинтересно – жизнь муравейника 1950–1960-х годов, но там-то «шестидесятники» и выросли. Это наша маленькая гордость. Мы хоть к чему-то умудрились быть причастными в истории нашей великой страны.

Наш пятиэтажный дом без лифта был желто-белого цвета. Так случилось потому, что сначала было только три этажа, а потом подстроили еще два, но уже с отдельными квартирами. Я помню еще время, когда наш дом был самым высоким в округе. В нем, еще трехэтажном, сначала было общежитие Института Красной Профессуры, был такой, где срочным порядком формировались кадры для советской власти и где получали высшее образование люди, верные ей, но не получившие по многим причинам образования среднего. Они были преданы власти без лести, свято верившие в новый установленный порядок. Перед войной вышеозначенный институт, а за ним и общежитие ликвидировали, и там стали жить обычные москвичи. А метро «Аэропорт» было на моей памяти всегда.

Мы жили на бывшем последнем, третьем этаже. Поднимаешься по широкой лестнице, на лестничной клетке справа и слева две двери, смотрящие друг другу в лицо. Наша дверь слева. Справа коммуналка вдвое больше нашей, совсем длинная и страшная, уходящая вдаль сужающимся до черной точки коридором. Я почему-то в ту квартиру не заходила, боялась, но жила в ней потрясающей красоты старуха, которая была внешне очень похожа на Анну Ахматову последних лет. Высокая, седая, величаво дородная и породистая, с прямой спиной, она ходила, не глядя ни на

кого и ни на кого не похожая в своем величии. Это была просто королева, даже мы, дети, это понимали. Теперь ясно, что похожа она была по стати своей и горделивой посадке головы на знаменитую поэтессу, а тогда мы просто замирали, когда она проходила мимо нас с авоськой то пустой, то наполненной нехитрой снедью, по своим королевским делам. А еще, наверное, надо объяснить, что такое «авоська». Дивное русское слово «авось» и артист Театра сатиры Хенкин еще до войны придумали-сложили эту незаменимую авоську, сетку, сплетенную из разного материала и соединенную наверху с двух сторон в ручки. Плетение авосек было важным государственным делом, которое было поручено армии зеков всех тюрем и лагерей. Нечего без дела сидеть!

На нашей двери был один звонок, но в каждую комнату надо нажимать разное количество сигналов. Да, они, звонки-сигналы эти, были еще короткие и длинные. Один длинный, два коротких, три коротких, два длинных и так далее. К нам надо было звонить три коротких звонка. Когда поднимаешься по лестнице, на последнем марше можно простукать в стенку «Спартак – чемпион» – тук, тук, тук-тук-тук, и если кто-нибудь был дома, то дверь тебе открывали и без звонка. Наша комната была первой слева, и одна из стен выходила прямо на лестницу, потом по нашей же стороне по коридору после четырех ступенек наверх было еще две комнаты, потом огромная кухня, дальше ванная и уборная. По правой стороне до ступенек было две комнаты, после ступенек – четыре. Всего девять семей. В них двадцать взрослых и восемь детей. Дети почти все послевоенные, во всяком случае все еще маленькие к началу пятидесятых.

Коридор был большой, вытянутый вдаль. Воспитывали нас, детей, одинаково. Совсем незрелыми, лет двенадцати-тринадцати,

мы все подключались к общей уборке. Целую неделю надо было мыть туалет и ванную комнату, натирать до блеска медные краны, оставлять в уборной нарезанную газетную бумагу, внимательно следя, чтобы на ней не оказалось портретов вождей. Туалетной бумаги тогда не было и в помине. Квадраты газетной бумаги внимательно прочитывались перед употреблением. Там бывала «Литературная газета», «Известия», «Вечерняя Москва». Но чаще всего это была серьезная «Правда», так как члены партии были обязаны на нее подписываться и недостатка в ней не было. По газетам же можно было понять, чья неделя убирать квартиру.

Но самое тяжелое – это мыть пол в общем коридоре. Пол представлял собой струганные доски вдоль всего коридора, не покрытые масляной краской, что делало бы процесс мытья этой палубы куда как более приятным. Мыть пол надо было руками, согнувшись в три погибели, тщательно оттирая собравшуюся за неделю уличную грязь. После мытья полагалось натереть пол оранжевой мастикой, которая оставляла на несколько дней желтые перчатки на руках и оранжевый ореол в лунках ногтей. В школе руки приходилось прятать под фартук. Счастье, если дежурство выпадало один раз в два месяца. Все семьи дежурили по очереди и выполняли эту повинность весьма ответственно.

Через одну комнату от нашей жили две сестры и их мать, старая деревенская женщина. «Бьет», – говорила она, утирая слезы и ища сочувствия у соседей. Какая из дочерей ее была, непонятно. Соседское сочувствие ей было совсем ни к чему, она говорила это «бьет» в воздух, ни к кому конкретно не обращаясь, ни одну из дочерей не называя. Я совсем не помню, как их зовут, даже приблизительно, такой замкнутый образ жизни они вели. Одна из них молодая и красивая, вторая, отнюдь не старая, но абсолютно не-

потребного вида, страшила и нелепая бабища. Она не была высокого роста, но была странно сбита, сутулая, с большой головой, уходящей в плечи, и кривыми ногами. Она была у младшей сестры прислугой, нянькой, кухаркой. Она же стирала белье.

Это было что-то! Стирка белья представляла собой целое театральное действо. Но прежде несколько слов о кухне, большой даже для такой квартиры, как наша. В ней помещались девять столов вдоль стен, над столами висели деревянные скошенные книзу полки с кастрюлями, крышками и мисками разного калибра. Таких полок в наших домах теперь нет. Я такие же точно видела недавно во Франции в замке, в котором живет уже двадцатое поколение французской аристократии. Каким чудом форма этих полок совпадает, объяснить разумно нельзя.

На всю кухню была единственная убогая круглая раковина (никакой белой эмали, как вы понимаете) и над ней один кран с холодной водой, другого с горячей, как вам могло бы показаться, не было и в помине. Кран медный, его необходимо натирать. Но зато как он блестит, когда его натрешь мелом! Нет, не мелом, а зубным порошком из металлической коробочки. Иногда он облагораживался мятным запахом, отчего та же коробочка стоила дороже. Сама раковина была закругленной формы, поставить в нее что-либо было абсолютно невозможно.

А огромное окно, выходящее во двор! А когда-то еще раньше, пока дом напротив не построили, с нашего третьего этажа можно было отчетливо различить печально известное Ходынское поле, которое позже стало просто аэродромом. Кухня – место встречи, где все готовят, моют посуду, стирают, отмывают малых детишек, разговаривают, сплетничают, переругиваются, просто бранятся или тяжело с вызовом молчат. Бывало и такое, что соседи годами проходили

мимо друг друга, не проронив ни слова. Готовила наша коммуналка свою скудную еду на двух газовых четырехконфорочных плитах, а до этого были керосинки, у того, кто побогаче, – керогазы, а еще до этого, как мне рассказала сестра, большая плита посреди кухни. Плиту сначала топили дровами, а когда с дровами стало плохо, появились вышеупомянутые керогазы и керосинки прямо на ее железной поверхности. Но я этого не помню. Ели же все в своих комнатах, унося кастрюли, кастрюльки, миски и сковородки в комнаты. Посуду мыли все на той же кухне, разогревая воду, в алюминиевых тазах с высокими бортами, на которых грязная и жирная вода оставляла осклизлый ободок после мытья тарелок и кастрюль, а приведение в порядок мясорубки превращалось в пытку. Не было никаких «Фейри» и прочих моющих средств, не было синтетических мочалок, резиновых перчаток. Ничего этого не было. Обливные миски и кастрюльки еще не появились, так называли позже эмалированную посуду. Гораздо чаще встречались тарелки кузнецовского фарфора, серебряные ложки, ножи и вилки. И никого это не удивляло. У некоторых они остались еще с дореволюционных времен, а другие приобрели в многочисленных и не очень дорогих комиссионных магазинах.

Стирали тоже на кухне. Сразу направо от кухонной двери стоял деревянный топчан. Вот на этот колченогий топчан и ставилось корыто, в котором все стирали. Белье еще надо было прокипятить в баке, куда бросали каустиковую соду для кипячения. Никаких «Тайдов», никаких «Лосков» или «Ариелей». Вместо всего этого кусок коричневого хозяйственного мыла. Для облегчения стирки мыло можно было натереть на терке и развести в корыте. В кухне стоял жаркий пар, но все терпели, так как придет и твоя очередь стирать. А сегодня мы готовим под хри-

плое пение старшей из сестер: «Разобьем капитал – станет жить веселей! Разобьем капитал – станет жить веселей!» – и белье в такт словам полощется слева направо в цинковом корыте. И снова: «Разобьем капитал – станет жить веселей! Разобьем капитал, станет жить веселей!» – и белье с остервенением трется распаренными руками, а потом вынимается-вздымается высоко из корыта и затем с облегчением устало шваркается в него обратно. Вода затекает под мышки, расплескивается на живот, распаривает не только руки, но и лицо. И так до бесконечности, пока все не будет постирано, выполоскано и отжато. Строчка одна и та же, поется на мотив известной русской песни «Ах, зачем эта ночь так была хороша, не болела бы грудь, не страдала б душа...» Мотив неприхотливый и легко запоминающийся. Других слов, кроме угрожающе оптимистических «Разобьем капитал...», квартира наша не знала, да так никогда и не узнала. Как она стирала, эта необъяснимо странная женщина, под незатейливый и навязчиво повторяющийся мотив и до одурения однообразно повторявшиеся слова! Всю свою нерастраченную женскую силу она вкладывала в процесс стирки и пения. Слова про разбитый капитал выговаривались четко и внятно, с самозабвенным чувством сопричастности в великой борьбе пролетариата за более веселую и светлую жизнь.

Сестры были безнадежно не замужем. В комнату к себе никогда и никого не пускали. Можно было только бросить случайный взгляд, когда дверь открывалась, но она так стремительно захлопывалась, что это было похоже на двадцать пятый кадр. И вот случилось самое необычайное событие в жизни нашей коммуналки – они усыновили девочку. Конечно, не усыновили, а удочерили. Бельенькая, хорошенькая, молчаливая и пугливая девочка с тощими косицами привлекала



НАТАША Смирнова, 9 лет, в пальто, перешитом из маминого, на лавочке в "Маленьком парке"

внимание всей квартиры. Житье их совместное было, на наш детский взгляд, абсолютно нелепым. Девочка годами не выходила из комнаты, протаскиваемая за руку или проталкиваемая в спину одной из сестер по коридору. Та, которая помоложе и интеллигентного вида, толкала девочку впереди себя, не давая никому никакой возможности поговорить с ней. А революционная сестра, похожая в эти моменты на Бабу-Ягу, тащила ее за собой, рассекая воздух своим странным телом. Эти сестры сделали доброе дело, ведь после войны было много сирот. Девочка сначала была совсем маленькая, потом подросла, но неизменным оставался ритуал протаскивания ее по коридору подальше от наших любопытствующих глаз. Они первыми уехали из нашей огромной квартиры, боясь, что кто-нибудь донесет девочке, что она прием-

ная. А зря – мы бы ее очень любили. Сводили бы ее в кино, которое называлось «Церквушка».

Кинотеатр-клуб находился в бывшей церкви, поэтому весь район называл «Церквушкой». Стояла она на задах партшколы, здание которой до сих пор высится около метро «Аэропорт». В партшколе учились взрослые и серьезные дяди и тети, а в «Церквушке» за копейки развлекалось остальное население района. Когда-то это была настоящая церковь, но нам, маленьким атеистам, от этого было ни жарко ни холодно. Но зато там показывали трофейные кинофильмы и самодеятельные спектакли, там выступали какие-то странные певцы и цирковые группы. Это был культурный центр района. Поход в «Церквушку» был целым событием. С годами расстояние от дома до нее уменьшалось, мы неумолимо подрастали, но кино по-прежнему смотрели там. Внутри были четыре огромные колонны, экран был слева от входа, как я теперь понимаю, в алтарной части, а выход справа от экрана. Входные билеты стоили копейки, которые нам с готовностью выдавали молодые еще родители на вечерние непоздние сеансы. Так что соседки были не правы, мы бы вполне сводили их приемную дочку в кино и не рассказали бы ей о тайне, свято хранимой всей квартирой. Мы умели держать язык за зубами, без этого в коммуналке жить нельзя.

А «Церквушку» снесли после того, как партшколе понадобилась земля под расширение. Нелепое здание без купола было безжалостно снесено с лица земли. «Разобьем капитал – станет жить веселей»?

P. S. Моя сестра напомнила мне, как звали сестер. Если торжественно по-деревенски – Ефросинья и Акулина. Ефросинью все в квартире называли Хвениюшкой, это она пела про разбитый капитал, а старшая величала себя Алиной, найдя это более благозвучным для Москвы.

Паек

В противовес всеобщей нищете нашего коммунального братства в первой комнате по правой стороне от входа жила, как бы теперь сказали, «неполная», но вполне небедная семья, которая состояла из сына, начинающего лысеть неженатого перестарка, и его матери. То, что у нее был муж, живым свидетельством чего был сын, вполне безобидный человек, не укладывалось ни во взрослые, ни в детские головы. Она-то и была нашей знаменитостью и достопримечательностью. Во-первых, она была старой большевичкой. Слово «старый» означало скорее не возраст, а что в жизни носителя сего титула много лет присутствовала коммунистическая партия. Весь цирк заключался в том, что сама она в партии никогда не состояла, а марксистом-большевиком был давно умерший, между революцией и большим террором, ее муж. Во-вторых, они с сыном жили в самой большой комнате. Там кроме очень красивой мебели из красного дерева спокойно умещался черный рояль, на котором наша старая большевичка, будем справедливы, вполне виртуозно играла музыке, которую по радио не передавали. А по радио бесконечным потоком лилась классическая музыка, поэтому я до сих пор могу спеть с оркестром или «индивидуальным» исполнителем почти все из репертуара мировой оперной и инструментальной классики, не всегда точно представляя, кто автор музыки и название произведения. Ежедневно в семь часов вечера по радио начинался театр у микрофона. Ничего плохого в этом не было. Вся дозволенная властями русская и зарубежная классика звучала из сначала черных тарелок, а потом и вполне пристойных одноканальных радиоприемников. В середине пятидесятых появились уже многоканальные с зелеными глазками. Но музыки, которая неслась из соседской ком-

наты, не передавали. Теперь я знаю, что предпочитала соседка Вагнера и Листа. Я их тоже могу петь, так как комната Марьи Петровны и ее сына располагалась практически напротив нашей.

Марью Петровну все дружно ненавидели, но не за игру на рояле, к которой все привыкли, а за пайки (ударение на «и»). Паек и пайка – два слова-соседа, только разошлись они совсем в разные стороны. У нее был паек, а все остальные обитатели получали мизерную зарплату, чтобы не сдохнуть с голоду.

А с пайком все было иначе! Счастливишки, к которым принадлежала и Мария Петровна, получали его раз в неделю. Нет чтобы разбирать свои продуктовые пайки (ударение на «и») у себя в комнате! Она гордо проносила свою тяжело нагруженную авоську на кухню и своими старыми птичьими, но весьма крепкими пальцами разбирала заслуженный ее мужем-большевиком в эмиграции и, к счастью, ушедшим из жизни, не успев сесть и стигнуть в лагерях, паек. Муж был накоротке знаком с Ульяновым-Лениным еще до революции, что возвышало Марию Петровну и в своих и в чужих глазах, так как она даже самого главного революционера видела где-то в Европах раза два или, может быть, даже три. Добавлю, если читатель мне позволит, одну пикантную подробность. Мой папа, ехидничая, уточнял без свидетелей, что попердывающая без стеснения соседка вполне могла делать это и при первом вожде мирового пролетариата, а уж «шептуна пустить» в его присутствии сам Бог велел!

Продукты, лежащие в авоське, а потом разбираемые на кухонном столе, были отменного качества. Мне запали в душу куры, тушки которых были так розовы, так чисты, что их не надо было опаливать над огнем! Ни перьев, ни пуха на них не было! Бери и вари, или жарь. Но время было такое, что

сначала для экономии все-таки следовало сварить бульон, а потом уже сваренную курицу можно было пожарить на сковороде и есть с рисом или картошкой. А она резала кур и жарила их сразу, минуя бульонную стадию, представляете? Восхитительного качества котлеты лежали в пергаментной бумаге и очень вкусно пахли в отличие от покупаемых с благодарностью всеми нами шестикопеечных изделий микояновского завода. Печенье, пирожные, шоколадные конфеты, сырокопченая, телячья или языковая колбаса, ветчина со слезой, корейка, грудинка... А запах подкопченных сосисок и сарделек стоит в моей памяти до сих пор. Теперь таких нет. Там было много всего, заслуженного непосильным дореволюционным эмигрантским бытием. Только зачем все это надо было разбирать, раскладывать на кучки, резать тонкими ломтиками перед нами всеми, детьми и взрослыми, я в толк не возьму до сих пор. Пайки эти до последних советских времен стоили копейки. Пенсии старой большевички и небольшой зарплаты ее сына вполне хватало на безбедное и достойное прожитье. Спасибо заботливому государству!

Интересно, что с моими родителями она почти разговаривала. Где-то в моем втором классе она, обнаружив у меня хороший слух, захотела учить музыке. Я благодарна ей за это. Надо же быть справедливой! Но продолжения не последовало, потому что денег у родителей на инструмент не было, да и поставить его в нашей комнате было некуда.

Но даже при этом, когда память сохранила живые человеческие поступки причудливо выделенной из нашей среды женщины, я прекрасно помню, насколько высокомерной и неприступной была она не только для детей, но и для взрослых. Презирала Марья Петровна всех нас, вот что! Да и была она в нашей квартире ответственной квартиро-

съемщицей, что давало ей некоторое моральное преимущество перед всеми нами. Этот ответственный пост накладывал на нее и некоторые обязательства. Ежемесячно она распределяла подушно квартплату, плату за электричество, тоже подушно, то есть по количеству живущих в каждой комнате, а позже и плату за поставленный один на всех телефон. Д-7-37-24. У кого он теперь?

Однажды она развеселила всех не ответственных квартиросъемщиков объявлением в одной на всех уборной с призывом использовать мелко нарезанные газетные клочки бумаги, чтобы не забивать ими единственный на всех унитаз. Можно сейчас представить себе один толчок почти на тридцать человек? Занятная арифметика! В ответ, так же письменно, ее послали далеко и предложили вытирать ж... пальцем. Свободолюбивый протестант так и не был найден. Получай, деревня, трактор! Но это был один из нас, которым мы все были горды некоторое время. Вот такая незабываемая заочная переписка в отхожем месте! Пакет или пайка! Не все ли равно, где заканчивался их путь, один для всех? Верхний бачок, исправно наполнявшийся водой, смывал последствия потребления любого качества продуктов, уравнивая всех обитателей не худшей из коммунальных квартир нашего детства.

Да, я забыла сказать, что всякого хулиганства по добавлению в кастрюли керосина и прочей другой гадости не было никогда.

Секретики

Поздний вечер. За окном темно, но еще не совсем. В домах напротив светятся окна. Свет в них разный: яркий, люстровый, или оранжевый – в комнате горит абажур – народ ужинает, или мерцающий голубой – в доме смотрят телевизор. Кое-где в окнах темно – уже спать легли. Занавески задернуты, но не все. Соты городских улыбов, загля-





нуть в которые даже при желании невозможно. Время года? Пожалуй, ранняя весна. Самое начало марта. Предощущение женского праздника под названием «Женщина тоже человек» – Восьмое марта. Праздник никто не отменил, он жив до сих пор. Все его ждут, как ждут весну после затяжной московской зимы. Ждут букеты желтых цветов, отмеченных Булгаковым в «Мастере и Маргарите». Помните, их первая встреча и женщина с отвратительными желтыми цветами? Раньше весной была только серо-желтая мимоза со странным отвратительным запахом, неповторимым и незабываемым, спрессованная и помятая при транспортировке. Полагалось, получив букет, опустить в него нос, вдохнуть запах и сказать: «Какая прелесть!» А потом букет высыхал в вазе и долго еще украшал дом своим почти живым видом. Теперь времена другие, нам повезло. Всюду море цветов, самых разных и красивых. Выбирай – не хочу. Цены разные, это правда, но и жизнь теперь разная для нас для всех.

А в наше детство, пришедшееся на начало пятидесятых годов, весна начиналась с огромных луж. Огромных – не то слово, невероятно больших и, кроме того, глубоких. Всюду по краям этих луж лежит уже рыхлый снег, и все это привлекает малышку. Кто похрабрее, давит утренние льдинки, вырастающие по краям моря разлитого кружевными хрустиками. На ногах еще зимние ботинки, отяжеленные калошами, чаще одинаково мальчуковые для всех, шапки можно сдвинуть на затылок, снять варежки с рук, на которых всю

зиму не проходили цыпки на тыльной стороне. У сегодняшней малышки такой напасты нет, загадочные цыпки начисто исчезли из обихода. С крыш уже капает вовсю, обозначая странные, будто гвоздиками пробитые во льду и снегу ровные дорожки вдоль стен домов.

На нашем «Аэропорте» было два парка – Большой и Маленький. Все их помнят до сих пор, даже те, кто давным-давно там не живет. Маленький парк находился на задах Протезного завода, сразу перед нашим домом. (Теперь и Протезный завод и парк исчезли бесследно, отдав свое пространство автостоянке.) Весной он превращался в море, по которому вполне можно было плавать. Вы будете смеяться, но плавали, не боясь ничего, на всем. На старых тазах, на дырявых цинковых корытах, на старых трухлявых дверях, на откуда-то берущихся плотках. Что такое плот? Две-три доски, сколоченные вместе неизвестно для чего, слова доброго не стоили. Все это появлялось из-под снега, запрятанное зимой и людьми вдоль заборов или в темных дворовых углах. Однажды мы с соседкой



С Ниной Балаховой

Нинкой, моей ровесницей, решили поиграть в папанинцев. (Папанин – герой Арктики тридцатых годов.) Поиграли! Храбро и бездумно отплыли в самую середину на тухлятом плотике, а обратно ходу нет – благополучно сломалась прогнившая за зиму палка, которой мы отталкивались от неровного дна, чтобы продвигаться вперед. Плот почему-то решил накрениться на один бок так, что нам не оставалось ничего другого, как быстро покинуть три жалкие жердочки, сколоченные чьими-то неумелыми руками.

Лет нам было по семь-восемь, самое начало школы. Сегодняшние восьмилетние старше нас, тогдашних хилых послевоенных детей. Мы были помладше душевно и физически своих теперешних сверстников. Помню леденящий душу ужас, охвативший нас. А когда страшно, раздумывать долго некогда. Вы знаете, что мы сделали? Просто съехали на полах с плота в ледяную грязную лужу, взявшись за руки. Сразу не поняли, что лужа намного глубже, чем представлялось. Вода была даже не по колено, а по половину бедра. Мы оказались в самой глубокой части воображаемого Ледовитого океана. Надо было срочно добираться до берега. Продвижение вперед поднимало волны, а они в свою очередь уже бесповоротно намочили и наполнили водой наши синие шаровары с начесом изнутри и с резинкой, собирающей их на щиколотке. В ботинках хлопало, и было невыносимо холодно.

Примчались мы стрелой домой на третий этаж каждая в свою комнату нашей незабвенной коммуналки. Нинкина комната была первой после ступенек по правой стороне коридора. Скинуты ботинки, стянуты шаровары, ставшие тяжеленными от воды, сняты чулки, вытерты ноги. Это сказать быстро, а получалось совсем даже не быстро. Непослушные мокрые шнурки едва поддавались слабым пальчикам. Узел как назло заты-

нулся по-дурацки так, что снять ботинки было нельзя, но не развязать тоже нельзя. Ноги путаются в резинках мокрых шаровар. Надо бежать в ванную комнату, что в самой глубине коридора, быстро отжать чулочки и шаровары, вернуться обратно, положить их на батарею в своей комнате, ботинки – под батарею, вылив предварительно из них всю воду. Озябшие красные ноги – под одеяло, и одна мысль: хоть бы мама не узнала! Почему-то это считалось большим проступком, достойным наказания, которого ни один ребенок в мире не заслуживает. Быстрый взгляд на стенку – там часы, бесстрастно отсчитывающие время. До вечера еще далеко. Теперь надо договориться с Нинкой, чтобы молчала, не протрепалась. Обещала. Она будет молчать точно. Ей-то влепят так, как мне и не снилось. У нее запасных чулок нет, а у меня есть кроме намоченных еще одни, коричневые. Крепились они допотопным образом резиночками на лифчик белого цвета, застегивающийся на груди такими же белыми матерчатыми пуговицами, как на наволочках. Сбоку под ребрышками висели резинки с замочками. Таких теперь тоже нет. Только в нашей памяти и маминой шкапулке осталось их несколько. Чулочки протирались на пятках, и мама научила меня рано штопать их двумя способами. Один – традиционный. Надо было сеточку плести из края в край. А другой – посложнее, петельками. Заплатки держались дольше, чем появлялись вокруг новые дырки, протертые дубовыми ботинками фабрики «Скороход».

Секрет продержался ровно до вечера и не по нашей вине. У Нинки была глухонемая тетка Мара, которую за каким-то лешим принесло к окну, выходящему на Маленький парк, именно тогда, когда мы, оставляя фонтаны грязной талой воды вокруг себя, смело покидали тонущий плот. Слуха у нее не было, но зрение было прекрасным, как у орла.

Нинкина мать привезла ее после войны из своей родной деревни, так как в семье было уже трое детей и за ними надо было ухаживать. Вот глухонемая и ухаживала, готовила, убирала, громким мычанием и чрезвычайно выразительными жестами объясняя все, что ей надо было. В нашей огромной квартире все ее так и звали – «глухонемая Мара». Почему до вечера? Как вы понимаете, вечером пришли наши родители. Нинкина тетка умела объясняться жестами с сестрой, Нинкиной матерью. Что уж она ей наговорила-напоказывала жестами и мычанием, не знаю. Нинка здорово орала, ее молча и деловито лупил отец ремнем, суровый мужчина, недавно вернувшийся из армии. Мне влетело меньше, чем Нинке, только словесно. Речь шла на довольно высоких тонах о возможной простуде и необходимости беречь вещи.

К вечеру вся одежда, кроме тяжелых шаровар, высохла. Единственные ботинки просохли окончательно только к утру следующего дня и стали совсем каляными и страшными. Но школа ждать не будет. Ноги пришлось втискивать в теплое негнущееся их нутро. К середине дня они разошлись, растоптались, и уже ничто не напоминало вчерашнего происшествия.

Потом снег стаивал окончательно, лужа постепенно высыхала. Пробивалась тощая травка через прошлогодние опавшие листья. И вот тут начиналось самое интересное – «секретики». Кто помнит, что это такое? Осенью мы их делали тайно друг от друга. В Маленьком парке было много деревьев. Надо было под одним из них вырыть ямку. Делали мы ее руками и палочками, так как лопаток не было, да и сделать свой секретик надо было в полной тайне ото всех. Ямка выкладывалась по дну красивой блестящей бумагой, а лучше всего – осколком зеркала.

Значит, так – вспоминаю. Мой последний секретик был таким: внизу – круглое

зеркальце, его я выменяла на пивную из-под «Жигулевского» бутылку у барахольщика, который заглядывал в наш двор. Приезжал он на лошади и орал во все горло: «Старье берем-собираем!» Звучало это приблизительно так: «Старьooooо брьом-сбирааааа-им!» Предлагал он круглые зеркальца с картонной окантовкой, шарики на резинке, белых матовых лебедей с красными носами, которые могли плавать в блюде с водой, и много всякой другой чепухи, уже для взрослых. Итак, зеркальце в самом низу ямки, края приматы ладошкой и обложены «золотой бумажкой». Золотой она не была, а была серебряной, но почему-то называлась «золотцем». Это были аккуратно собираемые заранее обертки от конфет. Бока ямки для верности можно было укрепить камешками и палочками. Зеркальце расположено внизу, по бокам серебристая бумажка (золотце), а на зеркальце мелочь всякая, не денежная, но дорогая сердцу: красивая пуговица, взятая у мамы без разрешения, иногда какая-нибудь сломанная брошка, цветное стеклышко, бумажный цветок, красиво сложенный фантик, перышко-вставочка от ручки. После этого сверху все прикрывалось большим стеклом, а его еще надо было заранее найти. Края приминались аккуратно, и все сверху засыпалось тонким слоем земли, а потом уже пожухлыми листьями. Следует добавить, что Буратино и его золотые монеты, зарытые на Поле Чудес в Стране Дураков, подсознательно ассоциировались с нашими секретиками и незримо присутствовали при священнодействии. Вдруг вырастет тоже дерево с деньгами на Поле Чудес? Страна Дураков оставалась в Алексей-Толстовском переложении, в жизнь ее тащить было нельзя.

После всего этого надо было ждать прихода весны и тепла и идти на поиски секретика. Тут уже можно было идти не одной, а взять в компанию подружек. Иногда пута-

лось место, не сразу вспоминалось дерево, под которым следует искать сокровища. Прилежность, с какой ты делала свою ямку, отзывалась весной, когда под руками появлялось стекло, засыпанное землей. Руки осторожно отодвигают остатки прелых листьев и влажной еще земли, каких-то палочек, и под стеклом яркими красками проявляются предметы, зарытые целую зиму назад. Все такое красивое, яркое, нетленное, живое!

Ежегодное оживление похороненных предметов, вот что это было. Наверное, преодоление страха смерти по-детски. Время было такое, что все говорило о прошедшей войне – книги, фильмы, бесконечные воспоминания родителей, безрассудная храбрость Васька Трубачева, подвиги пионеров-героев, готовность умереть за Родину сейчас, не потом, а когда Родине понадобится. Гордость за победивших в войне переполняла наши сердца. Взрослый или ребенок, ты безраздельно принадлежал своей стране. Но секретик принадлежал только тебе, он принадлежал тебе всю зиму, а весной ты вольна была открывать его или нет. Это было твое решение. Ты выбирала подружек для священнодействия, а потом они выбирали тебя для открытия своего секретика – чей лучше? Тут все было справедливо.

Я только забыла, куда девалось содержание тайничка. Выбрасывалось, наверное, как часто мы выбрасываем из памяти и пытаемся быстрее забыть самое дорогое, чтобы не было больно от потери.

Довесок

О Маленьком парке мы уже поговорили, но существовал еще и второй, Большой парк, который одной стороной выходил к Чапаевскому переулку, а другой к нашим домам. Он был разделен на три части: Каркасы, Военная часть и собственно Парк. Василий Сталин (не он, конечно, но он был инициа-

тором) начал строить что-то спортивное, называемое в округе Каркасами. Это должен был быть то ли каток, то ли бассейн. Остался только фундамент и висящие над ним металлические конструкции, со временем разобранные. Место это было загадочное. На что оно было похоже? Право, не знаю, скорее всего на инопланетный аэродром, как теперь показывают в кино, или заброшенный ангар. Сначала по периметру фундамента стояли огромные высоченные железные конструкции. Потом железо разобрали на металлолом, а фундамент остался на долгие годы. Кирпич оказался невостребованным. Место это притягивало всю ребятню района. Зимой мы прыгали со стен каркасов в снег. Высота была где-то больше пяти метров, и пока летишь вниз, сердце замирает и останавливается дыхание. Бух! И ты ногами в мягком пушистом снегу по самое некуда. Потом из него выбираешься, залезаешь снова на стены и снова прыгаешь. Страшно было всегда, но признаться в этом было совершенно невозможно. Существовал кодекс, никем не писанный, но соблюдаемый абсолютно, – о страхе ни слова! Там прекрасно игралось в «казаки-разбойники». Там гуляли собачники с собаками. Но там не было ни единого, самого чухлого, деревца. Теперь на этом месте строят что-то невероятное, очень похожее на огромный инопланетный корабль, устремленный в небо и придавивший к земле все остальные дома, даже мидовский с аптекой. Рекламные щиты обещают небывалый комфорт, скромно обходя вопрос о цене за квадратный метр возводимого небывалыми темпами кондоминиума. Не подумайте чего дурного – это не ругательство...

Деревья были в Большом парке, который выходил на Ленинградское шоссе (ставшее позже Ленинградским проспектом), отделенное от каркасов военной частью. Тут были ал-



Большой парк, где гуляли все дети нашего двора, середина 1950-х гг.

леи, дорожки, лужайки, тропинки. Одна самая широкая аллея выходила прямо к шоссе. С двух сторон при выходе были два бюста – Ленина и Сталина. Их время от времени красили серебряной краской. Они были такие важные, но при этом родные и привычные. Прошло время, и один из бюстов исчез, догадайтесь, какой. Второй простоял несколько дольше, но и его черед в свое время пришел. А пока они еще стоят в конце аллеи. В одну линию с ними к «Соколу» идет ряд домов, отделяя Большой парк от проезжей части Ленинградского шоссе. Дома деревянные в два этажа. А один сложен из кирпича. Именно в нем был в семнадцатом году штаб революционеров, и по этому поводу в проеме между окнами на первом этаже еще висит памятная доска. Дом этот стоит совсем близко к «Соколу». А рядом с этим революционным домом – еще один, который известен как Маленькая булочная. Большая находилась у метро «Аэропорт». Туда нас родители до поры до времени не посылали, боясь широкого перехода и несущихся мимо малочисленных машин.

Сейчас невозможно объяснить, что такое хлеб в жизни семьи. Я не смогла бы найти слов, они все равно в этой ситуации ничего не значат. Понять это можно, только прочувствовав всем своим существом. Ведь абсолютно безнадежное дело объяснять, что такое любовь, тому, кто ее не пережил, или голод тому, кто его не перенес. Но я очень хорошо помню и могу рассказать о том, что хлеб продавался на вес. Хлеб взвешивали на килограммы. Нет, наверное, надо сначала рассказать о другом. Маленькая булочная стояла на своем месте много лет. Деревянные стены потемнели до черноты, бревна вдоль растрескались. В булочную вела шаткая лесенка с непрочными перилами. Очень маленькая дверь была обита каким-то дерматином. Темного цвета ватин торчал клоками из двери, которая визжала и нещад-

но скрипела всеми своими петлями. Взрослым приходилось нагибаться, чтобы войти, не ударив голову. Помещение было разделено прилавком на две части. За прилавком хлеб лежал на полках, тоже деревянных. Смешивающийся запах хлеба и дерева не описать: запах вечной опары и животворящей свежести. Хлеб был в форме кирпичиков, белый и черный. По цвету они были очень похожи. Белый хлеб был просто серого цвета, а черный – темно-серого. В самом прилавке было устройство, похожее на гильотину. Нож был закреплен в металлических пазах, а та часть, которая была со стороны продавца, имела ручку, какие теперь делают на пилах. Да! Это было похоже на пилу без зубьев, которая резала хлеб. Если хлеб был очень мягким, то нож скорее проминал хлеб, а не резал. Интересно, что я до сих пор, когда покупаю «половинку черного», глазами выбираю большую от целого часть. «Мне полкило белого и триста грамм черного». Продавщица в бывшем белом халате протягивала руку назад и не глядя брала требуемый батон с полки, плотно укладывала его под нож, примеривалась... И вот тут наступало главное. Глаза неотступно следили за ее руками. На прилавке весы из двух круглых металлических тарелок с невысокими бортиками. На одну кладется отрезанный хлеб, на другую – гирьки. Между чашечками две уточки, они должны встретиться приплюснутыми по горизонтали клювами, если вес правильный. Шмяк – и хлеб на одной стороне, шмяк – и требуемая гирька на другой. Не хватает со стороны хлеба, уточкин клюв вниз. Ура! Продавщица отрезает еще небольшой кусочек и кладет его рядом с большим. Клювики неуверенно встречаются носом, и ты можешь забрать покупку. Вот этот второй кусочек хлеба называется довеском. Твое полное право съесть его по дороге. Какое наслаждение, если он отрезался со сто-

роны горбушки. А если идешь за хлебом с подружками, еще интереснее – кому достанется довесок побольше.

Я не скажу, что мы голодали, совсем нет. Эта печальная участь досталась нашим родителям. Но голод военный, или совсем от нас далекий тридцатых годов, или уж времен царя Гороха – времен Гражданской войны остался в памяти тех, кто перенес войну Отечественную и с радости нарожал детей в совсем не приспособленное для этого время. Слаще этого довеска не было ничего в нашем послевоенном детстве. Вру, конечно, было. Это были конфеты-подушечки, продаваемые в той же булочной. Они лежали справа от весов прямо на деревянном прилавке большой слипшейся горой, от которой ножом отковыривался кусок, похожий на камень. Стоили эти конфеты очень дешево, совсем копейки даже по тем меркам. Посылаемые за хлебом в такое длинное путешествие вполне могли позволить себе баловство – пятьдесят, сто граммов слипшихся и тающих в куске серо-коричневой бумаги подушечек.

Когда мы подросли, нас стали посылаять в Большую булочную, что была рядом с метро «Аэропорт». Там уже появились батоны за рубль тридцать семь, белые, вкусные. А еще были бывшие французские, а тогда городские булочки, маленькие такие батончики, очень похожие на настоящие, большие. Название «французская булочка» осталось с дореволюционных времен, а потом кто-то решил, что «городская» звучит более патриотично. Стоили они семь копеек. Сыр и колбасу покупали в молочном магазине рядом с тем же метро «Аэропорт». Просили порезать сто пятьдесят граммов сыра и двести граммов колбасы. Холодильники появились у нормальных людей в середине пятидесятых годов, и поэтому съесть купленное нужно было за один-два дня. Очередь терпеливо ждала, пока продавщица порежет требуемое количество колбасы или



С Галей Ивановой (справа) по дороге из магазина «Молоко»

сыра, которые потом заворачивались в прозрачную (пергаментную) бумагу, а потом еще в обычную оберточную. Все это помещалось в авоське и неслось домой.

Немного позже появились конфеты «Золотой ключик», вынимающий все пломбы из некрепких наших зубов; «Барбарис», веселые вкусные хрустящие леденцы; «Монпансье» в круглых железных коробочках. А несколько позже появилось еще одно лакомство – мороженое в рожке за пятнадцать копеек... До этого было только эскимо на палочке, пломбир и фруктовое в бумажном стаканчике. Справедливости ради надо сказать, что пломбиров было два – сливочный и молочный. А после рожка появились разнообразные пирожные-мороженые, которые стоили двадцать восемь копеек. Целое состояние! Это уже после денежной реформы. Пирожок с повидлом или рисом в школе стоил пять копеек, с мясом – десять. Билет в трамвае – три, в метро – пять.

Маленькую булочную снесли, как снесли весь ряд деревянных домов вдоль Ленинградского шоссе между «Соколом» и «Аэропортом» с левой стороны, если смотреть от центра. Революционный дом простоял дольше всех, но и его не стало. А в Большой булочной хлеб продавался уже не на развес, а батонами, булочками и булками, кренделями и пышками.

Ничего, все было нормально. Вся жизнь впереди. Много чего ждало наше поколение детей, рожденных победителями в той страшной Второй мировой. Когда мы были школьниками, как же мы жалели, что на наше время не пришлось хоть какой-нибудь самой маленькой завалящей революции или недолгой войны, но мы были глупыми и не знали, что «в жизни всегда есть место подвигу».

Клопы

«Клоп» Маяковского. Мы с классом ходили в Театр сатиры, запомнили яркого Георгия Менглетта, царство ему небесное. Спектакль дружно не понравился.

«Ты мой клопик, солнышко мое!» – обращение матери к сынишке.

«Набилось в квартире, как клопов» – то есть очень много народу, просто неприлично много.

«Морить клопов». Это уж совсем конкретное действие. Ничего общего ни с малышом-сынишкой, ни с театральной постановкой или набитой донельзя квартирой.

Сейчас редко кого удивит тараканами в квартире. Эта напасть – общая беда современных домов. Откуда они взялись, ума не приложу! В нашем детстве была другая печаль – клопы. Почему-то вспоминается старый анекдот про пессимиста и оптимиста. Оптимист, нюхая раздавленного клопа, думает о коньяке, а пессимист, выпивая рюмку коньяку, – о запахе клопов. Они жили везде, не пессимисты и оптимисты, а клопы. За

обоями, в железных кроватях, под фотографиями, висящими на стене, в диванных подушках. Это было неистребимое племя кровососов. Раз два-три в год наступала «эра» их истребления. Ножки железной кровати ставились в таз и проливались кипятком из чайника. Прицеливаться следовало точно на металлические соединения. Потом аккуратно проливались кипятком и пружины кровати. За обоями клопы просто давились через бумагу, а потом протиралось все пространство между стеной и обоями тряпкой, и обои подклеивались снова на место. Раздавленные клопы и вправду страшно воняли. Запах этот вспоминается, если со свежесобранной малиной в рот попадает зеленый клоп. Так если бы они только воняли! Они же, гады, кусались не хуже комаров, оставляя следы укусов на всем теле и кровавые подтеки на постельном белье. Хитры и находчивы они были не хуже дельфинов. Папа рассказал однажды, как клопы его перехитрили, когда он учительствовал на Севере. В сельской гостинице его радостно предупредили: «Клопы есть! Селиться будете?» Согласившись, он все-таки предпринял меры предосторожности, поставив ножки железной кровати в тазы с водой, разумно предположив, что водную преграду этим кровопийцам не преодолеть. Накось выкуси! Клопы собирались тучами на потолке как раз над стоящей посередине комнаты кроватью и бросались вниз в предвкушении небывалого пира. Тощее папино тело представлялось им неким вариантом Лукуллова пира, но пиршество было сорвано побегом объекта на улицу, где и проведен был остаток холодной летней ночи.

Сейчас клопы как-то незаметно исчезли из нашей повседневной жизни. Это, видимо, был некий знак скученности и бедности целого народа. Они вели ночной образ жизни, днем почти незаметные, вылезали ночью и

вели свою охоту на людей. Они не шумели, не шуршали, не пищали, были тихи и на первый взгляд, абсолютно незаметны. И еще одна подробность – клопов лучше было бы морить во всех комнатах коммунального братства одновременно. Если этого не делалось, то эта орда дружно переселялась в нетронутое «морением» пространство. Нужно сказать, что индивидуальных средств защиты тогда не было.

Можно было только вызвать морильщиков, которые обливали комнату вонючим средством, настолько вонючим, что комнату надо было закрывать на день, и клопы дохли не от контакта с жидкостью, а от отравленного воздуха. Это была своего рода газовая камера. Мерзкий запах был удушливо сладким и напоминал запах протухшей в подвале дохлой крысы.

Я это все так подробно помню, потому что свои шестнадцать лет я отпраздновала весьма оригинальным способом. Сначала я



Папа Сергей Ручович Смирнов, востоковед, арабист, доктор исторических наук, 1958.
Папа редко был таким хмурым

купила билеты в Художественный театр на «Анну Каренину». Играла с напором и навязчиво Алла Тарасова, уже тогда стареющая. Моя мама в это время лежала в больнице, тяжелобольная. Заболела она после случившейся в Москве черной оспы. Это произошло не просто где-то в Москве, а в инфекционном отделении Боткинской больницы, которым мама заведовала. Привез оспу в Москву художник Кокорекин, внучка которого, милая славная женщина, сообщает нам новости на разных телеканалах. Маме

повезло, в детстве она переболела вариолоидом, легкой формой черной оспы. Прошел один срок карантина, и в последний его день заболел еще один человек. Всю боткинскую команду отправили на Соколиную Гору. Восемьдесят дней тяжелой работы аукнулись инфарктом у молодой еще мамы. Она еле тогда выкарабкалась. Когда мама узнала уточненный диагноз художника, приехавшего из Индии, то поздно вечером вы-



Мама Лидия Михайловна Смирнова, 1938. Во дворе нашего дома росли кусты сирени

бралась тайком из больницы и сделала всему населению нашей квартиры, и взрослым и детям, прививки. Рисковала она при этом очень. Появление черной оспы, с которой советские врачи справились в конце тридцатых годов, приравнивалось к военной тайне. Меня разбудить было очень сложно, но я, помню, проснулась, когда мама на предплечье моем прорезала что-то острой шпательной, сказав, что так надо. В нашей



Наташа Смирнова,
ученица 10-го класса школы № 704

квартире никто не заболел. Съездила она и к моей сестре, жившей с семьей отдельно, чтобы ей, ее мужу и детям сделать прививки тоже. Ночная эскапада прошла незамеченной. Вот что такое профессиональная этика и чувство долга!

И вот, мама в больнице, праздника не предвидится. Спектакли тогда заканчивались поздно. Когда я пришла домой, дверь в комнату оказалась закрытой, а щель под ней была заткнута какой-то тряпкой. Я не скажу, что сразу не поняла в чем дело, но морить клопов в день моего шестнадцатилетия! Это что-то запредельное и не укладывающееся в мою бедную голову! Папа просто забыл, что пятнадцатого декабря мой первый юбилей, назначая по телефону дату цивилизованного истребления мерзких кровопийц. Он решил, что одну ночь мы вполне переночуем по соседям, а на завтра можно все открывать. Если вы думаете, что на завтра вонь стала терпимой, то вы очень ошибаетесь. Эти мерзавцы-морильщики, очарованные папиным гостеприимством и душевной его добротой, не пожалели снадобья и опрыскали все поверхности стен, пролили до мокрости диваны и стулья, не пожалели и плинтусы. Как же

я плакала, поняв, что дня рождения мне не видать как своих ушей, что мама в больнице, а комната закрыта до завтра. Папа, услышав безутешный рев, а не тихий плач, вышел с Деем из комнаты напротив, где жил полковник Аркадий Иванович Белый, и очень удивился моей реакции. Он просто все перепутал, рассеянный с улицы Басейной, да и был загнан тогдашними жизненными обстоятельствами не хуже той лошади. Пришлось

мне ночевать у соседей, которые жили сразу за стенкой. Но правды ради надо сказать, что чай с тортом за 1 рубль 25 копеек (половинка стандартного размера) нашелся, и я, втягивая слезы обратно, жалея папу, пила этот горький чай, гостеприимно накрытый Надеждой Андреевной и Иваном Ильичом. Вот такое совершеннолетие!

Они жили сразу за стенкой в комнате рядом с нами, бездетная семья старичков, как мне тогда казалось. Он был тихий, седой, приветливый такой, и жена его была очень славной женщиной. Незаметность, ненавязчивость, дружеское участие – вот что отмечало эту пожилую пару. Их все любили за ровность в отношениях, дружелюбие и основательность. Надежда Андреевна всем всегда помогала, когда у нее было время. Она прекрасно готовила и учила этому нас. Первые пироги я испекла под ее началом. Учила терпеливо и не сердясь несколько на нерадивых учениц. У них было по-деревенски чисто и опрятно. Половицы пола вели прямо от двери к чисто вымытому окну, на котором в большом разнообразии цвела герань всех мыслимых и немыслимых цветов. Ручной работы половики освежали яркими

пятнами скудный интерьер маленькой узкой комнаты. Они первыми купили телевизор с линзой и никогда не отказывали в вечернем совместном просмотре. Мы никогда не слышали, чтобы они кричали ни друг на друга или на кого-нибудь другого. Комната у них была совсем маленькая, но зато была дача, где Иван Ильич работал по воскресеньям, он был на все руки мастер. Утром они трогательно под ручку уходили на работу, а вечером возвращались в одно и то же время. Незаметные на улице и дома, они прожили долгую и счастливую на первый взгляд жизнь. Они дожили до двадцатого съезда партии, который на долгие годы поделил жизнь наших родителей на «до» и «после».

Много лет спустя я узнала, что ходили они работать на Лубянку. Он был следователем в приснопамятном ведомстве, а она работала там же в картотеке, что совсем не изменило моего к ним отношения даже в воспоминаниях, просто многое стало понятно в их бережной и такой естественной внимательности друг к другу и к людям. Только до сих пор мне неясно, чем Лубянка лучше площади Дзержинского? Может, вы знаете?

Шофер Сталина

Предпоследняя комната по правой стороне была занята огромной семьей, приехавшей в свое время где-то в начале тридцатых годов из Донбасса. Жена, муж, трое детей, они уже на моей памяти пережились и жили все в одной, метров в тридцать, комнате. Комната эта выходила огромными окнами не во двор, а в Маленький парк и была вся перегорожена на «углы», где благополучно делались дети следующих поколений, уж и не знаю как! Отец семейства во времена Гражданской войны был личным шофером у самого Сталина и умудрился один раз спасти ему и Ворошилову жизнь, вывезя их на машине из-под обстрела где-то под Цари-

цыном. История эта была известна всем в нашей коммуналке, но вслух друг с другом ее не обсуждал никто. Имя вождя все не произносилось. Семья Мирона Ивановича осталась в квартире со времен общежития Института Красной Профессуры, в котором он учился и задолго до войны благополучно закончил.

Дора Васильевна, могучая казачка, пилила мужа, весьма плотного телосложения мужчину, прикрыв за собой дверь, за столь тесное житье: «Сходи ты к товарищу Сталину, у тебя же бумага есть!» А Мирон Иванович, поднося к носу благоверной могучую дулю, отказывался наотрез пользоваться загадочной бумагой. История эта легендарная, и пересказать ее я могу только в таком, слегка приукрашенном от многочисленных пересказов взрослых виде.

Еще молодыми в начале тридцатых годов приехали Качурины в Москву, убегая от голода из Донбасса. Он нашел работу на заводе, а спасаясь от голодной смерти семья поселилась в бараке без удобств. Тогда-то и пришла в голову умной жены Мирона мысль сходить к Сталину, так как хотел вышеозначенный Мирон учиться и не хотел больше жить в бараке с удобствами на улице. Пришел он на Старую площадь, узнал, из какой двери и когда товарищ Сталин выходит, стал ходить взад-вперед около указанного подъезда. Ходил долго, дел у Сталина было много во все времена. Охране надоел праздношатающийся мужик около главного входа страны, и, поинтересовавшись, что, собственно, этот парень здесь делает и кого ждет, остолбенели от наивного в своей искренности ответа: «Товарища Сталина». Руки ему, не Сталину конечно, скрутили быстро и надежно и упекли бы надолго, если бы военный кореш Мирона Ивановича не вышел из подъезда и не узнал в задержанном своего бывшего шофера: «Мирон, ты

что здесь делаешь?» Изумленная охрана отпустила его. И стали они, без охраны конечно, прогуливаться по тому же тротуару, по которому прогуливался Мирон один. «Ну, как дела? Как семья? Что в Москве делаешь?» – спросил вождь. «Двое детей у меня, жена запилила совсем, живем в бараке, работа тяжелая». Повспоминали они и боевую молодость и годы Гражданской войны. Вслух не было сказано, что только мастерство и безрассудная храбрость шофера спасла для страны, а может быть, и всего человечества товарища Сталина, который по достоинству оценил скромность друга военной поры и в порыве запоздалой благодарности сказал: «Проси что хочешь!» А хотел Мирон учиться, пусть даже и живя в бараке с женой и двумя детьми:

– Учиться хочу, товарищ Сталин!

– Ну что ж, учиться – так учиться. Пошлю я тебя в Институт Красной Профессуры.

На том и порешили. При прощании осмотрительный и давно наученный жизнью тертый калач Мирон попросил дать ему документ, подтверждавший намерение еще не вождя всех времен и народов дать ему возможность выучиться, да не просто, а получить высшее образование, минуя все остальные. Дореволюционная церковно-приходская школа не в счет. Вот тут наступает самый кульминационный и пафосный момент рассказа взрослых. Некоторая возвышенность тона и эпическая былинность пересказа событий неуместна в самом интересном моменте.

Документ Мироном был получен. Бумага якобы гласила, что такой-то и такой-то – человек надежный, лично преданный партии и правительству и советскому строю. О былых заслугах – ни слова. Самое главное, в полученной бумаге была подпись – тов. Сталин. Подпись личная. Никаких должностей, только подпись. Вот она-то и позволила Ми-

рону выучиться и получить комнату уже не в бараке, а на третьем этаже в коммуналке на «Аэропорте», в которой удобства находились не на улице, а комфортно – прямо напротив двери их комнаты. Туда ходила вся квартира, предусмотрительно закрывая за собой дверь и для верности сильно ею хлопая. В этой полученной комнате родилась в самом начале войны третья дочь, фантастическая девочка, моя тезка. Она закончила музыкальную школу по классу скрипки, поступила в консерваторию, проучилась там год, бросила ее, потом поступила в МВТУ и триумфально его закончила. То, что обитатели нашей квартиры терпели многочасовые экзерсисы на скрипке, меня не удивляет. Терпели же все рояль старой большевички. Но как сами Качурины в немалом количестве терпели скрипку в своей комнате, было для нас загадкой. Немалое это количество складывалось из главы семьи и его жены, племянницы жены, помогавшей хозяйке во всем, сына с женой, ее сыном и общим ребенком, старшей дочери, ее мужа и ее дочери и самой скрипачки. Сколько получилось? Правильно – десять человек в комнате метров тридцати.

А уже шел 1953 год. Ничто не предвещало событий начала марта. Страну трясло от «дела врачей». Я это хорошо помню, так как мама работала в Боткинской больнице, где свили вражеское гнездо многие из арестованных врачей. Домашние разговоры на эту тему были неопределенны и туманны. А вы знаете, что я учудила, когда по радио начались сообщения о болезни Сталина? Девочкой я была застенчивой, не хулиганкой, но с большим чувством справедливости и фантазеркой. Как и все, я очень переживала, что Сталин так тяжело заболел. Что делает ребенок, когда ему необъяснимо страшно? Он придумывает ситуацию, отличную от реальной. На пере-



С. Лапаев, 1959

МИНИСТЕРСТВО ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР
ГЛАВКОНДИТЕР

ШОКОЛАДНЫЕ НАБОРЫ



КОНДИТЕРСКОЙ ФАБРИКИ

Красный Октябрь

менках в школе я очень уверенно объясняла одноклассникам, что Сталин вовсе и не заболел, что он просто сломал руку, а переломы проходят довольно быстро. Как вы понимаете, моих родителей тут же вызвали в школу. Шутить никто не собирался – это что еще за разговоры в семье, если девочка в такой серьезный и трагический момент для страны говорит всем о каком-то простом переломе, да еще и мама врач... Откуда я его взяла, этот перелом, не знаю! Задним числом соблазнительно подумать о детской внимательности и ясновидении. Никто в стране не знал о сломанной в юности и об усыхающей конечности бога и небожителя. Сейчас, когда мы смотрим кинохронику, согнутая в локте левая рука бросается в глаза сразу. А тогда никто об этом и слыхом не слыхивал. Хорошо, что директриса школы была хорошим человеком и просто предупредила родителей о неразумном поведении их малолетней дочери. А наша учительница Селезнева Александра Яковлевна сделала все, чтобы приглушить мои выступления на переменах. Интересно, что я не помню мер, которые были предприняты моими родителями. Я не думаю, что им был приятен этот вызов в школу, да еще по такому неординарному поводу. Пионерка Смирнова Наташа недопонимала что-то в историческом моменте, острота которого была смята и смазана настоящим, реальным уходом вождя.

Именно в комнате Качуриных я прослушала по радио весь траурный митинг с Красной площади по поводу смерти товарища Сталина в марте 1953 года. Вся квартира скорбела в едином порыве. По-разному скорбела – кто со слезами, кто молча, гоняя желваки на скулах, кто прилюдно бился в истерике, заламывая руки, а кто и в одиночку радовался событию в своей накрепко запертой на ключ комнате, откуда в доказа-

тельство причастности к горю всего советского народа доносились траурные марши и вся печальная музыка классического репертуара. В комнате у Качуриных я была не одна из неродственников. Дверь в коридор была открыта, радио у них было очень хорошее. Идущие в клозет и возвращающиеся из одного останавливались около раскрытой двери комнаты Качуриных – вместе легче переносится горе. Я помню голос Левитана, торжественный и скорбный за всю нашу огромную страну. И почему-то очень хорошо помню выступление Берии. Он глотал слезы, но продолжал говорить с явно выраженным грузинским акцентом. При этом он, совсем непонятно почему, по-вологодски окал. Этот акцент и застрял у меня в памяти. Других речей не помню. Слова шли от сердца, голос дрожал и прерывался, паузы повисали тяжелыми гирями, снова звучал голос красивого тембра, надрывая сердца не только всему населению огромной страны, но и маленькой девочке, ученице второго класса. Качурины плакали несколько дней всей своей немалой семьей горько и безутешно. Искреннее слез, чем у Доры Васильевны, не было ни у кого из обитателей нашей квартиры.

Полученная Мироном Ивановичем так давно и так необычно легендарная бумага довольно скоро потеряла силу даже моральную. Дора Васильевна продолжала ворчать: «Вот, не воспользовался вовремя справкой-то! Вот если бы мне ее дали, вот бы я бы...» На что небранчливо и очень весомо звучало: «А тебе никто и не дал бы ничего. Товарищ Сталин знал, кому доверять!»

Бумагу эту от товарища Сталина Иосифа Виссарионовича не видел никто.

Дей

Его принес папа в рюкзаке, вытряхнул на пол из своего охотничьего рюкзака и ушел за приятелем, который жил в соседнем

подъезде в квартире без телефона. Пса надо было обязательно ему показать. Пес был совсем маленьким, черным с рыжими подпалинами, как оказалось позже, это был великолепный сеттер-гордон. Над глазами нависли две славных кляксы, они двигались, когда пес удивлялся или внимательно кого-либо слушал. Живот, внутренняя часть лап передних и задних тоже были ярко-



Наш Дей

рыжими, как и брыли на морде. А в основном он был черного окраса. Назвали его Джимом хозяева его матери, породистой и со всеми требующимися для выставок документами. «Дай, Джим, на счастье лапу мне...» Через полгода пса переназвали в Дея. Сделал это папа, не вытерпев, что на собачьей площадке почти всех собак через одну звали Джимами. И появился Дей, он быстро привык к новому имени. Папе его подарили, не взяв даже символической платы, хотя для будущей счастливой собачьей жизни это надо было сделать обязательно. Какой это был щенок! Лапы толстые-претолстые, глаза умные-преумные, голос абсолютный бас с самого детства. Родился он в тот самый исторический день, когда умер Сталин, – 5 марта 1953 года, а у нас появился в майские праздники двухмесячным малюткой. Мало кто знает, что в тот же день и в тот же год вместе со Сталиным умер великий русский композитор Прокофьев.

Правила в те времена были такие, что обитатели нашей коммуналки должны были единогласно согласиться на содержание собаки, а таковых, как вы уже знаете, было совсем немало. Папу все очень любили, и согласие было единодушным. Да и комната наша располагалась совсем близко от входной

двери. Мы все на прогулку с ним прошмыгивали сразу, не задерживаясь, на лестницу. Пес жил в двадцатиметровой комнате со всей семьей – родителями, сестрой и мной, он был доброго нрава и постоянно и неотвратно вонял псиной, как и положено настоящему породистому псу. Спал он всегда под огромным письменным столом, всегда всех встречал громким лаем и быстро стал

покладистым и ласковым существом. Через месяц после появления у нас Джим заболел чумкой. Спасали его всей семьей и всей квартирой. Мама делала уколы в заднюю ногу к попе поближе, после чего неблагодарное существо относилось к ней всю свою длинную песью жизнь более чем равнодушно. Любил он до беспамятства мою сестру, тогда молодую, красивую, преследуемую многочисленными поклонниками, потом папу, уже потом меня. Позже сестра съехала, выйдя замуж, что ей не было прощено, и я на один пункт приблизилась к собачьему сердцу. Пес имел нрав благородный и характер самостоятельный, коварная изменщица была выкинута из души вон. Когда Дей вошел в силу и подружился с папой, полюбив его так, как животным не положено, они стали вместе ездить на охоту.

Что можно рассказать о собаке, которая прожила пятнадцать лет в семье? Почему мы его так помним? Дей довольно быстро вымахал в огромного пса-переростка. Сеттеры обычно субтильны и худощавы. Наш Дей стал переростком настолько, что его не брали на собачьи выставки. А случилось это потому, что вырос он с гончей собакой с первого этажа. Щенком он гулял с папой по утрам и вечерам в Большом парке. Гончая любила

нашего Дея, выделив его из огромного количества щенков, гулявших там же. Дей несся за Гончей, причитывая и взвизгивая, пытаясь догнать ее, уши его развевались и хлопали вверх-вниз. «Ах-ах-ах! Ай-ай-ай!» – визжал он, но характера был крепкого и не отставал. Бегая и играя с Гончей, он разработал грудную клетку, похожую на бампер автомобиля. В холке он стал выше нормы сантиметров на десять. Серьезный стал пес, да и лалял он басом пониже шалашинского, да не как-нибудь неубедительно «ряв-ряв», а гулко и торжественно «бау-бау».

Дей никогда ничего не выклянчивал, кроме арбуза и вишен. Мы жили сначала без холодильника, еда стояла зимой за окном, а летом под батареями. Дей никогда и ничего не спер. На его совести только мамины чулки и моя книга пьес Маршака. Уничтожил он их в один день, оставленный надолго еще совсем маленьким. Получив ремнем по попе, запомнил на всю жизнь, что можно прилично схлопотать за подобные безобразия. За обедом ничего не выпрашивал, зная, что это делать неприлично и недостойно породистой собаки. Но когда мы ели арбуз или вишни, он не мог больше соблюдать приличия, теряя всякий «человеческий» облик. Вылезал из-под письменного стола, садился, глядя в другую от нас сторону, и начинал ползти на попе к обеденному столу. Слюни текли до полу, и папино сердце не выдерживало – Дей получал желаемое. Самое смешное, что Дей выплевывал арбузные и вишневые косточки, помотав их предварительно под брылями, а потом аккуратно складывая на пол под мордой. Такого представления я не видела больше нигде и никогда.

Больше всего Дей не любил кошек. Это я в этом виновата. Однажды я повела его гулять совсем маленьким, еще не забывшим материнского молока. У подъезда сидела кошка, как я потом поняла, только что око-

тившаяся. Дей, наивная душа, потянулся мордой в пахнущий молоком живот. Кошка вцепилась в его черный антрацитовый нос зубами, а лапами ободрала грудь и морду. Как Деюшка плакал, как вопил от несправедливости и коварности этого маленького существа, пахнущего материнским молоком! Что ей, молока стало жалко? Я отодрала кошку от Дея, и мы вернулись домой. Я – с расцарапанными кошкой руками, умирая от жалости к псу, Дей – с разодранным в клочья и кровоточащим носом. Папа очень боялся, что Дей потеряет нюх, но этого, к счастью, не случилось, Слава Богу! Уже совсем старым и слепым он кидался за кошками, если они появлялись в поле его зрения. У него был отработанный годами номер – хватать кошку поперек тела, мотать головой направо, налево, потом опять направо и на максимуме амплитуды отпускать недруга. Кошки с визгом летели по воздуху довольно далеко. Благородное животное – никогда не загрызал их до смерти, но простить кошкам их существования он не мог.

Охотничья собака должна ходить на охоту. Охотником наше животное был неважным, ненатасканным, но очень любил ездить на охоту. А еще больше он любил приготовления к ней. Папа сам набивал патроны, сам чистил охотничье ружье. Дей восседал рядом и следил за каждым его движением. На столе стояли точные весы для дробы, маленькие гирьки, пинцет, чтобы их брать, коробка с патронами, пока пустыми, пыжи, разложенные аккуратной горкой, а у стола – преданный пес, точно знающий, что скоро кончится эта городская монотонная жизнь. Пока чистилось ружье, набивались патроны для немецкого производства Зимсона двенадцатого калибра, Дей не спал, не ел – он предвкушал. А потом наступало время рюкзачка, в который набивалось все необходимое для охоты. Рюкзак был огромный, с

несчетным количеством кармашков и отделений, скучного защитного цвета. На поезд брали они два билета – один для папы, а второй для пса. А потом уже, когда оба они набрали лет, папа стал выкупать целое купе, чтобы никого не беспокоить. Охотничьего счастья, чаще всего осеннего, ждали они оба, и неизвестно, кто больше. Спали они в лесу около костра. Холодными ночами в лесу на стоянке папа обогревался с одной стороны затухающим огнем костра, с другой – верным псом под боком. Дичи убивалось мало, зато удовольствия от осеннего леса было море.

Говорят, что животные лишены сознания. Тогда вот вам один эпизод из Деевой жизни, рассказанный папой. Была уже поздняя осень, когда по утрам от речной глади идет густой туман, покрывая собой поверхность реки и прибрежные луга. Вода в реке по-осеннему темна и холодна. Утки летят на юг большими стаями, и стрелять в них можно сколько хочешь. Папа рассказал, что подстрелил утку, она упала на другой берег реки. Дей подбежал к воде, понюхал ее зачехто, ступил одной лапой в воду, а не бросился в нее со всего маху, как всегда, и отступил в нерешительности. Охотничий инстинкт охотничьим инстинктом, но больно уж вода холодна! Дей забегал по берегу и вдруг пропал, испарился, исчез таинственным образом. Папа заволновался, стал Дея звать, но безуспешно. Вдруг пес появился на той стороне, загавкал, отыскал папу глазами с другой стороны реки, определился в пространстве, забегал кругами и нашел-таки убитую птицу. С уткой в зубах Дей помчался направо по противоположному берегу. И тут только папа вспомнил, что примерно километра за полтора до этого места через реку был перекинут хилый мостик, который мог выдерживать только пешехода. Пес вспомнил об этом мостике и не стал бросаться в стильную

осеннюю воду. Бегал он очень интересно, очень быстро и взмахивая головой, как лошадь на всем скаку. С брылей падала слюна, а уши в такт бегу хлопали вверх-вниз. Утка была положена к папиным ногам. На всю жизнь осталось загадкой, как пес сообразил, что можно не вымокнуть в холодной осенней воде?

Сообразительности нашей собаке было не занимать. Когда я водила его гулять, он меня оскорбительно не слушался. Зачем слушаться совсем маленькую девочку, которую можно протащить на ошейнике, даже парфорсе, не причиняя себе никакого неудобства. Он и таскал меня по асфальту, оставляя на моих коленках и локтях долго незаживающие раны, после них еще и шрамы на всю жизнь оставались. А зимой это чудо поступало еще более коварно. Я ведь прекрасно знала, что будет. Он сдирал варежку у меня с руки и прятал ее в снежный сугроб. Пока не набегается, пока не нагуляется, пока не замерзнет, все мои мольбы вернуть варежку оставались без ответа. Без варежки возвращаться было нельзя – мама заругает. А когда наконец в собачьих лапах между пальцами набьется снег и станет совсем холодно, он, окоченевший и усталый, милостиво принес мне варежку, и мы шли домой, я – совсем синяя от холода, а он, прихрамывая на снежных комочках, которые потом таяли дома, оставляя мокрые лужицы на полу.

А еще мы играли с ним в Красную Шапочку. Меня тогда в нашем пионерском звене выбрали санитаркой, я должна была проверять чистоту рук у всех входящих в класс. Санитарную сумочку с красным крестом сшила мне мама. Мы с подружкой Мариной Васильевой надевали на Дея мамин халат, через плечо вешали Дею мою санитарную сумку, положив предварительно туда хлеба, два кружка колбасы и кусочек сахара. Одна из нас становилась у двери, изображая маму

Красной Шапочки, другая располагалась у окна. Та, что у окна, была бабушкой, а Дей был Красной Шапочкой. Путь начинался у двери. Я чаще всего была бабушкой, так как на мой зов Дей отзывался охотнее. Но самое интересное было потом, и мы этого зрелища с нетерпением ждали. Дей начинал интересоваться, что же такое лежит в моей санитарной сумочке, которая по сценарию должна была быть корзиночкой с пирожками и кусочком масла. Морда его застревала в тряпичной сумке прочно и надолго. Попытки снять сумку были безуспешными, сильно и призывно пахли колбаса, хлеб и сахар, а пасть раскрыть невозможно. Вот тут он начинал мотать головой из стороны в сторону, одновременно продвигаясь в моем направлении, так как точно знал, что я сниму эту чертову сумку с морды и он получит вознаграждение за перенесенное унижение. Потом мы снимали с него мамин халат, я аккуратно складывала его и клала на место. Мама моя так и не узнала, почему время от времени халат был смят, пованивал псиной и лежал на стуле, уж больно аккуратно сложенный.

Один раз умница-пес защитил меня. Мы поднимались по лестнице и были уже на втором этаже, когда навстречу нам попался местный хулиган. Когда мы поравнялись, он отпустил в мой адрес некую сальность, поскольку возраст мой позволял это вполне. Мы поднимались вверх, и я ускорила шаг, как вдруг услышала страшный вопль. Это Дей уцепился за обидчика в зад. Он никогда не кусался в прямом значении этого слова, он очень больно щипал передними мелкими зубами, оттягивая для укуса кожу и сжимая челюсть. Делал он это без предупреждающего рычания или угрожающей позы, что усиливало эффект. Скатился обидчик с лестницы очень быстро, вопя и угрожая, что нажалуется родителям. Родителям он не

нажаловался, но меня больше никогда не обижал.

Когда мы из нашей коммуналки переехали в новую хрущобу, гуляние с собакой лежало на папе и на мне. Все собачники становятся своего рода братством. Однажды я возвращалась домой очень поздно после отчисления успешно сданного в институт экзамена. Дело было летом. Из-за кустов появилась группа даже не молодых людей, а молодчиков с явно недружественными намерениями. Как же я перепугалась! Вдруг слышу, как один из них говорит: «Эта с Деем гуляет, не трогайте ее!» Я так и не узнала, кому из приятных собеседников во время прогулок с собакой принадлежал этот голос.

А вот совсем интересная история. В 1999 году, когда папы нет на свете уже тридцать лет, к нам в институт пришла делегация из суданского посольства. Директор вызвал меня к себе в качестве дочери известного ученого, написавшего большую книгу о Судане много лет назад. Я с некоторым душевным трепетом пошла в директорский кабинет, где и была группа суданцев, от нее отделился один неопределенного возраста человек. Это оказался папин аспирант Юсуф, который женился на русской девушке, родил двух сыновей. Мы с удовольствием встретились с Юсуфом. Он с почтительной любовью вспоминал папу, их общую работу. Юсуф приходил к нам домой, и они вместе работали над первой защищенной в Союзе «суданской» кандидатской диссертацией. Совсем уже старый Дей лежал у них в ногах и воздух по старости лет не озонировал. Папа весьма был смущен этим обстоятельством, но отогнать «животного» было невозможно.

Юсуф попросил меня задержаться после общей встречи и рассказал мне следующее: «Ваш папа очень любил свою собаку. Он мне сказал как-то, что его не станет через год по-

сле того, как умрет Дей. Меня это очень удивило, но так и случилось. Тогда я не рассказывал вам об этом, мне это показалось явным преувеличением. Я ждал случая рассказать вам об этом больше тридцати лет. Меня это поразило тогда, поражает и теперь. Как он мог предвидеть это?»

Юсуф не смог рассказать мне об этом тогда, уже тридцать с лишним лет назад, когда папы не стало, так как он оказался с семьей в Судане в тот злополучный день, отмеченный не только кончиной папы, но и контрреволюционным переворотом, в результате которого пришел к власти злой диктатор Нимейри, и был там заперт на двадцать пять лет.

Папы действительно не стало через год после того, как умер (я не могу сказать «сдох») Дей...

Больше я никогда собак не заводила, хоть и бросаюсь к каждому сеттеру, встреченному на улице. И фильм «Белый Бим Черное ухо» Станислава Ростоцкого по повести Гавриила Троепольского я не смогла смотреть совсем, заливаясь слезами с первых кадров, несмотря на то что окрас сеттера был совсем другим.

Постскриптум

Пришло время, когда моей сестре исполнилась вполне юбилейная дата. Что подарить-то? У нее к этим годам все есть. Подаришь драгоценность – уйдет дочери или внукам. Подаришь просто полезную вещь – зачем тогда юбилей и вся его торжественность? И пришла мне в голову гениальная мысль подарить собаку, да не просто какую-нибудь, а сеттера, и не просто сеттера, а гордона. Вот это идея! Попросила сына порыскать по Интернету, но в Москве гордонов не оказалось. Двухмесячные щенки нашлись в Санкт-Петербурге. Созвонились с хозяйкой, в помете восемь щенков, нас ждут. Пришлось дипломатично раскрыть идею, боль-

шая сестрина семья должна дать согласие и быть в курсе того, что заботы о подарке в дальнейшем лягут и на их молодые и крепкие плечи.

Как мне хотелось устроить моей дорогой Марине праздник! Билеты я купила в вагон СВ, в купе которых только два места и оба внизу. Я в них никогда не ездила, денег не было, да и воспитание не позволяло на дорогу тратить такие деньги. А тут оскоромилась. Поезд фирменный, красивые, одетые в форму проводники. Наша с сестрой печаль – обреченность на верхние полки. Вечно находились старики и старушки, больные, дети, просто увечные, которым нужно было уступать место. Идем по перрону и договариваемся ни за что на свете нижних полок не уступать: «Все! Хватит! Не девочки, чай!» Я не признаюсь, я люблю сюрпризы: «Конечно, никого не пустим!» Входим в полутемный вагон, проводница открывает дверь и зажигает свет. «А где верхние полки?» Их нет. Вот сюрприз! Мы будем одни, нам никто не помешает травить баланду столько, сколько захочется. Праздник начался. Под стук колес и коньячный мерзавчик, заботливо предоставленный железной дорогой, проговорили до самого утра.

Марине досталась Айседора, славный заполошный щенок, усевшийся накрепко ей на руки и облизавший все не закрытые одеждой части лица, шеи, рук. Дуся, так стали ее называть, поместилась в заранее приготовленную спортивную сумку, с интересом смотрела вокруг и ангелом проехала в дневном поезде в новый дом, налила всего одну лужу за дорогу, полюбив сразу всю многочисленную семью по прибытии на место. Собака выросла в славную добрую псину, похожую на Дея, напоминая нам о детстве, мне о папе, Марине об отчине, о нашей странной квартире, о закольцованности событий.

Брага

Если я вам скажу, что в нашей квартире не пили, я бессовестно совру. Пили, даже очень пили, и не только по праздникам, но редко. Запойных в квартире не было. Водка стоила два рубля шестьдесят две копейки пол-литра, продавались еще и чекушки – изящные бутылочки по двести пятьдесят граммов. Была исчезнувшая надолго отмеченная скромной зеленой этикеткой «Московская», водка качественная и недорогая. Теперешнего разнообразия в магазинах не было. Но голь всегда была на выдумки хитра. Для мужской выпивки существовали такие вещи, как игра в шахматы или печатание фотографий. Все происходило в одной квартире, вот почему жены не возникали и терпеливо переносили отсутствие недалеко ушедших мужей. В комнате напротив нашей жил полковник Белый, его все так и звали за глаза – полковник Белый, а не Аркадий Борисович. Это был самый настоящий бобыль, хоть и был когда-то женат. Жил он один и был известен еще и потому, что его родной брат сочинил музыку к одной из революционных песен, так любимых нашим советским народом. Боюсь соврать, но это было что-то вроде «Шел отряд по берегу, шел изда-лека...» или «Там, вдали за рекой загорались огни...». Суть в том, что отблеск братниной славы так ярко падал на полковника, что вся квартира тихо уважала его еще и за добрый нрав, незамеченность в скандалах и разборках, как теперь говорят. Он очень любил фотографировать и печатать фотографии в домашних условиях. Это теперь на каждом углу «кодаки», предлагающие всякого рода услуги. А раньше нужно было купить в магазине химические реактивы, фотобумагу, иметь дома увеличитель, красный фонарь, темное одеяло, чтобы завешивать окно, длинные ножницы, резак для форматирования фотографий и много всякой мелочи, которую уже и не упомянешь. После работы, когда все в доме ложатся

спать, уже поздно вечером или ночью, можно приступить к печатанию фотографий. Папа меня к этому делу приучил, когда мне было лет немного. Но до того, как я стала составлять ему компанию, полковник Белый был незаметным ему приятелем и компаньоном. Папенька мой при всей своей учености был человеком простым и без затей. Из северного жития он привез на всю жизнь сопровождавшие его привычки. Среди них – умение варить брагу. Однажды он, ожидая вечернего печатания фотографий, а может, и игры в шахматы, я теперь не помню точно, приготовил две трехлитровые банки браги. Я помню, как они дображивали под подоконниками на полу, как пенилась молочного мутного цвета бурда и как все это сладко воняло дрожжами на всю нашу комнату. Всерьез эта жидкость нами не воспринималась, так как видели мы ее впервые в жизни. Папа вспомнил бурную молодость и, решив не тратить деньги на заводскую продукцию, приготовил эту брагу для длинного вечера с полковником Белым. Вообще-то из браги гнали потом самогон, но самогонование было делом подсудным, что остановило индивидуального производителя на этапе полуфабриката.

Наступил вечер. Папа унес обе трехлитровки в комнату напротив к полковнику Белому. Все остальное я знаю только со сбивчивых слов самого пострадавшего и невнятных последующих объяснений папы. Они с полковником просидели всю ночь. Пили, как вы понимаете, брагу. Каждый из своего жбана. Закуска была слабовата. Чего вы хотите! Записной холостяк навряд ли приготовил шикарный ужин. К утру была вызвана неотложка. Не одна на двоих, а одна на каждого. Каждый пил из своей баклажки. Полковник Белый потерял сознание, незаметно опустошив почти целиком трехлитровую банку браги. Папа пил поменьше, поскольку вкус напитка знал давно и ничего нового от

него не ожидал. Врачи подняли тревогу, обвинив собутыльника в злонамеренном спавивании брата автора революционной песни. После этого события каждый печатал фотографии по отдельности, а папа приобрел уже подросшую меня к этому вполне интересному делу. Брагу мы с ним не пили, я была для этого еще мала...

А в шахматы они продолжали играть по-прежнему часто, но уже без неразумных возлияний.

Лукастик

А еще у нас в квартире в самой последней комнате по правой стороне жил некто Лукастик. Его так все и звали. После войны он приехал с другой молодой и очень славной женой. История до неприличия стандартна для тех времен: она, медсестричка, выходила его в госпитале. Комнату поделили на две части. В одной осталась довоенная жена с сыном, вышедшая спешно замуж за гражданина Белова, а в другой жил сам Лукастик с новой женой. История этой семьи добавляла настоящего драматизма в жизнь огромной квартиры, так как первая жена никак не могла успокоиться и периодически громко выясняла отношения со второй. Понять можно обеих. Вот Лукастик-то резался с папой в шахматы без всякого там баловства в виде бражки. Мне разрешалось иногда присутствовать при шахматных партиях. Силы соперников были почти равны. Однажды, когда я училась классе в седьмом, мама попросила меня сходить за папой, который играл в шахматы и забыл об ужине. Когда я осторожно постучала в дверь к Лукасику костяшечкой указательного пальца, а потом открыла ее, не дождавшись традиционного «заходите!», я увидела папу с балалайкой в руках, что меня несказанно удивило. У папы был весьма хороший слух и мягкий баритон, но на серьезных музыкальных инструментах он не иг-

рал. А тут балалайка в руках! Что же он на ней выделял! Какие коленца! Я ни потом, ни после не видела папу, играющим на балалайке и поющим не только русские народные песни, но и частушки, похабное содержание которых смягчалось на ходу умелыми вариантами. Как часто не знаем мы скрытых способностей самых близких и любимых людей! Потом балалайку в руки взял Лукастик, а папа начал под его аккомпанемент отбивать чечетку не хуже профессионального чечеточника. Это в комнате, где при самом оптимистичном раскладе свободного места было не больше двух-трех квадратных метров. Как это было красиво! Танцуют только стопы ног, потом ноги от колен и ниже, корпус прям и неподвижен. На лице выражение полнейшего просветленного покоя и счастья. Ритм! Темп! Звук шаркающих о некрашенный деревянный пол старых сношенных подметок! Умели наши родители веселиться от души и часто абсолютно на пустом месте!

Хочется сказать еще об одном. Для веселья не надо было накрывать ломящийся от изобилия стол. Советские люди «отрывались» многие годы обязательными гостями и застольями на Седьмое ноября, Восьмое марта, Первое мая, а потом по важности шли Новый год и Девятое мая, День Победы. Можно было только удивляться тому, что при всеобщей нехватке всего, включая продукты питания, люди умудрялись накрывать столы. по роскошеству не снившиеся нашей стране до начала семидесятых. Стол послевоенный представлял собой весьма скромное зрелище: винегрет, селедка, с которой снята шкурка, но кости остаются на месте, как и голова, любительская колбаса, нарезанная кружочками, а еще открытая банка шпрот, у банки торчит весело наверх крышка, а потом огурчики и провансальская квашеная капуста. Капуста провансаль – это нечто! Капусту квасили, добавляя в нее сразу клюкву, чернослив,

белый виноград, всяческие пряности. Продавалась она в овощных магазинах из бочек. Надо было попросить не добавлять много жижки вместо самой капусты. Конечно же, бутылка водки и бутылка вина, а для детей лимонад или дюшес были обязательны.

В комнате Лукасика на малюсеньком столе не было никакой еды или выпивки. Я застала врасплох двух мужиков, веселящихся у раскрытых шахмат с законченной партией, но как же им было здорово без жен и детей, без проблем, без звучащего радио!

Я только тогда поняла, начала понимать, что у родителей есть своя, не связанная с нами, детьми, жизнь, что эта жизнь полна эмоций и собственных красок и личных переживаний. На то они и личные, чтобы нам не принадлежать.

Клавдѐя

Она была очень красивой, эта женщина послевоенной поры. Мы же все ищем, с кем можно сравнить человека, чтобы вам было понятно, что воображать. Так вот – Клавдия была похожа тоже на Клавдию, только Шульженко. Была она помоложе и значительно привлекательнее известной певицы. Извечное нынешнее, довольно заразное женское желание похудеть обошло Клавдию стороной. Она была пышнотела и не желала терять своей женской привлекательности при помощи потери так любимых ею и ее мужем личных килограммов. А вообще-то ее можно еще сравнить с пышнотелой певицей Милицей Корьюс, которая сыграла главную роль в фильме «Большой вальс» и была, кроме этого, бывшей российско-подданной киевлянкой. Вот такая у нас в квартире была красавица! Клавдия носила известную по послевоенным фильмам прическу с валиком надо лбом и кудрями, распущенными по плечам. Вылитая кинозвезда!

Комната у них была совсем маленькая. Если у нас на четверых с собакой было двадцать метров, то в комнате Клавдии во все самые лучшие времена, сколько ни скобли и ни намывай, было не больше пятнадцати, а было их на этих квадратных метрах шесть человек. Комната их располагалась по правой стороне коридора от входа сразу после четырех ступенек, ведущих вглубь. У Клавдии и ее мужа было трое детей, сын и две дочери, младшая из которых была почти моей ровесницей. Из деревни была вызвана глухонемая Мара, Клавдина сестра, о которой речь уже шла. Личность тоже легендарная, трудолюбия невероятного и невероятного же терпения и выносливости. Она таскала тяжеленные сумки и держала весь Клавин дом в полном порядке. На нее всегда можно было положиться.

Известный случай с москвичками, которые после войны появлялись в театрах и концертных залах в ночных рубашках немецкого производства, не обошел стороной и нашу квартиру. Как же она была хороша в умопомрачительном наряде темно-вишневого цвета, вся в кружевах, с глубоким вырезом, а там соблазнительно колыхалась неслабая, как теперь говорит молодежь, грудь! Талия была перехвачена широким поясом, уходящим за спину и завязанным там объемистым узлом-бантом. Платье, а мы все были уверены, что это выходное платье, уходило в пол, флиртуя при ходьбе по щиколоткам красивых стройных ног. Красота линии бедер подчеркивалась прекрасным кроєм ночной рубашки немецкого довоенного производства и статностью фигуры. Клавдия никогда в нем не готовила, она в нем просто иногда ходила по квартире, заходя к соседкам в гости или просто так, по делам.

Эта семья была единственной, которая вполне могла вынести в коридор проблемы личного свойства, отношения выяснялись

иногда в коридоре, оглашая общие апартаменты громким ором, к чему присоединялось еще и мычание Мары. Балаклаевы были трудолюбивы и веселы, довольствовались тем, что у них есть, и умели славно отрываться, гуляя по поводу и без него.

А один раз произошел случай, который выделил Клавдию из общего ряда жильцов нашей немаленькой коммунальной квартиры, где не было ванной комнаты до конца пятидесятых годов. Детей, когда они были еще малы, мыли на кухне в цинковых корытах, в них же стиралось белье. А потом власти решили, что народу нужно сделать ванную комнату. Она у нас была особенная, в ней было огромное окно, выходящее во двор, в самый угол здания. В ванную комнату можно было смотреть из окон дома, выходящих туда же, но с другого угла. Потом стекла замазали мелом. Вы же понимаете, что неловко купаться, когда зрелище это представляется на просмотр всем желающим. Ванна была огромная, белого цвета, метра два с лишним. Там же поставили газовую колонку, которая шумела страшным образом. Почему-то было принято сначала набирать воду в ванну, а потом, с полотенцем, мылом, расческой и мочалкой (губок никаких еще не было), отправляться в холодную ванную комнату. Это вам не Песчаные бани с паром, большим количеством народу, шайками и прочими прелестями банного бытия.

Однажды Клава набрала воды в ванну и пошла мыться. Все бы хорошо, но, набрав воды и скинув одежды, Клава не просто перекинула ногу в ванну, чтобы потом подтащить вторую, она сделала вещь необдуманную – наступила на край огромной чугунной ванны, наполненной водой. Чугунная ванна опрокинулась, закрыв собой обнаженное тело помывщицы. Скорость опрокидывания ванны была настолько высока, что основная часть воды осталась вместе с Клавой под ванной. Позже,

уже веселясь и со смехом воспринимая происшедшее, Клава сказала, что подумала о начале атомной войны. Представьте себе – ты пришел принять ванну, полон приятных предвкушений, ставишь ногу на ребро и... полная мокрая темень. Но раз война, значит, война, делать нечего, придется погибать!

Какое счастье, что мать троих детей и верную жену не прихлопнуло чугунным краем! Воду собирали потом всей квартирой. Это сейчас можно посмеяться, а дело было-то совсем серьезным.

В начале пятидесятых всем казалось, что вот-вот начнется война и нужно быть к ней готовым. Американцы взорвали атомные бомбы совсем недавно в Хиросиме и Нагасаки, жди от них еще какой-нибудь подлости. И мы ждали. Хорошо, что Клавин страх перед иностранным вторжением был изжит таким вот странным образом.

За глаза Клаву вся квартира звала с любовью и тайной завистью Клавд́ея. Царство ей небесное, ее недавно не стало. Вечный недуг шумных, крупных и избыточных людей – инсульт. И опять ей повезло, она не лежала нисколько, не болела, ее не стало в одночасье. Настоящий поцелуй Бога.

Я не называю здесь ее профессию, это неважно. Высшего образования у нее не было, как и среднего, кстати. Она была во все времена женщиной, и в этом было ее призвание и профессия.

Вот и все, что я написала о своей квартире. Пока писала, вспомнила все, как будто это было вчера. По-прежнему считаю, что в подобном «коммунальном» житье ничего хорошего нет и быть не может. Но если уж вспоминать, то не всякие пакости, а то, что тебя, в общем-то, сформировало, преподавало первые уроки терпимости и снисхождения к человеческим слабостям и многому другому, чему названия нет.



А.С. Логинова

«ЧТО КАСАТЕЛЬНО – ТО ОТНОСИТЕЛЬНО!»

Коммунальная квартира – гениальное изобретение советской власти, к тому же полностью воплощенное в жизнь, как «электрификация» и «коллективизация».

«Коммунализация всей страны» – серьезное государственное дело: она решила квартирный вопрос, с тех самых пор и по сей день стоящий остро, и запустила вечный двигатель классовой ненависти, дав выход худшим сторонам человеческой натуры. Сосредоточившись на ближних, люди отвлекаются от внешних событий, происходящих в государстве.

Наша семья прошла через несколько коммунальных квартир, каждая из которых дает срез замечательных в своем роде характеров и ситуаций.

После двухмесячной оккупации в Подмосковье мы вернулись в Москву зимой 1942 года. В комнате отца в Леонтьевском переулке жили родственники, нам места не было. В зиму 1941–1942 годов немногие жители, оставшиеся в Москве, иногда переселялись в квартиры или дома, где было отопление и газ. Ведь многие дома не топились, и газ был не везде.



Мама Дарья Степановна Малюткина (слева в нижнем ряду) с сестрой и подругами

Мама с тремя детьми: я – старшая, шесть лет, младшему Боре – десять месяцев, и племянница Лида – помощница, была вынуждена идти к очередным родственникам в Скверный переулок, дом 5а. В шестнадцатиметровой комнате жила жена маминого брата тетя Марта и двое мальчиков, их сыновей. Прибавление еще пяти человек не могло вызвать энтузиазма даже у самых добрых людей. Но они были к нам добры, и комната превратилась в цыганский табор, спали на полу. Отопления не было. Так и жили какое-то время – на шестнадцати метрах восемь человек, из которых пятеро – дети.

Отношений на кухне я не помню, меня туда не пускали. Но у каждой семьи был примус или керосинка, а позже – керогаз, на которых готовилась скудная еда. Они уютно

гудели целый день, напоминая, что жизнь идет. Квартира была замечательная – высокие потолки, 7 или 8 комнат, плотно заселенных. Две комнаты были как бы отдельной квартирой за дверью с маленьким коридорчиком. Наверное, раньше здесь были спальни или детские, специально изолированные от остальных комнат.

Помню высокую старую (с точки зрения моих шести лет) женщину, разительно отличающуюся от остальных жильцов, – Ольгу Александровну Рудольфи, возможно, прежнюю владелицу всей квартиры. Она носила длинную юбку и блузку с высоким воротником с оборками, на груди медальон, к которому я невольно потянулась. Высокая дама была снисходительна к моей невоспитанности. Может быть, я чем-то тронула ее, и получила в подарок серебристо-сиреневую коробочку из-под французских духов. Их запах сохранялся до 1960-х годов. Вот такие были духи!

Однако нам было необходимо найти какое-то жилье. Существовала единственная возможность – получить «служебную площадь», работая в домоуправлении. Маме предложили работать истопником в котельной пятиэтажного дома № 15 в том же Скаертном переулке. Мама страдала от порока сердца, но согласилась, надеясь, что отопительный сезон через пару месяцев закончится и летом топить не придется, а к осени, может быть, война окончится или придут какие-нибудь известия с фронта от отца. «Служебная площадь» оказалась в глубоком сыром подвале – бомбоубежище рядом с котельной. Небольшие окна под самым потолком забиты фанерой, стекла повывлетали при бомбежках. На стенах устрашающие плакаты с изображением фигур в противогазах, перетаскивающих раненых с разнообразными увечьями.

Нам отвели девятиметровую комнату, совершенно пустую. Только у двери криво ви-

села небольшая деревянная вешалка, на ее рожах лежал томик в синей обложке: «Дети капитана Гранта». Мама постелила на пол свою выдавшую виды беличью шубку, посадила на нее обоих братьев и послала меня к тете Марте за кружкой и ложками. Так началась наша самостоятельная жизнь в Москве.

Мама днем и ночью топила углем огромный котел, обогревавший весь дом. Однажды, когда ночь была особенно морозной и мы замерзали в своем подвале на полу (одеял и белья у нас не было), мама перенесла нас, сонных, и положила на котел, чтобы мы согрелись. Когда мы очнулись, мы долго не могли понять, как оказались в больнице, где нас всех спасли от угара. Нас искупали, и несколько ночей мы спали в кроватях на чистых простынях. И еще нас кормили супом и кашей! Словом, повезло.

Скоро в наше бобоубежище-подвал въехал дворник-татарин из Казани (раньше в Москве дворниками часто были татары) Ка-



Дарья Степановна Логинова (Малютина) с дочкой Алей, 1938

фетул, в переводе дядя Вася. За ним последовали его жена Ферета – тетя Маруся, старший сын Абдула-Лешка с красавицей-женой Таире-Танькой и младшие дочери – Рахима, Рихане, Бибихане, Зайтун, они же Райка, Манька, Валька и Зинка. Последняя Нейля появилась на свет уже в подвале, она постоянно ползала по немытому полу среди грязных галош, но выросла здоровой хорошей девочкой. Веселая Зинка стала гулящей. От нее запирали одежду, но она в наше отсутствие добиралась до моих платьев и туфель и убегала. И скоро оказалась в Суздале в колонии для малолетних проституток, размещавшейся в Спасо-Евфимиевом монастыре. Отец ездил к ней и был в восторге от архитектуры. «Ой, Алька, как красиво, где Зинка теперь живет, как Кремль, как Кремль!»

На фоне этой многочисленной и дружной татарской «орды» мы терялись. Им казалось, что все принадлежит им. Не только мои платья для Зинки, но и наши чашки, тарелки, вилки и ложки и даже мука, сахар, масло и другие продукты, хранившиеся в кухне. Однажды я, раздосадованная тем, что исчез лавровый лист и полная бутылка подсолнечного масла оказалась пустой, схватила с их стола и спрятала пачку сливочного масла, только что купленного. И с наслаждением наблюдала за поисками. «Ой! В магазин забыл! В магазин забыл!» – сокрушалась Таире. Позже масло «случайно» нашлось, но я была отомщена. На ноже, который постоянно исчезал, я выпилила крест и твердила соседям, что у меня крест, а у них полумесяц. Но это мало помогало. Так мы и жили под «татаро-монгольским игом», как шутили наши близкие друзья. Их первобытно-общинная жизнь была очень колоритна. По большим праздникам на кухне потрясал натюрморт из двадцати темно-синих эмалированных чайников. Мужчины куда-то ездили и привозили конину. В ход шло не только мясо, но и

все внутренности. Когда жарили-парили мочевой пузырь, запах стоял такой, что я плакала в голос от физических и нравственных страданий. Этот чудовищный запах не выветривался несколько дней. А куда уйти?! Размножившись простым делением, т. е. каждая дочь численно учетверилась, все получили по отдельной квартире. Но все-таки мы неплохо ладили, и я больше помню хорошее, чем плохое.

Следующая коммунальная повесть – жизнь в том же доме, но уже на третьем этаже, в квартире № 7, куда я переехала в 1961 году с мужем, маленькой дочкой и двумя братьями. Как семье погибшего на фронте офицера, нам дали на всех одну большую комнату (33 кв. м). В остальных четырех комнатах жили четыре семьи различного количественного и качественного состава. Всего нас было шестнадцать человек. Естественно, количество вариантов коллизий, как скандальных, так и анекдотических, возникающих при каждодневном тесном соприкосновении и взаимном трении шестнадцати человек, шестнадцати характеров и шестнадцати различных настроений, можно посчитать только на современном компьютере. Например, при расчетах за газ и свет скрупулезно учитывалось наличие или отсутствие даже случайного гостя (гостей) в каждой семье: три и 1/2 человека, два и 1/2 человека, три и 5/8 человека и т. д. Конечно, применение элементов «высшей математики» в быту порождало ненаучные конфликты. «Я не жадная, мне плевать на десять копеек! Но почему она постоянно платит на пять копеек меньше?! Я из принципа не соглашусь, я – за справедливость!»

Расчеты производил Михаил Александрович, состоявший в разводе с Тамарой Яковлевной, но проживавший с ней в одной комнате. С ними жила их дочь Наташа и брат, и сестра Тамары Яковлевны. (Какой ма-

териал для Шекспира!) Скоро разведенный муж ушел к новой жене, а к Наташе въехал муж Петя, и появилась дочь Алена. Тамара Яковлевна держалась очень прямо, ее шаг четко отпечатывался на нашей значительной жилой площади общего пользования. Она воспитывалась в Смольном институте и рассказывала, что девочкам привязывали к спине линейку, что не позволяло им горбиться. Иногда, по просьбе трудящихся кв. № 7, повторялся трогательный рассказ о посещении Смольного государем императором Николаем II. Во время визита государь выпил стакан воды. После стакан разбили, и некоторые счастливицы стали обладательницами драгоценных осколков. Тамара Яковлевна не уточняла, была ли она в их числе.

В соседней комнате жили бездетные супруги Игнатовы – дядя Коля и тетя Шура. Бездетность восполнялась пылкой любовью к замшелому коту Пахому и белому шпицу с редким именем Пушок. Пушок был, как это бывает, поразительно похож на хозяйку: с курносым носиком и добродушно-веселым выражением мордочки. Квартирный историк-любитель знал, что дядя Коля когда-то был «топтуном» (сотрудником НКВД, следившим на улице за нужными людьми). Было известно также, что тетю Шуру он обрел в облаве на веселых девушек, в ходе мероприятия по внедрению нравственности в ряды пролетарской молодежи женского пола. Они были добродушны и хлебосольны, но почему-то холодец у них всегда был сдобрен шерстью Пушки и Пахома. Поэтому моя дочь Катя, которую дядя



Катя Логинова (справа) с двоюродной сестрой во дворе дома 15 по Скатертному переулку, 1964

Коля любовно звал Мухой, не может даже слышать слова «студень».

По воскресеньям Николай Василич посещал Птичий рынок и всегда возвращался с канарейкой в красивой клетке. Канарейка замечательно заливалась руладами, вызывая всеобщий восторг, смешанный со слезами умиления. Но вскоре волшебное пение умолкало, и оставались только слезы. Выяснялось, что гнусные ловкачи-торгаши перед продажей поили пташек коньяком. Его действия хватало на несколько часов, а затем, по-видимому, наступало похмелье. Глубоко сочувствующий дядя Коля предлагал птичке опохмелиться. Но все же, несмотря на заботу, через некоторое время бедная птичка умирала. С горя, с радости и без особых причин супруги Игнатовы любили выпить и закусить холодцом. Наутро бедная тетя Шура со страдальческим лицом и стенаниями «гипертония разыгралась», держась за стенку, едва передвигалась по коридору в сторону кухни. Дядя Коля на свет Божий не появлялся. Гипертония свирепствовала по нескольку дней.

Следующая героиня, Полина Ивановна Леонова, обязательный экземпляр в каждой

коммунальной квартире. Коротко стриженная сухонькая старушка, в ее кухонном столе в благодатных условиях размножались тараканы и червячки, которыми она щедро делилась, подбрасывая их в столы и кастрюли. Пришлось на столы повесить замки и дежурить на кухне во время варки-жарки, иначе грозила встреча с насекомым в тарелке. Но главное ее амплуа было знать все обо всех. Именно этот незамутненный источник донес информацию о боевом прошлом тети Шуры, о том, что гордая и классово чуждая смолянка живет со своим братом как с мужем, а Цецилия Самойловна спекулирует искусственными цветами, которые к тому же сама и изготавливает. Ну и Аля (это про меня) непорядочная: «Скажите, зачем порядочной женщине каждый день мыться?!» Здесь нужно добавить, что не только помыться, но даже и умыться не всегда удавалось. Часто чистили зубы в кухне.

Весьма пожилая, похожая на царевну-лягушку, Цецилия Самойловна заботами синагоги вышла замуж за пожилого крупного мужчину, который всегда громко кашлял, сопел и хрипел, особенно при исполнении супружеского долга. К счастью для нас, суп-

руги осуществили сложный обмен, заполучив (о, голубая мечта создателя коммунизма!) отдельную квартиру. Вместо них на кухне появилась Елизавета Ивановна Кондакова с двумя дочерьми юного возраста. Поначалу она вела себя настороженно и даже несколько неприязненно, особенно по отношению к тем, кто не ходил на работу. Дело в том, что Елизавета Ивановна была замечательной труженицей. Она сорок лет проработала в одном и том же магазине, в одном отделе – резала сыр. Кость ее правого плеча износилась до дыр, ноги отекали и гудели от постоянного стояния с восьми утра до восьми вечера. Боясь опоздать на работу, она выходила из дома в шесть часов утра зимой и летом, шла пешком от Никитских Ворот на Маросейку, т. к. троллейбусы по утрам ходили очень редко. Приходила за час до открытия магазина и ждала у дверей, негодую на тех, кто приходил на работу за двадцать минут до начала. Она молча и страстно не одобряла своих коллег, которые «прохлаждались» в обеденный перерыв вместо того, чтобы привести в порядок свое рабочее место и подготовить товар к приходу покупателей. Какое-то время она, ка-

жется, была депутатом райсовета. Конечно, она была героиней-труженицей и хорошим человеком, но не умела радоваться. Как-то 31 декабря, когда все были заняты веселыми новогодними приготовлениями, она с дочерьми в 9 часов вечера, воспользовавшись свободной ванной, затеяла стирку одеяла. Елизавета Ивановна была не только продуктом, но и жертвой советской системы. Ее феноменальная приверженность работе бы-



Скатертный переулок, дом 15. В окне кухни - Алина Сергеевна Логинова, 1964





ла, по сути, «смирением паче гордости». Она была нетерпима ко всем, кто, подобно ей, не трудится как вол. Ее дочери выросли, вышли замуж и упорхнули, а она, одинокая, не ослабевая, тянула ляжку, продолжая работать, работать и работать...

Одинокая старость – удел многих. Не хочется быть в тягость детям, даже хорошим и достаточным. Трудно покинуть привычную колею, свою комнату, кровать, трудно менять привычный образ жизни. Вот и живут бабушки, потихоньку догорая, в лучшем случае исполняя роль приходящих домоработниц в семьях своих детей и внуков, если болезни не подточили еще остатки физических сил.

Вспоминаю почти рождественскую историю. Муж Надежды Николаевны погиб на фронте. Она одна вырастила двоих детей. Сын женился, дочь вышла замуж, пошли внуки. Дети работают, а мать не работает, «сидит дома». Ее и пристроили к внукам. Детям пришла пора отдохнуть, съездить в отпуск, а она снова с внуками. Зачем ей отдыхать, она же не работает и даже «отдыхает» с внуками на даче. Однажды сын встретил дядю Сашу, фронтового друга отца. Живет в Смоленске, обещал заглянуть. Сын, наверное, впервые обратил внимание на мать: «Ма, ты бы хоть причесалась, что ли? Может, в парикмахерскую сходила бы, прическу сделала?» Мать отвечает: «Зачем в парикмахерскую? Надо пирог с капустой испечь». Дядя Саша пришел. Отведал пирога с капустой. Пришел раз, пришел два... Посмотрел на эту жизнь и говорит: «Слушай, Надежда, ты еще не старая женщина, а живешь как раба. Выходи за меня замуж, поедem в Смоленск. Пенсия у меня приличная, проживем еще как люди!» Она отмахнулась: семья, внуки. Но дядя Саша был настойчив. Когда дети узнали, что бабушка собралась замуж, возмущению не было предела: «В сорок восемь лет

замуж?! Не смей! А мы как же?!» Теперь бабушка живет в Смоленске, приезжает к детям и внукам в гости, и не только с красивой прической, но даже в шляпке.

В освобождавшиеся комнаты въезжали новые жильцы. Вместо Карасевых и Игнатовых поселились два враждующих алкоголика. Хороший алкоголик Слава был мучеником собственной мужской гордости. Его жена, красавица-спортсменка, как будто сошедшая с картины Дейнеки, угрожала разводом, если он не бросит пить. Он не бросил. Она развелась. Он был рукодельный, мастеровой человек, страдал в разлуке с женой и сыном, но покориться не мог и продолжал пить с горя. В тоске и одиночестве он громко разговаривал с телевизором, не стесняясь в выражениях, резал правду-матку. Любил изъясняться красиво и лапидарно: «Я, что касательно, то – относительно!» или «Я для тебя все что, а не то что!» Работал он на мясокомбинате Мякояна, снимал шкуры с туш забитых животных. Насмотревшись на технологию получения из одного килограмма мяса двенадцати килограммов сосисок (в целях выполнения продовольственной программы партии и правительства), Слава неизменно повторял мне: «Аля, чтобы слово “сосиски” я не только не видел, но и не слышал!» Свою жизнь он закончил печально: тщательно убрав комнату, забил дверь гвоздями, ушел и бросился под электричку.

Плохой алкоголик Петр Иванович переехал к нам с первого этажа, где, подвыпив, гонялся с ножом по квартире за своей худой забитой женой. Его отселили к нам. Он считал себя очень красивым, поскольку был похож на какого-то широколицего диктора в телевизоре. По этой причине он полагал, что женщины должны идти к нему в объятья потоком. Для этого он часто стоял у выхода

из метро с гостеприимно распахнутым лицом. Женщины иногда случались, но всегда однократно. Однажды, правда, появилась Нина, привезя с собой некоторые атрибуты семейной жизни, но через пару месяцев исчезла вместе с ними. Потом опять появлялась и исчезала. При этом в ванной комнате появлялась и исчезала, оставляя после себя дырки в стене, полочка с розовой мыльницей и зубной щеткой – робкое напоминание о хрупком семейном счастье, которое так и не состоялось.

Петр Иванович работал инженером на стройке и использовал широкие возможности «приносить с работы», например, керамическую плитку «оригинальной коринфской» расцветки. Он выложил ею свой столик на кухне, дав, таким образом, приют тараканам и миниатюрным фараоновым муравьям. Кусками краденого линолеума, цвета салата оливье, он пытался покрыть старинный дубовый паркет в общей прихожей. Этой акции мы решительно воспротивились, что вызвало искреннее недоумение «благодетеля» и объяснялось моей глупостью и вредным характером. Жизнь одинокого красавца имела свои минусы. По телефону он жаловался своему приятелю, который собирался развестись: «Не советую, старик, не советую! Я тоже так думал. Но знаешь, чистить картошку, убираться, а еще стирать... Не-е-ет, старик, не советую!» Он умер на своей кровати с перепоя.

Взамен появилась Фекла Петровна Демина – «фольклор чистой воды». Она была уборщицей и дворником домоуправления, жила в подвалах. И вот теперь наконец поселилась на третьем этаже в красивой квадратной комнате с окном на юг. Сама Фекла – колоритный народный характер, вынесенный в шестнадцать лет в столичную жизнь волной социальных преобразований из орлов-

ской деревни. Родители умерли от голода, жена старшего брата, в семье которого она осталась ребенком, ее не жаловала. Пришлось Фекле уйти на фабрику за несколько верст от деревни. Там возила мешки на лошади. Лошадь, привыкшая к твердой мужской руке и крепкому слову, Фекле не слушалась. Мужики смеялись, советовали девушке «принять серьезные меры». Она и приняла: оглядевшись, чтоб никого не было, она произнесла магические слова, и – о чудо! – лошадь пошла! Фекла вошла во вкус и стала виртуозом народного языка. Она материлась вдохновенно. Это всегда был экспромт, рожденный мгновенно в связи с данной конкретной ситуацией. И в рифму! Словом, это был настоящий фольклор, а не бесцветная пошлятина. Если бы не большевистские социальные эксперименты, Фекла наверняка стала бы сказительницей. Однажды, сидя на диване и открыв дверь своей комнаты, она пропела свою жизнь. Меланхолически, заунывно, она обличала прежнего хозяина, у которого была домработницей. Когда хозяйка умерла, он женился во второй раз на своей давней знакомой. Но «молодая» была очень беспомощна, несмотря на свои почти шестьдесят лет. И тогда Феклу призвали, чтобы наладить хозяйство. И вторая жена тоже умерла. Фекла надеялась, что теперь-то он женится на ней. Но этого не произошло, так что мечта о ковре, хрустальной вазе и «зеркальном шифонере» не осуществилась. Этот душераздирающий сюжет был исполнен в былинном стиле. Процитировать это невозможно.

Фекла была самородком. Однажды очередной лимитчик пришел посмотреть освободившуюся комнату. Он всем не понравился. Фекла обобщила: «Личико как яичико, а внутри черт наклал!» Или ее комментарий к телесюжету: «Скорей иди, смотри, как Брежневу орден на яйца ве-





шают, больше уж места нету». Про славу советского спорта: «Эх, Роднина! Эх, Зайцев! Это наши русские, наши советские! И плавать, и нырять, и в жопе пальцем ковырять – везде первые!»

Короткие рассказы-зарисовки: «Один гражданин женился на одной гражданке. Дочка у их. А потом женился на одной аферистке. А дочь-то замуж выходить. Аферистке денег жалко. Он и подарил дочери “хужеры”. А жена, первая, говорит: “На кой хер ей хужеры? Ты бы лучше ей шифонер подарил!”»

Или еще: «Была соседка армянка Мандарина Сергевна и выбросила сверток в газете на черный ход. А я только убралась. Развернула, а там... говно. Завернула обратно и стучуся:

– Мандарина Сергевна! Вам посылка.

– Какая посылка? Откуда?

– Вам посылка из Ельца! Один х... и два яйца!»

«Была я дворником, в подвале жила. Заходил, бывало, оперативник Печкин погреться. Он ночью дежурил – к одной гражданке иностранцы ходили. Он, бывало, говорит: “Товарищ Демина! Ты бы мне хоть разочек дала”. А я ему: “Товарищ Печкин! Я б тебе дала, да недавно срала!”»

Замечательным было ее словотворчество:

– Собинов-то, это какой? Который кенарем, что ли, поеть?

– Гражданочку одну задержали в ресторане Брага.

– Рукзад нешто удобно? Ведь не достанешь ничего.

– Ой! У магазина одна гражданка плакала, портмоне у ей сперли.

– Бываеть-бываеть, что и у девки муж умираеть, а у вдове живеть!

А вот несколько «алмазов», родившихся в недрах коммунального быта:

– Вы опять кормите непрочисанных!

– Вы не купили сапожки? Такие оригинальненькие, как у всех!

– Вы не думайте, у меня тоже очень высокий пьедестал жизни!

От перлов Феклы перехожу к «историческим изысканиям». Старые жильцы говорили, что в комнате, которую занимала Ц.С. Пекелис, жила когда-то княгиня Волконская (я думаю, ей принадлежала вся квартира). Ее муж, опереточный тенор, якобы очень ее обижал – пил, изменял и даже бил (как-то очень по-советски). И вот наталкиваюсь в «Воспоминаниях» С.М. Волконского на следующие строчки по поводу тех иностранцев, которые восхищались московской архитектурой: «Эх, привести бы такого в Скатертный переулок, показать эти гримасы, кафельные ванны – дворянские бани, вывороченные наизнанку». Скорее всего, это сказано о доме № 14, стоящем напротив нашего дома № 15, который он мог видеть из окон квартиры своей родственницы княгини Волконской. И правда, дом № 14 – самый «кафельный» дом в нашем переулке. Сейчас там посольство одной из стран Африки. А в нашей комнате раньше жили Кекушевы. Лев Николаевич Кекушев – один из лучших русских архитекторов эпохи модерн. Я его не знала, а жену его хорошо помню: изящная дама с короткой стрижкой «под мальчика», прогуливалась по переулку с небольшой собачкой.

О Л.Н. Кекушеве следует сказать особо. Архитектор-энциклопедист, он был одним из самых ярких и самобытных мастеров московского модерна. Его считали выдающимся зодчим своего времени, универсальным мастером декоративного искусства, виртуозом внешнего дизайна и интерьера. В Москве и Подмосковье существует ряд особняков, доходных домов и общественных зданий, включая гостиницу «Метрополь», несущих на себе печать его таланта. Одним из наиболее известных особняков, построенных

Л.Н. Кекушевым в пору расцвета его творчества, считается «Дом Миндовского», в котором сегодня располагается посольство Новой Зеландии (ул. Поварская, 44).

Во втором подъезде нашего дома жил художник Юра Красный, пожалуй, самая яркая личность нашего дома. У него (единственного тогда!) была машина «Победа». Наш скромный переулочек часто украшал своим появлением друг Юры – Лева Збарский, внук профессора Збарского, который балламентировал самого Ленина. Лева был не только стройным и элегантным, но и экстравагантным молодым человеком. Известно, что, учась в десятом классе, он посылал письма Пикассо, Матиссу и С. Дали и как будто получал ответы, приобщаясь таким образом к европейской художественной культуре. И в советской, того времени, культуре он оставил свой яркий след. Лева оформил книгу Ива Монтана «Солнцем полна голова». На обложке был изображен подсолнух с разлетающимися по ветру лепестками – свобода и солнце как вызов официальному стилю, серому и тяжелому, как асфальт. Следующая его книга о театре Натальи Сац. Там был нарисован черт, сидящий в вольной позе на какой-то ширме. Лева упрекнули, что черт слишком нереалистичный. «А вы видели черта? Опишите мне, и я нарисую черта реалистичного!» – ответил Лева.

Лева и Юра были звездами московского бомонда 1950-х годов. Они завели моду брать на содержание юных красоток (производство моделей-манекенщиц было налажено позднее). В переулке появились изящные создания в белых пальто с большими черными пуговицами или в черных с белыми. Обычно их звали Жанна, Луиза или Агнесса. В доме напротив Юриного подъезда в окне второго этажа часто сидела Сима-Кукушка. Замечательная добрая Сима, неотъе-

мая часть жизни переулочка. Перенесенный в детстве полиомиелит лишил ее возможности ходить. Она обращалась к Юре: «Юрка! Ты скажи своим девчонкам, чтобы они тебе окно помыли!» На что Юра самодовольно заявлял: «Они у меня не для того, чтобы окна мыть!»

В доме № 16 на первом этаже всегда были открыты окна, там жила красавица немого кино Елена Михайловна Чернова. Она была несравненно красивее Любви Орловой. У ее открытого окна часто стоял сам Коваль-Самборский, герой-любовник немых фильмов 1920-х годов. А позже она стала невысокой симпатичной старушкой с неизменной беломориной во рту в длинной вязаной кофте. В ней трудно было узнать воздушную, непревзойденную, очаровательную Месс-Менд, но это была она! Сама Елена Михайловна производила неизгладимое впечатление на мужское население переулочка, особенно на моего младшего брата, своей великолепной фигурой и стройными, несмотря на возраст, ножками. Ее безупречные манеры, ирония и юмор держали мужской пол в рамках приличий. К моему брату она относилась ласково, видя в нем подходящую партию для своей дочери. Дочь Елены Михайловны, с лицом персидской миниатюры и французским именем Ивонна, оказалась двоюродной сестрой Муслима Магомаева. У нее был очень сильный и красивый голос (мягкое и сочное контральто). Она даже училась пению и, наверное, могла бы петь не хуже своего блестящего брата. Но девушка была веселой лентяйкой и замечательно громко смеялась, радуя нашу половину переулочка божественными переливами.

По соседству с нами стоял дом № 17, маленький, желтый, двухэтажный, с двумя квартирами. У раскрытого окна первого этажа всегда сидела Люська, красавица с чер-



А.С. Логинова с дочкой Катей, 1968

ными кудрями и пышным бюстом, выложенным на подоконник. Из глубины комнаты доносились волнующие звуки патефона. Опровергая пословицу, Люська убивала сразу трех зайцев: дышала свежим воздухом, вязала кофты на продажу и привлекала мужчин. У ее окна неотступно стоял Валька Крыло – оголец из дома №18 по Хлебному переулку. Огольцами назывались в ту пору молодые люди, которые большую часть досуга проводили за решеткой. На воле они выделялись особым, только им присущим шиком: чуть отросший ежик волос под маленькой кепочкой-семиклинкой с коротеньким козырьком (в точности, как у Ю.М. Лужкова), а в кармане или за голенищем – финка. Оставалось загадкой, когда Валька успевал совершить очеред-

ную кражу, чтобы сесть за решетку, если все время он проводил под Люськиным окном.

Над Люськой жил хорошенек Юрка Рахманов, точная копия своего отца. Но мать Юрки была выдающейся женщиной, заложившей прочный фундамент материального благосостояния своей семьи. В свое время она «доказала» на какого-то большого начальника. Это делалось так: в кабинете большого начальника (с высокой зарплатой) при свидетелях устраивался скандал: якобы этот начальник соблазнил беззащитную невинность и бросил ее с ребенком. В сталинские времена успех был обеспечен, и начальник содержал «своего» ребенка до восемнадцати лет.

Вот беглый взгляд на сохранившиеся в памяти детали жизни пятидесяти-, шестидесятилетней давности. Было бы интересно почитать о себе воспоминания моих соседей. Впрочем, Фекла Петровна на вопрос нашего столяра обо мне (он чинил мой диван) сказала: «Аля-то? Хорошая женщина, хорошая. Но – дура! Ой, простая, ой, дура, все отдасть. Он (сосед-алкаш) к ей приходит, просит три рубля. Я б ему сказала: “Какие три рубля?! Тебе три года дать надо!” А она дает, да еще пять». Или: «Аль! Гляжу я на тебя, у тебя ума, как у Брежнева! Ленин умер, весь ум тебе оставил, а ты вон как живешь, хуже нашего».

Да, коммунальная квартира – школа общежития. И жилье, и зона. Хороших людей делала лучше, плохих – хуже, и всех – одинаково несчастными. Требовала от каждого более высокой внутренней культуры, толерантности, учила терпению и любви к ближнему. Не всем и не всегда это удавалось.



Моя внучка Катя Смит на коммунальной кухне, 1988



Радикальное средство против
веснушек и для белизны лица
КРЕМ МЫЛО ПУДРА

ИМША
Метаморфоза

Отзыв известн. американской артистки
Клары ЮНГ:



Артистка Клара Юнг

Я употреби-
ла мыло и
крем Имша
и нахожу их
лучшим сред-
ством про-
тив весну-
шек и мор-
щин. 11|хн-25
Кл. Юнг

Требуйте везде!!!

ЛЕЧЕБНЫЕ ПИВНЫЕ ДРОЖЖИ
жидкие и в таблетках.

Охотный ряд, Монетный Двор, № 91-а.

Просьба к врачам и лечебницам
направлять больных.

Абонемент со скидкой

Медицинские и гигиенические
БАНДАЖИ и спинодер-
жатели

„ГАЛЕКС“

под наблюд. опытн. медперсонала

Г. А. АЛЕКСАНДРОВ

Арбат, 12

Тел. 4-42-78

ОТКРЫТА ПОДПИСКА

на киевский еженедельный театрально-художественный
журнал

„ТЕАТР - МУЗЫКА - КИНО“

Обширная театральная информация. Рецензии. Фельетоны.
Статьи по вопросам театра и кино. Рисунки. Шаржи.
Программы и либретто всех театров и кино.

Условия подписки:

журнал „ТЕАТР - МУЗЫКА - КИНО“ на 1 мес.—50 к.,
3 мес.—1 р. 50 к., 6 мес.—3 р.

Подписка принимается по адресу: Киев, ул. Воровского, 25,
пом. ПАТАУ.

ВЕСНУШКИ

ЖЕЛТЫЕ ПЯТНА
УГРИ

УНИЧТОЖАЕТ
ТОЛЬКО

КРЕМ

МЕТАМОРФОЗА

МОРЩИНЫ

КРАСНОТУ И ДР.
НЕДОСТАТКИ КОЖИ
ЛИЦА И РУК

ШЕРАМИ

КОСМЕТИЧ. ЛАБОРАТ. ШЕРАМИ

ТЕЛ. 2-55-7X

МОСКВА НОВОСЛОБОДСКАЯ 52



ДАМСКИЕ, ДЕТСКИЕ
ШЛЯПЫ

и их переделка

у Е.М.АНДРЕЕВОЙ

Солодовников пас., маг. 26

ДРОВА

УГОЛЬ

ЯКОВ

БРУК

Девяткин пер. 5 Скл. 5-79-19

дом. 50-82

Доставка во все районы



Следите за артистическим миром!
Заказывайте изящную и доступ-
ную по цене **ОБУВЬ**, ул. Огарева, 12,
(б. Газетный пер.)

ОГАРЕВСКАЯ ТРУДАРЕЛЬ

Здесь по доступн. цене ремонт обуви.



ВОТ МОЕ НАЧАЛО

*Мы с тобою, Муза, быстроноги,
Любим ивы вдоль степной дороги,
Мерный скрип колес и вдалеке
Белый парус на большой реке...*

Николай Гумилев

— Сейчас придем домой, — объясняла Софья Израилевна, — тебя встретят родители, и — как ты скажешь?

— Bonsoir, — мрачно буркнул я.

— Правильно, — обрадовалась Софья Израилевна, — только «г» помягче... Повтори.

Я повторил. Софья Израилевна сделала вид, что ей понравился мой французский. Шли мы по булыжной апрельской Молчановке, одному из бесчисленных арбатских переулков, неотвратимо приближаясь к дому 20, приводившему старушку в ужас, о причинах которого — чуть позже.

Софья Израилевна, как бы попроще выразиться, держала «группу». То, что «группы» — символ времени, я осознал спустя годы, когда они как понятие исчезли вместе с бодрящимися, преклонных лет дамами «из бывших», которые зарабатывали на жизнь тем, что набирали человек пять дошколят из интеллигентных в основном семей, где родители по горло заняты с утра до позднего вечера, бабушки тоже выполняют гражданский долг, а ребята предоставлены сами себе. Детские сады имели тогда лишь круп-

ные заводы, и места там доставались потомкам передовиков и начальства.

Стойкие дамы выводили «группы» на прогулку в чахлые садики, детвора копалась, в зависимости от времени года, в песочке или снегу, а воспитательницы, собравшись на лавочке своим «профсоюзом», обменивались нелицеприятными впечатлениями о родителях вверенных им детей. К обеду парами двигались в унылый дом-модерн, где воспитательница занимала комнату в общей квартире (как это терпели соседи, ума не приложу), питались, отдыхали, снова гуляли и наконец усталыми, как принято говорить, но довольными доставлялись домой.

По причине беспокойного характера меня время от времени переводили из группы в группу. Возможно, поэтому галерея воспитательниц запечатлелась в моем сознании полустершимся общим лицом. Запомнилось, правда, некоторое разнообразие стыдливых языковых упражнений:

— Хочу по-большому, — грустно сообщал воспитанник.

— Скажи по-французски, — с изысканным садизмом требовала воспитательница.

— Хочу pour le grand, — умело отвечал мой сверстник.

— Фи, — не одобряла дама, — где тебя так научили?

— В той группе, — слегка пританцовывая, неопределенно показывал рукой ребенок.

– Надо говорить «хочу grand-chose», – наставительно поправляла наша дама. – Иди!

Из дамской коллекции окрестностей Чистых прудов, где прошло мое доарбатское детство, неокрепшее юное сознание почему-то задержало Марию Николаевну. Проживала она по соседству, в Сверчковом переулке. На прогулках носила барашковую папаху без кокарды, пальто из отреза для офицерской шинели с барашковым же воротником. На вверенных ей доверчивыми родителями детей она смотрела с полуулыбкой, обнажив сверкающее золото рта в некотором исследовательском удивлении, – позже я понял: так смотрят на диковинного клопа, размышляя, сразу его раздавить или посадить в банку для последующих научных экспериментов.

Со времени этих групп нес я свой крест: если даже проказничал кто-то другой – наказывали меня. Хотя, правду сказать, был я и впрямь не ангел. Вскоре о моих успехах знали все окрестные дамы-воспитательницы и после очередного изгнания ни за какие деньги не брали в свои «группы». Стойкая Мария Николаевна оказалась последней надеждой родителей.

Как-то в конце дня она привела меня домой, поднялась на второй этаж и постучала в квартиру. Это не предвещало ничего хорошего – обычно меня доставляли лишь к подъезду.

– Вы знаете, что сделал сегодня ваш сын? – поинтересовалась Мария Николаевна, угостив появившуюся на пороге маму своей леденящей душу улыбкой.

– Он больше не будет, – в ответ примирительно улыбнулась та в меру заискивающе, чуть подпуская кокетство, мол, мы, женщины, всегда пойдем друг друга, посочувствуем и простим.

– Нет, вы только послушайте... – упрямо настаивала воспитательница, не обращая

внимания на мимическую игру мамы, которая, сверкнув на меня уничтожающе, прервала ее с лучезарным и приятно интригующим видом:

– Мария Николаевна, я как раз собиралась вам сказать: мы вообще-то переезжаем, и если вы еще месячишко потерпите...

– Да выслушайте вы о своем сыне, наконец! – взорвалась дама. – Он сегодня вылепил такую лошадку, что вы будете преступницей, если не отдадите его заниматься скульптурой!..

Мама не блефовала – в марте мы действительно переехали в район Арбата, в дом № 20 на Большой Молчановке, куда сейчас меня и вела не успевшая пока утомиться от нашего общения Софья Израилевна. Дом 20 представлял собой двухэтажный особняк, некогда принадлежавший, как уверял отец, Глебовым-Стрешневым. По фасаду он состоял из двух частей – правой, утопленной вглубь ступенькой, и левой, парадной, на белокаменном цоколе, с большими окнами вдоль линии тротуара. В углу фасада находился архивольт, иначе – циклопическая входная арка или, если хотите, портал, образующий нишу подъезда, к массивным дверям которого вели две плиты из пожелтевшего от времени щербатого известняка. Возможно, из-за архитектурно-конструктивных достоинств, а может, благодаря своеобразию населения, эта ниша сделалась как бы клубом мужчин нашего дома и их друзей.

– Пойду постою, – сообщал глава семейства, и все знали, где его искать.

Проходить мимо тесно выстроившейся в арке компании – все равно что через рентгеновский аппарат. Я со стыдом ощущал, как Софья Израилевна боялась, говорила отрывисто, вся как-то подбиралась и переводила дух лишь на нашем втором этаже. Вот и сейчас, доведя меня до дверей, она позвонила

три раза, потом еще. Наконец открыла соседка. Софья Израилевна тут же сгнула, а я, подергав свою дверь, убедился, что комнаты заперты, и остался ждать на коммунальной кухне: иногда родители ненадолго задерживались.

Шло время, спующие без конца соседи поглядывали на меня с молчаливым сочувствием: вот, мол, родители-художники, на завод не ходят, а парня бросили и ключ не дают. Я же в этих взглядах читал приметы оскорбления моей семьи и потому страдал вдвойне, ответным взглядом как бы объясняя соседям, что родители очень занятые люди, а значит, я обязан их ждать.

Чтобы избежать унижительного сочувствия, я устоялся в окно, но там, на фоне кирпичных стен старых дворовых построек и латаных крыш сараев, ничего не происходило. Рядом с кухонным столом приткнулся мой трехколесный велосипед, сооружение из красных металлических труб с подножками на задней оси и огромным черным рулевым колесом, которое папа принес с помойки возле троллейбусного парка. Чутко уловив мою раннюю тягу к колесной технике, он установил на красного «коня» эту баранку взамен штатной рогульки с несерьезными резиновыми ручками.

С лестницы постоянно доносились шаги, звенели ключи (на момент повествования в квартире проживало восемь семей), отворялась входная дверь, и я внутренне напрягался, но это возвращались с работы бесчисленные соседи. Не скажу, сколько прошло времени, однако я подметил, что маникюрша Склянская успела почистить картошку, отварить ее, слить и, плотоядно оглядываясь, отнести, подсушенную, к себе в комнату. Я присел на фибровое сиденье велосипеда, и тут меня впервые в жизни посетила Муза странствий.

Я почувствовал ее щекотное дыхание на мочке уха, которое вдруг зачесалось, и оглянулся, но увидел лишь гроздь гнева черных коммунальных счетчиков, пыльную паутину и таракана, спешащего по стене.

– Нужно идти к бабушке, – прошептала Муза.

– А как же мы пойдем? – растерялся я, представив почему-то мальчика в коротких штанишках, бредущего под дождем по темному лесу.

– Мы поедем, – коварно соблазняла Муза, – на велосипеде.

Одного тогда меня никуда не пускали, что же говорить о бабушке, которая вообще живет на другом конце столицы – на Чистых прудах! Но уж очень противно было унижительное сочувствие соседей. Тут-то меня, как говорится, и пронзило ощущение легкости и некоторой тоски. Я узнал позже, подобное испытывают мореплаватели, когда желанный маршрут выверен по карте и выход в плавание неизбежен. Я дождался краткого момента, когда кухня опустела, подхватил велосипед и тихо отпер дверь на лестницу.

Кстати, именно маршрут обсуждали мы с Музой, пока я стаскивал вниз тяжелую машину. Можно было через Арбатскую площадь, минуя Манежную, выйти к Лубянке и переулками попасть в Потаповский. Этот вариант я сразу отбросил, поскольку опасался толчеи центра. Если же спуститься по Знаменке к набережной – там народу поменьше, – пришлось бы дать круголя. Поэтому отверг и этот вариант. Оставался еще такой путь: знакомыми переулками к Никитским Воротам, там по бульварам до Чистых прудов, откуда рукой подать до Потаповского переулка, где, я не сомневался, мне обрадуется бабушка.

Преодолев лестницу, я оказался в так называемом нижнем зале: абсурдном про-

странстве с остатками стеклянного потолка и темными дубовыми панелями стен, перегороденном застройками советского времени с разновеликими дверьми выгороженных квартир-клетушек. Отец рассказывал, что, по преданию, здесь на балу у Глебовых танцевала императрица Мария Федоровна, а папин друг, известный детский писатель из древнего княжеского рода, глядя по привычке в сторону, слегка гнушавым своим голосом вспоминал, что первый фужер шампанского пит им был тут в драматическом четырнадцатом году. Я даже довольно долго представлял себе блестящего молодого гусара или кавалергарда, опустошающего хрустальный сосуд пенистого вина, пока позже не изучил в школе четыре арифметических действия. И тут несложные расчеты разочаровали: князь тогда был моложе меня времен велосипедного похода! Верно, ему дали пригубить шампанского, как мне позволяли капельку кагора из глазной рюмочки на семейных торжествах у бабушки.

В этом зале наш дом буйно гулял по церковным и революционным праздникам. Однажды родители, не помню для чего, затеяли безысходный обмен, пригласив подпольного маклера. Тот нашел пожилую еврейскую пару, которая по пути на смотрины интересовалась лишь одним: спокойный ли дом.

– Очень спокойный, – убеждал маклер, – вы сами убедитесь.

А пришли они, надо сказать, в канун Седьмого ноября. Посередине зала, сидя на сундуке, пьяно рыдал «нижний» Баранов, от тоски размахивая вокруг себя опасной бритвой. Не обращая внимания, общественность дома плясала под гармошку, орала матерные частушки и по-доброму гоготала. Гости по стенке просочились в нашу квартиру, попросили запереть дверь и сообщили, что останутся здесь навсегда, так как вниз никогда

не спустятся. Папа с трудом выпроводил их поздней ночью, когда утомленные соседи уже отдыхали.

Сейчас в зале было пусто, лишь из боковой двери бесплотно выплыл в сторону сортира, как бы в рассуждении не расплескать себя, наркоман Кукушкин. В среде алкоголиков и рядовых пьянчуг нашего дома он слыл аристократом. Жена Кукушкина, постоянно беременная, вызывала во мне чувство восторженного страха размерами своего брюха. Но, видимо, это уже относится к более поздним воспоминаниям.

Длинное тускловатое пространство зала спровоцировало желание проверить машину. Я нажал на педали, они скрипуче завертелись, и мы оказались у высокого проема, который уводил в извилистый коридор, освещенный тусклой лампой общего туалета. Негасимый прибор был так удачно вмонтирован в квадратное окошечко, что одновременно и помогал справлять нужду, и освещал путь жильцам. За сортиром была страшная дверь. Здесь жил старый Орловский. Зимой и летом ходил он в зеленых галифе, черном потертом кожаном пальто и надраенных сапогах.

«Ля-ля-ля-ля!» или «да-да-даа-да-да!» с разной интонацией отвечал он на приветствия или другие обращения.

Как-то папа, полагая, что я сплю, рассказывал знакомым, что раньше старый Орловский говорил вполне сносно. Однако тогда существовал еще и молодой Орловский, которому почему-то надоели родители. Однажды, потеряв терпение, молодой Орловский зарубил топором маму и стал дожидаться папу. А тот пришел с приятелем, чем порушил планы сына закопать родительские трупы в подвале нашего дома. После этого и изменилась речь старика. Забегая вперед, скажу, что, отсидев положенное, младший вернулся под родительский кров. Непору-

банные остатки семьи воссоединились, и, стряхнув слезу умиления, соседи наблюдали из окон, как споро и дружно отец с сыном пилят во дворе дрова и как ловко колет топориком поленья траченный лагерной жизнью, не совсем уже молодой Орловский.

Миновав страшную дверь, я выбрался на широкую парадную лестницу. Здесь тоже поработали застройщики: ступени упирались в глухую стену, озадачивающую впервые оказавшихся тут гостей: куда, мол, дальше? Лишь когда глаза привыкали к темноте, сбоку в неудобном месте обнаруживалась подкрепленная пружиной узкая дверка, откуда и выполз ваш покорный слуга, волоча за собой упирающийся велосипед.

Оставалось миновать компанию в портале подъезда: мне казалось, все только и будут глазеть на нас с велосипедом. Но мосты были сожжены, а каждый, кто хоть раз отправлялся в неизведанную дорогу, понимает, что самое трудное осталось позади. Я толкнул входную дверь, пахнуло «Беломором», взвизгнула тяжелая пружина, и мы оказались на улице, пожалуй, и вовсе никем не замеченные. Двинувшись к Ржевскому переулку, я в состоянии понятной эйфории заорал:

*Москва поет, огнями залита;
Москва для всех – надежда и мечта!
Какой простор в сердцах у нас открыт!
И все вокруг о счастье говорит.
Москва поет, огнями залита.*

Тут вот такая штука: эти замечательные слова я выучил благодаря передаче «Запомните песню». В нашем доме единственным источником звука был трансляционный динамик, который папа выдрал из старого приемника. Скрипел он с утра до глубокой ночи, регулятором громкости снабжен не

был, но папа любил слушать последние известия, особенно про погоду. И хоть о коварствах природы говорили по десять раз на дню примерно одно и то же, а звук динамика был отчетливо слышен в самом дальнем углу, но как только диктор заявлял: «Сообщение о погоде», – папа припадал ухом к черному диффузору, взгляд его затуманивался, он вздымал вверх перст левой руки и отрешенно тряс им, призывая домашних к молчанию, будто те в состоянии были перекрыть трубный голос Левитана, доставлявший новости от Гидрометцентра...

Озабоченно заслушав сведения о капризах погоды, папа как-то умело отключался от источника звука, мы же вынуждены были слушать все подряд. И вот в самый, как сейчас бы сказали, прайм-тайм гражданам для хорошего настроения придумали передачу «Запомните песню». Вначале хор исполнял произведение целиком, потом диктор медленно читал текст, затем мелодию играли на разных инструментах, скажем флейте или гармошке, и через полчаса шедевр прочно сидел у вас под коркой.

На пару с хорошей походной песней я уверенно катил по Ржевскому в сторону Никитских Ворот. О, это пьянящее чувство дороги – тогда я испытал его впервые: мосты горят ярким пламенем, ты везде и нигде, а в небе над головой Муза странствий. Никто не ущемит свободу, ты волен ехать или останавливаться где хочешь, любоваться вечеряющими далями, вдыхать ароматы апрельского воздуха без риска, что чья-нибудь рука непрошено вытрет платком слегка повлажневший от избытка чувств нос.

Некоторым неудобством путешествия оказались встречные пешеходы, я и представить не мог, до чего люди рассеянны, так и норовят залезть под колесо, а когда я нажимал звонок, остроумно прикрученный к немислимых размеров баранке, они еще и

ворчали. Однако жизнь была прекрасна, колеса крутились легко, велосипед подкатывал к устью Мерзляковского переулка. Здесь как раз находилась школа, в которой через полгода я должен был начать овладевать знаниями.

Собственно, и поближе школ было полно, но тут роль сыграл случай. Как-то вечером в квартире появилась агитатор, пожилая женщина в зеленом старомодном костюме и ботиках на высоких каблуках. Она долго и нудно рассказывала о будущем депутате, который, представьте, прошел трудовой путь от простого ученика токаря до секретаря парторганизации крупного «номерного» завода.

– Вот видите, какую хорошую он сделал карьеру, – лапидарно закончила Анна Григорьевна (так звали агитаторшу) и наставительно добавила: – Вы непременно должны проголосовать за эту кандидатуру.

Будто тогда существовала другая!

Родители молчали. Ситуацию оживлял лишь ваш покорный слуга, съезжая, словно с горки, на велосипеде от входной двери в дальнюю комнату по наклонному полу, еще одна особенность нашего просевшего особняка. Потом, правда, приходилось крутить педали вверх. Собственно, я так и развлекался на протяжении всей сказочной саги о жизни партийного босса.

– Какой милый, живой мальчик, – опрометчиво похвалила мои упражнения Анна Григорьевна, чтобы прервать затянувшееся молчание, – в какой школе он учится?

Выяснилось, родители как раз-то и обеспокоены

выбором достойной школы, которую предполагают мною осчастливить.

– Это просто чудесно, – оживилась Анна Григорьевна, – я осенью набираю первый класс в 110-й мужской школе у Никитских... Не самая близкая, зато наш директор – Иван Кузьмич. Вы, конечно, слышали?

Родители, оказывается, весьма смутно представляли себе достоинства упомянутого руководителя. Папа, правда, вежливо припомнил, будто наверняка встречал это имя, причем в самых лестных лексических пространствах.

Моя первая учительница и не подозревала, какую мину замедленного действия закладывает под образцовое учебное заведение.

Тверской бульвар встретил волнующими запахами весенней земли. Радуюсь хорошей погоде, москвичи гуляли, сидели на глубоких бульварных скамейках, и никому не было дела до мальчика, катившего к Пушкинской на красном велосипеде с нелепым черным рулем. Признаться, я задыхался от счастья свалившейся на меня свободы, представляя ясно, почти осязаемо, сцены из быта бабушкиного дома, где, как



Первый класс, 1953



Застолье в кругу друзей и родных, конец 1950-х гг.

мне виделось, произойдет историческая встреча отважного путешественника с истосковавшимися родными.

Бабушкин дом в Потаповском переулке возле Чистых прудов архитектурным шедевром не назовешь, обычное трехэтажное здание середины девятнадцатого века из унылого темно-красного кирпича. Когда-то дед, говорят, владел недопустимой по советским меркам пятикомнатной квартирой на втором этаже. Возможно, его бы не «раскулачили», поскольку дед служил агрономом, никого не угнетал и даже способствовал развитию сельского хозяйства в стране. Однако странные классовые побуждения толкнули его на необдуманный шаг: как-то во дворе он повстречал молодую деревенскую женщину в окружении орущих детей. Ее имя Марфа было редким даже для тридцатых. Словом, дед, как тогда называлось, «самоуплотнился», оставив собственному семейству три комнаты.

Вскоре на Потаповском объявился муж Марфы, провинциальный гопэушник по фамилии Березовец, который, приобретя навыки на периферии, быстро нашел работу в наркомате на Лубянке. Соседи вели себя тихо: в первой комнате Марфа рожала детей, а в дальней муж-чекист ночами засиживался с мужчинами в черной скрипучей коже, перетянутой португезьями.

Но однажды в квартиру ввалилась команда других кожаных людей, которые навсегда увели с собой Березовца и всех его гостей. Оказалось, злодеи замыслили

государственный переворот, но бдительные соратники вовремя его предотвратили. Некоторое время комната стояла опечатанной, а Марфа прекратила свою репродуктивную деятельность. Постепенно отношения Марфы с моими родными испортились, моя тетюшка ее иначе как *Die alte Hexe* (старая ведьма – нем.) не называла, а деда, по мнению домашних, именно Марфа довела до инфаркта. Забегая вперед, отмечу, что в соседке действительно было нечто inferнальное: в хрущевские времена семейство посмертно реабилитированного Березовца получило квартиру в новостройке, где Марфа сгорела при взрыве газовой колонки.

Три наши сохранные от подселения комнаты, окна которых выходили в спокойно-неспешный Потаповский переулок, под вечер заполнялись возвращавшимися с работы домочадцами. Семейное общение протекало в центральной комнате за просторным обеденным столом под желтым абажуром с кистями, символом детства

отошедшего, покоя и уюта, без него я до сих пор страдаю под разного рода модными светильниками.

Первым возвращался дядя, он работал главным энергетиком на авиамоторном заводе, сосредоточенно ел и удалялся в левую комнату, которую делил со своими родителями, отгородившись от них высокой ширмой, откуда вскоре к потолку устремлялись клубы «Беломора», Иногда его навещала Люба – вечная невеста. Тогда они скрывались за ширмой вдвоем, где дядя, по словам взрослых, «повышал ее квалификацию». Этот принятый в те годы оборот вызывал определенное выражение лица моего папы, «как у того сметчика», говорила мама. Про «того сметчика» было известно, что он любил неприличные анекдоты.

По субботам дядька приходил домой с Любиным братом. Мужчины ставили на стол «Московскую», шуршали пергаментом закусок, бабушка приносила с кухни горячую картошку. Дядька в несвойственной семейству манере говорил специальным «народным» языком, шутил, соблазняя меня карьерой рабочего на заводе.

– Кого ты больше всех любишь? – интересовался соловый Любин брат.

– Товарища Сталина, потом товарища Ленина, а потом маму с папой, – правильно отвечал я. Далее шел длинный список родственников по мере их отдаления.

Мужчины выпивали, одобрительно хмыкая в мой адрес. Дядька был единственным в семье коммунистом.

В конце Тверского, у того места, где Пушкин держит шляпу (автор смутно помнит то время, когда памятник Пушкину стоял именно на Тверском бульваре), на строение мое начало ухудшаться. Скорее всего, связано это было с тем, что бульвар несильно, но неуклонно стремился вверх, а я тогда не знал, что незначительный «тя-

гун», как говорят спортсмены, утомителен и коварен. Кроме того, воспоминания о веселых дядькиных застольях вызвали застывшее было дорожной эйфорией чувство голода.

Я прикинул, не суббота ли сегодня? Выходило, нет, не суббота.

Улицу Горького решил переходить в потоке пешеходов, сознавая, что от Молчановки забрался слишком далеко, а к Потановскому еще не приблизился, и как бы не заинтересовались, что делает одинокий мальчик со странным велосипедом на пугающе широкой московской улице. Но, оставив седло, понял, что быстро идти не смогу. Устремившись вслед людскому потоку, споро двинувшемуся за зеленым светом, я взял стального друга за руль, однако колесо неверно крутанулось, велосипед упал, и я в сердцах пнул его ногой.

– Где родители? – услышал металлический голос и понял, что Муза покинула меня.

Рядом стоял меднолицый орудовец в синих галифе. Подняв велосипед, он двинулся в сторону Страстного бульвара, озираясь по сторонам.

– С отцом гуляешь, – предположил регулировщик и выстроил вероятную модель, – а тот пьяный, ребенка посреди улицы бросил.

– Папа не пьет, – преодолевая соблазн спасительно поддакнуть, резанул я правду-матку.

– Ну да, – не поверил милиционер, отдавая мне машину, – ищи отца во-о-он там, – и указал на ларек, возле которого толпились мужчины.

Я признательно пискнул, вскочил в седло – куда девалась усталость! – и покатил себе. Муза снова сияла впереди Вифлеемской звездой. Кто-то подумает, до чего развитый и смысленный малыш, но про Музу дальних странствий на самом деле я знал потому, что



МАМА ЗА РАБОТОЙ, ВТОРАЯ ПОЛОВИНА 1950-х гг.

папа не раз неосмотрительно читал при мне друзьям запрещенное гумилевское «Открытие Америки».

Вначале мне нравилось, что публика обращает внимание на особенности педальной машины.

– Смотрите, какой у велосипеда руль! – кричал кто-нибудь из отдыхающих трудящихся, призывая компанию порадоваться гибриду.

В тот момент я находился на вершине блаженства, сосредоточенно делая вид, что ничего не слышу, а велосипед у меня самый обыкновенный для такого человека, как я. Однако меня постепенно стало раздражать повышенное внимание к особенностям техники, тем более что мои несомненные заслуги путешественника как бы скрывались в тени достоинств машины, которые, как выяснилось в долгом путешествии, вовсе не повышали ее скоростных и маневренных качеств.

Чтобы не расстраиваться, я снова окунулся в приятные воспоминания о распорядке бабушкиного дома, стараясь бережно мусолить памятью малейшие крупички драгоценных деталей, которые вдали казались особенно милыми и необходимыми.

...Позже дома появлялся дед из своего сельскохозяйственного учреждения. Бабушка снова удалялась на кухню разогревать обед. Обычно дед ел молча, непедagogично проглядывая газету и сквозь зубы цыкая разными несъедобностями. Его трехцветные усы вскоре обрастали продуктами питания, дед промакивал рот салфеткой, глухо произнося: «Идиоты!» – или «Прохвосты!» По малости лет я не понимал, относилось это к героям газетных полос или к сотрудникам-лысенковцам. Насытившись, дед с газетой отправлялся в левую комнату, где тут же засыпал по другую сторону ширмы от повышавшего квалификацию дядьки.

Часам к девяти появлялась тетюшка из своего холодильного техникума. Энергично, не отвлекаясь от еды, она сообщала бабушке о кознях сотрудников, с которыми нещадно боролась. Особенно часто звучала фамилия Шкундиной – пример всех учительских пороков.

Совсем уж поздно бабушка шла на кухню, когда появлялся мой двоюродный брат. Он то работал, то не работал, то готовился стать чемпионом, словом, день его был насыщен, и на робкие вопросы бабушки и тетки он отвечал сварливо и раздраженно, как и полагается занятому человеку.

Мама моя, витая в мире искусства, не имела четкого графика, иногда она работала целыми днями дома, а иногда пропадала неделями «на халтурах». Жилищные сложности до поры лишали меня счастливого детства, нашему семейству просто негде было жить вместе: мы с мамой ютились на Потапов-

ском в комнате, которую делили с маминой «холодильной» сестрой и моим двоюродным братом, а папа – в проходной на Молчановке. Прежде отцу с его сестрой, Софьей Сергеевной, принадлежали там две комнаты, пока тетя Софа неосмотрительно не вышла замуж за Денике.

Всеволод Петрович Денике, преуспевающий юрист и седьмой официальный муж тети, в революционные годы служил министром юстиции Дальневосточной республики. Стоит ли гадать, почему он исчез в тридцать седьмом! Вскоре арестовали и тетю Софу, а дальнюю комнату, где они обитали, опечатали, как бы поставив в карантин-ожидание, пока оттуда сама собой выветрится контрреволюционная зараза. Когда посчитали, что нужное время прошло, туда поселили совсем чужую деклассированную старушку, которая, словно мышка, сновала с кастрюльками мимо папиного рабочего стола и старалась не шуметь, выходя ночью в уборную. Словом, милое создание.

Потом она сгинула, и папе, как семейному гражданину, доверили обе комнаты, что спровоцировало наш переезд на Молчановку и воссоединение семьи. Не могу сказать, что меня сильно тогда заботил квартирный вопрос, но, наблюдая радость родителей, я понял, что, хоть старый арбатский особняк трещит по всем швам, теперь-то наступило настоящее благоденствие.

Увлечшись вращением педалей, я вспоминал, как зимними воскресными днями папа катал меня на санках, как замечательно, обгоняя трамвай «А», съезжали мы с крутой горки Рождественского бульвара, и – похолодел: я-то двигался в обратную сторону! Вскрабкался бы на бугор без проблем, но нужно затащить тяжеленный велосипед с немислимым рулем.

Муза и тут не бросила меня, подсказала: я встал на подножку задней оси и, отталки-

ваясь, как на самокате, на одном дыхании загнал велосипед в горку. Эта была победа, я расположился в седле и грянул любимую «По долинам и по взгорьям...». Детсадовец младшей группы писает в эмалированный горшок – так звучал мой голос, изнуренный велосипедным марафоном. А настроение поднималось, я как бы пересек невидимую линию, отделявшую бесконечность маршрута от близкой сердцу области, в которой обретался с раннего детства, – впереди вырисовывался Сретенский бульвар, ровный и без сюрпризов. Я знал, что упирается он в метро «Кировская», за ней Чистые пруды, а там рукой подать...

Велик был соблазн прокатиться по родному бульвару, встретить мегер с их «группами» всякой мелюзги из песочницы, но солнце едва выглядывало из-за крыш, нормальные дети наверняка уже укладывались спать,



Большая Молчановка, 20. В окнах квартиры на втором этаже – мои родители Тамара Мироновна Рейн и Александр Сергеевич Потресов, начало 1960-х гг.

словом, не было резона давать крюк. Едва вращая тяжелые педали, свернул в Телеграфный.

Но лишь добрался до моего Потаповского переулочка, случилась непонятная вещь – колеса вдруг завертелись как бы сами собой, велосипед помчал во весь дух, я пролетал мимо удивленных прохожих, глядевших вслед, вероятно, размышляя: куда это на ночь глядя катит такой замечательный юный велосипедист.

Нужно отметить и одно странное обстоятельство: вместе с радостью завершения трудного похода я ощутил непонятную горечь. Порывшись в сознании и попробовав на вкус разные причины этой неведомо откуда взявшейся неприятности, я понял, что заканчивался мой первый в жизни самостоятельный, сложный и опасный поход, а вместе утекало то прекрасное и редкое чувство свободы, которое не скоро, верно, придется испытать вновь.

Лишь только это утвердилось в голове, снова стало легко и просто. К дому восемь я подрулил внутренне подготовленным. Велосипед оставил на нижней площадке, и когда в нелепом полуприсяде – ноги никак не желали разгибаться – стал карабкаться вверх по лестнице, услышал щелчок замка бабушкиной квартиры (я не спустил бы его с другим) и оживленный мамин голос:

– Ну, всего! Там Шура с Вовкой, верно, ждались.

Она застучала каблуками вниз, пересекла площадку, увидела меня и села прямо на ступеньку.

– Bonsoir! – сказал я, как учили.

– Ты как здесь оказался? – пролепетала мама, не обращая внимания на мой французский.

– На велосипеде, – просто объяснил я, – по бульварам, – уточнил маршрут.

Оказывается, мама поручила папе дожидаться меня, а он не расслышал – у него действительно был неважный слух – и отправился в Клуб туристов, который посещал каждый понедельник. Бабушка с дедом непедagogично осуждали родителей, подкрепляя сегодняшним примером мою заброшенность, пока я в сладком умилении засыпал на диване в столовой. Тетка горячо их поддерживала, отождествляя сестру в некоторых проявлениях даже с известной Шкундиной. Дядька дымил за ширмой, а брат не ожидался вовсе.

Когда утром мы с бабушкой отправились в булочную, выяснилось, что велосипед, оставленный на нижней площадке, исчез. Верно, Муза взяла его, чтобы увлечь в искуственный мир странствий еще одну неокрепшую душу. Любопытно, что я совсем не жалел о пропавшей машине.

Рассказы старого Арбата

...Наше семейство, состоявшее из трех человек (позже, правда, временно прибавилась папина сестра, в хрущевскую «оттепель» вернувшаяся из сталинских лагерей, и ее собака, редкая белая овчарка по имени Тайна, которая, к счастью, нигде не сидела), так вот, семейство наше поселялось на втором, «интеллигентном» этаже дома 20 по Большой Молчановке. Второй этаж не был уныло-плоским, его многочисленные помещения соединялись лесенками из двух-пяти ступенек. Это, безусловно, оживляло интерьеры. В пятидесятые здесь проживало восемь семей. Поэтому на входной двери под кнопкой звонка висела табличка, выполненная папой с высоким художественным вкусом черной тушью, где последней под номером 8 (восемь звонков) значилась фамилия Сарычевой. У этой старухи был сын Иван (именно Иван!), но почему-то Левин, алкоголик и надомный сапожник, у него, по аб-

сурдному совпадению, не хватало ноги. Эшелон штрафного батальона, который вез на фронт Ивана, разбомбили немцы, и обувной мастер стал инвалидом.

Клиентура Ивана включала, по-моему, единственную подвинутую умом даму из «бывших», которая, доверившись ему однажды, примерно раз в неделю звонила (подходить к телефону приходилось обычно мне, так как аппарат висел у нашей двери), начиная так: «Не откажите в любезности, будьте так добры, попросите к телефону Жана Тихоновича (или Иоанна Плутонovichа, в зависимости от ее настроения)».

Я отправлялся в темные, пропитанные сивухой дебри, где под самой крышей проживало семейство Сарычевой, и, не решаясь взойти на последние четыре ступеньки, орал: «Ивана к телефону!»

Раздавался стук протеза. Недолгий разговор заканчивался оптимистичным: «До следующей недели!»

Часто Иван напивался, выходил в кухню и ораторствовал. В основном рассказывал о войне. Мелькали эпизоды, как он горел в танке под Прохоровкой, или был сбит «мессерами», возвращаясь на «ильюшине» с боевого задания, или внезапно атакован немецкими подлодками на эсминце «Сторожевой», – фантазия его, казалось, была неисчерпаема. Воспоминания утомляли, и Иван с грохотом костылей и протеза падал поперек кухни. Поднять его было невозможно. Ситуацию спасал папа: он появлялся с фотоаппаратом (чаще всего без пленки) и начинал фотографировать героя. Тот резво пробуждался и исчезал в своей каморке, скоро постукивая по темным ступеням.

У Ивана была любовница, мелкое, на тоненьких ножках, вертлявое существо по имени Нинка, отличавшееся высоким голосом. Когда Иван, утомленный от водки или тяжелой сапожной работы, терял интерес к

сожительнице, она освежала его проверенным женским способом: «...он мне тогда говорит: "Приходи в гости..." Да, – визгливо делилась она по телефону с такой же красавицей по поводу нечаянного романа, – ...а если ты меня боисси, приходи с подругой».

После этого Иван ее, как принято, бил, и увядшая было страсть вспыхивала с новой силой.

Оба окна сарычевской комнаты выходили на Молчановку. Однажды, в самый конфузный момент – в Москве проходил фестиваль молодежи и студентов 1957 года – подгнившие от бесконечных протечек межоконные бревна высыпались на улицу. По счастью, никто не пострадал, а домоуправление, чтобы страна не срамилась перед прогрессивными иностранцами, скорее всего задрапировало прореху кумачом, оставшимся от лозунга, посвященного XX съезду КПСС.

Проходя душной августовской ночью по Молчановке, желающие могли на кумачовом экране, словно в театре теней, изучать жизнь сарычевского семейства: Нинка пила чай со старухой и высоким голосом рассказывала ей свою жизнь, а Иван, постукивая молотком, менял союзки на древних ботинках верной клиентки.

Читателю, который никогда не жил в коммуналке, понимаю, нелегко разобраться, что к чему в нашем нестандартном доме. Поэтому попробую описать это странное жилое пространство. Если подняться по лестнице и открыть дверь, укрепленную старым, но надежным английским замком, оказываешься в Большой кухне. Сюда выходили двери «квартир» Сумароковой, Зубковых и некоего тамбура, разными уровнями ступенек направлявшего к Сарычевым, Барановым и Ярновым.

В Большой кухне стояли две газовые плиты и столы по числу семей. У окна обоснова-



Соседка А.В. Сумарокова
(урожд. Сумарокова-Эльстон) возле сарая нашего дома

лась Евгения Адольфовна Склианская, маникюрша в арбатской парикмахерской и жена ответственного работника Зубкова, настолько ответственного, что в их однокомнатной «квартире» (в которой, как выяснилось, в прежние времена останавливался Лев Толстой и даже тачал хозяину дома, графу Глебову-Стрешневу, сапоги – они хранятся в музее писателя) имелся собственный телефон. Вскоре после моего появления на Молчановке Зубков умер, а через год и нам поставили общий аппарат.

Со Склианской моя мама пребывала в ссоре. Связано это было, скорее всего, с тем, что пользовались они одной плитой (конфорки были поделены между семьями). Евгения Адольфовна, получая ценные сведения от клиентов, была носителем волнующей информации.

– Наш дом будут ломать, это я вам говорю, – декларировала она на кухне.

На следующий день вносились коррективы:

– Наш дом не будут ломать, это я вам говорю!

Самая большая «квартира» на нашем этаже, а попросту длинная комната в четыре окна, принадлежала Александре Владимировне Сумароковой (из тех!). У нее имелся муж, Давид Яковлевич Панкин, лет на десять моложе. Оба были артистами. Сумарокова нигде уже не играла, а вспоминала бывших великих любовников и гастроли по Юго-Восточной Азии, а Донечка, так она называла мужа, был занят тем, что с комизмом второго любовника все время искал заработка. Особенно его талант оказывался востребован в дни школьных каникул.

– Аллю! Говорит Дед Мороз Панкин, – вкрадчиво сообщал он трубке, – на завтра есть заказы?

Кончилось все это плохо. Однажды с какой-то полуплегальной труппой он отправился на гастроли. Зарботки были низкие, поэтому артисты поделили между собой административные обязанности. Панкин отвечал за пиротехнику. Во время гастролей в Пензе боезапас рванул так, что о спектакле вспоминали много лет. Были жертвы, Панкина посадили. Вернулся он незадолго перед сносом дома, весь какой-то обшарпанный и обесчещенный...

Семейство молотобойца Баранова особой оригинальностью не блистало, разве Сергей несколько чаще, чем принято, бил свою жену, швею Райку, кстати, мечтавшую стать продавщицей. Однажды Сумарокова нашла на столе записку: «Прошу в моей смерти никого не винить. Рая». Актриса помчалась в сумрак таинственных лестниц. На кровати лежала бледная, но живая Рая Баранова, своим видом обещавшая движение к скорой кончине. Сергей рыдал, когда же понял, что похороны откладываются, снял, как сегодня говорят, стресс, а по-

просту напился и отлупил несостоявшуюся покойницу по полной схеме.

Про Сарычевых мы уже говорили, а вот Ярновы попали на наш второй этаж таким способом, что рассказывать о нем не буду – все равно читатели не поверят.

Впрочем, чтобы не оказаться уличенным в кокетстве, а также по многочисленным, как говорили в дни моей молодости, просьбам трудящихся (из тех, кто успел ознакомиться с рукописью), устыдившись, поведаю все же о загадочном появлении соседа Ярнова в нашей квартире.

Как уже читатель знает, одним из важных архитектурных элементов интерьера дома 20 оказывался «нижний зал». В первоначальном замысле он действительно представлял огромное и, видимо, весьма элегантное пространство со стеклянным плафоном, последние дни которого я еще успел застать: позже крышу залатали демократичным железом. Так вот зал этот, востребованный семейством Глебовых-Стрешневых как место, где можно было со вкусом оттянуться в компании близких по духу, даже коронованных особ, вызвал непонимание у публики, вселившейся в особняк после приснопамятного октября.

Природа боится пустоты. Вскоре ту сторону зала, полукружьями высоких окон выходившую на Молчановку, стали застраивать доступными народу клетушками даже с кухнями, неким подобием вожделенных отдельных квартир.

Высота зала – два дореволюционных этажа! – казалась неизбалованным пролетариям излишней, и чтобы зря не тратить материалы, застройщики где-то в середине вертикали стелили потолки, так что квартирки смотрелись громоздкими дощатыми ящиками, установленными вдоль стены.

Как-то у нас на втором этаже соседи заметили, что за глухой стеной, отделявшей Боль-

шую кухню от высокой гулкой пустоты зала, наметилось странное шевеление. Сначала этому не придали значения, однако через короткое время раздалось как бы звук пилы, стук молотка, а затем и вовсе жуткие шаги, словно кто-то в тяжелых сапогах ходил за стеной кухни прямо по воздуху. Соседки крепстились и недобрым словом поминали прежних хозяев особняка, справедливо полагая, что в каждом старинном дворянском доме неизбежно существуют привидения.

Потом вроде бы все стихло, но раз осенним воскресным утром стена кухни содрогнулась от могучих ударов, поползли трещины, посыпалась штукатурка. Сергей Баранов, быстро приняв сто грамм, схватил топор и встал на защиту. И тут вместо бледного ископаемого графа сквозь решетку дранки проявилась красная потная физиономия Ярнова, деревенского мужика, год назад приехавшего погостить к родственникам, в свое время удачно застроившим часть пространства нижнего зала. Сергей онемел, а Ярнов неторопливо нагнулся и передал в пролом ящик, в отдельных ячейках которого тускло блеснули «бескозырки», алюминиевые крышечки «Московской».

Оказалось, Ярнов купил у родственников «воздух», пространство над их самодельной квартирой. Вскоре он соорудил стены, лесенку на кухню родных, пробил окошко на Молчановку и переселил сюда семейство. Тут-то, понятно, и возник конфликт с близкими.

Тогда Ярнов, изучив со сметливостью природного крестьянина особенности особняка, проложил вдоль наружной стены Большой кухни, нависавшей над залом, галерею и, расплевавшись с нижними родственниками, сделал попытку присоединиться к семье наших соседей.

Стоит ли разъяснять догадливому читателю, что попытка удалась, новоселье прошло

шумно, с песнями и плясками. Вскоре даже как-то странно было представлять, как мы жили без молчаливого, плотно сбитого мужика, неторопливо направлявшегося по углам в уборную в белой исподней рубаше, старых латаных зеленых галифе и черных сапогах, напевая себе под нос: «Светит солнышко на небе ясное...»

Его жажда деятельности не знала предела: проснувшись утром седьмого ноября, весь наш второй этаж был потрясен, узрев некоторую странную конструкцию, выстроенную обочь унитаза и крашенную в соответствующий моменту красный цвет.

Тут такая история: дверь в наше интимное общественное учреждение запиралась неплотно. Жильцы не торопились исправлять положение, потому что в перенаселенной квартире уж очень удобно было заглянуть в щель и убедиться, что сосед на пути к завершению очистительных процедур. Следуя традициям дома и изучая поведение жильцов, Ярнов определил, что любимая ими поза «орлом» весьма рискованна при пользовании нашим разболтанным сантехническим устройством, и вот решил сделать подарок к годовщине Великого Октября.

Для жильцов второго этажа Большая кухня была форумом. Здесь на общих сходках решались сложные задачи, как, например, платить за телефон: по квартирам или по людям, – распределялись газовые конфорки и обсуждалась масса других интересных вещей. Когда наступила «оттепель» и соседи стали обмениваться новостями политико-идеологического характера, Большая кухня оказалась свидетелем обсуждения и государственных проблем.

В середине пятидесятых дали трещину незыблемые идеологические устои, и в творческих союзах начали сменяться лидеры из бывших сталинских соколов. В Ермолаевском переулке частенько заседал Мос-

ковский союз художников, требуя ухода с поста Александра Герасимова, представителя творческой бюрократии старой волны. Заседания проходили бурно, с неожиданными эскападами. Возвращалась мама с таких собраний поздно и взволнованно рассказывала о событиях. Папа был не из тех, кто любит слушать, но тут он подозрительно затихал, проявляя полнейшее внимание.

Утром мама, выходя на кухню, наблюдала такую сцену: папа, жестикулируя, громко докладывал соседям, недоверчиво столпившимся в Большой кухне, как проходила процедура свержения ненавистного Алексашки Герасимова. Некоторое время мама слушала, однако отдельные яркие и образные детали рассказа казались ей незнакомыми.

– Шура, по-моему, не так было, – прерывала мама. – Я ж тебе рассказывала...

– Уверяю тебя, Томика, было именно так, – повернув маму за плечи в сторону нашей квартиры, папа отпускал ее.

– Ты иди пока, иди... Да, – продолжал он досадно прерванную историю, – а тут встает Владимир Андреевич Фаворский и ехидно замечает...

Как я уже говорил, в пятьдесят шестом в Москву вернулась моя тетка, Софья Сергеевна, папина сестра, отсидевшая почти двадцать лет в сталинских лагерях. Правда, если быть совершенно точным, выпустили ее в начале пятидесятых, но жить в Москве, как, впрочем, и ряде других городов, сначала не разрешали. Осела она поэтому на Алтае, в Бийске, где успела два раза сходить замуж и обзавестись упоминавшейся белой овчаркой.

Вставала Софья Сергеевна поздно и, сонно обращаясь к брату, обычно просила: «Шура, что-то сегодня сердце не тянет... Пройдись с Тайной и, знаешь, купи для нее в магазине напротив кровяной колбасы!»

Выгулять собаку отец соглашался, однако второй пункт программы вызывал резкий

протест, мол, продавщица не так на него смотрит. Кровяная колбаса, отнесенная сегодня в разряд деликатесов, тогда считалась самой дешевой закуской дворовых алкашей. «Шура, ведь ты же принц крови,» – безуспешно настаивала сестра.

К обеду она оживала и принималась забавлять родителей чтением отрывков из любимых литературных произведений. Когда же те от культурного натиска начинали тихонько выть, Софья Сергеевна перебиралась в Большую кухню и продолжала занятие в среде соседей. Голос ее, довольно низкий, был интонационно близок папиному, поэтому было нелегко сразу определить, кто сегодня развлекает соседей: сестра или брат.

Это обстоятельство в итоге положило конец благополучию в нашей своеобразной семье. Как-то Софья Сергеевна спросила маму: «Хочешь, я у твоей мамы отобью твоего папу?»

Восприняв это как шутку, мама ответила что-то неопределенное. Но однажды мой взволнованный папа сообщил: мол, только что звонил дедушка (это, как догадался читатель, имелся в виду мамин отец), который просит приехать на станцию метро «Библиотека имени Ленина». «Наверное, стало плохо с сердцем», – заботливо решили родители. И папа умчался.

В нужном месте бодро прогуливался дедушка, его облик не вязался с человеком, отягощенным сердечным недугом. «А, – приветствовал он папу, – Александр Сергеевич! Ну, вы идите, куда вам надо».

Отец возмутился. Тут-то

все и выяснилось. Оказывается, дед попался на удочку и перепутал голоса брата и сестры, назначив встречу в месте, которое, верно, давно облюбовал.

Больше всех возмущалась мама. Отношения натянулись. Через непродолжительное время, однако, в доме появился высокий, седой, костистый генерал в светло-сером кителе, которого Софья Сергеевна поила чаем. Пока она готовила напиток, я развлекал гостя – все-таки генерал! – собранием пистолетов, приобретенных в игрушечном магазине на Арбате.

Впрочем, вскоре оба исчезли из нашей жизни, поскольку моя тетушка, пополнив уникальную коллекцию своих мужей, переехала на постоянное место жительства в Трубниковский переулок.

Из Большой кухни две ступеньки вниз, над которыми был подвешен общий звонок, мало уступавший вечевому колоколу, вели в коридор. Справа посередине темнела дверь нашей «квартиры 18», а на стенке напротив висел общественный телефон. Коридор выводил в Малую кухню. Здесь проживали Федотовы и Федоровы.



Аквариумы можно было увидеть во многих коммуналках. Наблюдаю за золотой рыбкой

Сын Лены Федоровой имел императорскую фамилию Кошкин (начальник рода Романовых был Никита Романов–Кошкин), а сама она работала уборщицей в грузинском представительстве, что в Ржевском переулке. Федорова воровала у нас дрова, но поймать ее было невозможно. Тогда папа, предупредив управдома, аккуратно высверлил коловоротом березовое полешко, заложил туда патрон от зенитного пулемета – после войны такого добра хватало в каждом доме – и соблазнительно оставил вязанку во дворе.

Наутро ахнуло.

Федорова помчалась к управдому. Тот внимательно выслушал и протянул лист бумаги. «Это очень важно, – строго сказал он, – вы напишите, как все было, а главное, где покупали дрова. Не исключено, диверсанты. Будем разбираться».

Управдому она благоразумно писать не стала, а вскоре на отца пришел донос, и его вызвали к следователю: «Александр Сергеевич, я, сами понимаете, не имею права показывать вам, но это полный абсурд».

В доносе за подписью соседки сообщалось, что папа – трумэновский, японский и германский шпион одновременно, вместо советского гимна поет «Боже, царя храни» и готовится взорвать Кремль. Вероятно, решив, что кашу маслом не испортишь, Лена Федорова насочиняла поразнообразнее. Это и сорвало проект, ведь, остановись она на чем-то, папа вполне мог угодить на острова ГУЛАГа.

Раиса Васильевна Федотова (к ней вела лестница вверх) работала регистратором в поликлинике, доносов не писала, зато у нее было три сына. Первые два, естественно, умные, а третий – Витька Федотов. Он учился в техникуме и, в отличие от мужчин нашего дома, почему-то не пил.

Первый раз надрался он на выпускном вечере, вернувшись после которого, объявил

на всю Большую кухню: «Я теперь хоть маленький, но – интеллигент!» И виртуозно матюкнулся.

Больше интеллигента трезвым не видели. Из прочих достопримечательностей в Малой кухне имелся общий сортир (к нему по утрам стояла очередь) с окошком в нижний зал и общий же умывальник-раковина.

Про географию первого этажа и его жителей рассказывать не стану (кое-что читатель уже узнал), сообщу только, что в криминальных ли, в правоохранительных ли арбатских кругах при упоминании адреса «Большая Молчановка, 20» на тебя смотрели с большим уважением и даже страхом.

Сидя на высоком холме времени и вглядываясь в туманные дали полувековой давности, я пытаюсь ответить себе на вопрос: как мои родители, выросшие в тиши старинных квартир, переносили всю эту коммунальную вакханалию? Ладно я: для меня коммуналка была дом родной, других форм бытия не представлял, разве что деревенская изба деда в Подмоскovie (он ее получил, работая агрономом), где я счастливо проводил летние месяцы своих ранних годов.

Во время наших прогулок по центру Москвы папа иногда останавливался перед очередным нестарым, выстроенным в начале прошлого века домом-модерн и сообщал: здесь мы жили, скажем, в 1910 году. Далее подробно перечислялось, сколько имелось комнат (обычно десять-одиннадцать), номенклатура прислуги (бонны, кухарки и прочее, причем в этом списке обязательно фигурировала литературный секретарь деда Мариэтта Шагинян, известная мне по роману «Месс-Менд») и разные другие полезные, но ушедшие детали. Из широкой географии квартир (отец объяснил, что дед не имел собственности, а просто любил часто менять место обитания) я сделал вывод, что



С мамой возле новогодней елки, 1953

дед – видеть которого мне не довелось из-за его идеологических расхождений с советской властью еще в восемнадцатом (он коротал свой век в Париже и работал в эмигрантской газете «Русская мысль») – предпочитал новые добротные угловые здания, высокие этажи, причем большое окно гостиной или эркер, как правило, смотрели на перекресток. Этому отвечали, например, и дом на углу Николопесковских переулков близ Арбата, и дом на перекрестке Столешникова и Петровки...

Мне приходилось бывать в таких домах, но в пятидесятые все они пребывали в коммунальном пользовании, а представить иной быт я был не в силах. Впрочем, и не пытался. Лишь один или два раза случилось побывать в известном Доме на набережной, у институтской подруги моей мамы, дочери одного наркома, редкостного тем, что почил своей смертью, причем буквально за пару месяцев до ухода из жизни Сталина. Там как

раз было предостаточно помещений, а мои сверстницы, внучки наркома, свободно раскатывали по коридору на велосипедах.

Так вот, повторяю, для меня было удивительно, как отец легко и непринужденно переносил атмосферу коммуналки. Видимо, в силу природного упрямства он опровергал известный тезис недоучившегося юриста из Симбирска, который уверял, что на аристократов жаль тратить патроны, сами, мол, вымрут в социалистических условиях.

Внешне наш дом, построенный после московского пожара 1812 года для Глебовых-Стрешневых, был велик и нелеп. Он занимал площадь, на которой легко разместилась бы пара «точечных» небоскребов. На самом деле это была классическая городская усадьба: особняк, окруженный всякого рода одноэтажными флигелями, службами, каретными сараями, в которых тесно проживали, встречали праздники, занимались любовью, пили, рожали и умирали люди, в основном

понаехавшие в столицу после октябрьского переворота или последней войны.

И хоть дом по ветхости назначен был на снос еще в тридцать шестом, он дотянул до начала семидесятых, причем жители флигелей оказались в выигрышном положении: сносить их начали еще при Хрущеве, и дом, словно капуста, освобождаясь от внешних наслоений, явил наконец на общее обозрение свою архитектурную громоздкость.

Кирпичные сараи и флигели, обступая особняк, прежде оставляли выход лишь на Большую Молчановку. Когда же пристройки исчезли, путь открылся во все стороны: хоть на Малую Молчановку, хоть во двор дома № 18. Этот дом, сохранившийся и поныне как образец московского модерна начала XX века, до сих пор интересен мне тем, что на его брандмауэре, приросшем некогда к нашему особняку, при вечернем освещении можно увидеть, словно призрак дальних времен, контуры нашего дома. Когда в детст-



Папа с Г.Н. Караевым (справа) изучают карту Псковской области, готовясь к летней экспедиции, 1961

ве я переехал на Молчановку, в подъезде этого дома-модерн сохранялась еще дубовая вешалка с медными литыми крюками и туманным овальным зеркалом. Почему все это раньше не растащили, ума не приложу. Вскоре, правда, положение исправили.

В феврале шестьдесят шестого одна мамина подруга дала нам дня на три изданный в Италии запрещенный тогда роман Пастернака «Доктор Живаго». На одну ночь он достался мне, и то ли от позднего времени, то ли от ощущения стремности проекта произведение понравилось (мусоля его позже, когда было уже можно, я подивился, насколько вещь «сырая», и лишний раз отметил, что правильно сказал кто-то мудрый, мол, не стоит хорошим поэтам писать прозу). Сообщаю это вовсе не для того, чтобы похвастаться ранней и изысканной начитанностью, а потому, что есть там такой эпизод: в Гражданскую Юрий Живаго встречается на Большой Молчановке с человеком, показавшимся знакомым (это его кузен). Встреча же происходит в подъезде дома против Серебряного переулка. А это как раз и есть тот самый дом № 18 с парадной утварью.

Почему-то в углу памяти всплыла картинка. В начале шестьдесят третьего рядом, на углу Серебряного и Собачьего переулков, снесли часть дома, и получилось, что над строящимся ударными темпами проспектом открылась стена, словно авангардное полотно из разноцветных лоскутков бывших комнат, кухонь, коридоров, а на уровне третьего этажа на ржавой трубе под весенним ветром качался сверкавший белизной унитаз «Эврика» с высоко расположенным бачком и сиявшей на солнце цепочкой с белой же фарфоровой ручкой...

Но вернемся в дом 20. Черным ходом, минуя уютный двор со старым серебристым тополем (каждую весну мы с папой гадали,

погибло дерево или нет, потому что его листья распускались позже других), можно было теперь попасть на Малую Молчановку к «дому со львами». Над некогда роскошным подъездом уныло доживал свое бетонный герб, а по бокам его охраняли сильно потрепанные временем бетонные же цари зверей. Этот серый монстр, занимавший чуть не половину Малой Молчановки и сворачивавший в Ржевский переулок, пользовался большим успехом у киношников. Тут уж везло львам: перед съемками им чинили отколотые лапы и красили в благородные цвета.

Окно нашей комнаты глядело как раз на Малую Молчановку, на малюсенький особняк с тесным мезонином, в который вела лесенка, очень похожая на корабельный трап. В мезонине жил художник Азарий Каджак.

Принципиальный караим. Подобно нашему, домик этот разваливался на глазах, однако тут приспела пора охраны памятников, и оказалось, что гораздо раньше караима Каджака здесь у своей бабушки провел юность будущий поэт Лермонтов. В итоге особняк стал музеем, а художник переехал куда-то в Черемушки.

Нужно отметить, что Малая Молчановка с эпохи моих первых воспоминаний пострадала несравненно меньше, нежели ее большая тезка. Правда, зачем-то снесли два относительно крепких кирпичных здания вместе с серебристым тополем, а на освободившемся пространстве напротив львов возник типовой мидовский особняк, куда лет десять назад въехало посольство Бельгии.



У знаменитого «дома со львами»

Прежде посольство этого королевства занимало небольшой, но весьма уютный особнячок с зеркальными окнами неподалеку, в Скатертном переулке. Причем примечательно: у подъезда также сидел каменный лев. Летом шестидесятого года в Бельгийском Конго случилась заварушка, очень развлекавшая цивилизованный мир; к власти в этой получавшей независимость колонии рвались местные лидеры – Мабуту, Чомбе и Патрис Лумумба. Хрущеву с компанией приглянулся последний, а Бельгия поддерживала объединившихся против него Мабуту и Чомбе. Осенью оба бандита прикончили беднягу Лумумбу, а все прогрессивное человечество, ясное дело, возмутилось этим актом вандализма. Причисленные к прогрессивному человечеству, освобожденные по такому поводу от занятий в школе, мы под руководством комсомольских инструкторов заняли позицию напротив бельгийского посольства.

Возгласы «Убийцы!» и «Позор!» не действовали, шторы за зеркальными, высотой метра в два с половиной стеклами даже не шелохнулись. Тут в переулок как-то боком въехал самосвал, развернулся и, странно пятясь задом, подтянулся к митингующим. Кузов грузовика начал медленно подниматься, и на проезжую часть посыпалась отборная, величиной с гусиное яйцо, галька.

Потом неделю, наверное, в посольстве меняли стекла. Воодушевленная молодежь опрокинула также неосмотрительно припаркованный у входа белый «мерседес», а известный школьный фарцовщик Юра Локман от негодования утащил из дипломатического автомобиля задний диван мягкой красной кожи.

В те счастливые годы, когда для самостоятельных прогулок я еще не созрел, а ребенку требовался свежий воздух, мама брала меня на всякие деловые встречи. Поскольку ра-



С другом Сашей Шмидом (справа) позирю маме для заказной работы

ботала она художником, а в пятидесятые люди этой профессии в нашей стране востребованы были несильно, деловые контакты были связаны с поиском заказов. Причем почему-то матушка свято верила, что работу лучше всего искать не в редакциях и издательствах, а среди друзей и знакомых.

Так я побывал в тесном мезонине Каджака, куда, как потом выяснилось, на косолапых ножках, с вечно гноящимися глазами, завидуя блестящему Монго, взбирался будущий грустный поэт. Но чаще мы отправлялись советоваться с лучшей маминной подругой Дорой Бродской.

Супружеская пара Дора Владимировна Бродская и Николай Иванович Гайгаров была явление примечательное. Она, прекрасный художник, когда-то, еще до моего происхождения, училась вместе с мамой в полиграфическом, а Николай Иванович работал архитектором. Долгие годы они жили на Серпуховке в коммуналке, а в середине пятидесятых Гайгаров – он тогда был главным

архитектором Военпроекта – получил невозможно роскошную трехкомнатную квартиру в спроектированном им доме для высшего командного состава на Смоленской набережной.

В подъезде со всякими колонками и балясинами за дубовым столом с лампой под зеленым абажуром восседала дама-вахтер.

– К кому идете? – строго спрашивала она.

И когда называлась фамилия Гайгаровых, разрешала:

– Поднимитесь на шестой этаж.

Это было примерно как в кабинете у завуча, куда меня регулярно вызывали.

У читателя, особенно если он прочтет статью о Гайгарове в энциклопедии «Москва», может зародиться подозрение, что был он архитектурным чиновником. И вовсе нет. Внешне он напоминал актера, который в хорошей французской комедии мог бы сыграть генерала де Голля. Николай Иванович был мастером розыгрышей, причем делал это всегда с серьезным, несколько скорбным лицом.

Однажды он пришел к нам на Молчановку. Мой отец со свойственным ему темпераментом рассказывал гостю какую-то очень интересную историю. Через некоторое время Гайгаров начал ерзать, всем своим видом демонстрируя, что хочет покурить. Надо сказать, отец терпеть не мог запаха табака, и, зная это, гости всегда выходили дымить на кухню.

Николай Иванович нашел наконец редкую паузу в папином рассказе и объявил:

– Александр Сергеевич, я выйду покурить.

– Курите здесь! – потребовал отец, которому не терпелось продолжить историю. И сделал такой специальный жест рукой.

– Нет, – смиренно отвечал Гайгаров, – я знаю, вы не переносите табачный дым.

– Напротив, очень люблю табачный дым.

Папа был чрезвычайно упрям.

– Я понимаю, что вы это говорите ради меня.

– Действительно, я люблю табачный дым, – настаивал отец, – хотите, я с вами закурю?

Это было что-то новое. Николай Иванович достал пачку папирос.

Мы с мамой разинули рты: папа, держа папиросу большим и указательным пальцами, театрально отведя в сторону руку, словно актриса Художественного театра, пускал к потолку струи дыма и продолжал свою историю. Николай Иванович сидел с таким видом, будто все как обычно и они в курилке обсуждают вчерашний футбольный матч.

Когда же дом на Молчановке сломали и наше семейство из роскошной арбатской коммуналки со штучными соседями переехало в унылую серую девятиэтажку в отдаленном районе, Гайгаровы были приглашены на новоселье.

– Николай Иванович, – горячился папа, полагая, что архитекторы отвечают за идиотизм строителей, – вот почему туалет сделали прямо рядом с кухней?

– Совершенно этого не понимаю, – соглашался Гайгаров, – у нас то же самое, – он имел в виду свою генеральскую квартиру, – и знаете, я из-за этого вот уже шестнадцать лет не хожу в уборную.

Все это, естественно, произносилось совершенно серьезно. Дора Владимировна туманно посмотрела на мужа, что-то прикидывая в уме.

– Нет, Коля, ты ходишь, – не совсем уверенно возразила она.

В начале лета, когда наше семейство готовилось к длинным летним путешествиям, папа начинал волноваться по поводу своей замечательной коллекции редких кактусов, заполнивших дома все окна. Растил он их с помощью немецкой книги «Freude mit Kakteen» (дословно радость с кактусами –

нем.). Жили колючие создания и в старых аквариумах, и на специальных полочках, и даже в подвешенных кашпо. Обычно в конце мая папа за завтраком ронял в пустоту примерно такую фразу: «Наверное, перед отъездом кактусы придется выбросить или кому-нибудь подарить...» Это означало, что мама должна договориться с Дорой Владимировной, чтобы та приютила на время нашего летнего отсутствия ценную коллекцию.

И вот наступал день похода к Гайгаровым. Впереди папа нес два перемотанных бельевыми веревками аквариума, полных экзотическими растениями. Следом я тащил какую-то неудобную плоскую коробку с колючей радостью, а сзади двигалась мама с черной сумкой, в которой покоились менее ценные экземпляры. Процессия втягивалась в Кречетниковский переулок, который за Садовым кольцом перерастал в Новинский – часть будущей трассы еще и не предвидевшегося Нового Арбата. Пересекая его, по Смоленским переулкам тогда петлял трамвай (сейчас даже странно представить, как он мог там ходить), который затем бежал к Трехгорке, Шмитовскому проезду и неизвестно куда.

На набережной прямо за мрачным серым домом с излишествами, что сейчас оказался напротив мэрии, лежал большой пустырь. Просуществовал этот пустырь долго, лишь совсем недавно тут построили новое британское посольство. А в пятидесятые здесь ютилась лавчонка, где перед Пасхой торговали дефицитом: яйцами и мукой. Тогда почему-то такая торговля происходила на задворках, видимо, чтобы очередь не так бросалась в глаза. Номер очереди писали на тыльной стороне ладони химическим карандашом, чтобы все было по-честному, а «еще одни руки» давали десяток яиц и килограмм муки.

Вспоминаю, как накануне Пасхи медленно двигалась очередь, а я, «еще одни руки», которые мама взяла с собой, скакал по лужам пустыря. Когда до прилавка оставалось совсем ничего, мама потребовала, чтобы я далеко не уходил. Пожилой длинноносый человек, стоявший перед нами, в чем-то проворно убеждал маму:

– Вы таки скажете тогда, что ребенок ваш, и он сам это подтвердит. А я уже буду далеко...

Мама уверяла, что это неудобно. Тут подошла очередь длинноносого:

– Дайте мне два десятка, со мной мальчик.

И он кивнул в мою сторону. Продавщица хмуро зыркнула и отпустила яйца. Мужчина удалился. Мама сделала скорбно-овечье лицо и пролепетала:

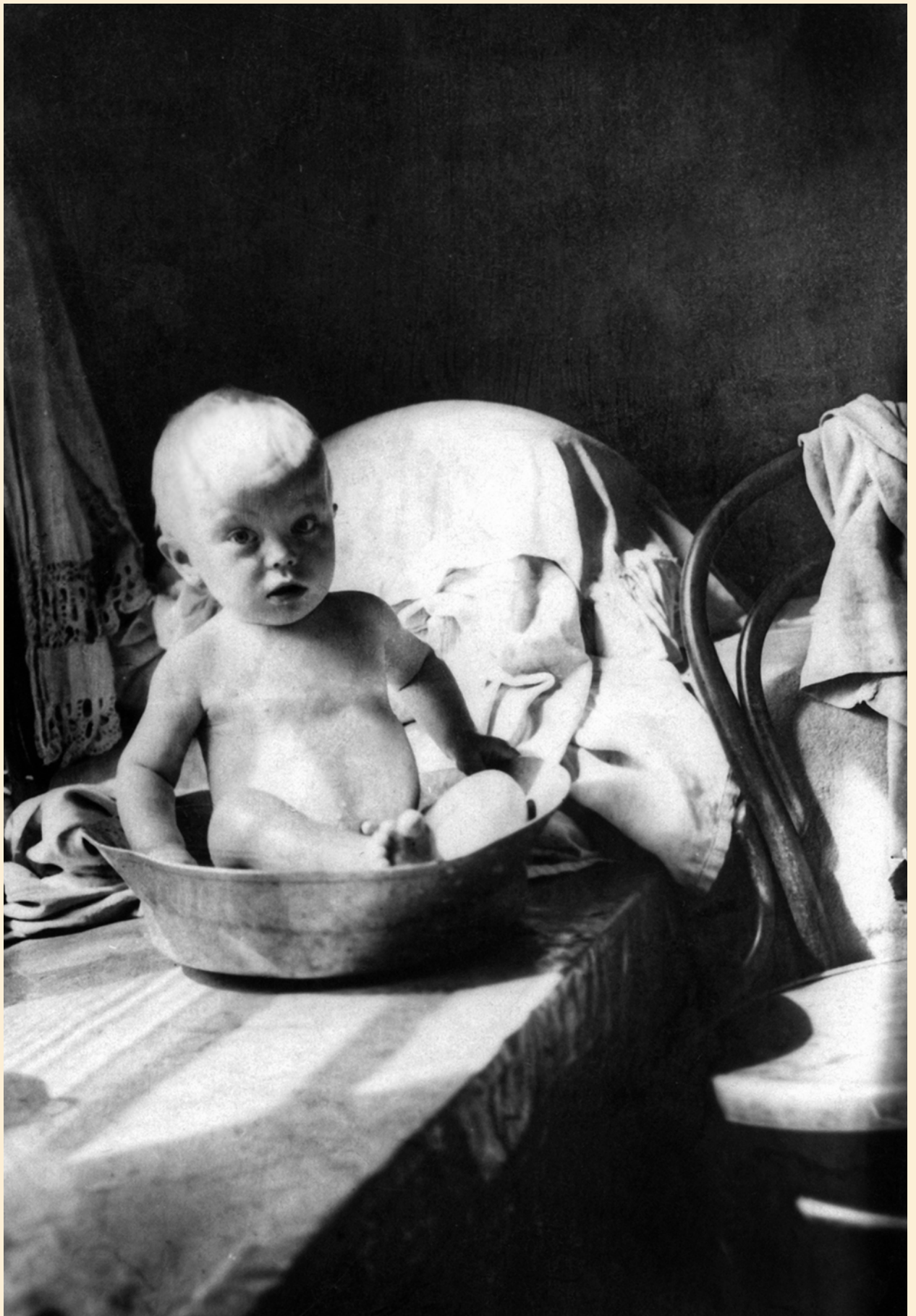
– Я вас очень прошу, отпустите два десятка.

Самое странное, что продавщица не спорила. Тогда мои «еще одни руки» были использованы не по назначению.

Вспомнил я этот осколок той жизни потому, что как раз за пустырем, стоит лишь пересечь Проточный, стоял гайгаровский дом с мерзкой вахтершей в подъезде.

Это были друзья, так сказать, со стороны мамы. Папины были похлеще. Однажды родители, с целью формирования у ребенка хорошего художественного вкуса, отправились в музей имени Пушкина знакомить меня с недавно разрешенными французскими импрессионистами. На углу, где Арбатская площадь соединяется со Знаменкой, мама тихонько воскликнула: «Шура, смотри, какой странный человек!»

Навстречу, чуть приплясывая, двигался идальго с крашеной шевелюрой и бородкой-эспаньолкой. Увидев мужчину, папа радостно заулыбался и заспешил ему наперерез. Мы с мамой отошли в сторонку. Поговорив, отец дружески распрощался с идальго,





и мы продолжили путь в музей. По дороге папа поведал, что это некий Шаховцев, председатель водной секции Московского клуба туристов. И очень удачно, что мы с ним встретились, пояснил отец, поскольку послезавтра чествуют старейшую туристку, которая с веслом в руках изучала родные просторы еще до революции.

Тут необходимо сделать отступление. Каждый месяц нам по почте приходил солидный пакет с жирным обратным адресом Московского клуба туристов. Папа радовался, предвкушал и вывешивал на входную дверь «Календарный план», извещавший, что каждый понедельник собирается водная секция клуба.

Начинал готовиться папа часов в пять, потому что клуб находился на самом краю Москвы, где-то возле Птичьего рынка, легендарной «Птички». Там ожидалось приятные встречи с единомышленниками, важные обсуждения походов, споры... Возвращался отец возбужденный, обычно за полночь, когда я давно спал, и тут же принимался докладывать маме хронику происшедшего: кто был, что обсуждали, кто кого «срезал» и прочие неотложные вещи.

Включался ночник, и тут обнаруживались семейства клопов, свободно разгуливающих по стенам. Надо сказать, что в пятидесятые на Москву было просто нашествие этих вредных насекомых. В самых изысканных салонах обсуждались способы, как морить кровососов.

Вынести такую наглость отец не мог, и включался полный свет. Проснувшись среди ночи, я наблюдал картину: папа, надев две пары очков, стоя на табуретке в длинных семейных трусах с пинцетом в одной руке и баночкой в другой, под самым потолком охотился на подлых тварей. <...>

В тот раз намечалась выездная сессия водной секции на дом к имениннице, быв-

шей баронессе то ли Амалии, то ли Атилии Владимировне – папа сам часто путал. Оказывается, «древность» участвовала в шлюпочных походах при Николае Кровавом, а я, слушая это, представлял белоколонную усадьбу, пруд с беседкой на острове и баронессу с зонтиком, в длинном дорожном платье, которой матросы помогают взойти в лодку, чтобы отправиться исследовать тайны острова.

Словом, папа отбыл. Среди ночи я проснулся от гомерического маминого хохота. Посреди комнаты стоял папа в накинутах на плечи малюсеньком зеленом дамском пальто, а матушка прямо-таки заходилась до колик. Вкратце ситуация выглядела так. На юбилей баронессы, который прошел просто замечательно, – читали стихи Гумилева, говорили по-французски, как раньше, – оказалась старая подруга именинницы, тоже путешественница, которая прежде других гостей покинула собрание. Возможно, от лишнего возлияний, а может, от нахлынувших чувств, уходя, она вместо своего легкого пальтеца надела тяжелую папину куртку и отправилась домой. Папе ничего не оставалось, как облачиться в пальто старушки. Набросив крохотное пардесю на плечи (мол, жарко мне, хотя мороз стоял знатный), он, пока шли компанией, чувствовал себя еще ничего. Оказавшись же в метро, ловил на себе любопытно-настороженные взгляды и не знал, куда деться.

В шесть утра раздался грохот. Мама накинула халатик и открыла. Весь проем двери закрывала дворничиха, которая сразу донесла суть:

– Твой давеча с одной гулял. Так они пальтом сменялись.

– А где она?

– Внизу стоит, стесняется, – охотно объяснила мастер метлы и, явно желая вызвать

справедливую ревность, добавила: – Он еще ейные ключи забрал.

Так как ключи оказались в кармане пальто, несчастная ночевала на подоконнике в подъезде, а обнаружив в куртке папин паспорт с адресом, лишь только пустили метро, отправилась искать пропажу.

Рискуя утомить читателя воспоминаниями о людях, посещавших наш дом, все же не могу удержаться, чтобы не вспомнить еще одну весьма колоритную личность, Михаила Борисовича Улицкого. Папа дружил с ним, что называется, на ниве детского туризма. Появлялся он в нашем доме всегда неожиданно, тут же ложился на тахту в дальней комнате и немедленно засыпал.

Случавшимся в это время у нас знакомым папа, стараясь не будить гостя, грустно, с тихим сочувствием пояснял, что Михаил Борисович страдает манией преследования и во время приступов, опасаясь, что его убьют, дома не спит, доверяя лишь близким друзьям. Оказывается, несчастье постигло опытного педагога в день объявления войны. Он как раз совершал с детьми экскурсию на теплоходе по каналу имени Москвы, когда Молотов выступил со своей известной речью. По слухам, Улицкий вел себя буйно, пытался даже прыгать за борт...

После войны вроде бы все успокоилось. Человек он был энергичный, крепкий, черепом смахивал на умудренного опытом скинхеда. Его даже пригласили на работу в одну научную сельскохозяйственную организацию, которую возглавляла академик Ольга Борисовна Лепешинская, верный соратник приснопамятного Трофима Денисовича Лысенко. Вскоре, правда, выяснилось, что «тараканы» Улицкого несколько трансформировались, и он сделался борцом за справедливость.

На территории современного Выставочного центра прежде располагалась ВДНХ

(Выставка достижений народного хозяйства), а первоначально большинство существующих и поныне монументальных павильонов было выстроено в тридцатые для ВСХВ (Всесоюзная сельскохозяйственная выставка). В одном из них и разместилось учреждение Лепешинской. Как объяснял Улицкий, суть ее учения сводилась к тому, что культурные растения надо воспитывать и тогда они дают обильный урожай. Со страстью природного педагога включился Михаил Борисович в новое дело. В круг его задач входило обслуживать небольшие опытные поля в окрестностях павильона, на которых росли пшеница и кок-сагыз. Пшеничное поле поделено было на две равные части: в одной рос обычный злак, а в другой – воспитанный. Так и было указано на табличках.

То ли воспитание пошло не впрок, то ли по другим причинам, словом, невоспитанная пшеница заколосилась гуще. Однажды утром Улицкий обнаружил, что таблички переставлены: там, где злак возшел лучше, сообщалось, что это и есть экспериментальный участок. Михаил Борисович устранил досадную ошибку, однако вечером все повторилось. На следующий день он пришел пораньше и спрятался в кустах. Тут он и увидел даму-академика, которая, быстро оглядевшись, вновь махнула таблички местами. Улицкий, обозначившийся из засады, гневно воскликнул:

– Зачем?

– А это не ваше дело! – парировала Лепешинская и заспешила в учреждение.

Но не тут-то было. Улицкий догнал ее и, требуя вернуть все на место, схватил за рукав. Ученая заверещала, сбежались люди... На этом научная карьера Улицкого завершилась.

Вскоре после того случая он пришел на Молчановку с огромной банкой венгерского конфитюра «Глобус», но не отправился,



Снос дома на Большой Молчановке, 1963

как обычно, спать, а сообщил, что решил жениться.

Родители переглянулись. Улицкий усмотрел в этом знак недоверия к его качествам и объявил: «Я на самом деле очень красив». С этими словами он, не обращая внимания на протесты, разделся и, оставшись в одних трусах, гордо поинтересовался: «Ну как?»

Следующий визит состоялся через год. Улицкий рассказал, что женитьба протекает нормально, но досаждают пасынок, который, словно пшеница Лепешинской, оказался трудновоспитуемым. Тут его взгляд остановился на плетеной кожаной нагайке, висевшей на стене (у нас на Молчановке много было странных штуквин), он быстро схватил ее и шлепнул себя по ляжке. «О, это больно! – радостно воскликнул гость. – Я возьму плетку напрокат».

Больше мы не видели ни Улицкого, ни нагайки. Возможно, юный строптивец, не снеся испытания плетью, дождался нако-

нец, когда отчим заснет, взял туристский топорик и...

Впрочем, не будем фантазировать.

В конце пятидесятых папа вошел в редколлегию журнала «Туристские тропы». Кроме того, он начал работать над книгой; словом, потребовались машинистки. Одна оказалась даже «машинистом», правда, без имени. Назывался он «муж Аллы Андреевой» (речь идет о вдове Даниила Андреева, автора «Розы Мира»), а жили они на Молчановке напротив нас.

Все же любимой папиной машинисткой была Татьяна Николаевна Щипанова. Она из хорошей семьи, обычно говорил папа как бы между делом, урожденная княжна Васильчикова. Мужа княжны, академика, затравили в сороковые за то, что увлекался лже-наукой кибернетикой.

Как-то Татьяна Николаевна поведала, что ее вызывают в Госкомитет по науке и технике: нет ли каких-нибудь черновиков акаде-

мика. Оказывается, неоконченные его труды очень способствуют модному освоению космоса. Черновики оказались, а вскоре в Доме ученых состоялся вечер памяти Щипанова. Собравшиеся говорили горячо и убедительно, а Татьяна Николаевна сидела в президиуме рядом с президентом АН СССР.

– Хотите что-нибудь сказать присутствующим? – наклонился к ней главный академик.

– Пожалуй, только то, что люди, которые сегодня выступают, лет десять-пятнадцать назад травили мужа.

– Тогда не стоит, – отсоветовал президент.

Благодаря этой машинистке в нашем доме появилась довольно приличная самиздатовская библиотека: «Роман без вранья» Анатолия Мариенгофа, булгаковские «Собачье сердце» и «Мастер и Маргарита» без купюр, стенограмма травли Пастернака в Союзе писателей и особенно одиозное «Говорит Москва» Даниэля и Синявского.

Кстати, когда я относил ей папины рукописи – жила машинистка на улице Воровского, – на почтовом ящике коммуналки этажом ниже можно было разобрать недавно вымаранные буквы: «Андрей Синявский». Подозреваю, Татьяна Николаевна печатала рукописи репрессированного писателя и критика. <...>

Вот, скажет читатель, ностальгия по оставленным местам движет пером автора. И будет прав лишь отчасти. Потому что ностальгия предполагает тоску по далекой родине, а я, сделав одну-две пересадки на метро, легко туда доберусь. И что там увижу? А ничего не увижу, потому что все там по-другому: лишь зыбкий, кое-где порушенный каркас из паутины знакомых улиц и переулков, а дух места, тот неповторимый аромат полувековой давности, исчез навсегда. Потому и написал я эти рассказы, чтобы погрузиться в далекое и близкое мне время. А так как одному неинтересно и хочется с кем-то поделиться сокровенным, взял с собой читателя. Вот и всё.



Пионерская ПРАВДА

Орган ЦК и МК ВЛКСМ

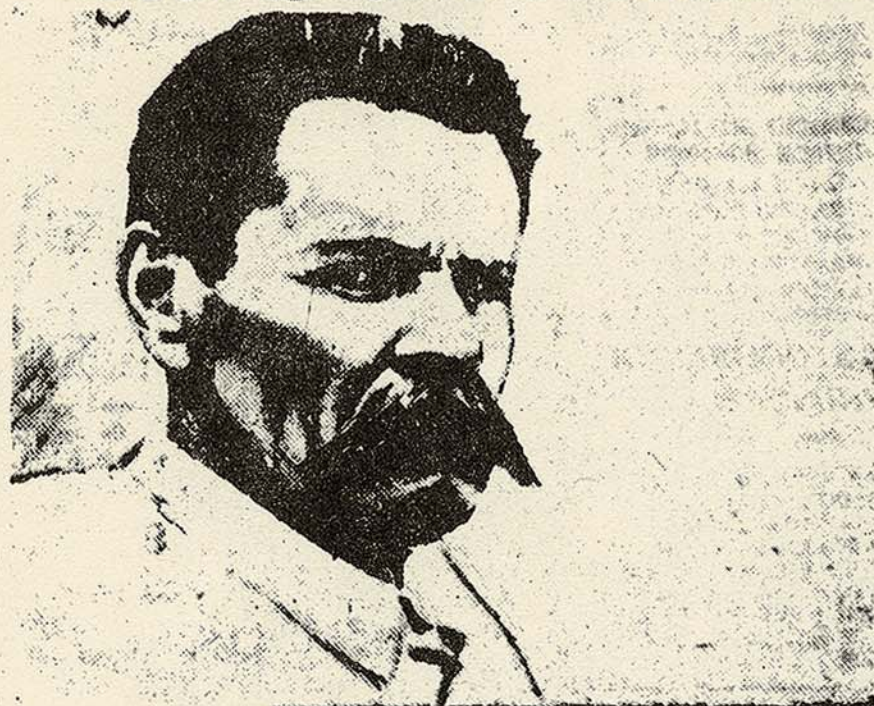
13 июля 1988 г. № 76 (1217)

Цена 3 коп.

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:
УВАЖИТЕЛЬНАЯ ПРИЧИНА — 2 стр.
ПИОНЕРСКИЙ ПРАЗДНИК АВИАЦИИ — 3 стр.
ЗДРАВСТВУЙ, ТОВАРИЩ УРОЖАЙ! — 4-5 стр.
СЛУШАЙ НАКАЗ НАРКОМА! — 7 стр.

Максим Горький спрашивает:

Что вы читаете?



Ребята!

Я обращаюсь к вам от газеты «Пионерская правда» и лично от себя. Решено организовать специальное издательство книг для детей. Нужно знать, что вы читаете. Какие книги нравятся вам? Какие книжки вы хотели бы прочитать?

Последний вопрос поймите так: что, именно, вы особенно хотели бы знать, какие вопросы интересуют вас.

Отвечайте просто, искренно, ничего не выдумывая, не притворяясь умнее, чем вы есть на самом деле. Вы и так достаточно умные.

Письма посылайте в редакцию «Пионерской правды», а кто хочет — пусть посылает мне, по адресу: Москва, Малая Никитская, 6.

Мы соберем все ваши письма, прочитаем их и будем знать, что и как надобно делать, какие и о чем написать новые книжки, какие старые снова напечатать.

Привет! М. Горький

ОТВЕЧАЙТЕ, РЕБЯТА!

Вашим прославленным писателем Максим Горький — лучший друг пионеров и школьников Советской страны. Он внимательно следит за нашей работой, учебной, во всякой другой жизни.

Но что особенно интересует нашего издателя — это развитие детской литературы. По моему мнению, наша литература не уделяла должного внимания в книге для детей и литературы для детей. Из этого можно сделать вывод, что в нас мало творческих, оригинальных детских книг.

Сейчас М. Горький обращается к вам с просьбой: что вы читаете? Какие книги нравятся вам? Какие книжки вы хотели бы прочитать?

Дружно откликнитесь на призыв Алексея Максимовича. Расскажите о любимых книгах, о тех, о чем задумываете вы сами, о тех, о чем мечтали в юности, о том, о чем вы хотели бы написать. Задайте во всем то, что вы хотите, требовать, дайте свой пионерский наказ новому издательству.

Будем помнить, что каждая детская литература зависит от нас самих.

ДАДИМ ПИОНЕРСКИЙ НАКАЗ НОВОМУ ИЗДАТЕЛЬСТВУ

Дети:

Писатели:

Литературоведы:

Пионерский актив!

Покажите пример в организации откликов М. Горькому. Обсуждайте прочитанные книги на собраниях и в школьных собраниях. На собраниях, у литературных клубов проводите переписку читателей. Начните сбор предложений в пионерский наказ новому издательству детской литературы. Пишите материалы «Пионерская правда». Лучшие предложения и отзывы о книгах будут напечатаны.

Л.А. Румянцева

РЕДАКЦИЯ ПРОЗЫ

Главы из романа

Всегда была уверена, что коммуналки – это завоевание советской власти. Как выясняется, весьма распространенное заблуждение. Оказывается, подобный тип жилья существовал еще задолго до 1917 года. Значительная часть рабочего люда в нашей стране до революции, например, была вынуждена проживать в одной комнате, куда их часто селил работодатель. А в Германии и сегодня в целях экономии довольно часто несколько семей или студентов договариваются вместе снимать одно жилище. Но только изобретательная советская власть додумалась заселять в одну квартиру людей, принадлежащих к совершенно разным социальным слоям, не связанных никакими семейными отношениями. Такое сожительство изначально становилось вынужденным. Характерные признаки Совдепии – делать многие вещи вопреки здравому смыслу, наперекор логике, идя против самой человеческой натуры. Этой власти неведомо было, что человек иногда бывает лич-

ностью, обладает некой индивидуальностью – он не летает в стаях, не роится, не плавает косяками. Поэтому жить в коммунах любого рода для него не только противоестественно, но порой и мучительно. Перифразируя классика, можно сказать, что если бы коммуналок не существовало, их следовало бы выдумать. Вот их и выдумали после 1917 года.

Я добрую половину своей жизни провела в коммуналках. Сейчас я иногда веселю компанию, рассказывая байки о своей последней коммуналке, где соседкой у меня была легендарная баба Дуся. Комнату эту я получила благодаря Сергею Владимировичу Ми-



С.В. Михалков с руководством Детгиза: К.Ф. Пискунов, В.Г. Компаниец, П.И. Суворов (слева направо)

халкову. Моя коллега, святой человек, Инночка Борисовна Шустова делала книгу с его помощником и рассказала ему о моих жилищных проблемах. Надо отдать должное Михалкову – он всегда откликался на подобные просьбы детгизовских работников. Довольно быстро было подготовлено ходатайство за его подписью, подкрепленное личным звонком классика в райисполком. Следуя четким инструкциям помощника Михалкова, я пришла в жилищный отдел за ордером с подарками – великолепными детскими книгами. Я с трудом тащила эту неподъемную сумку, а за мной бежала моя маленькая мама, накидывая сверху перья зеленого лука, чтобы прикрыть это книжное великолепие и причитала: «Ой, дочка, тебя же посадят в тюрьму. Тебя же на “черном воронке” отсюда увезут! Как же ты пройдешь? Ведь все увидят! Я боюсь». Мы сидели в очереди, мама все расправляла этот дурацкий лук сверху, потом я вошла в комнату, боясь от ужаса поднять глаза. Жилищный инспектор, тетка с алым, как у вампира, ртом, привычным движением скинув лук в сторону, за одну секунду переложила все книги в ящики своего стола и вручила мне ордер. Три минуты позора, и у меня появилась собственная долгожданная комната! Мама топталась на улице, от страха ее колотила нервная дрожь. Трясущимися руками я протянула ей заветный листочек, и мама расплакалась от счастья – наконец у ее многострадальной дочки появился собственный угол. Вскоре я заселилась в двухкомнатную квартиру, где единственной соседкой у меня была пожилая женщина – Евдокия Яковлевна.

Естественно, что мы с мужем, тогда совсем молодые, называли ее просто Дуськой. Нам казалось, что в свои восемьдесят лет Дуська очень задержалась на этом свете, что пора бы ей освободить комнату, которую нам не терпелось занять. Сейчас немного

стыдно за подобные мысли. Хорошо, что квартирный вопрос разрешился другим образом: мы, настрадавшись почти восемь лет от совместного проживания, переехали в собственное жилище, а Дуся еще лет десять вела вполне активный образ жизни в своей комнате. Родом Дуся была из Рязанской области, из деревни Спас-Клепики, которая с 1920 года вдруг превратилась в город. Мы, естественно, сразу переименовали Спас-Клепики в Сан-Клепики и очень хихикали по этому поводу. Дуся жила в Москве давно, переехала поднимать столицу, кажется, в тридцатые годы прошлого столетия. Но хотя она и прожила в столице почти шестьдесят лет, любые признаки горожанки у нее напрочь отсутствовали. Водилась она исключительно со своими, деревенскими, многие подруги были землячками, видимо, так вся деревня, один за другим, и подтягивалась в Москву. Звали бабок Матрена, Фекла, Васена, Нюшка. Круг знакомых у Дуси был огромный, она была очень общительная. А поскольку у нее одной из немногих бабок имелась своя отдельная комната, то к ней весь день стекались бабульки со всего района, чтобы, как они говорили, «погутарить». Это был женский клуб, можно сказать, салон в полном смысле этого слова. Каждая бабка несла с собой в кармане по три-четыре карамельки, несколько баранок или печенье «Привет». С этими сладостями они и пили чай. Целыми днями у Дуси сидело по пять-шесть бабок, которые орали не своими голосами – просто они так разговаривали. Причем орали все сразу, никто никого не слушал, главное для каждой было высказаться.

Я с мужем Женей и маленьким Санькой жила в двенадцатиметровой комнате, где даже какую-то мебель было поставить трудно, потому что в этом небольшом угловом помещении были два больших окна и дверь – все на разных стенах. Дуся жила по-царски,



На кухне в коммуналке с сыном Сашей.

Фото было опубликовано в журнале «Семья и школа» в 1983 г.

В статье речь шла о том, что советским мамам надо больше уделять внимания своим детям

в одиночестве располагаясь на семнадцати квадратных метрах. Стиль жизни у нас с соседкой совсем не совпадал. Женя писал диссертацию, заканчивал аспирантуру. Я работала в Детгизе, который позже стал называться издательством «Детская литература». Санька в детстве был очень беспокойным и нездоровым ребенком, и мы часто использовали ночи для работы – муж сидел над диссертацией, а я над рукописями, – только в ночной тишине и могли сосредоточиться на той жуткой коммунальной кухне. Мы, как две птицы на жердочках, восседали на очень высоких табуретках, сколоченных собственноручно еще Дуськиным покойным мужем Иваном. Каждому хотелось занять Дуськин стол – он был большой и стоял у окна, а на подоконник можно было тоже положить много бумаг. Еще рядом со столом расположился огромный старый уродливый буфет соседки. Не потому что ему не нашлось места в ее комнате, а потому что хитроумная Дуся таким образом отвоевала большую часть этой убогой семиметровой кухни. Однако истинными хозяевами кухни все же были тараканы. Наша маниакальная

борьба с ними практически не давала никаких результатов. Мусоропровод находился на кухне, поэтому эти рыжие ненавистные мне твари разгуливали с первого по восьмой этаж нашего сталинского дома, и никакая отравка их не брала. Самое страшное было неожиданно зажечь свет на кухне ночью и увидеть, как они врассыпную разбегаются по углам. До сих пор при воспоминании об этой картине мурашки по спине бегают.

Работали мы допоздна, естественно, поспать хотелось подольше. Но Дуся вставала с петухами. В начале восьмого она уже обычно стояла у дверей продуктового магазина – вдруг чего-нибудь да выбросят, как тогда говорили. Когда выбрасывали что-то особенно «ценное», утро выдавалось просто кошмарное. Дуся вбегала в квартиру с выпученными глазами и бросалась к телефону:

– Васена! Васена! – Зычным басом громыхла она – Бежи скорее на угол, там колбасу по рупь семьдесят дают! Дуй скорее! Мне еще надо всех туды послать!

– Матрена! Матрена! – Начинала орать она через минуту. – Бежи скорее на угол, там колбасу по рупь семьдесят дают! Дуй скорее! Васену я уже послала! Мне еще надо всех туды послать!

И дальше по списку, в котором значилось огромное количество ее товаров. Дуся была неграмотная, но цифры запоминала легко и считать умела отлично. Набирала телефонный номер, смешно приговаривая: «Палочка, палочка, трешка, нолик». Палочка означала единицу.

– Нюшка, Нюшка! – Начиная она опять.
– Бежи скорее в угловой магазин, там колбасу по рупь семьдесят дают! Дуй скорее!

Спать под такие вопли уже было невозможно. Мы вставали и выползали в это тяжелое «колбасное» утро. Дуся радостно выпархивала в коридор и, стоя под дверью туалета, где скрылся Женя, радостно продолжала орать:

– Женюшка! Женюшка! В угловом колбасу по рупь семьдесят дают!

Выходил Женя с лицом мрачнее тучи и сердито говорил:

– Да черт бы с этой колбасой, пропади она пропадом, ба-ба Ду-ся! Я спать хочу. Я всю ночь ра-бо-тал! Баб Дусь, – жалобно продолжал он, – а почему ты так орешь все время, словно пытаешься до своих Сан-Клепиков доораться? Телефон же для того и придумали, чтобы людям можно было на расстоянии нормально разговаривать...

– Да ты не серчай, Женюшка, – добродушно говорила Дуся, – я потише попробую. А хошь, я вам за колбасой сбегая? Не смогла сразу взять. В одни руки только по два батона давали. Я ее заморозжу, а потом кипяточком обдам и буду есть.

– Не, Дусь, спасибо, – смягчался Женя, – не надо мне этой мерзкой колбасы.

– Уй, какой ты гордый! Почему бреговашь? – Возмущалась Дуся, как-то по-своему переделывая всякий раз слово «бреговать». И, обиженная, удалялась в комнату, откуда через минуту опять несло:

– Фекла! Фекла! Бежи скорее на угол, там колбасу по рупь семьдесят дают! Дуй скорее!

Дуся долго пыталась разобраться, где мы работаем.

– Ты в конторе служишь или в заводе работаешь? – Спрашивала она меня очень часто. Я начинала объяснять ей, что работаю в издательстве, где выпускают детские книжки.

Она как будто не слышала того, что я ей говорю, и опять задавала свой любимый вопрос:

– Так ты в конторе служишь или в заводе работаешь?

Наконец до меня дошло, и я гордо ответила:

– В конторе!

– Ну вот, теперь понятно. Значить, в конторе! – Удовлетворенно подтвердила Дуся свои подозрения, что мы все-таки чужаки и к гегемону не принадлежим. – Я так и думала!

Обычно к девяти часам вечера все ее подружки расходились по домам. Я сначала думала, что это от деликатности – все-таки за стенкой маленький ребенок, которого пора купать, укладывать спать и т. д. Выяснилось, что причина совсем другая. В 21.00 начиналась всесоюзная информационная программа «Время», ее было положено всем смотреть, осмысливать и на следующий день обмениваться впечатлениями.

Всякий раз, когда сообщали, что кто-то из высшего партийного руководства страны скончался, а это особенно часто случалось в «пятилетку пышных похорон», Дуся, вся заплаканная, стучала к нам в дверь, воя навзрыд и причитая:

– Ой, батюшки! Хтой-то опять помер! Важный такой! Но я не поняла! Изреватель говорил, а я не поняла. Кто помер-то? – Под «изревателем» Дуся подразумевала «обозревателя». Это слово ей давалось с большим трудом.

Мы выползали на кухню и всякий раз цинично спрашивали Дусю:

– Дуся, ну что ты воешь? У тебя лично что-то случилось? Ведь ты даже не знаешь, кто это?

– Ну, как же... Важный такой...

– Дуся, у тебя было пять детей, осталось только двое. Ты сама говорила про них: «Бог дал, Бог взял!» Детей так не оплакивала, чего ты сейчас воешь?

– Так ведь важный... – Раздумчиво произносила Дуся и тут же оживлялась: – А что, плакать не обязательно?

Дуся очень хотела быть политически грамотной. Каждый день она пыталась Женю, стараясь поймать его для разговора, карауля у туалета или ванной.

– Женюшка, – ласково начинала она, – ШИША́ – это што такое будет?

– Не понял...

– Ну, ШИША́... Штрана, штоль, такая? ШИША́, – сердилась она на свою вечно высказывающую вставную челюсть, – говорю тебе – ШИША́!!!

Наконец до мужа доходило, что имела в виду Дуся, и лицо его прояснялось:

– А-а-а! Понял! США!

– Ну да, я и говорю – ШИША́!!!

– Так это страна, баб Дусь! США! Америка!

– Вот! Я и говорю – штрана! Дать бы по ней бомбой как следоват, шоб не мешали нам жить, сволочи такие! – Радостно подвела итог Дуся, хорошо подкованная средствами массовой информации.

– А зачем, Дусь? – Интересовался с наивным видом Женя. – Чем она тебе мешает-то?

– Все изреватели говорят – мешает! – Оспаривала баба Дуся Женино мнение. Но поскольку вопросов у нее накапливалось всегда много, она умело меняла тему: – А вот ты, Женюшка, скажи – шо же такое там на границе с Китаем собирают?

– Да рис, баба Дуся! Рис там собирают, – откровенно издевался Женька, только чтобы бабка отстала.

– Какой рис... Ты ж культурный... Там ентово... Войска собирают... Во, вспомнила – с-с-редотачивают! Тоже надо бомбой! Да как следоват!

Как-то я взяла домой срочную верстку. Но с утра опять собралось несметное количество бабок, они галдели целый день. Чтобы хоть как-то сосредоточиться, я напихала в

уши ваты, нацепила толстую шапку, а сверху надела огромные наушники от музыкального центра. Мне показалось этого мало, и в завершение я обмотала голову пуховым платком в надежде, что громкие вопли бабок будут не так слышны из-за стенки. Наивная! Промучившись полдня, я решила, как всегда, отправиться в соседнюю библиотеку и начала собираться. Когда я в таком виде направилась в туалет, дверь соседской комнаты отворилась, и в коридор, прощаясь с Дусей, вышли две бабки – Таня и Васена.

– Ой! Батюшки! – Вскрикнули старухи и начали мелко креститься. А смелая Дуся сказала:

– А я думала – космонавт какой здесь! Ты че так вырядилась?

– Баб Дусь, – смущенно произнесла я, решившись все-таки высказать наболевшее, – мне работать надо. У меня срочная работа. Вы так кричите, что я не могу сосредоточиться.

Бабки смотрели на меня непонимающе, но, похоже, с сочувствием.

– Вы не могли бы хоть иногда чуть-чуть потише разговаривать?

– Дык мы и так всегда тихо стараемся. – В полном недоумении развели руками бабки.

Дуся была на редкость здоровая. Для своих лет она выглядела просто отлично. Двигалась весьма проворно, катилась как шарик, быстро перебирая короткими ножками, и всегда гордо говорила:

– Вона, все бабки сморщенные, а я гладкая, как яблочко, и вся тела у меня гладкая!

Дусины сын и дочь приезжали к ней за восемь лет, что мы прожили вместе, наверно, раза три, не больше. Но, похоже, она не очень-то и скучала без них. Правда, иногда с гордостью рассказывала, какая у нее дочь Ольга умница да красавица.

– Ольга-то моя никогда не дерется. Она, если че, подойдет, по морде хряснет – и уйдет! Сразу уйдет!

Но мы очень долго красавицу Ольгу не видели. Однажды Дуся, как-то без всякого прискорбия, сообщила:

– Завтра Ольга приедет. Ей денежка понадобилась. На похороны. Муж у нее угорел.

Я сразу всполошилась:

– Как угорел? Что случилось?

– Ну, угорел. Квартира вся погорела с ним. Он же допил, его парализовало, лежачий был, а все равно водку жрал, – пояснила Дуся.

– А Ольга-то где была?

– А Ольга-то... Да с Витькой. С сожителем своим. Они сначала все вместе водку жрали, а потом они с Витькой ушли. А че уж там с этим стало, не знаю. Ты вот че – припрятать пока у себя вещички мои.

И Дуся стала стаскивать ко мне в комнату какие-то мешочки, пакетики, кулечки...

И приехала «красавица» Ольга... Спившаяся сорокалетняя баба с лицом забуддыги, в мини-юбке, в стоптаных туфлях двадцатилетней давности.

– Ой, да какой кудрявый! – Каким-то сипатым и визгливым голосом заверещала она, увидев моего маленького Саньку, выскочившего в коридор. – Ну-ка, иди-ка к тете!

Санька, увидев такую тетю, зашелся в истерическом реве и спрятался за меня.

На самом деле баба Дуся была хорошей, доброй и очень одинокой. Когда мы наконец переезжали в отдельную квартиру, она очень плакала и приговаривала:

– Куды вы едете? Че вам здесь не живется? Зачем вы мною брежете? Ведь хорошо живем. Я умру – все вам достанется. И квартира ваша будет. Буфет себе возьмете. Я и по Санюшке скучать буду...

На работу я убегала как на праздник. Как и всюду, там была своя коммуналка, но все-таки меня окружало много людей, с кем я работала на одной волне, которые мне были близки, понятны и которые, как я говорила, «взгляд прослеживали». Выражение это появилось из анамнеза педиатра, сделавшего запись в медицинской карточке моего грудного сынишки: «Хватательные рефлексы на обеих конечностях хорошо выражены. Взгляд прослеживает». Как выяснилось на практике, у большей части человечества только с хватательными рефлексамии дела обстоят благополучно. А взгляд прослеживают совсем немногие...

Мне кажется, что сегодня почти все крупные издательства – это просто фирмы для производства книжной продукции. У меня большой опыт работы в разных издательствах, и отечественный и зарубежный. И я мо-



Перед тем как создать Детгиз, Максим Горький провел грамотное маркетинговое исследование: он спросил у детей, каких книг им не хватает



Вот так проходили детгизовские худсоветы в 1950-е гг., на которых решались судьбы книг и их иллюстраторов. Во главе стола, под картиной, - главный художник Детгиза Б.А. Декстерёв

гу сравнивать. Нигде позже я не встречала той атмосферы, какая была в моем старом Детгизе, куда стекалась творческая интеллигенция со всех уголков огромной страны.

Многие не представляют себе сейчас, чем был Детгиз для художников и литераторов в те годы. Пожалуй, одним из немногих островков, где хоть изредка могли появляться на свет талантливые произведения. Для художников он был привлекателен не столько тем, что ставки были немного выше, чем в остальных издательствах, но прежде всего тем, что всегда была возможность для некоего самовыражения.

Сегодня вряд ли кто из арт-директоров консультирует три раза в неделю начинающих графиков детской книги. А в 1970-е годы каждые понедельник, среду и пятницу, после обеда выстраивалась огромная очередь к кабинету главного художника Б.А. Декстерёва. Кто-то после его замечаний уходил очень разочарованным, а кто-то получал первую работу – как правило, неболь-

шую сказку, очередное переиздание, стоявшее в перспективных планах. А в редакциях умели хвалить авторов и радоваться хорошим рукописям. Ведь пишущие, как, впрочем, и все творческие люди, словно дети. Для них похвала – это новый толчок к творчеству.

Я пришла в Детгиз в 1973 году двадцатилетней девчонкой и сначала проработала два месяца в производственном отделе, жадно вслушиваясь в разговоры о писателях и художниках. Эти разговоры напоминали мне пересуды слуг каких-то господ: «Гайдара-то я хорошо знал, когда в бухгалтерии еще работал. Ох, выпить любил! Бывало, придет и просит покойного главбуха: «Выпиши ты мне авансец побыстрее», – рассказывал 83-летний дед Основский, засыпая над калькуляциями к книгам. С особым сладострастием всем вспоминались житейские слабости великих, и рефреном звучало: «Да знаем мы их, тоже мне великая знаменитость, а вон как на 7 ноября напился, так в коридоре к этой редакторше из историче-



Сотрудники нашей редакции: Ирина Кляквина, Г.В. Малькова, М.С. Брусилловская, В.А. Анкудинов (слева направо)

ской редакции приставал». Когда заходили редакторы, я чувствовала, что это немного другое сословие, с которым я еще прежде не сталкивалась. Порой кому-то из них хотелось распустить перья, и заводились «умные» разговоры. «А это вы читали? А это вы смотрели?» Я чувствовала, что на самом деле никому не интересно, кто и что читал, как неинтересно было и его мнение, а всем было важно сообщить, что ты вот и это читал, и это, и это...

Конечно, как и во всех остальных издательствах, в Детгизе тоже превалировала идеология. Но, с другой стороны, дети есть дети, и у всех партийных чиновников были дети и внуки, и уж совсем лишить их сказок, хороших рассказов о животных, фантастики и приключенческой литературы они не решались. Более того, многие даже считали для себя делом благородным и где-то пре-

стижным выступить в Детгизе в качестве автора. Такое сотрудничество впоследствии носило характер покровительства и заступничества с их стороны. Иногда даже приобретало курьезную окраску.

Где-то году в 1978–1979-м сначала в альманахе «Мир приключений», а затем и отдельной книгой вышла повесть некоего Шаха под названием «О, марсиане!». Это была неплохо сделанная маленькая фантастическая повесть, с явными признаками политического памфлета, где между строк неосознанно прочитывалась скрытая ирония по поводу «государственного устройства» нашей страны. Советскому читателю, привыкшему искать смысл именно между строк, она явно пришлась по душе, а вот куратору из КГБ, который был приписан ко всем издательствам, не очень. Очень строго, командным голосом, не терпящим возражений, по

телефону заведующей редакцией Майе Самойловне Брусиловской было предложено срочно подготовить справку об авторе. Майя Самойловна на этот раз совершенно спокойно, не нервничая, злорадно потирая ладони, подробно указала все биографические данные «писателя» Шахназарова, выступавшего в Детгизе под псевдонимом Шах. В графе «Место работы» она с большим удовлетворением записала «Заместитель заведующего международным отделом ЦК КПСС» и отправила с курьером конверт со справкой в КГБ. Повторный звонок раздался незамедлительно, и тот же голос, но уже дружески и доверительно, делился с ней впечатлением о прочитанной рукописи: «Подумать только, такой занятой человек, а еще и пишет. Да как талантливо! Такая тонкая ирония, направленная на Запад. Я прямо зачитывался. Дай, думаю, поинтересуюсь, что за новое имя появилось? Планируете еще что-нибудь из его вещей издавать?»

В разные годы в Детгизе издавалась целая плеяда очень талантливых художников. Вот те, кого наспех вспомнила (в алфавитном порядке):

Алимов, Беньяминсон, Бисти, Васильев, Ганнушкин, Годин, Дехтерёв, Диодоров, Дмитриук, Дугин, Ермолаев, Ильинский, Иткин, Кабаков, Калиновский, Кокорин, Конашевич, Кошкин, Кусков, Кыштымов, Маврина, Милашевский, Митурич, Монин, Никольский, Панов, Пивоваров, Попов, Спирин, Сутеев, Токмаков, Траугот, Устинов, Цейтлин...

Имена многих из них сейчас забыты или просто недооценены. Очень жаль... Случались и весьма забавные ситуации, особенно глядя с позиции сегодняшнего дня. Как всегда, когда требовалось откликнуться на генеральную линию политики партии и правительства, следовал очередной социальный заказ. Так было и тогда, когда разрабатывалась Про-

вольственная программа. Детгиз, конечно, сразу откликнулся – было решено срочно слепить книжку «о жратве», как мы тогда шутили, для малышей. Естественно, такой книге давалась «зеленая улица», по полиграфическим данным это издание должно было быть подарочным, цветным, большого формата и т. д. Юрий Крутогоров быстро на заказ слепил текст. Я, начинающий редактор, вела эту книгу, внутренне стыдясь такого конъюнктурного издания и не очень понимая, что с ним дальше делать. Но художественный редактор Анна Борисовна Сапрыгина, к которой я тогда обратилась, была значительно опытнее меня. Она быстро смекнула и отдала книгу на оформление Илье Кабакову, которому в 1980-е годы жилось в нашей стране совсем несладко. По разработанному макету книга была разрисована полностью, там не оставалось ни одного пустого места. Так что гонорар за проделанную работу был достаточно высоким. Конечно, сегодня самому дорогому и известному из русских художников на Западе, чья картина «Жук», написанная в том же 1982 году, была позже продана почти за шесть миллионов долларов, тот гонорар уже кажется смехотворным, но в те годы, я полагаю, эти деньги были для него не лишними.

После производственного отдела я год с лишним работала в архиве художественной редакции.

Отношения у художественных редакторов с художниками были очень своеобразные. У каждого был свой определенный круг иллюстраторов, выходить за рамки которого было не принято. Если даже и требовалось для оформления какой-либо определенной рукописи пригласить именно имярек, то следовало предварительно переговорить с его «владельцем». Нарушившие это правило предавались непониманию и остракизму. Возмущенные редакторы

делились впечатлениями о наглости своего коллеги. Это звучало примерно так. «Я заказала недавно Оресту Верейскому срочную рукопись из исторической редакции. Он человек занятой, я решила поторопить его, ведь книга стоит в апрельском графике. Звоню ему и вдруг выясняю, что он недавно получил заказ, и тоже срочный, от N. Ну, какова нахалка?! А?! Я работаю с ним уже который год, а она так и норовит его перехватить!»

Часто между «худредами» и художниками случались и более тесные отношения. Объективности ради могу сказать, что зачастую это иногда шло скорее на пользу, чем во вред. Помню Татьяну Михайловну Токареву, которая много лет вытаскивала талантливого анималиста Илью Година, совершенно незаслуженно забытого сегодня, из страшных запоев. Она, что называется, «пасла» его каждый день. Рано утром, когда моя визави Антонина Васильевна еще не появилась на работе – она имела обыкновение опаздывать, – Токарева заглядывала ко мне в комнату и своим сладким до приторности голосом спрашивала:

– Я позвоню от тебя, ладно?

– Конечно, Татьяна Михайловна.

Я брала сигарету и деликатно удалялась, понимая с горечью, что все равно за такое короткое время она не сможет уложиться и остаток разговора все равно будет происходить в моем присутствии, а начало я и так уже знала наизусть.

– Але-але! Это кто? Это Пушистик говорит? Он уже встал? Он уже проснулся? А что он делает? А почему он такой хмурый? Он что, уже забыл своего дружочка?

Мне было ужасно неудобно, что я вынуждена все это слушать, а деваться мне было некуда, и я мысленно ругала задерживающуюся Антонину Васильевну.

Татьяна стеснялась звонить из своей комнаты. Но я не раз слышала, как она разгова-

ривала со своим Пушистиком совершенно в другом тоне:

– Нет, ты сядешь и будешь работать. Ты обязан сдать рисунки в следующую среду. Я уже записала тебя на прием к главному художнику. И никуда ты не пойдешь, ни с каким другом. Как бы долго ты с ним ни виделся.

И голос ее срывался на фальцет. Она билась за него как могла, держала его в ежовых рукавицах, лавируя между своенравной деспотичной матерью, которая требовала, чтобы ее пятидесятилетняя дочь «ночевала дома, а не шлялась по каким-то алкоголикам», и талантливым спивающимся художником. И конечно же, почти весь Детгиз был в курсе этих непростых отношений.

Заведующая редакцией художественного оформления Надежда Ивановна Комарова была уникальна. В 1930-х годах она, юная метростроевка, приехала в столицу откуда-то из глухой деревни. После создания в 1933 году издательства она каким-то образом затесалась в его интеллигентскую среду и с тех пор лет сорок служила ей как умела.

Надежда Ивановна попала в редакцию художественного оформления, которую возглавлял Борис Александрович Дехтерёв. На его сусально-сладких иллюстрациях к сказкам выросло не одно поколение советских детей. Было что-то очень прелестное в его книжках, не многие из художников тех времен могли себе позволить рисовать в основном иллюстрации к сказкам.

Борис Александрович был всегда импозантен, носил бархатный пиджак и бабочку. Надька, так звали все Комарову, служила ему верой и правдой долгие годы. Свою миссию она понимала своеобразно, но чаще просто выступала бдительным охранником в предбаннике у главного художника, где она и сидела с двумя младшими редакторами, выве-

ря редакционные графики сдачи книг в производство и координируя прохождение договоров с художниками. Время от времени Борис Александрович давал для утехи ее честолюбия какие-нибудь простенькие переиздания, которые она вела как художественный редактор. Надька вся преображалась, вызывала автора к себе и грубовато, как ей казалось, по-деловому, спрашивала:

– Ну, имеются у вас какие-нибудь конкретные пожелания? Кого хотите себе в художники? Кого будем приглашать?

– Да неплохо было бы Ренуара, Мане на худой случай, – попробовал как-то пошутить один из именитых писателей.

– Давайте мне его координаты. Записываю. Вы его телефон знаете? – Не поняла шутки Надька.

Перед Борисом Александровичем она благоговела. Всем другим хамила без оглядки. Авторитетов для нее почти не существовало. Иногда случались особо торжественные мероприятия. На вернисаж к какому-нибудь особо почитаемому Борисом Александровичем художнику отправлялись всей редакцией. Накануне главный художник торжественно и старомодно предупреждал: «Господа, завтра открытие выставки удивительного художника N. Прошу всех быть комильфо. Начало в одиннадцать часов в Доме художника. Просьба не опаздывать». Дюжина художественных редакторов являлись принаряженными. Для Надьки этот день был всегда тяжелым испытанием. Она появлялась в шелковой просвечивающей синей кофте и любимой зеленой суконной юбке – таким материалом обычно покрывали столы для заседаний в советское время – и вешала на себя все, что только могла повесить, удивительным образом умудряясь не позабыть ничего из имевшейся дома самой разнообразной бижутерии. Оживленная, в предвкушении праздника, возможно, с пос-

ледующим банкетом, она входила в свой предбанник.

Появлялся Борис Александрович, коротко взглядывал на нее и вежливо просил: «Наденька, пожалуйста, загляните ко мне на минутку!»

Гордо выколачивая хипповыми, как тогда говорили, замшевыми ботинками с длинной бахромой на толстых щиколотках, ноги ее в этот момент напоминали лапы какого-то странного зверя, нарядная Надька в модных баретках, привезенных из прошлогодней поездки в Чехословакию, победоносно шествовала в кабинет. Через три минуты, зажимая что-то в кулаках, с понурым и сильно поблекшим видом, – Борис Александрович попросил снять все сверкающие украшения, чтобы не оскорблять его художественный вкус, – Надька тяжело плюхалась на свое место. В любимое старинное кресло, за которое она билась с заведующей хозяйственным отделом не на жизнь, а на смерть уже не один год. Все заведующие АХО (административно-хозяйственного отдела) постоянно собирались его зачем-то списать, как были списаны уже и некоторая старинная мебель, и антикварные лампы, и вазы, украшавшие в свое время помещения Детгиза. Но с креслом дело застопорилось. Не на ту нарвались. Если Надежда Ивановна что-то для себя облюбовывала, это было серьезно.

Как-то на издательство были выделены ковры. В условиях постоянного дефицита такие вещи иногда практиковались. На профгруппу художественной редакции полагалось два ковра – один очень маленький, другой очень большой. Все участвовали в розыгрыше, тянули жребий. Счастливчиками оказались двое. Надежда Ивановна вытянула большой ковер, а ее заклятый враг Сапрыгина Анна Борисовна – маленький. Горестно вздыхая, Надька приблизилась ко мне, как к нейтральному лицу, и сказала:





– Мне этот здоровый ковер и не нужен совсем. Комнатка-то у меня маленькая. Куда я его дену? У меня и места-то для него нет. Мне так маленький хотелось.

– А вы предложите Сапрыгиной поменяться. Спросите, может, ей большой нужен? – Тут же нашла соломоново решение я.

– Правда? Может, действительно... Только вы сами спросите, ладно? А то если я попрошу, она обязательно упрется – и ни в какую, из вредности.

Я отправилась к Сапрыгиной, вкратце изложив ей суть проблемы. Она тут же сообщила, в чем дело, и поинтересовалась:

– Да я с удовольствием. Мне как раз большой нужен. Но что-то это неспроста? Вы уточните, пожалуйста. И тогда мы опять все соберемся, чтобы потом никаких лишних разговоров не было и уже официально все переиграем.

Я опять отправилась к Надежде Ивановне в качестве посла, и она подтвердила свое намерение. Всех членов профгруппы опять попросили собраться в самой большой из комнат. Несколько минут все молчали. Ни одна из заинтересованных сторон не желала первой предлагать сделку. Тогда я взяла инициативу в свои руки и сказала: «Вы знаете, что Надежда Ивановна выиграла большой ковер, но он ей не нужен, а Анна Борисовна – маленький. Они решили поменяться, к обоюдному удовольствию».

Что смогло произойти за такой короткий срок в голове у Надьки, было непонятно. Или один только вид ее заклятого врага вызвал у нее такие противоречивые чувства, но она вдруг гордо и громко произнесла: «Ну уж нет. Так дело не пойдет. Да, мне большой ковер не нужен. Но я выиграла и ОБЯЗАНА его взять».

Скорее всего, дело было в приступе охватившей ее патологической жадности. В один из таких моментов я долго не могла понять,

что происходит с сидевшей за соседним столом Надькой. Она как-то странно изгибалась, склонялась к правой тумбе, затем вылезая оттуда, прикрывала обеими руками лицо и производила какие-то странные движения челюстью, отдаленно напоминающие жевательные. Процесс длился довольно долго. Потом она, довольная, вытащила поллитровую банку с грязновато-мутной водой, выпила ее залпом и удовлетворенно заметила: «Говорят, что настой из кураги очень полезен».

Оказывается, она накануне на рынке купила курагу. Видимо, купленная подешевле, как обычно грязная курага хорошенько успела засохнуть. И Надька, не надеясь на свои зубы, размачивала ее в банке, которую прятала у себя в ящике стола, чтобы, не приведя господь, не позарился никто на ее добро. Потом ничтоже сумняшеся опустошила и банку с грязной водой.

Хорошо помню, какое сильное впечатление на меня произвело еще одно доказательство ее «безграничной» щедрости. Обычно на чей-нибудь день рождения мы скидывались по пятьдесят копеек и покупали цветы в соседнем цветочном киоске. Ровно на ту же собранную сумму виновник торжества должен был в тот день выставить угощение. Как правило, покупался мерзкий песочный торт с розовым и зеленым кремом. Потоптавшись для приличия «а-ля фуршет», все сотрудники редакции, к общему удовольствию, расходились со своим куском по углам. Художественная редакция всегда была на редкость недружная, и все дни рождения носили, как правило, очень казенный характер. По отдельности вроде бы все были неплохими людьми, но в коллективе уживались плохо.

Было 30 сентября, «Вера, Надежда, Любовь и мать их Софья», и в этот день на Надьку редакция опять скинулась по полтиннику.

Вернувшись с обеденного перерыва, я увидела у себя на столе какой-то кусок черного хлеба, на котором покоилась половинка селедочной молоки.

– Странно, уж если кто-то за моим столом и обедал, мог бы и убрать, – пробурчала я недовольно и смахнула одним движением в мусорную корзину остатки чужого пира.

– Ну что вы... вы не поняли. Это от Надежды Ивановны угощение. Мы ей цветы утром вручили, а она в обед нас селедкой угощала. Старшим редакторам от головы отрезала, редакторам – к хвосту поближе, а уж младшим редакторам молока досталась. Уж вы ее извините... – прокомментировала Антонина Васильевна Пაცина.

Особым наслаждением для Надьки была радость от испорченного ею кому-то настроения. Она продуманно начинала очередную свару в поисках очень важного и срочного договора в пятницу за полчаса до окончания рабочей недели, предварительно спрятав эту злополучную бумажку у себя в ящике стола, обвиняя намеченную заранее жертву во всех смертных грехах и доводя ее до слез. Еще краше разыгрывались истории накануне отпуска какого-нибудь сотрудника.

О покойниках не говорят плохо. Да простит мне чудаковатая и очень одинокая Надежда Ивановна Комарова мои не очень лестные воспоминания о ней, ведь и ее я тоже люблю, как люблю каждую частичку моего Детгиза.

-Какой же все-таки невоспитанный младший редактор у вас, Маргарита Ивановна! – С этими словами хорошенькая корректорша М. вошла в художественную редакцию и, увидев заведующую редакцией литературы для нерусских школ Маргариту Сальникову, поспешила сразу ей

доложить. – Увидела ее в конце коридора, головой киваю, киваю. Никакого ответа. Не здоровается, и все. Нос кверху, и никого не замечает. Уже сколько раз так было.

– Голубушка, у Наташки очень сильная близорукость. Она совсем молоденькая и стесняется очки носить. Да она просто не видела вас. Что касается ее воспитания, то тут я ручаюсь.

– Уж очень вы лояльны, Маргарита Ивановна. Мне, между прочим, эту историю с библиотекой недавно рассказали. Честно говоря, я не понимаю, почему ее замяли. Да вашу протезе надо было просто из комсомола выгнать.

Я увидела, как Маргарита пошла вся пятнами и вдруг нервно сказала:

– Должна вам заметить, что кивать можно только головой, ни коленкой, ни каким другим местом вы этого при всем желании сделать не сможете. И вы, как корректор, обязаны это знать!

Я взглянула на Маргариту и увидела, что пятна на лице и шее уже побагровели. Она развернулась и быстро вышла из комнаты.

– Какая нервная! Слова не скажи! Кстати, вы заметили, что на партийных собраниях она все время в обморок падает? И пусть мне не рассказывают некоторые сочувствующие, что у нее тяжело проходит климакс, что она часто теряет сознание. У нас почти все женщины в таком возрасте. И ничего. А почему-то с Маргаритой Ивановной вечно это происходит. И заметьте – на партийных собраниях. С чего бы это? Насколько мне известно, она на вернисажах у своего мужа в обмороки не падает.

– А что это за библиотечная история? – поинтересовалась Надежда Ивановна.

– Месяца два уж тому назад было. Ну, вы знаете, эта Наташа Розен, пока ее Маргарита Ивановна к себе не взяла, работала в библиотеке, у Клеопатры Николаевны. Так

вот, в библиотеку пришли очередные списки на изъятие некоторой литературы. Нужно было составить акт на списание и во дворе в баках сжечь книги там всякие, журналы... ну, так всегда делается.

— А что за книги-то? — простодушно спросила Комарова.

— Да предателей родины, тех, кто за бугор уехал. Что же нам наших детей по их книгам учить? Так вот Зина, вторая библиотечка, все увязала аккуратно стопочками и собралась идти во двор. А эта, видите ли, Розен и не чешется. Тогда Зинаида Клеопатре Николаевне говорит, что связки тяжелые, их много, она одна не справится, пусть, дескать, та скажет, чтобы ей Розен помогла. Клеопатра, не зря ее все-таки Клепой зовут, начала что-то мямлить. Она, хоть и о-о-чень образованный человек, не спорю... Просто ходячая энциклопедия. По любому вопросу... Сколько же она книг всяких перечитала.... — М. выразительно закатила хорошенькие глазки. — Но в некоторых вопросах... Клепа и есть Клепа... Давайте, говорит, Зинопка, если уж вам так тяжело, то лучше я вам помогу отнести. Зина, понятное дело, обиделась. Почему она должна все сама тащить, в грязных баках ковыряться, а эта «белая кость», Розен, по просьбе редакции выверкой фактического материала в рукописи, сидючи за столом, будет заниматься. Срочная работа у нее, видите ли. Да она еще даже университет не окончила. И вообще, что она там знать может? Проверяльщица нашлась. А Клепе все неудобно, видите ли! — Все больше расходилась М. — Тогда Зина напрямую пошла к Камиру. Он все-таки заместитель главного редактора, и библиотеку курирует, и секретарь партийной организации. К кому же она еще могла пойти, как не к нему? Так представляете, Надежда Ивановна, он вызывает сразу же эту Розен к себе и прямо в

присутствии Зины начинает у нее выяснять, что за срочная работа такая, что она на полчаса оторваться не может?

— И знаете, что она ему отвечает? Зина говорит, что так нагло в глаза посмотрела и сказала, что этого она делать никогда не будет.

— Это почему же, позвольте поинтересоваться?

— Я, Борис Исаакович, в инквизиции никогда не состояла и книг никогда сжигать не буду.

— Бедный Камир. Идите, говорит, мы потом с вами разберемся. А вам, Зина, мы сейчас настоящую помощь организуем. Комитет комсомола подключим. Нет, ну какова? Мне только интересно, почему он дальше этому делу ход не дал? Да еще недавно ее в редакцию перевели. Люди по сколько лет ждут, уже с законченным высшим...

— Ну, вот что. Я пока не забыла, у меня вопросов много по мартовскому графику. Мы тут многое готовы сдать в производство. За вами дело. Давайте сверимся, а? — Надежда Ивановна, хоть и не числилась в «талейранах» никогда, но почему-то поспешила сместить тему.

Мы переглянулись с сидящей напротив Леной Л-кой.

Лена закончила театральное училище имени 1905 года, была художником по костюмам, что всегда чувствовалось по тому, как она одевалась. Лена удивительным образом умудрялась всегда, даже в страшные годы дефицита, хорошо выглядеть и была, что называется, женщина со вкусом. При этом она самым фактом своего существования опровергала и расхожую формулу, которую вывели советские мужчины: «Одеть женщину — это все равно что заглянуть в бесконечность», и гениальный женский вопрос в условиях дефицита тех лет: «Неужели я умру, и никто никогда не узнает, какой у меня был вкус?» Вещей у нее было немного,



Б.И. Камир (второй слева), заместитель главного редактора, долгие годы был секретарем парторганизации Детгиза, в окружении писателей, 1946

и все ею же придумано и сшито собственными руками.

– Главное в женщине – это тайна. Почему наши бабки сарафаны да разные широкие вещи носили? А ты, поди, разбери, что там под ними. А когда разбирались, то поздно – под венцом уже побывали, – делилась она своими знаниями. – Вот кто-то переживает, что толстый. Но кто-то хорошо сказал, что есть женщины полные, а есть – пустые. А знаешь, я, например, просто вешалка для одежды. На меня что ни повесь, все хорошо смотрится. А когда голая, то просто не знаю, куда спрятаться. Можешь себе этот ужас представить, когда у беременной женщины между двумя здоровенными костями живот торчит? Ну, очень неорганично смотрится. Причем непонятно, что более неорганично – живот или кости? – рассуждала Лена во время своей беременности.

Она была права. Ленка просто немного опережала свое время. Тогда в середине семидесятых особи женского пола ростом под метр восемьдесят были просто еще редкостью и не очень котиrowались.

Как-то Ленка в совершеннейшем упоении делилась со мной своими наблюдениями. Она накануне полдня пробродила по пятам за какой-то молоденькой француженкой в Третьяковке.

– Ты себе не представляешь. Идет рядом с та-аким кадром. Мужик – закачаешься. У нее та-акая мини-юбка, что нашим и не снилось. Ноги как два колеса. Я смотрю и думаю, да как же она могла на такое осмелиться, совсем сдурела, что ли? Стала наблюдать, пошла за ними. С ума сойти можно было. Она своими ногами такие кренделя выписывала, она ими так крутила. Ну, прямо «сексуал номер пять». Но все так естественно смотрелось,

а мужик прямо млел. Вот как надо. А мы все зажатые, всего стесняемся, стыдимся.

У Лены было прелестное лицо, иногда вспыхивающее и покрывающееся румянцем только при упоминании ее имени, только при обращении к ней, – есть такой тип женщин; чудные большие зеленые глаза, врожденная пластика, движения ее длинных рук были необыкновенно красивы и изящны. Все позы, которые она принимала, были, как говорила Елена Александровна Благинина, «позы-грациозы»...

Юная художница Л-кая в то время находилась в поиске. Поняв, что в издательствах хороший анималист ценится на вес золота, она решила брать уроки у Григория Никольского. Никольский – потрясающий художник, бродяга, полжизни провел в лесах, на природе, рисовал, как он их сам называл, «зверушек». Каждое появление в стенах Детгиза этого весельчака и говоруна было праздником. Он громко, раскатисто, немного, кажется, картавя (или был какой-то другой дефект речи?) сыпал шутками и прибаутками, рассказывал захватывающие истории. Любил немного приврать, и всегда сам по-детски, когда это происходило, начинал громогласно хохотать. Он все время дурачился, и его хохот на третьем этаже было слышно всюду. Он словно наслаждался в издательстве этой «самой большой роскошью – роскошью человеческого общения», по словам Ахматовой, после долгих дней отшельничества в лесах. Ему верили, что он знает и понимает звериный язык. Любую из его работ можно считать шедевром в этом жанре, тем более что практически все было им написано в полном смысле слова с натуры. Он делал вид, что равнодушен к женскому полу, хотя на самом деле его интересовали только его «зверушки». Появляясь, он рассыпался в комплиментах молоденьким девочкам, заигрывая с ними. Все понимали, что

это игра, что этот настоящий русский интеллигент зашел сюда ненадолго, чтобы просто повеселиться перед предстоящим долгим затворничеством, которое составляло смысл его жизни. Он не вел длинных «интеллигентских» разговоров, сводившихся в те годы к тому, что «надо эмигрировать в себя». Он просто это сделал. В один из таких приходов Лена попросила взять ее в ученицы. Она и предположить не могла, какой самоотдачи потребует от нее этот мастер даже в свое отсутствие в Москве. Часами потом она просиживала в зоопарке под палящим солнцем, пытаясь воспроизвести какую-нибудь сонную ламу или рысь.

«Что ты намалевала? Кто это? – орал в бешенстве Никольский. – Это бревно, а не рысь. Почему задние лапы такие пластилиновые? Где звериная пластика? Где ее поступь? Где кожаный нос? Куда девала этот хищный вертикальный зрачок? Это же ЗВЕРЬ! Все изуродовала! Совсем не чувствуешь зверя! Работай больше. Иди в Зоологический музей, изучай и рисуй скелеты, раз тебе мертвечина больше удается».

Визитом в Зоологический музей карьера анималиста и закончилась. В какой-то из творческих дней, которые полагались в издательстве литературным и художественным редакторам и которыми иногда баловали младших редакторов, с утра пораньше Ленка явилась в Зоомузей, заняла поудобнее позицию, расположилась со своими угольками и заработалась... Опомнилась она только тогда, когда поняла, что темнеет, а свет почему-то никто не зажигает. Выяснилось, что музей закрыли, как закрыли и ее саму в этом зале с чудовищными скелетами и какими-то уродцами в стеклянных колбах, плавающими в формалине, что нигде нет ни одной живой души, ни телефона. Этаж был первый, но расположенные высоко окна заколочены, а снаружи установлены решетки.

Она похолодела от ужаса и попыталась привлечь каким-то образом прохожих на улице. Но странная Ленкина длинная тень в полутемном зале, как всегда изящно размахивающая руками, на фоне огромного скелета какого-то доисторического не то бронтозавра, не то ихтиозавра, наводила на прохожих такой же доисторический ужас. Она увидела, как какой-то мужик, заведя ее в окне, мгновенно припустил на другую сторону мостовой, а толстая тетка, перехватив кошелку в левую руку, начала мелко и быстро креститься. Подробности этой проведенной со скелетами ночи выражались в Ленкиных воспоминаниях только причитаниями и бормотаниями: «Господи, какой кошмар! Господи, какой кошмар! Как я это пережила?» Утром ее благополучно выпустили и даже не особенно удивились, обнаружив в зале. Но с тех пор всякого рода экологическая тематика ее не особенно привлекала.

Жили в Детгизе одной большой семьей. Если появлялся хороший парикмахер, то он становился своего рода «ведомственным» парикмахером. Сразу за вопросом «Кто это вас так хорошо постриг, Галочка?» следовала просьба дать телефон этого мастера. Через пару месяцев все уже стриглись только у него. Таким издательским парикмахером многие годы был необыкновенный Володя Остапенко. Закончив в ГИТИСе отделение музкомедии, он, обладатель шикарного голоса, пошастал по гастролям, понял, что без блата ему не пробиться, а значит, остаются только гастроли в провинции, несколько лет еще подергался, ночуя в деревенских клоповниках-клубах, а затем, гордо заявив, что лучше уж он будет девочек красивыми делать, окончил курсы парикмахеров. Нам его сосватала какая-то знакомая Наташи Розен. Эта взрослая дама чуть позже эмигрировала в Америку. Рассказывали, что

с Володей ее связывали очень близкие отношения и что она якобы даже звала его с собой в Штаты. Он, как она уверяла, до того был хорошим любовником, что жаль было его оставлять на радость советской власти. Володя за ней не последовал. Не знаю, как он там по любовной части, но руки у него были действительно потрясающие. Талант – от природы. Когда еще у него водилось не очень много клиентов и он только начинал работать, то ездил по домам. Наташа Розен позвала меня и свою подругу Аллу Фрумкин к себе. Пришел Володя. Огромный, метра два ростом, оглядел нас с ног до головы и спросил: «Ну, что будем делать?»

Мы пожали плечами. «Может, для начала чаю выпьем?» – спросила вежливо Наташа.

Володя моментально сориентировался, выскочил из квартиры и вернулся минут через пятнадцать с полным джентльменским набором – колбаса, сыр, какие-то рыбные консервы, наверняка это была килька в томате, бутылка сухого вина, хлеб и какие-то карамельки. Мы шумно обрадовались его добыче. Тогда это казалось просто роскошью – сбегать в магазин и за такое короткое время купить хоть что-то. Наташа взгромодила гору невымытых чашек на огромный, и без посуды тяжеленный, серебряный поднос, Володя мгновенно подхватил его и потащил на кухню ее большой коммунальной квартиры. Там я принялась за мытье чашек совершенно ледяной водой, зная, что Наташка делает все очень медленно. Мы уселись пить чай, Володя веселил нас анекдотами, он распускал перья, как петух в курятнике, а мы хохотали и кокетничали. Потом начался «процесс». Он зажал Наташку между коленей, внимательно посмотрел на нее, поднял ей сзади волосы вверх и восхищенно, без тени улыбки сказал: «Обалде-е-е-ть!» Потом несколько раз повернул ее, внимательно разглядывая и профиль и анфас,

и вынес приговор: «Значит, так. Затылок я весь снимаю. Грех не показать всем эту шикарную линию, это раз. Подчеркнем и обратим таким образом всеобщее внимание на твой обалденно сексуальный нос, это два. И третье – народ должен видеть Жанну Самари живьем».

Алка от образованности парикмахера поперхнулась чаем. Я судорожно стала копаться в мозгах в поисках этой самой Жанны, когда Алла проговорила: «Слушай, а ведь правда Наташка очень на ренуаровскую Самари похожа».

Тут и я вспомнила один из ренуаровских портретов Жанны Самари, актрисы «Комеди Франсез», где она изображена подперевшей ладошкой чуть приподнятый подбородок. Сейчас копии этого портрета очень распространены повсюду. Я как-то видела ее изображение даже на обертке шоколадной плитки. Серия этих кондитерских изделий называлась так же приторно, кажется, «Женские портреты».

Володя уже не откликался. Сначала было слышно его сопение над Наташкиной головой, по мере приближения к концу он стал что-то тихо напевать, а закончив, разразился арией Брамса, где громко и зловеще похохатывал. Это выражало, как потом мы узнали, высшую степень удовлетворенности своей работой. Он сушил ее волосы, кружась и приплясывая вокруг нее, очень довольный и совершенно бесстыже нахваливал себя. Мы с Аллой замерли от сотворенного им чуда.

«Следующий!» – озорно прокричал он. Я рванулась вперед. Он также зажал меня между коленей, пощупал волосы, накрутил их на руку, перекинул то в одну, то в другую сторону и пробормотал: «Куражу тут в ентуй бабе, конечно, поменьше будет. Но грех не пользоваться. Такие послушные волосы. На них учиться и экспериментировать хорошо.

Любой дурак справится. Ну, чего изволите? Что изобразить? Кем желаете сначала побыть – певичкой из “Доули Фэмили” (была в то время такая популярная группа) или Мирей Матье?» Я заметалась в сомнениях. «Ну, хорошо, давай сначала француженкой погуляешь, а потом англичанкой заделаешься».

Мне показалось, что он работал вечность. После чего я ринулась к старому потемневшему зеркалу и поразились своей неземной красоте.

Аллу он даже не стал зажимать между коленей. Только констатировал факт:

«И не надейся. Ищи проходимцев. Я такие косы не срезаю и химию не делаю».

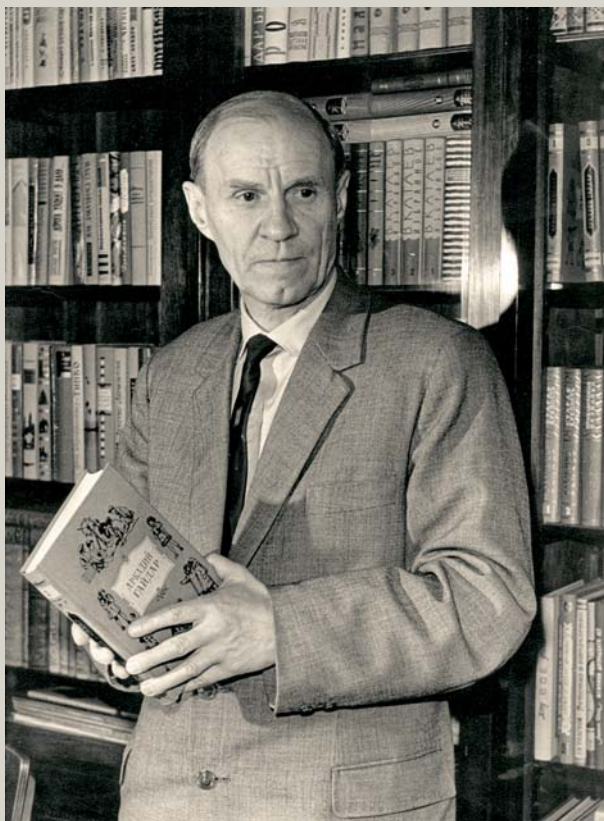
У Володи Остапенко позже стригся почти весь Деттиз. Мы любили втроем-вчетвером ходить к нему, потому что наблюдать за Володиными уверенными руками, за его работой, сопровождаемой потрясающим пением, было здорово. После его стрижек с массажами деттизовские головы светлели и хорошели. Когда на заре перестройки он вдруг куда-то пропал – не то уехал, не то собственное дело открыл, – я искала его долгие годы, но так и не нашла. Я перепробовала десятки разных мастеров, но так и не остановилась ни на ком. Правильно гласит народная мудрость, можно изменить мужу, но парикмахеру – никогда.

Молодежи в Деттизе в 1970–80-е годы было очень мало. Предыдущая смена пришла в Деттиз где-то в 1950-е годы. Тогда издательство некоторые остряки именовали «цветником» – столько молодых и образованных красоток одновременно начинало там свои карьеры. Они трудились над рукописями, вели творческие беседы и, конечно, крутили романы с писателями и художниками, потому что были хороши собой, веселы и светски. Деттизовские коридоры долго хранили память о бесчисленных

признаниях в любви, легком флирте или просто душевных разговорах. Прежде они были устланы коврами, по всему периметру на третьем и четвертом этажах стояли журнальные столики с двумя креслами, на столиках красовались лампы с зелеными абажурами, повсюду напольные огромные китайские вазы. Рассказывали, как директор издательства Пискунов Константин Федотович застиг под абажуром Галочку Малькову, целующуюся с художником Ермолаевым, а потом по-отцовски бранил молодого редактора у себя в кабинете. Потом все повыходили замуж, в основном в мужья взяли себе творческую интеллигенцию, успокоились, постепенно превратились в завзятых ханжей и с подозрением поглядывали на молодое поколение – не кокетничают ли, не строят ли глазки, не флиртуют ли с авторами...

Детгизовские коридоры были особенными. Долго, пока кому-то из вновь пришед-

ших чиновников от литературы не пришло в голову задуматься о хромающей в их понимании дисциплине, по всей длине этих длинных П-образных коридоров на двух этажах издательства были расставлены журнальные столики и кресла. Иногда в коридорах словно гудел растревоженный улей. Редакторы выползали туда работать с авторами и художниками, снимали вопросы с корректорами, гоняли строчки в рабочих макетах с техническими редакторами, кто-то рядом присаживался покурить, кому-то хотелось просто поболтать и посплетничать. Старожилы вспоминали, что раньше коридоры украшали какие-то огромные антикварные вазы и настольные лампы. С годами становилось все беднее, вся эта антикварная роскошь куда-то подевалась, за коридорные столики и кресла какое-то время пытались бороться, но безуспешно. Вечное противоречие между творческим составом редакторов и другими отделами – плановым, производственным, бухгалтерией и другими – сделало свое дело. Сотрудникам этих отделов казалось, что редакторы слишком хорошо живут, что они не работают (в их понимании), а только болтают с авторами, что у них слишком хорошая жизнь – они имеют даже по два творческих дня в неделю. Руководство издательства время от времени шло на уступку и, пытаясь погасить ропот взбунтовавшихся отделов, отнимало творческие дни у редакторов. Потом здравый смысл вновь побеждал, потому что все понимали, что работать над рукописью в комнате, где еще сидят пять человек, практически невозможно. Тогда такие дни для работы вне издательства разрешали брать всем – и техническим редакторам, и корректорам. На время все конфликты затихали, а потом опять возобновлялись с новой силой. Помню, как в нашей редакции, после очередного редсовета, собралось немыслимое количество авторов.



К.Ф. Пискунов прошел путь от курьера до директора издательства



С.Н. Боярская, заведующая редакцией литературы для среднего и старшего возраста с писателями -
В.К. Железниковым, М.С. Бремером, М.П. Коршуновым. 1964



Сотрудники Дома детской книги готовят очередную выставку.
Необдуманным решением перестроенного периода было уничтожение этого уникального культурного центра

За круглым столом, естественно, никто не мог разместиться, все пили чай за рабочими столами, сидя на столах, стоя у окна... Галдеж стоял невообразимый. Не помню о чем, но все горячо спорили. Авторы пикировались, задевали друг друга, упражнялись в остроумии, кто-то кого-то хвалил, кто-то ругал. Но за это время родилось с десяток очень интересных тем для одной из серий научно-художественной литературы. Писатели, как и люди других творческих профессий, не могут существовать, не имея реакции на свою работу. Они как дети, им обязательно требуется похвала, поощрение, интеллектуальная подпитка, только тогда они движутся в своем творчестве вперед. Мне кажется, что в последние годы очень многие лишены такой обратной связи. Модные тусовки, где мелькают одни и те же популярные лица, думаю, никому не заменяют общения с собратьями по цеху. Даже книжные ярмарки превратились в ярмарки тщеславия для издателей и реализаторов книжной продукции. Может быть, сейчас какие-то библиотеки и продолжают вести работу с читателями, но осмелюсь предположить, что в отношении профессионализма они очень уступают работникам Дома детской книги, верного соратника Детгиза в течение многих лет.

О детгизовских коридорах вспоминаю не я одна. Недавно наткнулась на один абзац в воспоминаниях Ирины Токмаковой:

«И вот я, начинающий детский поэт, иду по коридору “Детгиза”, а мимо меня проходят Ираклий Андроников, знаменитый художник Дементий Шмаринов. Детгизовский коридор казался океаном, по которому мимо меня медленно проплывают киты, а я – маленькая рыбешка, которую никто не замечает. Вдруг из-за коридорного поворота выходит Лев Кассиль. Он посмотрел на меня, приветливо улыбнулся и, поняв, что ли, как

мне нелегко в этом океане, сказал: “Здравствуйте!”»

Еще почему-то врезалось в память смешное двустипшие – то ли Агнии Барто, то ли Аминадава Каневского, сейчас уже не могу вспомнить:

Барто в Детгизе увидав,

«Привет», – сказал Аминадав.

Аминадав Моисеевич Каневский иллюстрировал «Приключения Буратино», образ которого так вжился в сердца всех читателей, что никакой другой уже многие годы читателями просто не воспринимается. Это им в 1937 году разработан образ Мурзилки, и этот семидесятилетний герой жив до сих пор.

В марте или апреле 1975 года пришла очередная разнарядка из райкома партии, согласно которой наше издательство должно было отработать столько-то «трудодней» на овощной базе. Естественно, в основном это ложилось на плечи молодежи.

Тогда ранней весной мы – пять или шесть детгизовских девчонок – договорились встретиться в метро на станции «Преображенская», чтобы вместе добираться на автобусе до овощной базы. Все, кроме Наташи Розен, нацепили на себя защитного цвета телогрейки. Погода стояла холодная, лужицы подергивались колючими льдинками, работа предстояла грязная – перебирать картошку, лук или капусту в вонючих цехах, где вечно гниющие овощи чавкали под ногами. По этому случаю на ногах у всех, опять же кроме Наташи, были резиновые сапоги.

– Ты чего так вырядилась? – поинтересовалась Аня Новина. – Там же грязно.

– А я бабушкины старые туфли нашла. Я не могу в резиновых сапогах.

– И в телогрейке не можешь?

– Не могу, – ответила Наташа.

Все почему-то замолчали. Наверно, потому что могли.

Весь день мы перебирали гнилую капусту и трескали не умолкая. В какой-то момент Наташа остановилась, посмотрела на меня и сказала:

– Странно. Я вообще-то не очень откровенна и не так легко схожусь с людьми. Сама себе удивляюсь. А поехали после базы ко мне. Я на Неглинке живу. Совсем в центре. Родители купили кооператив в Теплом Стане. А я с бабкой в коммуналке осталась. Мне нравится на Неглинке. Бабки сейчас нет, она большей частью у своего друга живет, но она мне никогда не мешает, даже когда дома бывает. Чаю попьем, поболтаем.

И мы, как те две тетки, которые двадцать пять лет просидели в тюрьме в одной камере, а потом, когда их выпустили, еще три часа не могли на углу наговориться, поехали к Наташке на Неглинку. Я помню эту особенность ее дома на самом углу Петровских линий и Неглинки. Подъезд с огромной лестницей и еще сохранившимися старинными резными, очень красивыми перилами, широкими подоконниками и грязными, исписанными и исцарапанными, как и везде тогда в России, стенами.

«Это парадный вход, – объяснила Наташа, – есть еще и черный ход, во двор ведет». На двойной двери, обрамленной со всех сторон немислимим количеством звонков и почтовых ящиков с фамилиями адресатов, висели бесконечные таблички типа: «Ивановым – 3 звонка». Наташа долго копалась в двери, ключ заедал и не проворачивался, и она, набрав в легкие воздух, решительно нажала одну из кнопок. Дверь распахнуло крошечное существо с коротко стриженными волосами, замотанное, кажется, в три халата сразу. Возраст и пол этого существа определить было довольно сложно, не то подросток-мальчишка, не то

женщина. Самой выдающейся частью существа был нос, в голосе тоже слышался мальчишеский перелом переходного возраста:

– Наташа!!!! Я не могу больше! Я работаю! Понимаешь, ра-бо-та-ю! Мне перевод надо в среду сдавать. Оповещай своих друзей заранее, когда тебя нет дома. Я не могу бесконечно подходить к телефону. И только я решила не брать больше трубку, только у меня, наконец, пошло, как ты в дверь звонишь!!!!!!

– Сонечка, солнышко, все знаю. Молчи-молчи. Не отвлекайся. Замок, проклятый, опять заедает. Я уже минут десять ковыряюсь, не хотела тебе мешать. Солнышко, Сонечка, не убивай.

– Кто-нибудь его починит когда-нибудь или нет?! У тебя тут толпы молодых людей ошииваются. Мой братец делает вид, что ко мне зачастил. Я запретила Персику (Виктор Персик, известный чтец в те годы. – *Прим. авт.*) сюда ходить, у него жена, ребенок, а он все в твою сторону поглядывает. Ах, ну что я несу, они же все безрукие гуманитарии.

– Сонечка, солнышко, познакомься, это Лариса. Мы с ней вместе работаем.

– В издательстве? – удивилась Соня, внимательно посмотрев на мою телогрейку.

– Мы сегодня на овощной базе работали.

– Ах, ну да, стирали грани между умственным и физическим... Ты, кстати, слышала, как какой-то доктор наук, работая на базе, в каждый пакет вместо этикетки «Плодово-овощная база № 5. Фасовщик № 8» вкладывал свою визитную карточку: «Доктор, профессор» et cetera. Говорят, что он чуть ли партийного билета не лишился.

– Напугали, – вдруг зло сказала Наташа. – Я бы и эту красную книжицу, если уж угораздило его так вляпаться, непременно в мешок с картошкой засунула.

– Ч-ч-шш... – зашипела Соня, с опаской взглянув на меня, а потом оглянувшись на какую-то дверь. – Что ты несешь!

– Соня, сейчас не тридцать седьмой...

– Но уже и не шестидесятый. Беги, опять телефон надрывается. Да загляни потом к Матроне, мне некогда, посмотри хоть – жива или нет, а то я ее сегодня еще не видела.

Наташа припустила куда-то вглубь длинного коридора, потом свернула налево и исчезла.

– Да вы проходите, пожалуйста, – пригласила меня Соня.

– А куда?

– Идите по коридору, потом направо, потом в такой аппендикс, там четыре комнаты будут, а Наташина последняя в торце.

Я побрела по скрипучему, темному от старости паркету, остановившись в нерешительности перед неосвещенным аппендиксом, и прижалась к стене. Голова внезапно закружилась то ли от усталости, то ли от голода, то ли от количества выкуренных за день сигарет. И вдруг произошло что-то очень странное. Мне показалось, что я уже здесь бывала в какой-то своей прежней жизни, что я помню запах этой квартиры, что я помню этот поворот, что даже могу узнать комнату за этой дверью и ее обстановку... И там, в этой комнате, наверняка есть какие-то колокольчики, и звон у них точно такой, как тот, что стоит у меня сейчас в ушах. «Что это?» – успела спросить я себя.

– Как ты меня напугала! Извини ради Бога. Проходи скорее. Сейчас народ повалит. Надо скорее чашки перемыть.

Я, пошатываясь, переступила порог комнаты и скинула телогрейку.

– Не обращай внимания на беспорядок. Я мигом, только посуду помою. Займись пока чем-нибудь, ладно?

Я присела на кушетку и огляделась. Высокие удлиненные два окна почти не освещали квадратную комнату. Вероятно, так казалось из-за очень темной старинной мебели. На конторке, за которой, может, когда-то

Пушкин работал, лежали книги и стояли три потемневших от времени колокольчика – один побольше и два одинаковых поменьше. Я подошла ближе, взяла обернутую в газету книгу, посмотрела титульный лист: «Доктор Живаго». В этот момент вошла Наташа, вспыхнула и коротко бросила, наводя порядок на столе:

– Только не трепись, ладно?

– Не буду. Ну, и как тебе?

– Да как тебе сказать... Поэт – он блестящий. А в прозе скучноват.

– А можешь мне потом дать почитать?

– Посмотрим. Мне пока ненадолго дали, может, еще потом дадут. Я могу тебе пока его «Детство Люверс» дать. Хочешь?

Я кивнула. Взяла в руки колокольчик и тихонько позвонила.

– Откуда это?

– А еще от пра- или прапрабабки. Барыня так прислугу вызывала – звонила. Мне они тоже очень нравятся.

– И мне.

– Слушай, возьми один. Тут же два совершенно одинаковых.

– Да нет, зачем? Для тебя это память...

– Вот и для тебя была бы память, – улыбнулась она так, как будто уже знала, что через двадцать с лишним лет, уехав в Германию, я ни о чем не буду так жалеть, как об оставленном этом колокольчике и кофточке, которую переделала мне мама из старинного шитья ручной работы. Когда-то этот кусок батиста необыкновенной красоты служил подзорами на чьей-то господской кровати. Потом, когда мама сразу после войны выходила замуж за папу, бабушка, не имея возможности не только справиться дочери какое-то приданое, но и даже купить приличную комбинацию, сшила ей из него для первой брачной ночи сорочку на тонких бретельках. Мама весила тогда сорок два килограмма. Много лет сорочка пролежала

в каком-то из чемоданов, которые мы с ней иногда любили перебирать, – там хранились старые любимые ее платишки, три отреза, их подарил папа на 8 Марта, кружевные пеленки моего брата и мои, в которые мы были завернуты, когда нас забирали из роддома, вышитые крестиком несколько наволочек для подушечек-думочек. Однажды мама вытащила эту маленькую рубашечку из светящейся от тонкости ткани и предложила: «А давай, попробуем тебе маленькую кофточку смастерить. Сейчас такие как раз в моде». Она трудилась над ней много дней. Материала было очень мало, он был настолько тонок от природы и от времени, что с ним страшно было работать, мама вставляла кокетку из кусочков, тщательно подбирая расшитые белые фестоны. А когда закончила, примерила на меня и мы ахнули обе от восторга, сказала: «Носи аккуратно».

Народ действительно потянулся. Забежали какие-то университетские подруги, какая-то семейная пара шла в театр, решив перед началом спектакля заглянуть к Наташе и что-то перекусить, ввалился богемного вида тип и потребовал, чтобы мы срочно выслушали новую главу его романа, потому что ему надо немедленно продолжать дальше работать, а он не знает, так ли великолепно эта, как предыдущая, или нет. «Хороший ты парень, но графоман», – прокомментировала Наташа. Потом ввалилось сразу человек семь, как я позже узнала, они-то и составляли костяк Наташиной, давно сложившейся компании с филфака, остроумные, языкатые, умные ребята и девчонки, которые меня сразу подавили своим интеллектом. Я вдруг страшно испугалась, как мало я всего знаю и что совершенно не читала тех книг, которые они так горячо обсуждали.

Перед тем как я засобиралась домой, Наташа сказала: «Я тебе кое-что дам почитать, только ты в метро не открывай, ладно? Дома,

чтобы никто не видел. Это стенография Фриды Вигдоровой на процессе Иосифа Бродского. Она присутствовала там и все записывала, представляешь? Можешь не торопиться, я перепечатала этот материал для себя. Это мой экземпляр. И колокольчик не забудь...»

Так с Наташей пришел в мою жизнь Самиздат. То за три дня должен был быть прочитан «Дар» Набокова, то за ночь «Москва–Петушки», «Чонкин», «Собачье сердце» или «Рокковые яйца», то за два дня – не напечатанная еще нигде проза Цветаевой. До сих пор в двух томах Цветаевой у меня вклеено огромное количество папиросных листов бумаги, на которых напечатаны все цензорские купюры. Это с Наташей мы бегали в какие-то клубы в Текстильщиках то на «Земляничную поляну» Бергмана, то еще на какие-то «некоммерческие» фильмы. Как об этом узнавала московская интеллигенция, каким образом с такой скоростью разносилась по Москве эта информация, остается загадкой до сих пор. Но в нужный день и час в любое захолустье отовсюду стекался поток людей с умными лицами и понимающими глазами, и становилось радостно оттого, что еще не все выродилось, что еще можно жить, что есть еще те, кто работает с тобой на одной волне. Я приняла Наташу сразу и безоговорочно. Помню, как-то в ответ на ее очередное охаивание советской власти я вяло промямлила набившее оскомину: «Ну да, конечно, у нас есть недостатки... Но сколько было за эти годы достигнуто...» Наташа взглянула на меня откуда-то издалека и сказала: «Я вообще-то тебя за образованного человека держала. Во-первых, не надо приписывать достижения научного прогресса советской власти. А во-вторых, я, например, для себя давно уяснила, что мы живем в обыкновенной фашистской стране и...». У меня от ужаса перехватило дыхание. «Конечно, самый

обыкновенный фашизм, когда сжигают книги, высылают и сажают за мысли. Что это еще, по-твоему? Если бы ты анализировала ситуацию в другой стране или попыталась бы дать определение фашизму, ты бы эти признаки назвала одними из первых. Так? Так?» – волнуясь и презрительно щурясь, спрашивала Наташа. Я уже знала, что это так. Напомню, что разговор наш шел в 1975 году, а Наташе было двадцать лет.

Я стала частым гостем у нее в редакции. Мы вместе с ней и ее заведующей Маргаритой Ивановной Сальниковой пили чай, обещали, болтали. Как-то зашла Нора Галь, принесла прочитанные гранки «Маленького принца» Экзюпери в ее переводе. Присела с нами выпить чаю. Нора Галь вдруг стала читать стихи французских поэтов. В какую-то из пауз Наташа тоже вдруг прочитала Поля Верлена «Сердце тихо плачет». Нора Галь вскрикнула от радости: «Деточка, откуда? Откуда такое произношение? Я уже так давно такого чистого французского не слышала! Еще, еще почитай, хочу послушать, читай, читай...»

Мне казалось, что Маргарита просто упиивается общением с Наташей, но она безоговорочно приняла и меня. Мы были молодыми и много смеялись. Иногда на нас нападал беспричинный смех, и мы заразительно хохотали до изнеможения из-за какого-нибудь пустяка. Маргарита сначала переглядывалась с кем-то непонимающе, укоризненно качала головой, приговаривая: «Вот что значит молодость. Хохочут, и все, а я, пятидесятилетняя дура, люблюсь тут на них», – а потом не выдерживала – и ей тоже в рот «попадала смешинка».

Мужем Маргариты Ивановны Сальниковой был замечательный художник, великолепный цветовик – Наум Иосифович Цейтлин. В начале 1990-х годов их семья переехала в Израиль, где Цейтлина должны были де-

лать какую-то сложную операцию. Вряд ли им удалось вывезти все его творческое наследие. Где сейчас его работы? Где его «белые картины» на библейские темы? К сожалению, ничего о них не слышно. Вот еще одна неоцененная фигура. Зато сколько у нас теперь гламурных знаменитых художников развелось, которые творят как художник Тюбик из «Приключений Незнайки» – по желанию заказчиц всем рисуют глазки побольше, а ротик поменьше. Хотя нет, теперь – наоборот: ротик побольше, а глазки поменьше.

Маргарита всегда нервничала по поводу и без повода, часто начинала приставать к мужу с разными вопросами: «Нёма, скажи! Нёма, послушай! Нёма, а ты знаешь?» Наум Иосифович, у которого рабочий день начинался в мастерской, куда еще надо было добираться, всегда в семь часов утра, порой вечерами не выдерживал и говорил: «Рита, делай ночь!»

Когда Маргарита нервничала на работе, покрываясь красными пятнами, мы тоже ей иногда говорили: «Рита, делай ночь!» Маргарита была очень импульсивна, многое в ее поведении зависело только от настроения. Очень смешно было, когда она рассказывала про неожиданно охватывающую ее жадность в самый неподходящий момент. Она была мотовкой по природе. Устраивая какое-нибудь очередное шикарное застолье, она задолго предварительно набирала каких-то заказов, где на одну баночку икры или на полкило салями полагались в придачу непременно консервы «Завтрак туриста», плавленые сырки «Дружба», килограмм перловки и прочие подобные «деликатесы». А затем, накрыв на стол, увидев все это великолепие – черную и красную икру, осетрину, балык и так далее, вдруг задумывалась о своей расточительности и ставила напоследок тарелку с засохшим сыром, припрятав све-

жий. Наум Иосифович, застукав ее за этим безобразием, качал укоризненно головой и убирал тарелку со стола.

– Нёма, скажи, а почему у нас еврей – ты, а жадная – я? – грустно спрашивала Маргарита, устыдившись своей скарденности.

– Рита, ты не жадная, у тебя просто было тяжелое детство, – успокаивал ее муж.

Сначала Маргарита была заведующей редакцией литературы для нерусских школ, где, как она говорила, «расставляла ударения» в произведениях классиков. Потом в издательстве создали редакцию эстетической литературы, и наверху долго решался вопрос, кому быть ее заведующей. Основных претендентов было двое – Маргарита Сальникова и Элеонора Микоян, любимая невестка самого Анастаса Ивановича Микояна. Все внимательно наблюдали за этим противостоянием, хотя многим выбор казался заранее предрешенным. Надо сказать, что Эля Микоян, несмотря на свое номенклатурное происхождение, на работе никогда не пользовалась своим особым положением. Эля долгие годы заведовала редакцией публицистики. Труженица была редкая, второго такого добросовестного человека следовало еще поискать. В молодости была очень хороша собой, поэтому, когда в Москву приехал известный пианист Ван Клайберн (Клиберн), он познакомился с ней на концерте, и поговаривали, что влюбился в нее. Семейную жизнь Эли по известным обстоятельствам нельзя было назвать счастливой (не хотелось бы здесь разглашать чужие семейные тайны), и Эля всю себя отдавала работе, воспитанию детей. И еще она долгие годы была очень близка с одним известным преподавателем консерватории Львом Власенко, вырастившим не одну плеяду блистательных пианистов, среди которых одно только имя – Михаил Плетнев – чего стоит. Появление у Власенко нового талантливой

ученика почти приравнялось Элей к появлению у нее ребенка. Она приходила в редакцию и рассказывала о том, какой Мишка (Плетнев) гениальный. Я, не слишком разбираясь в хитросплетениях этой большой семьи, даже не сразу поняла, что речь идет вовсе не о ее сыне, – с такими мельчайшими подробностями знакомила нас Эля. В борьбе за заведование редакцией эстетической литературы Маргарита Сальникова очень нервничала и говорила с сарказмом: «Жить с экономистом – еще не означает разбираться в экономике. Дружить с великим музыкантом – еще не значит разбираться в музыке. Ну, впрочем, мне и самой могут возразить, что спать с художником – еще не значит разбираться в искусстве».

Однажды Наташа и Маргарита встретили меня с заговорщическим видом:

– В редакции научно-художественной литературы освобождается ставка младшего редактора. Может быть, ты попробуешь? Хочешь?

– Да не возьмут меня. Я уже чувствую заранее.

– А что мы гадать будем: возьмут – не возьмут? Пойду я к Майе и сама спрошу ее, – предложила Маргарита Ивановна.

– А что вы ей скажете?

– Да ничего особенного. Скажу только: «Возьми, не пожалеешь».

В редакции меня встретили поначалу настороженно. Галина Владимировна Малькова смотрела на меня несколько месяцев внимательно и строго, пока наконец не убедилась, что я вполне мила и, как она уверяла, ответственна. Когда-то красивая, статная, высокая, она кружила головы поклонникам, но уже давно все свои усилия она направила на мужа Петра Андреевича, директора какого-то крупного завода. Он только на работе и позволял себе властво-

вать над кем-то. Галина Владимировна от всех требовала обстоятельности. Это не всегда получалось. Она начинала готовиться к очередному отпуску уже за год и выколачивала путевку от Четвертого управления, заблаговременно собирая характеристики от парткомов и месткомов. Шила наряды и страшно удивлялась, что после шестидесяти на курортах ее перестали приглашать танцевать. Несмотря на грузность, она удивительно хорошо это делала и в танце умудрялась быть легкой и грациозной. Так же красиво она ела – мало кто еще столь изящно орудовал вилками и ножами, как она. Наиболее обеспеченные издательские дамы любили ходить в соседний «Берлин», ресторан и тогда был не из дешевых. Однажды, получив квартальную премию, и я пошла туда. Галина Владимировна ступила по-хозяйски в зал, выбрала один из белоснежных столиков, уселась поудобнее и потребовала у подошедшего официанта немедленно заменить скатерть. По тому, как незамедлительно и беспрекословно подчинился официант (напоминаю, это происходило в конце семидесятых годов, когда от «своры обслуживания» ничего, кроме хамства, ожидать не приходилось), я поняла, что ее здесь уже хорошо знали. Она тут же ткнула хлеб в нос бедному официанту и приказала: «Подогреть немедленно!» Я в ужасе уже присматривала себе место под столом, но желание посетительницы и на этот раз было мгновенно выполнено. Обилие приборов меня ужаснуло – я-то, собственно, рассчитывала на обычный «комплексный обед» советского служащего, для которого требовались только вилка, нож и ложка. Но не тут-то было. Галина Владимировна заказала что-то этакое и еще потребовала с собой берлинского печенья.

– Это у нас рядом, в кулинарии продается, – пролепетал официант.

– Осведомлена-с, – отрезала Малькова, –

но в очереди стоять не желаю, а потому и прошу вас пять пакетов по 10 штук приготовить мне в дорогу.

– Постараюсь для вас это сделать, – угодливо ответил официант и удалился.

Малькова победоносно глянула на нас.

– Вот так их учить надо.

Я поняла, что это была какая-то странная игра, длившаяся у нее с рестораном уже многие годы. Ее прекрасно здесь знали, она не была никакой важной дамой, не заказывала дорогих напитков, ни в каком смысле не была выгодным посетителем, вообще не давала на чай. Но она умудрялась затрагивать какую-то нужную струнку в их подсознании, когда они вдруг на минуту вспоминали, кто они, собственно говоря, есть, для чего они в этом заведении находятся и чему их вообще где-то учили. Они обслуживали ее безукоризненно, незаметно сзади подливая боржоми, меняли мне пепельницу после каждой сигареты, накрывая использованную перед тем, как взять со стола, и все поглядывали на Галину Владимировну и ее изящные, уверенные движения со всеми этими вилками, ложками, ножами. В их глазах мелькало какое-то тайное блаженство, схожее с эмоциями мазохистов, – такое они получали удовлетворение от этой зловредной посетительницы.

Сколько угодно могут сейчас авторы обижаться на редакторов за то, что те, как им казалось, тормозили издание их нетленок, но мы просто были обслуживающим персоналом той системы, как, впрочем, и они сами. Кто может сейчас утверждать, что не писал конъюнктурных рукописей, не поджимал хвост при критике Комитета по печати? Кто от этой дурацкой внутренней цензуры, так въевшейся в нас за годы советской власти, не делал самых идиотских вещей? Я тоже отзывала из типографии верст-

ку альманаха «Океан» в те дни, когда Егор Лигачев затеял борьбу с пьянством, а заодно и с виноградниками. Всем редакторам тогда строго-настрого приказали очень внимательно пересмотреть все тексты на предмет наличия в них какой-либо выпивки. А поскольку главные герои этого тематического альманаха – моряки – любили пропустить кружку пива и расслабиться, дерябнув рюмку водки, то мне в срочном порядке пришлось вымарывать все эти алкоголические реалии, заменяя их обычной чашкой кофе. После бессонной ночи, закончив править верстку, насчитывавшую почти четыреста страниц, у меня создалось ощущение, что не только мне, но и героям этих повестей и рассказов пора вызывать неотложку – всем нам грозил сердечный приступ от передозировки кофеина.

А если вспомнить тот ужас, когда я, почти как героиня «Зеркала» Тарковского, проснулась среди ночи, поняв, что у меня в книге, которая уже сдана в печать, все время речь идет о медведях с кличками Шатун и Горбач! Мало того что только-только пришел к власти Горбачев, так у нас еще и сменился директор издательства – им стала Тамара Михайловна Шатунова! Какие уж тут Горбачи и Шатуны? Запросто могли усмотреть в этом политическую близорукость, как усмотрели ее тогда в работе Елены Константиновны Махлах над книгой Б. Сарнова.

С начала 1980-х годов Детгизу очень не везло с руководством. Только начинался, кажется, 1985 год. Главным редактором тогда назначили некоего чинушу – Владимира Алексеевича Уварова. Он сразу на несколько недель заперся в своем кабинете, практически не показываясь на люди. Все отнеслись с пониманием – человек входит в дело, знакомится с редакционными портфелями, пытается во всем разобраться. Но последующие его шаги шокировали даже издававших виды

редакторов. Для начала он почитал труды Перельмутера, Эйдельмана и еще нескольких авторов, фамилии которых ему особенно не понравились. Среди них оказался и Б. М. Сарнов. С рукописью Сарнова дело обстояло плохо. Его книга из серии «Занимательное литературоведение» представляла собой рукописную версию известной радиопередачи, в которой литературоведческими изысканиями занимались доктор Ватсон и Шерлок Холмс. Передача эта в те годы была очень популярна и любима многими радиослушателями, но сама рукопись была еще сырая и требовала серьезной доработки, над ней и работала Елена Константиновна Махлах. Я не помню, по какой причине Комитет по печати запросил рукопись на контрольное рецензирование. То ли автор рассердился, что ему долго не выносят одобрение и, соответственно, не платят долгожданный аванс, то ли новый главный редактор спровоцировал разгромную рецензию вышестоящего органа, чтобы его дебют как руководителя выглядел как можно внушительнее. Для таких ретроградов, как Уваров и рецензенты из комитета, эта рукопись была просто лакомым куском. Было где развернуться. В ней часто мелькали такие имена, как Цветаева, Мандельштам, Саша Черный, Гумилев, Ахматова, что, конечно же, свидетельствовало о страшной политической неблагонадежности и близорукости автора, а вместе с ним и редактора. К сожалению, наша редакция была полностью деморализована, потому что никогда не сталкивалась с подобными вещами. К стыду всех моих коллег и моему, скажу, что нас просто парализовал ужас, и никто не вступился за Лялю Махлах. Я двадцать лет потом не могла ей открыто смотреть в глаза, хотя она меня до своих восьмидесяти трех лет все время успокаивала: «Да брось ты! Что ты могла тогда сделать!»

Тогда, в 1985 году, Уваров устроил настоящий суд чести. Он заранее раздал десять экземпляров рукописи тем, кто показался ему наиболее благонадежными сотрудниками. Они – то ли по наивности, то ли стараясь не совершать откровенной подлости – выступили с серьезными критическими замечаниями. В основном речь шла об отсутствии четкой архитектоники книги, о стилистических погрешностях и прочих проблемах редактуры. Хотя изначально всем и так было понятно, что рукопись сырая, над ней предстояло еще много работать, что, собственно, Махлах и делала. Наконец взял слово Уваров. Стоя, сжав спинку стула так, что костяшки пальцев побелели, он в своей почти параноидальной речи стал заходить все больше и больше. Очень жалею о том, что не умела стенографировать, что не было тогда современных диктофонов, что не записала все по памяти в те дни. Стенограмма Фриды Вигдоровой из суда над Бродским сильно померкла бы в глазах потомков, потому что районный судья по сравнению с главным редактором крупнейшего издательства был просто светочем знаний. Но одну цитату из его выступления я запомнила очень хорошо.

– До какой степени политической низости и издевательства над русской культурой, – распалялся Уваров, обводя горящими глазами зал, – я вас спрашиваю, может опуститься автор и сочувствующий ему редактор? Посудите сами. Эти чужеземцы, доктор Ватсон и Шерлок Холмс, как шпионы, проникают в обитель Марьи Ивановны из пьесы Гоголя «Ревизор». И высмеивают ее. Это что означает? А это означает, что иностранцы теперь позволяют себе смеяться над самим Гоголем. А если они смеются над Гоголем, значит, они смеются над всей русской литературой. А значит, и над всей советской властью! Но автор на этом не останавливается. Он впускает этих двух похотливых

самцов в святыню святынь – спальню к Татьяне Лариной. (В книге был эпизод, когда два этих персонажа Конан Дойла проникают в спальню Татьяны Лариной в тот момент, когда она пишет письмо Онегину, и задают ей разные вопросы психологического характера. – *Прим. авт.*). В спальню! К самой Татьяне, где они наверняка смотрят на нее похотливыми глазами! Где она в ночной рубашке! Таким редакторам, которые глумятся над нашими святынями, не место в советских издательствах!

Через два дня после этого «совещания» Елену Константиновну уволили. Видимо в тот год ангел-хранитель еще летал над Детгизом, и вскоре Уваров покинул пост главного редактора. Его сняли по самой прозаической причине. Рассказывали, что этот главный редактор умудрился в пьяном бессознательном состоянии подраться с милиционером. Мне дальнейшая его судьба неизвестна, но, как водится, такие люди не пропадают без вести. Наверняка где-нибудь руководил и чистил ряды своих подчиненных.

В мое время имелась в большом количестве такая человеческая категория, как читающие идиоты. Для них процесс поглощения книги был важным физиологическим рефлексом. Они не могли не читать, они читали постоянно, все равно где – за рабочим или обеденным столом, в транспорте, на унитазах. Правда, сейчас их становится немного меньше. Похоже, они пересели за компьютеры. Типичный пример такого интеллектуального идиотизма:

– Мне очень нравятся стихи Бродского и Игоря Ляпина, – сказала мне совершенно искренне одна моя бывшая коллега.

– А кто это Ляпин? – испугалась я, что мимо меня прошло незамеченным творчество очень талантливого поэта.

– А вот сборничек, посмотри.



Автор Н. Кончаловская, художник В. Фаворский и редактор Н. Садомская (слева направо).

Дом Натальи Садомской с середины 1950-х гг. был одним из центров собраний московской интеллигенции, хранения и распространения самиздата

С фронтисписа на меня смотрел поэт с лицом типичного работяги, и стихи соответствовали его внешности.

– Знаешь, вообще-то у Бродского стихи, а у Ляпина я не знаю что такое, даже рифмованной прозой не назовешь. Тоже мне – фигура.

Ровно через неделю в издательство пришел новый главный редактор, зять Сартакова, – Игорь Ляпин. Так что моя бывшая коллега была, видимо, осведомлена больше, чем я, о грядущих в издательстве переменах. На одном издательском мероприятии этот главный редактор прочитал свое стихотворение, посвященное танку Т-34. Я искоса наблюдала реакцию некоторых коллег – по случаю у всех на лице была надета такая специальная маска псевдодоброжелательности и понимания, чтобы не напал некстати истерический, нервный смешок, а то еще опять заподозрят в неблагонадежности. Как

часто тогда ее надевали на комсомольских и партийных собраниях!

В нашей редакции протаскивали всякими мыслимыми и немыслимыми путями Стругацких, Кира Булычева, Натана Эйдельмана, братьев Вайнеров. Издание этих книг, да и многих других авторов тогда проходило с большим трудом, и требовалась особая изворотливость, хитрость, порой какие-то изощренные действия, которые способны понять и оценить только люди, жившие и работавшие в Совдепии. За то, что в сборнике каких-то детских переводных стихов под псевдонимом было напечатано стихотворение Юлия Даниэля (напомню о громком в те годы процессе по делу А. Синявского и Ю. Даниэля), редактор этой книги Лида Касюга была уволена сразу же. В свои сорок с небольшим лет она тогда перенесла инфаркт и вскоре умерла. Кто-то из наших со-

трудников однажды поинтересовался у коллеги из другого крупного издательства: «А что вы делаете с социальной фантастикой?» Существовал тогда такой термин, и в библиотеке всегда этих рукописей было очень много. «А половину – в корзину, половину – в КГБ!» – лихо отпарировал «коллега».

Стоит, наверное, задуматься над тем, почему очень часто свои произведения, не имеющие никакого отношения к детской литературе, такие авторы, как Стругацкие, Аксенов, Вайнеры и другие, в те годы публиковали именно в Детгизе.

Я помню эту почти домашнюю обстановку редакции. Круглый стол, загороженный шкафами, чтобы не упрекали лишний раз в постоянных чаепитиях. Столы, шкафы, стулья с наваленными сверху рукописями, которые имели обыкновение всегда падать и рассыпаться. На стенах картинки в паспорту, какие-то изречения... Помню, некоторое время над столом Аленки Ющенко висел призыв: «Не разговаривай с табуретками!» За нашим круглым столом, не на редсоветах, не в кабинетах начальников, а именно здесь за чашкой чая с любимым овсяным печеньем просиживали мы часами – здесь вершились судьбы книг. Здесь встречались авторы, которые подпитывали друг друга идеями. В редакцию к нам порой забредали совершенно неожиданные личности. Однажды, как раз к обеду, с моим коллегой, который вел международную серию книг, к столу пожаловала настоящая американка. Любой иностранец тогда воспринимался почти как инопланетянин. Поскольку Володя Болотников владел несколькими языками, то насмешливо звался у нас министром иностранных дел. Американка пожелала пообедать с нами вместе. Обедали мы всегда в складчину, каждый приносил из дома, что у него было, а если ничего в этот день

не находилось, то тоже была не беда. Володя переводил американке все, что мы говорили, и по ходу комментировал происходящее. Звучало это примерно так: «Вот это наш замечательный редактор Елена Константиновна Махлах. Мы ее зовем просто Ляля. У Ляли очень талантливый муж. Михаил Григорьевич Львовский. Это по его сценариям сняты такие чудесные добрые фильмы “Я вас любил”, “В моей смерти прошу винить Клаву К.”, это его песенку “На Тихорецкую состав отправится...” распевает вся страна... Ляля принесла сегодня на обед замечательную баклажанную икру! Она должна быть очень вкусной – Ляля замечательно готовит! А еще она принесла вареные яйца и плавленый сыр. А что там Ларик ставит на стол в баночке? Ага, Ларик тоже принесла баклажанную икру собственного приготовления и тоже вареные яйца. И Виктория Сергеевна тоже принесла баклажанную икру с яйцами? И Аленка – баклажанную икру? Ах, не икру а сотэ из баклажанов? Понятно! Но без яиц, просто прихватила с собой печенье? Вы хотите спросить, Маргарет, почему все пришли с баклажанной икрой? Нет, они не договаривались. Просто в продаже появились баклажаны! И им удалось их достать!»

Особенно сытно за этим столом становилось после чьих-то семейных праздников, потому что остатки со стола все всегда тащили в редакцию. Ужасное обжорство начиналось после Нового года. Как-то новогоднюю провизию от Ляли Махлах мы ели целую неделю. Она с Львовским справляла Новый год на даче у Гердтов, с которыми они очень дружили. Готовились они с Татьяной Правдиной, женой Зямы Гердта, задолго, продуктовых заказов накупили много. Изощрялись в кулинарном мастерстве как могли, а едоки все оказались слабые. После праздника почти все гастроно-

мические изыски тех лет оказались на столе редакции.

За этим круглым столом в редакции Натан Эйдельман часто делился своими замыслами. Он был великолепный рассказчик – ах, как жаль, что так мало людей могли в те годы его слушать! Как-то он рассказывал о задуманной книге, где одна из глав должна была быть посвящена убийству Павла I. Ему удалось получить доступ в архивы, и под впечатлением от собственных раскопок он, торопясь и захлебываясь, поведал нам за этим столом свои замыслы. На следующий день в институте у меня был экзамен по истории. Мне достался билет, в котором одним из вопросов стоял «Внутренняя и внешняя политика России с 1801 по 1811 год». В голове моей от волнения смешались последние остатки исторических знаний (а их, увы, и всегда было немного), и я, чтобы спасти как-то положение, стала практически дословно пересказывать свежие впечат-

ления от вчерашней феерии Эйдельмана. Историк-преподаватель долго слушал меня с открытым ртом, видно было, что у него даже перехватило дыхание. Он не позволял себе прервать меня. Когда я наконец иссякла, он робко вставил: «Ну, хорошо, деточка, императора Павла в 1801 году не стало. Что же было остальные одиннадцать лет?» Я придумалась. Потом, от волнения не вспомнив ничего, потупила взор и сказала: «Я приду в следующий раз». Преподаватель принялся меня уговаривать не делать этого. Я стояла на своем. «Я нечасто встречаю студентов, которые так увлечены историей. Ну, хорошо. Только не волнуйтесь. Скажите, в каком году началась Вторая мировая война?» Я была непоколебима: «Я приду в следующий раз». «Вы просто очень разволновались», – увещевал он меня и, чтобы спасти положение, спросил под конец: «Ну уж это-то вы наверняка знаете! Когда произошла Великая Октябрьская революция?» Наступал крити-



В Детгизе часто устраивались капустники и вечера. Конкурс под девизом «Жидеть будем завтра!», 1960-е гг.

ческий момент. Я решила не сдаваться. Подняла глаза и твердо повторила уже в который раз: «Я приду в следующий раз!» Вот тут ему все же пришлось сдаться: «Ну ладно, свою пятерку вы заслужили!»

Сама жизнь при советской власти часто ставила людей в такие положения, за которые многим потом было стыдно всю жизнь. И соглашались, и помалкивали, и поддакивали – по-другому было невозможно. А уж в бытовом плане поведение людей порой было просто омерзительным. Этакая коммуналка в масштабах всей страны диктовала свои правила. Помню, как я возвращалась домой с работы, зная, что у меня в холодильнике, как говорится, мышь повесилась. Я мысленно прикидывала, что, пожалуй, отварю на вечер картошки или макарон, могу их смешать с припасенной банкой тушенки, но у меня не было ни огурчика, ни помидорчика, а очень хотелось что-нибудь для свежести. Я вошла в большой универсам, где красовалось на видном месте нововведение тех лет – огромная вывеска «Сопутствующие товары». Там, как насмешка, на полках были красиво разложены лишь крышки и ершики для унитазов. В магазине, да еще вечером, было шаром покати. И вдруг своим молодым и очень зорким в то время взглядом я увидела, как открылись заветные ворота складского помещения и оттуда выкатили контейнер с упакованными в полиэтиленовые пакеты буро-зелеными помидорами «дамские пальчики». С двумя тяжеленными сумками с рукописями, гранками и версткой (завтра у меня предстоял официальный творческий день!) я рванула к контейнеру, лавируя между покупателями. Сгрудившаяся у контейнера кучка людей у меня на глазах расхватывала пакеты, я в отчаянии чувствовала, что не успеваю. Ускорила темп, сделала рывок, чтобы схватить пос-

ледний пакет... И в этот момент поняла, что уже продранный мешочек очень цепко держит еще чья-то желтоватая рука. Я на секунду оторвала взгляд от пакета. Молодой вьетнамец тянул помидоры к себе. Наши взгляды встретились. Я аккуратно потянула к себе. Пакет мог вот-вот разорваться. Мне стало стыдно, я отвела взгляд, но упорно продолжала тянуть пакет к себе. Вьетнамец не выдержал первым. «Вы же женщина», – с сильным акцентом сказал он, пытаясь меня пристыдить. Аргумент в магазинной стычке был очень странным, и я в отчаянии, даже с каким-то пафосом переспросила его: «Кто женщина? Я – женщина?» И подумав секунду, ответила скорее себе, а не ему: «Ну, какая же я женщина? Я – не женщина!» Я хотела продолжить, что в этой скотской жизни, где приходится даже осенней порой вступать в битву за помидоры, я – кто угодно, я – некое бесполое существо со всеми признаками вырождения на лице в такие моменты, но понимала, что подобные тирады несколько неуместны в этой ситуации. Поэтому просто тупо, в отчаянии, что не достанутся мне сегодня помидоры, повторила: «Я – не женщина». В этот момент вьетнамец выпустил из рук пакет и, показывая на меня освобожденной рукой и заливаясь громким смехом, с изумлением воскликнул: «Она – не зенсина, смотлите, она – муссина!»

Вероятно, он очень буквально понял мои слова, а может, сыграл свою роль языковой барьер, но я, осмеянная и не испытывавшая никакой гордости от добычи, поплелась к кассе. Конечно же, мне требовались слова утешения, и я тут же их для себя нашла. Да еще припомнила, как оказалась в такой же примерно ситуации, когда в небольшом овощном магазинчике подкатали огромный контейнер с цветной капустой. Я была на восьмом месяце беременности. Вместе со мной мой огромный живот впечатали в кон-

тейнер. Я никак не могла освободиться и думала, что рожу тут же, как говорится, не отходя от кассы, но пронесло. Правда, сын мой цветную капусту ненавидит почему-то как ничто другое с самого рождения. Этих бытовых историй из жизни Совдепии можно рассказывать бесконечное множество – вся наша жизнь состояла из череды этих мелочей. Иногда бывало стыдно, но чаще всего доводилось даже испытывать какую-то гордость за то, что удавалось что-то вкусненькое раздобыть к столу или урвать какую-то обновку. В одной из первых телепередач «Взгляда» был замечательный репортаж. Корреспондент интересовался у многих прохожих, задавая один вопрос: «Вас когда-нибудь унижали?» Потом он, протиснувшись сквозь вокзальную толпу, подошел к человеку, который в ожидании сильно опаздывающего поезда за неимением другого места примостился среди окурков и мусора возле урны. «Вас когда-нибудь унижали?» – повторил свой вопрос корреспондент. «Меня??? Да никогда!!!» – с возмущением отреагировал пассажир, путешествующий, как говорится, с комфортом. Среднестатистическому обывателю бывает довольно сложно понять некоторые категории, о существовании которых он не подозревает.

Помню, как в очередной раз в издательстве должна была состояться профкомовская распродажа. На этот раз разыгрывались мужские ботинки фирмы «Саламандра». Предварительно профорг составил списки, кто в каком размере нуждается. Я аккуратно записала, что мне требуется сорок первый размер, и замерла в предвкушении счастья, потому что у мужа порвалась и стопталась вся обувь. А последние полуботинки чешской фирмы «Цебо» натирали ему пятки так, что он уже еле передвигался. На отечественные глаза не смотрели. Мы были молодыми, нам хотелось быть красивыми и модными. Прошла неделя,

и профгруппе нашей редакции сообщили пренеприятное известие. Оказалось, что на одиннадцать претендентов нашей профгруппы будут выделены только три пары. Одна – сорок первого размера, вторая – сорок третьего и третья – сорок пятого. Обладателем сорок первого размера среди всех претендентов был только мой муж. В обуви сорок третьего, как выяснилось, вышагивали целых семь кандидатов, а сорок пятый размер был никому не нужен, т. к. всем остальным требовался сорок второй. Я получила заветную красивую коробку и, счастливая, сразу положила ее на свой стол. Разыгранный сорок третий размер тоже кому-то достался. Над сорок пятым задумались, пока кто-то наивно не сказал: «А давайте эти ботинки мне, я их пристрою». Тут отчетливо послышался всеобщий скрежет мозгов. Начинался скандал. В результате всеобщего ора моих коллег, еще секунду назад бывшими такими милейшими и интеллигентными людьми, рассуждавшими о тончайших нюансах в произведениях мировой литературы, они пришли к следующему заключению. Поскольку существуют разные варианты, можно поменяться размерами с кем-то из других редакций, можно продать (причем дороже!), чтобы потом купить у спекулянтов уже за высокую цену, – разыгрываться на всех будут три пары обуви, включая и «мой» сорок первый размер. Я замерла. Сейчас все отнимут... Потом попыталась что-то возразить коллективу, но профгруппа была непреклонна. И тогда я медленно потянулась к коробке, взяла ее в руки, переложила на стул, села сверху и застыла, не поднимая глаз, в позе каменной бабы с острова Пасхи. Раза два я упрямо повторила: «Не отдам». В таком состоянии меня еще не видели, поэтому, пошумев немного, мои сотрудники, осуждающе покачивая головами и пожимая плечами, отступили. А ботинки я поволокла домой.

Здание Детгиза находилось прямо на Лубянке, тогдашней площади Дзержинского. Некоторые наши окна смотрели прямо в окна печально известного мрачного здания КГБ напротив. Каждое утро в течение двадцати лет я выныривала из метро и, взглянув на памятник Дзержинскому, про себя говорила: «Ну, здравствуйте, здравствуйте, Феликс Эдмундович!» И мне казалось, что он будет стоять здесь вечно. Когда на заре перестройки штурмовали здание КГБ и собирались сносить памятник Феликсу Эдмундовичу, все сотрудники, которые смогли только втиснуться, сгрудились тогда у окна в кабинете замдиректора, наблюдая за разбушевавшейся толпой. Я из-за духоты отошла к двери и увидела страшную картину. Все мои коллеги в этот момент вдруг разделились на два лагеря. Даже в этой беспорядочной толчее было заметно, что пролегла какая-то невидимая граница между людьми, которые уже, может, не один десяток лет работали вместе, дружили семьями, ссорились и тут же мирились... Слева стояли те, у кого мужа или отцы работали в КГБ, а таких было немало, а справа – «либеральная» часть сотрудников. Слева у всех тихо текли слезы по щекам, а справа стояли люди с горящими от счастья глазами, совершенно опьяненные неведомым доселе чувством свободы. И все молчали. Я была так взволнована вершившимся у меня на глазах историческим моментом, что даже не поняла, что именно в этот момент окончательно разрушился Детгиз. Может, быть самое дорогое, что было у многих из нас в жизни.

История часто чертила свою дорогу около Малого Черкасского переулка. Из окна кабинета главного редактора мы наблюдали за тем, как в одну секунду сгорел человек на газоне у памятника Дзержинскому, – это происходило в дни карабахских событий. Я сучала на редсовете и от скуки все время

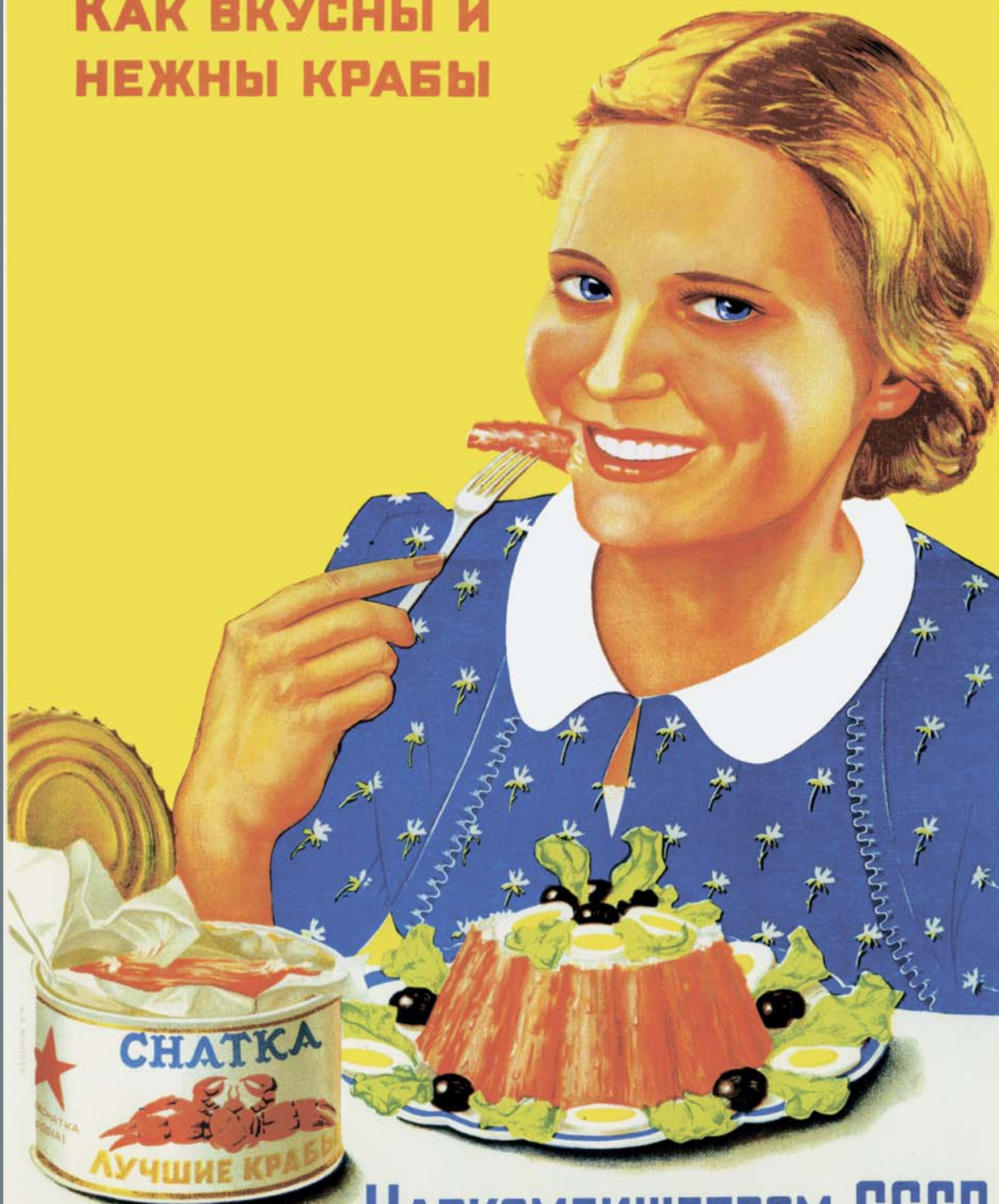
поглядывала в окно. И вдруг какое-то странное движение привлекло мое внимание. От Политехнического музея, там, где раньше останавливались маршрутки, с двумя пластмассовыми бачками, в которых обычно держали запасливые автовладельцы дефицитный в те годы бензин, быстро перебежал дорогу к тогда еще стоявшему на месте памятнику Дзержинскому, как мне увиделось, смуглый с темными волосами человек. Остановившись на зеленом газоне, он в одну секунду окатил себя бензином и сразу вспыхнул. От неожиданности я вскрикнула, и все сразу подбежали к окнам. Надо заметить, что «ведомство напротив», как мы всегда величали КГБ, сработало великолепно. Тут же к горящему человеку подскочили люди, повалили его на газон, накидывая сверху какую-то одежду. В одну секунду все вокруг газона было оцеплено, мгновенно остановлены все крупногабаритные машины и автобусы, создавая заслон, сквозь который рассмотреть что-то не представлялось возможным ни с проезжей части, ни с тротуаров. Через пару минут при перекрытом движении подскочила «скорая помощь». Единственными свидетелями этой ужасной сцены могли стать только немногочисленные сотрудники здания, где был расположен Детгиз, да шмыгающие в поисках товаров некоторые покупатели «Детского мира», находящегося в этой геопатогенной зоне.

В те дни я лихорадочно пролистывала многие газеты в надежде узнать что-либо про тот страшный инцидент. Но лишь в одной прочитала короткую информацию, текст которой состоял из шести строк. В заметке сообщалось, что такого-то числа в таком-то месте имярек совершил акт саможжения, получил серьезные ожоги и скончался в больнице. И еще подчеркивалось, что имярек был психически больным человеком. Так что все было сработано в



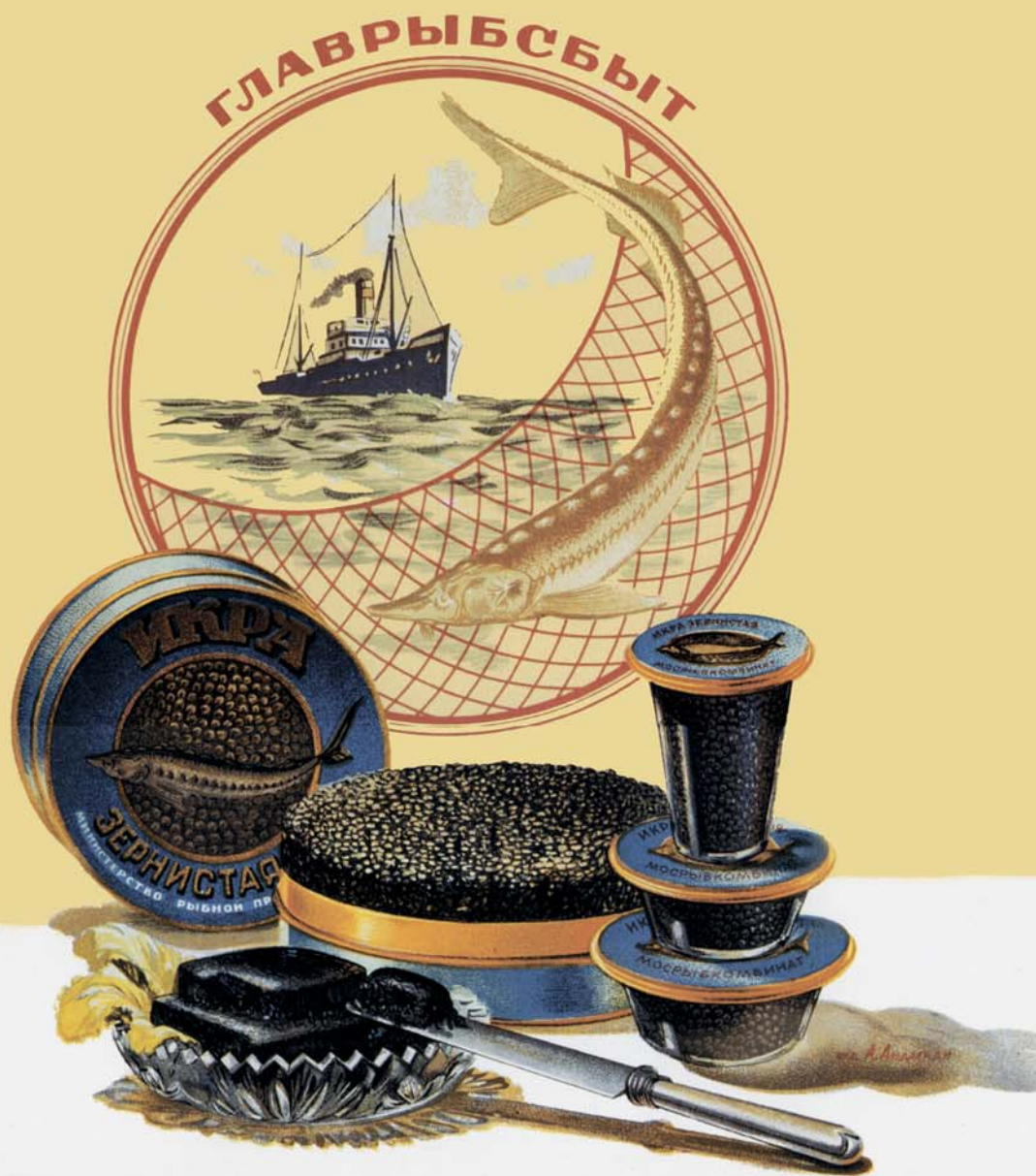


**ВСЕМ ПОПРОБОВАТЬ ПОРА БЫ
КАК ВКУСНЫ И
НЕЖНЫ КРАБЫ**



ГЛАВРЫБА Наркомпищепром СССР

МИНИСТЕРСТВО РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР



ИКРА

ЗЕРНИСТАЯ, ПАЮСНАЯ И ПАСТЕРИЗОВАННАЯ

формате привычных сценариев. Разве психически нормальный человек может быть в России не согласен с властями? Кстати, один известный итальянский психиатр дал определение психически здоровому человеку. За точность не ручаюсь, но, кажется, он написал примерно следующее: «Это активный человек, как правило, обладает хорошим аппетитом, занимается спортом, очень следит за своей фигурой, но не отказывается от выпивки и при этом всегда лоялен к правилу».

Мы работали в Детгизе по много лет. Это было огромное издательство с очень интересно работающим филиалом в Ленинграде, монополист на рынке детской литературы. Все посмеивались, утверждая, что из Детгиза сами никогда не уходят – оттуда только выносят вперед ногами. Существовало у нас даже такое понятие – «недетгизовский». Когда приходил работать новый сотрудник, все долго приглядывались к нему, а потом либо принимали его со всеми недостатками и достоинствами, либо раз и навсегда вешали ярлык – «какой-то он недетгизовский». Часто это могло напрямую даже не зависеть ни от моральных качеств, ни от образованности, ни от интеллекта. Таких было немного. Но «чужаки» приходили и уходили, надолго не задерживаясь.

Я теряю сейчас мою Москву. Для меня этот город все больше становится чужим. Он стал красивым, чистым, здесь много строится красивых и новых домов. Но ведь можно благоустроить дворы, застроить каждый свободный пятючок новыми зданиями, делать вид, что заботишься о памятниках старины, возвращая приличный, на твой вкус, вид фасадам домов и улицам. Но ДУХ моего города утерян. Сколько лет должно пройти, чтобы в центре Москвы появились интеллигентные старушки и ста-

рики тех лет, что греха таить, и тогда выглядевшие чужеродными телами среди суетливой, немного хамоватой, вечно озабоченной, деловитой московской толпы.

Я помню, как перед обедом выскакивала в «булочную на углу» – так мы ее всегда и называли, – на пересечении улицы 25 октября (нынешняя Никольская) и Малого Черкасского переулка, рысью пробегая мимо вечно вонючего рыбного магазина. Это место мы называли Бермудским треугольником, потому что там вечно терялись приезжие, совершающие, как сегодня говорят, шопинг в «великой троице» тех лет – ГУМе, ЦУМе и «Детском мире». Булочная была маленькая, тесная, там всегда толпился народ, а хвост очереди часто торчал на улице.

Встаю в хвост очереди и наблюдаю сцену: у самой двери Виктория Сергеевна Малыг, старейший работник моей редакции, никак не может войти внутрь, пропуская и выпуская людей. Делает шаг назад, наталкиваясь на прелестную старушку. Их диалог:

– Ради Бога, извините!

– Да полноте! (Куда исчезло это такое милое выражение? – *Прим. авт.*). Не стоит извинений!

– Давай-давай, мы что, здесь час толкаться будем? – Это уже выкрики из образовавшейся сзади толпы.

– Никак не могу войти, – с улыбкой объясняет Виктория Сергеевна.

– Голубушка, – обращается с сочувствием старушка к Виктории Сергеевне, – вы знаете, интеллигентность вас погубит.

А после булочной, прихватив в соседнем продовольственном магазине плавленый сырок «Дружба» или, если повезет, творожный сырок по пятнадцать копеек (о колбасе и речи не могло идти, там стояла огромная очередь из несчастных приезжих, которая брала «по два – по четыре – по шесть – по восемь» батончиков). Вспомнилась даже шутили-

вая загадка тех лет: «Сама зеленая, катится, пахнет колбасой? Это электричка из Москвы, там все с колбасой ехали».

Молодой Эдик Успенский однажды, увлекшись беседой с Наташей Розен, рванул за ней в обеденный перерыв в этот гастроном. Пробивая товар в кассе, Наташа перечисляла: «Два сырка по пятнадцать копеек, один сырок “Дружба” и пачку сливочного масла». Эдик, как истинный джентльмен, рванул к окошку и, просунув кассирше рубль, гордо объявил:

– Я оплачу! Все, Наташа, теперь вы у меня на содержании!

– Скучновато что-то содержание, Эдик, вы не находите? – отпарировала Наташа.

– И не говори, девка, – искренне посочувствовала ей кассирша.

А после продовольственного сразу бегом напротив, к любимому ларьку. Там продавалась газированная вода в плохо промытых стаканах, сигареты и конфеты – поштучно. Конфеты получались дорогими, но зато там всегда были «хорошие» конфеты. Батончики «РотФронт», «Грильяж», «Трюфель», «Сливочная тянучка», «Столичные» и даже иногда «Бутылочки с ликером». Несколько конфеток к чаю, и быстрее назад, в Детгиз. Как-то я стояла в очереди – а очереди были всегда и всюду – за любимыми батончиками (они были подешевле, кажется по четыре копейки за штуку), зажав в кулаке свой ежедневный обеденный рубль.

«Деточка, – обратилась ко мне сзади старушка в шляпке с вуалью и перчатках, как тогда говорили, “из бывших”. – Я плохо вижу. А очень хотелось бы к чаю чем-нибудь себя побаловать. Вот это что за конфеты? “Трюфель”? Ах, я помню, помню, они замечательные. Сколько они стоят? Одиннадцать копеек? Ах, как дорого! А “Мишка”? Десять копеек одна штука? А вот эти конфеты – что из себя представляют?» Я боролась с желанием

предложить ей немного денег, потому что точно знала, что обижу ее. И видя, что очередь уже подходит, боялась, что она уйдет. Я рассказывала ей про все конфеты, а потом рассмеялась и поведала ей историю про свою знакомую, которая пришла в гости к приятельнице и принесла для ее четырехлетней дочери шоколадку, не зная, что у девочки жуткий диатез. Мама девочки попросила унести шоколадку с собой. Но ребенок почему-то настойчиво потребовал, чтобы гостя съела шоколадку прямо сейчас на пороге дома. Разыгрывалась просто садистская сцена на глазах у бедного ребенка. Знакомая откусила кусок шоколадки, который просто комом застрял у нее в горле. Девочка с восторгом смотрела на нее, а потом спросила: «Теть, а у тебя во рту шоколадно?»

Старушка рассмеялась таким приятным смехом, что будто колокольчики зазвенели. Я «набралась» конфет аж на целый рубль. Повернулась к старушке, вывела ее из очереди, протянула ей половину конфет и сказала: «Вот вам на пробу. Пусть и у вас во рту будет шоколадно. А когда распробуете, в следующий раз уже сами будете покупать, какие вам понравятся. Хорошо?»

Она взглянула на меня каким-то особым просветленным взглядом, страшно смутилась и ничего мне не ответила. Удаляясь, я обернулась и на всю жизнь запомнила ее взгляд на меня – искося, откуда-то из-под вуальки старомодной шляпки. В нем было очень много всего. Так не смотрят сейчас старушки, которые просят у дорогих супермаркетов денег... Но описывать взгляды – дело неблагодарное, все равно словами ничего не передашь.

И даже если не личность, то яркий персонаж встречался всегда в Детгизе. Работала у нас вахтерша Прасковья Ивановна. Сколько ей было лет, сказать трудно. Может, и не такая старая была, как мне, молоденькой тогда девчонке, казалось. Вечно во что-то замотанное, малюсенькое, сгорбленное существо, то ли временем изуродованное, то ли от природы такое, но кривое и косое, как карельская береза, откуда-то снизу вверх искоса на всех с подозрением смотрящее. Воплощение уродства, одним словом. Была она кем-то из детгизовских остряков прозвана Прасковьей-чаровницей. Писателю Юрию Ковалю так понравилось это прозвище, что он даже позаимствовал его для одной из героинь своей повести. Юру Коваль природа одарила щедро – талантливый писатель, он хорошо рисовал, пел, наделен редким обаянием и еще был очень красив. По нему тайно и не тайно вздыхало не одно детгизовское сердце. Несколько раз он попытался в издательских коридорах познакомиться с Ирой Ерониной из редакции по работе с начинающими авторами. Она была хороша собой, стройна, но холодна как лед... И всегда с гордо поднятой головой проходила мимо него. Коваль был совершенно обескуражен, обычно женская реакция на него следовала совсем иная.

Как-то позже мы с Ириной курили на лестничной площадке. Рядом с нами у пепельницы стоял Юрий Коваль с кем-то из авторов. Они шутили и смеялись. А потом Коваль сказал своему собеседнику, указывая на Ирину: «Знаешь, вот с этой женщиной у меня был самый короткий роман в моей жизни!» Мы с Иркой умолкли на полуслове и непонимающе посмотрели на Ковалья. «Она до этого раза даже не удосужилась взглянуть в мою сторону! Короче романа не бывает!»

Вахтерша Прасковья-чаровница была настоящим булгаковским Шариковым в юбке.

Она могла с распростертыми объятиями встретить любого пьяницу или ворюгу, решившего навестить организацию, расположенную в центре. Достойному же автору, переступавшему порог издательства, несмотря на неоднократные предупреждения своих начальников, она преграждала путь с криком: «Куда прешь, гад?!» Вообще ненавидела интеллигенцию. Чем более осмысленное лицо появлялось в дверях, тем большей злобой исходила Прасковья-чаровница. Синдром уборщицы советских времен. Бабка при исполнении... «Ходят тут всякие, шляются разные, людям покою не дают». Голос у нее, несмотря на ее малые габариты, был зычный. Пыталась она пришельцев долго: «К кому пришел, да зачем пришел?» Иногда редакторы не выдерживали, и из соседних дверей кто-нибудь выходил, чтобы помочь несчастному и утихомирить разбушевавшуюся бабку. Подозревала всех. Во всех грехах. Однажды к одной сотруднице должны были к концу рабочего дня подъехать муж и какая-то родственница. Вахтерша, как всегда, была предупреждена, что ожидаются визитеры после окончания рабочего дня. Встретившись, они вместе должны были куда-то поехать. Мужа сотрудницы Прасковья-чаровница как-то пропустила без особых осложнений, поскольку к мужскому полу была все-таки немного более благосклонна. Когда, заждавшись родственницу, моя коллега подошла к вахтерше и поинтересовалась, не пыталась ли сюда зайти женщина средних лет, то услышала:

– Одевши?

– Что? – не поняла моя коллега.

– Одевши, спрашиваю? В пальте?

– Одевши, – растерянно повторила сотрудница.

– А одевши – на низ пошла. Я ее спустила. На низ. Так и сказала – нечего, дескать, мешать. К твоей редакторше мужчина пришел.

На праздники Прасковья-чаровница всегда веселела. То ли прикладывалась к рюмочке исподтишка, то ли по какой другой причине. Начинала петь озорные частушки сама для себя. Какого-то представителя мужского пола она накануне 8 Марта встретила в дверях странным приплясыванием с припевом «А-тя-тя! А-тя-тя!», приглашая таким образом к танцу. Тот, бедный, еле прорвался сквозь заслон. А вслед понеслось озорное: «На стене висят часы, тикают и такают, интересно посмотреть, как девчонки какают!» Ей сделали внушение, она снова стала жаловаться на недобрых и невеселых людей, на всю эту сволочь в шляпах да в очках, которые, небось, не пойдут за такие маленькие деньги на ее место.

Майя Самойловна Брусиловская, заведующая редакцией научно-художественной литературы, просто страдала, когда утро начиналось со встречи с благоволившей к ней Прасковьей-чаровницей, – хорошо, что дежурила та не каждый день, а через двое суток на трети.

– Ну что, Майка? Бежишь? Опаздываешь? Где ты, как молодуха, по ночам шляешься-то?

– Ну, что ж, дело наше молодое, – пыталась попасть ей в тон бедная Маечка, чтобы не подумала, не дай Бог, бедная вахтерша, что она нос задирает и с простым народом общаться не хочет.

Майя Самойловна заходила в редакцию, ставила сумку на стол и с отчаянием говорила: «Я себя ненавижу в эти минуты, а ничего ответить ей не могу. Так и живу, поджимая хвост перед этим люмпеном. Всякий раз думаю – вот пройду мимо с гордо поднятой головой и ничего ей не отвечу. И так каждый раз...»

Недавно в Интернете наткнулась на чьи-то воспоминания о Ролане Быкове, где вкратце рассказывалось о его фильме «Телеграмма».

«Телеграмма» – это фильм о том, как дети ищут адресата телеграммы. В конце выясняется, что это мама героини картины. Сценарий написали Лунгин и Нусинов. Незамысловатая, но очень добрая история, смысл которой в том, что герои, которых мы ищем по всему свету, живут рядом с нами. Кстати, на съемках картины Ролан Антонович использовал интересный прием. Поскольку ребенка нельзя снимать долго, он взял на главную роль близнецов, которые снимались поочередно, причем один был побойчее, а другой – полиричней, и в результате получился тот образ, которого он добивался.

С этими близнецами была связана одна очень смешная история. Их матерью была Татьяна Тайц, известная в 1960–1970 годы талантливая журналистка. Так уж получилось, что ей пришлось с рождения одной поднимать этих близнецов. Многие осуждали тогда отца ее детей. Этот человек был намного моложе ее, и он, не посмев послушаться свою мать, так и не женился на ней. Естественно, что для детей она сочинила какую-то легенду о папе, не участвующем в их жизни. Как-то раз Татьяна ехала с детьми в автобусе. Ребята были рыжие, кудрявые и очень смешные. Один из них, как правильно замечено, был мечтателем, задумчивым и рассудительным. Второй отчаянно грассировал, разговаривал всегда очень громко и отличался от брата бойкостью. В автобусе как всегда было полно народа, и какой-то военный пристально разглядывал их весьма симпатичную маму. Военный решил начать издадека:

– Куда же вы едете такие нарядные?
 – Мы едем в гости, – сообщили близнецы.
 – Ну, понятно, раз такие красивые и нарядные... А это кто с вами?
 – А это наша мама.
 – А как зовут вашу маму? – поинтересовался военный.
 – Мама Таня!
 – А где же ваш папа?
 – Наш папа погиб, – грустно и громко сказал брат-лирик.

В автобусе воцарилась тишина. Все замерли в ожидании. Как теперь военный будет выпутываться из этой неловкой ситуации. Военный покраснел и только собрался что-то произнести, как бойкий брат, страшно картавя и гремя буквой «р», раскатисто подтвердил:

– Ага! Еще в Гр-р-р-жданскую!

Пассажиры зашлись в истерическом хохоте. Мать схватила близнецов и выскочила с ними на следующей остановке.

Общественный транспорт – это отдельная тема. В советских автобусах, трамваях, троллейбусах кипела жизнь. Там ссорились, скандалили, срывали зло на посторонних раздраженные своей скотской жизнью люди. Там же знакомились, оттачивали свое остроумие и проявляли свое милосердие. А сегодня шестилетняя дочь моих знакомых умоляет родителей как-нибудь прокатить ее на трамвае. Она с рождения еще ни разу не ездила на нем – только на машине.

Татьяна Тайц была дружна с Еленой Константиновной Махлах, работавшей в нашей редакции. Для всех близких людей она была просто Ляля. У крошечной Ляли было огромное сердце с совершенно неизрасходованным запасом любви. Детей у них с Михаилом Григорьевичем не было, он был ей всем, и ребенком тоже. Пока Тайц не эмигрировала с детьми в Америку, Ляля и ей пыталась помогать. Жили они, кажется, по со-

седству, в писательских домах у метро «Аэропорт». Но у Ляли вскоре появились конкуренты-помощники. Как-то утром, когда близнецам не было еще и года, Татьяна, писавшая всю ночь статью, обнаружила, что детям на завтрак есть нечего. Кашу, которую она собралась им давать, варить оказалось не на чем – молоко скисло. Никаких запасов в доме не обнаружилось. Татьяна поставила малышей в манеж и пулей метнулась в соседний молочный магазин. Магазин гудел как улей, еще от дверей начиналась огромная очередь часа на полтора. Она в нерешительности постояла минуту, а потом рванулась к прилавку.

– Девушка, я детей одних оставила. Стала варить кашу, а молоко свернулось. Мне только два пакета молока дайте, пожалуйста.

– Как очередь решит, – безразлично протянула продавщица.

Очередь уже решила твердо – не давать и не пущать. На Татьяну со всех сторон посыпались оскорбления и угрозы. Какой-то особливо ретивый дед с орденскими планками на груди схватил ее за руку и крепко держал, больно сдавливая своими костяшками.

– Я за что воевал??? – истерически орал он не своим голосом. – Чтобы такие нахалки вперед меня лезли? Я совесть имею, со своим удостоверением стою, я – инвалид!!! А ты лезешь!!! – заходилась он все больше. – Умная наплась!!! Ишь – детишки у нее малые плачут. Я вот не поленюсь – пойду и проверю. А потом тебя за хулиганство сдам в милицию, если врешь!

Татьяна в отчаянии сдавленно прохрипела:

– Пойдем, дед! Все проверишь на месте. Но без молока я не уйду!

Продавщица грубо шваркнула на прилавок два треугольных пакета, Татьяна высыпала ей тридцать две копейки без сдачи,ковыряясь одной рукой в кошельке, потому

что на второй руке продолжал висеть вредный дед.

– Идем, контролер, – сказала она зло деду.

– Сволочь такая! Все-таки хапнула молоко! Из принципу пойду! Я тебе покажу! Я тебя на пятнадцать суток посажу, чтоб у тебя руки да ноги отсохли! Жалобу напишу! Вот! Товарищ продавец, я вернусь. Вы меня запомните, если моя очередь пройдет.

– Запомню! – лениво пообещала продавщица. – Ишь какой дед прынципиальный попался!

Татьяна почти бежала всю дорогу назад, а задышающийся дед злобно шипел, но не отпускал ее локоть:

– Убежать хочешь? Не выйдет, вражина!

Татьяна влетела в квартиру вместе с дедом. В манеже, посиневшие от крика, заходились два брата. Татьяна бросилась к детям. Дед остолбенел посреди комнаты.

– Дочк! Дочк! – растерянно говорил он. – Ты прости, дочк! Совсем мы в этой жизни озверели. Прости, дочк! Дай че помогу, што ли?

– Иди отсюда, контролер! Чтоб духу твоего здесь не было!

Деда в секунду не стало. Татьяна накормила детей, погуляла с ними, уложила их спать и села на кухне за пишущую машинку – статью надо было дописывать. Вдруг раздался звонок в дверь. Татьяна, испугавшись, что близнецы проснутся и тогда работе конец, в мгновение ока оказалась у двери. Без всяких вопросов она распахнула дверь и замерла от удивления. На пороге стоял тот злобный дед, с собой он привел бабку.

– Дочк! Ты только не шуми! Не гони! Щас все объясню. Моя Таисья, когда я ей про утро и про молоко рассказал, меня уже так отче-хвостила, как ты и не сумеешь. Она вон пи-



Новогодние праздники для детей всегда устраивали собственными силами. В этот день уже никто не работал – так было весело, смешно и взрослым и детям

рожки спекла и просто сдобушки. Пустые. Для малюток, значить. И еще двух медведей. Купили мы. В детском магазине, – волнуясь, отрывисто говорил он.

– Проходите, – шепотом сказала Татьяна. – Спят они. А мне срочную работу надо сделать. Садитесь здесь на диване. Отдадите медведей, когда проснутся. А я пока на кухне поработаю. Дверь туда прикрою, а то они от стука проснуться могут, я тогда ничего не успею сделать.

Татьяна оставила гостей в комнате, углубилась в работу, а через какое-то время до нее донеслось:

– Ай-та-та, ай-та-та, вышла кошка за кота! А это деда! А где баба? Вот баба! И тебе тоже мишку дам! Одинаковых вам купили. Ой, Коля, да какие бутузики-то! Што ж ты их без молока-то хотел оставить! Ай, деда бесстыжий! А вот мы его по лбу-то мишкой-то! Старый ты дурак, деда!

Так в доме появились бабка с дедом, которые какое-то время помогали Татьяне растить близнецов.

И еще один эпизод из моих воспоминаний об общественном транспорте. Сколько я себя помню, всей страной поднимали сельское хозяйство. Но так и не подняли. Кто только не трудился в те годы на колхозных полях, овощных базах и на стройках коровников. Однажды моего мужа, который в то время работал в одном из академических институтов, собирались отправить в колхоз. Как он только ни отбивался и какие причины только ни придумывал, чтобы не поехать. Его жестко предупредили: «Если возьмешь бюллетень, знай, что у тебя будут проблемы с защитой диссертации». Пришлось смириться. Накануне вечером я собирала его в дальнюю путь-дорогу. Расставание предстояло долгое – ссылали его на две недели. Утром муж уехал под громкий

рев нашего малолетнего сына, который не хотел расставаться с папой. Вечером я возвращаюсь домой, а навстречу мне летит сын с радостным воплем: «Мама, ура! Ура! Папа ногу сломал!» Выяснилось, что наш папа, приехав в колхоз, сразу умудрился сломать ногу. Перелом был серьезный, потом были большие проблемы с мениском, и довольно долго наша семья, по наблюдениям соседки, напоминала семью калек из фильма ужасов. Я, по обыкновению, так за него переживала, что прихрамывала, шагая рядом с ним. Со мной всегда так. Когда я разговариваю с заикой, я начинаю заикаться. Если мой собеседник картавит, я обязательно вторю ему. Получается – будто передразниваю. На самом деле я просто очень впечатлительная. Пятилетний сын считал особым шиком, опираясь на палку, вышагивать в такт хромающему отцу. Так вот соседка моя очень повеселилась, наблюдая однажды с семнадцатого этажа в Конькове, как наше семейство передвигалось, дружно хромя на правую ногу. Узнав о сломанной «задней конечности», школьный приятель мужа предложил мне забрать у него костыли. Роста они с мужем были примерно одинакового, а не так давно Паша тоже умудрился сломать ногу. Я поехала к метро «Щукинская», забрала у него костыли, прихватила заодно какие-то нечитанные еще журналы «Иностранки», по пути забежала в магазин, купила продукты и полностью груженная стала ждать трамвая. На мне была тяжеленная шуба из овчины, переделанная из старой маминой шубы образца 1946 года. Я ненавидела ее, но ничего лучше приобрести в те годы не удавалось. В ней я просто вращалась в землю – такая она была нескладная и тяжелая. Подошел трамвай, и мне, несмотря на огромные сумки и костыли, невероятно повезло. Я заняла место у окна, устроилась удобнее, примостила костыли, поставила на пол сумки,

вытащила журнал и стала читать какой-то тогдашний бестселлер. Ехать предстояло долго. Я увлеклась и не сразу сообразила, что какой-то довольно мерзкого вида мужик на сиденье спереди, повернувшись, обращается ко мне: «Встань. Не видишь, что ли? Перед тобой бабка старая стоит! Совсем обнаглела. Вот молодежь пошла! Сидит – журнальчик почитывает!»

Я подняла глаза и увидела пожилую женщину, которая как раз нависала над этим мужиком. Он, правда, был и сам вовсе не стар. Но, видимо, решил, что я моложе, поэтому мне и следует уступать место. Я засуетилась, стала судорожно запихивать журнал в сумку, что-то там упало на пол, я с трудом дотянулась, схватила костыли, шуба моя от неловких движений задралась вверх, под животом в одной руке я держала свои манатки, а второй рукой тащила костыли, чтобы побыстрее уступить место бабушке... И в этот момент бабуля просто зашла в истерическом крике: «Люди добрые! Да что же это делается??? Здоровый бугай!!! И... И... – Она даже стала задыхаться от возмущения, а потом истошно заорала: – Ой, ой! Беременную!!! На костылях!!! Поднял!!! Беременную на костылях согнал!!!»

Ни один революционный вожак не сумел бы так быстро поднять на бунт всех пассажиров трамвая. Наверно, в человеческом сознании «согнать беременную на костылях» означало действительно конец света. В трамвае нарастал страшный гул негодования, крики становились все громче. Я невинно хлопала глазами, боясь публично признаться, что я и не беременная, и не на костылях... Эта моя полная невинность и незащищенность, как я теперь понимаю, распаляла народ еще больше. Все мгновенно превратилось в ярых защитников таких обездоленных «беременных на костылях». Я потихоньку стала пробираться к выходу.

На меня уже никто не обращал внимания, все были заняты мужиком, ну ладно бы беременную тронул, ну ладно бы на костылях какую калеку зацепил, а то сразу беременную на костылях! Я выскочила на первой же остановке. Подозреваю, что суд Линча вполне мог свершиться в том трамвае, но уже без меня. Дальнейшая судьба этого мужика тоже, как говорится, неизвестна...

Кстати, о неизвестной судьбе. В нашей редакции готовилась книга о космонавтике. Автор этого энциклопедического издания, Ярослав Голованов, рассказал тогда за чаем любопытную историю. Работая над книгой, он направил запрос в колонию, где, как известно, отбывал срок в сталинские времена основоположник отечественной космонавтики Сергей Павлович Королев, с просьбой сообщить кое-какие подробности о пребывании там этого заключенного. Очень скоро Ярослав Голованов получил ответ:

«Уважаемый товарищ Голованов!

На Ваш запрос сообщаем, что политзаключенный Королев С. П. действительно отбывал срок в колонии №... в такие-то годы под номером таким-то. Дальнейшая судьба заключенного Королева неизвестна. Желаем успехов в работе над книгой.

С уважением.

Имярек».

Возвращаясь к теме общественного транспорта, скажу, что там порой попадались та-а-акие персонажи, что хотелось их писать пером сразу. Что, кстати, всегда и делал Ленья Бирюков из редакции художественного оформления. Ленья не только был художественным редактором, он был прекрасным и очень лиричным оформителем многих классических произведений. До сих пор у меня где-то в паспорту хранится его иллюстрация к Бунину, очень тонко выпол-

ненная пером, которую он подарил мне на 8 Марта. Каждое утро он привозил в своем блокноте разные зарисовки, наброски, и ему всегда удавалось находить какие-то необычные, нестандартные лица, на которых взгляд просто задерживался сам собой, выхватывая их из толпы.

Однажды мы с мужем поздно вечером возвращались откуда-то из гостей. В вагоне метро было пусто, и только напротив нас сидела пожилая, очень простого вида женщина. На полу между ног у нее стояла авоська, настоящая авоська, плетеная, с дырками, та самая, сейчас уже антикварная редкость. Дело было зимой, но вся какая-то распаренная женщина сидела в расстегнутом зимнем пальто с искусственным меховым воротником и... абсолютно голыми ногами. Я присмотрелась к авоське. Она была доверху набита остатками всякой незамысловатой снеди. По всей видимости, ее хозяйка работала уборщицей или посудомойкой в общепитовской столовой. Прямо на полу высилась смешанная гора из картошки, соленых огурцов, редких кусочков недоеденного мяса, грибов. Сверху на этой горе возлежали скатанные чулки в резиночку. Видимо, на работе ей было жарко, она сняла эти чулки и бежала по морозу уже без них. А кому предназначалась ее съедобная добыча (может, какой скотине?) – остается только гадать. Но до сих пор не могу без улыбки вспомнить эти кошмарные рыжеватые чулки на горе пищевых отбросов.

Запомнились некоторые из рассказов моих коллег. Инночка Шустова рассказывала, что одно время жила с патологически любопытной теткой. Она совала нос всюду, хотела знать все о знакомых Инны и часто с этой целью подглядывала, высунувшись из своей двери. Как-то утром она, ласково заглядывая Инне в глаза, спросила:

– У вас вчера гость был, Инночка?

– Да, заходил мой знакомый.

– Инночка, я должна вам сказать, я просто обязана вас предупредить. Ваш знакомый... Вы понимаете... В личность-то я его не видывала... Но со спины видать – эгоист!

Другая соседка отличалась таким педантизмом и аккуратностью, что приводила в изумление многих. Когда пришлось искать лекарство в ее домашней аптечке, то там обнаружился бумажный пакетик, аккуратно перевязанный ниточками, на котором было выведено крупными буквами: «НЕИЗВЕСТНЫЕ ТАБЛЕТКИ».

Я очень хорошо помню пятницы в нашей редакции. В этот день заведующая Майя Самойловна Брусиловская устраивала совещания, на которых должны были присутствовать все. В пятницу было невозможно отпроситься к врачу, решить какие-то личные проблемы и даже поработать над срочной рукописью в другом месте. Все должны были быть в сборе в полном составе. Я очередной раз жалею, что тогда не было современных диктофонов, потому что часто подобные совещания проходили под оглушительный хохот над искрометными остротами. Поскольку дружественное издательство «Малыш» сразу же поделилось новостью, что к ним пришло письмо с критикой на какую-то детскую книжку, которое начиналось со слов: «Я ох...ю, дорогая редакция!» то Майя Самойловна очень часто употребляла это выражение в минуты крайнего возмущения, проверяя график сдачи книг в производство. Одна из новых сотрудниц постоянно ойкала от столь сильных выражений, на что Майя Самойловна успокаивала ее, повторяя: «Ну, милочка, ну какой же филолог матом не ругается!» – и добавляла игриво: «И филолог и филолух». Если в тот день Майя была менее расположена, то на такое проявление эмоций после ее



На каком-то очередном редакционном совещании в актовом зале - В.Б. Роланд, Л.А. Румянцева, Л.Д. Бирюков (слева направо)

нецензурных высказываний она рывкала: «А вы не ойкайте, Роза Марковна!» Все тут же заливались хохотом, потому что прекрасно помнили историю, которую рассказывала нам одна литераторша по имени Роза Марковна.

Розе Марковне, как и многим простым смертным, не удалось получить путевку в Дом творчества в Коктебеле ни в летний период, ни в бархатный сезон – обычно в это время отдыхали самые именитые писатели и их родственники. И Роза Марковна утешала себя тем, что поедет зимой, там будет мало народа, а значит, ей удастся хорошо поработать в тишине и уединении. Но получилось иначе, в зимний период в Дом творчества наделяли бесплатными профсоюзными путевками донецких шахтеров и членов их семей. Розу Марковну, этакую рафинированную интеллигентку, заселили с настоящей «Фросей Бурлаковой» в самом расцвете лет. Поработать не удалось, зато Роза Марковна вернулась в

Москву с очень обогащенным лексиконом и большим запасом разных баек про жену шахтера Раю.

– Роза Марковна, да вы слушайте сюда, – призывала Рая послушать самые интимные подробности о своем муже, при этом не стесняясь в выражениях, – приходит эта кобелина с работы, весь чумазый, грязный и прям с порога, не помывшись даже: «Дай! Дай!» Лезет ко мне, в койку завалит и...

– Ой! – успевала вставить Роза Марковна среди страшной Райкиной матерщины.

– А вы не ойкайте, Роза Марковна! – жестко пресекала ее Райка.

– Понимаете, Раечка, тут надо как-то деликатно. Ведь его поведение свидетельствует о том, что вы для него желанны, значит, он вас любит...

– Ага !.. Любит! Все ему дай да дай! – Дальше опять следовала длинная обойма нелитературных выражений.

– Ой! – только и могла произносить в паузах Роза Марковна.

– А вы не ойкайте, Роза Марковна! Я вам говорю, не ойкайте! Культурная же женщина! Понимать должны! А вы все ойкаете! Ведь что главное-то? Ну, хорошо, ДАДЕНО ему! Так он СПАСИБОЧКИ не скажет!

Роза Марковна, воспитанная несколько в иных традициях, после коммунального проживания в течение двадцати четырех дней с человеком из «другого профсоюза», как тогда шутили, вернулась домой очень подкованная. Ведь тогда ни телевидение, ни пресса не баловали народ подобными откровениями, как это происходит сегодня. И еще Роза Марковна поняла, что такое взаимовыручка и как умеют приходить на помощь вот такие «Райки». В один из дней они записались на какую-то экскурсию на пароходике. Роза Марковна долго прособиралась в номере, они опаздывали, и когда появились на набережной, пароходик уже готовился отчаливать. Райка быстро прыгнула на трап и в момент оказалась на палубе, подбадривая оттуда застрявшую Розу Марковну. Расстояние от берега до трапа стало увеличиваться и составляло где-то около метра. Грузная и уже в годах, Роза Марковна с грацией молодого бегемота топталась на месте, не решаясь сделать прыжок. Рая орала не своим голосом:

– Давай, Роза Марковна, давай!

– Рая, подвиньте пароход! – Беспомощно и жалобно прокричала Роза Марковна, в ту же секунду оценив, что эта фраза отныне станет бессмертной.

На пароходе вместо гудка раздался Райкин рев, не уступающий по силе иерихонским трубам и перекрывающий все посторонние звуки, включая рокот мотора:

– Твою мать! Я щас тут вас разнесу к такой-то матери, если она в воду провалится! Я куда потом с этой мокрой курицей? – Дальше минуты на две последовала какая-то тирада, которую Роза Марковна перевести не сумела. Это была какая-то чудовищная

смесь русско-украинско-матерного языка, которым она явно не владела. В одну секунду «пароход подвинули», подтянули трап, под локоток ввели ее на палубу, где Райка уже держала два самых удобных места.

– Ой! – с облегчением сказала Роза Марковна, усаживаясь поудобнее. И только собиравась поблагодарить Райку, как услышала:

– А вы не ойкайте, Роза Марковна!

Редакторы в Детгизе почти всегда имели два творческих дня в неделю. В комнате, где одновременно сидело пять-шесть человек, практически невозможно было работать над рукописью. Сдавая очередную рукопись в производство, вокруг стола редактора собирались автор, художник, художественный и технический редакторы, корректор. Шум стоял невообразимый. Сосредоточиться в тот момент над своими манускриптами остальным редакторам не представлялось возможным. Поэтому волей-неволей все принимали какое-то участие почти во всех книгах. Часто насильно призывали кого-нибудь из старейшин с просьбой рассудить спор между автором и редактором: «Виктория Сергеевна, ну подойдите же сюда, вот, посмотрите!..»

Виктория Сергеевна Мальт, умница, талантливейший человек, выпускница ИФЛИ, еще с института она дружила с Павлом Коганом, Сергеем Наровчатовым, Давидом Самойловым, писала тогда повесть о своей военной юности. В выходные дни мы иногда приезжали к ней домой на Чистые пруды, туда прибывали Айхенвальды и другой народ. Мы слушали, как Вика читала вслух свою повесть, и потом за чаем горячо обсуждали написанное ею.

Однажды Ляля Махлах на работе поинтересовалась, как идет работа над рукописью. Вика на секунду призадумалась, а потом сказала:

– Ну, войну я почти закончила...

– Понятно, – тут же отреагировала Махлах, – осталось только «Мир» дописать.

Ляля Махлах славилась своим остроумием и талантом рассказчика. Мы умирали от хохота, слушая ее байки из театральной среды и рассказы о семейной жизни с Михаилом Григорьевичем Львовским.

Однажды у Плучека в Театре сатиры ставилась какая-то пьеса, где одной из статисток впервые дали роль со словами. Молодая актриса, игравшая служанку, должна была доложить своей госпоже, что вернулся ее муж. А хозяйка тот момент, как водится, кокетничала с любовником. Актрисе всего-то следовало выбежать на сцену и в сильном волнении произнести три слова:

– Сударыня, ваш муж!!! Ах-ах!!!

На что главная героиня должна была отреагировать примерно так:

– Мой муж??? Ах-ах!!!

А дальше служанка убегала со сцены. Вот и вся роль.

Бедолага так тряслась от страха, повторяя эти три слова, что, выскочив на сцену, она, оговорившись, прокричала:

– Сударыня, вах мух!!!

– Мах мух??? – в ужасе переспросила госпожа и, сделав маленькую паузу, злобно добавила: – Ах-ах!!!

После этого рассказа мы иногда обзывали Лялю Махмухом.

Помню, как гудела Москва, когда в 1983 году вдруг исчез журналист Олег Битов. Во время кинофестиваля в Венеции он попросил политического убежища в Англии. Затем на Западе выступил с критикой советского строя, а после года пребывания в Лондоне появился в Москве с утверждениями, что был похищен в Италии английской разведкой. Позже Битов в «Литературной газете» активно строчил антизападные статьи. Новость об исчезновении этого журналиста

тогда занимала многих, все высказывали самые разные предположения. Когда Ляля Махлах вошла утром в редакцию, мы все как раз очень громко обсуждали эту тему. Кто-то, ссылаясь на порядочность его брата, утверждал, что здесь не все так просто, как кажется с первого взгляда... Что он не по заданию КГБ действует и т. д. Ляля переступила порог, обвела нас глазами и коротко спросила:

– Это вы про Битова, что ли?

– Ну да, вы слышали, как он?..

Шестидесятилетняя Ляля, брякнув сумкой об стол, коротко и озорно закончила наши споры о том, кем в действительности являлся Олег Битов:

– Эх! Герцен, бля!!!

Ляля обожала своего мужа Михаила Львовского. Она служила ему верой и правдой. Миша был для нее всем, в том числе и маленьким ребенком, поскольку своих детей у Ляли не было. Вся бытовая часть их жизни лежала на Ляле, и она без боя свои обязанности ни за что не отдала бы даже ему. Миша жил так, что он даже точно не знал, с каким количеством ложек сахара он привык пить чай. «Ляля, – обращался он к жене, оказавшись в гостях, – ты не знаешь, сколько ты мне ложек в такую чашку кладешь?»

Миша всегда обсуждал с Лялей все свои творческие замыслы. Обычно это происходило на кухне их маленькой квартирki в писательском доме возле метро «Аэропорт». Миша курил как паровоз. Ляля сидела напротив, как локатор, улавливая любое движение Мишиной мысли. Вообще-то Лялю всегда приходилось слегка сдерживать, потому что слишком буйная фантазия могла унести ее в космические дали. Миша дымил ей прямо в лицо и увлеченно что-то рассказывал. Ляля периодически помахивала маленькой ладошкой у себя перед носом, раз-

гоняя дым. Вдруг, оборвав себя на полуслове, Миша строго сказал: «Ляля, не делай вот так, – и передразнил ее помахивания, – ты мне мешаешь!»

Тут же они взглянули друг на друга и покатались от смеха.

В другой раз Ляля совмещала приятное с полезным. Она внимательно слушала Мишу и готовила куриный суп. Разрезая курицу, она умудрилась сильно пропороть костью руку. Кровь лилась рекой, она побежала в травмпункт, где ей наложили швы и забинтовали руку. Ляля вернулась в исходную позицию и, поняв, что любимый Миша может завтра остаться без супа, решила на скорую руку приготовить бульон. Для этого требовалось почистить морковь. Доверить Мише столь важное дело Ляля не смогла. Она зажала в локте морковь, а второй рукой стала чистить ее. Миша прервал свой рассказ, долго и внимательно наблюдал за ней, а потом с уважением заметил: «Эка, Ляля, ты ловко придумала!»

Ляля рассказывала, а мы все редакцией хохотали над ее рассказами...

Часто вспоминали байки местного значения. Рассказывали, как кто-то из редакторов влетел к заму главного редактора Камиру со срочной версткой, которую надо было отсылать с вечерним курьером в типографию, и с порога закричал: «Борис Исакич, голубчик, миленький, взгляните одним глазком и подпишите быстренько».

А у Бориса Исааковича Камира был всего один глаз, на втором, или, вернее, на его месте, красовалась, как у адмирала Нельсона, черная повязка.

«Именно так мне всегда и приходится делать», – с достоинством ответил Камир.

Как-то в разговоре с одним из авторов, который с трудом передвигался на костылях, редактор попросил ознакомиться с рецензиями и как можно быстрее внести

правку в рукопись в соответствии с требованиями рецензента. И вдруг некстати добавил:

– Василий Захарыч, только, пожалуйста, быстренько, не тяните – одна нога здесь, другая там.

– Это я запросто, – рассмеявшись,отреагировал Василий Захарыч.

Смеялись над необразованностью одной заведующей редакцией, которая в основном занималась общественной деятельностью, долгие годы была освобожденным председателем месткома. У нее были две коронные фразы в разговоре с авторами. «Это вне литературы!» – произносилось пафосно с выражением брезгливости в случае отказа автору. «Здесь надо шире и глубже», – говорилось проникновенно, если кто-то из



С.Н. Шахвердова долгие годы была бессменным руководителем производственного отдела. Она приезжала на работу раньше всех, а уезжала домой в одиннадцать часов вечера

редакторов уже рекомендовал ей вставить рукопись в перспективный план.

Посмеивались над старенькой Клавдией Алексеевной Черненко. Рассказывали, что когда-то давно, когда ее вдруг из корректоров сразу перевели за какие-то необыкновенные заслуги в заведующие редакцией классической литературы, она заявила: «Ну вот, наконец-то. Теперь хоть классику почи-таю».

В редакции литературы среднего и старшего возраста, которой заведовала С.Н. Боярская, всякие объяснения с ней редакторы называли одним словом – «отбояриться». А в нашей редакции после совещания в пятницу мы заявляли Майе Брусиловской, что уже пора заканчивать, все уже «наМАЙЯлись». Потом как ошпаренные неслись в производственный отдел, чтобы узнать о состоянии рукописей, за которые нам влетело от Майечки. Производственники смеялись над нами: «Спасайся, кто может, – начался “Брусиловский прорыв”!»

Москва тогда была моим, таким маленьким городом со знакомыми переулками, с привычным акающим московским говорком на улицах. Все было так близко – просто на расстоянии вытянутой руки. И многие очень значительные имена присутствовали в моей повседневной жизни, потому что, усаживаясь за наш круглый стол в редакции и попивая чай, я слушала рассказы моих «теток», как я их тогда в молодости называла. А тетки были потрясающие, все как на подбор – умные, знающие, талантливые... И с очень сложными характерами. Языки у всех были как бритвы, реакция всегда на все следовала молниеносная.

Все эти люди незримо присутствовали в редакции, были на расстоянии вытянутой руки. И за столом лились рассказы о друзьях – не о Елене Ржевской, а о Ленке, не о Давиде

Самойлове, а о Дезике, не о Зиновии Гердте, а о Зяме и т. д.

Любимцем был не известный всем Кир Булычев, он же крупный востоковед Игорь Всеволодович Можейко, а просто Игорь, с которым мы хихикали, покуривая на лестничной клетке.

– А давай пообедаем в ЦДЛ? – предложил он мне как-то.

– Да ты что, Игорь, я же не по этой части, – искренне изумилась я его приглашению.

– Так ведь и я тоже не по этой части. А поговорить?

Так и не поговорили толком, только стихи у меня с его посвящением остались, где он хохмит про эту самую часть.

Все было так близко, все эти люди ежедневно наполняли мою жизнь, и казалось, что так будет вечно, они всегда будут меня окружать. И даже не представляла себе, что они как-то сразу вдруг исчезнут, канут в забвение, умрут, уедут, пропадут...

Я встретила Игоря только через десять лет после того, как ушла из Детгиза. Тогда, после возвращения из Германии, я работала в крупном коммерческом издательстве. Там весь состав редакторов – литературных, художественных и технических – был рассажан в огромном зале, где за столами сидели по три человека, этикие длинные парты, расположенные друг за другом. Очень напоминало полицейский участок в каком-нибудь штате Техас. Автор физически не мог приблизиться к редактору, он мог прийти только за тем, чтобы передать ему подписанный договор. О каком-то общении просто не могло и речи идти. Подойти к человеку, сидящему не у прохода, было невозможно, а переговариваться через две сидящие рядом головы глупо. В этом страшном гуле, где одновременно работали почти восемьдесят сотрудников, я заметила у дверей какую-то мужскую фигуру, которая, по моим подсче-

там, околачивалась уже больше получаса, то появляясь, то снова скрываясь за стоящим у двери шкафом. Когда человек, переминаясь, вновь появился в этом нашем жутко жарком и душном помещении, я, освободившись на секунду и нацепив другие очки, вдруг увидела, что это не кто иной, как Кир Булычев.

– Игорь!!! – на весь зал заорала я и бросилась к нему. – Что ты здесь делаешь?

– Договор принес подписанный. Жду заведующую детской редакцией. Говорят, она обедает.

– Иди, садись немедленно. Давай на мое место. Я пойду искать эту заведующую.

Я побежала разыскивать молоденькую заведующую редакцией детской литературы, она считалась особенно ценным сотрудником, потому что мастерски справлялась с огромными Excel-таблицами, отражающими прохождение рукописи на всех этапах подготовки книги в производство. Кажется, других достоинств у нее не было. Или я просто не разглядела? Она не торопясь возвращалась с обеденного перерыва и очень удивилась моему беспокойству: «Ну и подождет, ничего страшного, сейчас подпишет договор и поедет домой», – спокойно отреагировала она.

Я даже не могла пригласить Игоря выпить чашку чая, это негде было сделать. Но мы с Игорем просто вцепились друг в друга тут же в проходе между столами, мешая работе остальных сотрудников, рассказывая об общих знакомых, пытаясь узнать какие-то новости. Глаза у Игоря лучились как всегда. У немцев есть такое понятие – «Strahlung», что дословно переводится как «излучение». Оно заменяет часто такие слова, как шарм, обаяние, привлекательность. Имеется в виду, что человек словно излучает свет. Вот такое излучение всегда исходило от Кира Булычева.

– Представляешь, а М-ва еще до сих пор жива, – сообщила я ему тогда радостно об одной очень старой сотруднице Детгиза.

– Представляешь, и я тоже! – рассмеялся Игорь.

А через месяц я пошла на его похороны...

Двадцать лет почти каждый день я бежала на работу к девяти часам утра, штурмуя переполненные автобусы и вагоны метро. Рядом со мной ехали миллионы таких же невыспавшихся с серыми лицами, раздраженных бесконечной толчеей большого города москвичей. Помню эти серые будни – издерганные, находящиеся в постоянном стрессе люди, выходя из коммунальной квартиры, давились в общественном транспорте, где хамское поведение земляков порой определяло настроение на весь рабочий день. Прибегали на работу злыми, раздраженными, где начиналась «вторая смена» их коммунального бытия. А после работы или в обеденный перерыв надо было спешить «на промысел», толкаться в очередях за нехитрой снедью – магазины пустовали, а семьи надо было чем-то кормить.

Я влетала в редакцию, которая без всякого преувеличения была для меня по-настоящему вторым домом, потому что там меня окружали очень близкие люди. Мы ссорились, мирились, дружили «против кого-то» и «за кого-то», что-то бесконечно делили, за что-то воевали, кого-то ненавидели, кого-то презирали, на кого-то смотрели с обожанием. Но все-таки мы почти все были «из одного профсоюза». Иногда даже приходили на работу в одинаковых платишках или кофточках и тогда, тушуясь и смущаясь (советская власть не баловала нас изобилием товаров), говорили: «Ну вот, мы с тобой словно из богатого детдома». Мы выбегали из своих убогих коммуналок, уже наведя «боевой рас-



БЫВШИЕ ФРОНТОВИКИ - С.И. Нижняя и И.И. Прусаков.

Семейная пара проработала вместе в издательстве почти пятьдесят лет

крас» дешевой косметикой, натянув фирменные джинсы по спекулянтской цене, равной нашим тогдашним двум-трем зарплатам, нацепив одну из двух имеющихся водолазок (самый писк – черного цвета, конечно), повесив скромный кулончик на серебряной цепочке на шею, – и королевами вышагивали по городу. Во всяком случае, в творческой среде у молодых девчонок «дресс-код» в те годы был примерно такой. Наверно, половину своей жизни я провела в коммуналках, да и почти все мои коллеги тоже. Мы постоянно баловали друг друга забавными байками о странностях своих соседей. Много смеялись над ними, но прекрасно понимали, насколько тяжело было на самом деле ежедневное проживание с совершенно чуждыми по духу, образу жизни, мировоззрению людьми.

И я ни в коем случае не хочу сказать, что, несмотря на тяготы тогдашней жизни, люди были другими, более открытыми, добрыми и пр. Вовсе нет. Если обратиться к мировой литературе, то из каждого столетия слышны вопли: «Да, были люди в наше время, не то, что нынешнее племя...» На самом деле, если заглянуть в историю, то этот баланс между

умными и глупыми, между порядочными и непорядочными людьми, похоже, даже в процентном отношении сохраняется. И во все времена живут подонки, безмозглые тупицы, а рядом с ними сосуществуют светлые, одаренные люди. Просто они всегда менее заметны.

Я вспоминала тех людей, с которыми работала много лет вместе. Но мне удалось поведать лишь о малой толике и показать лишь самую верхушку того айсберга, ко-

торым Детгиз был для моих современников, совершенно не рассказав о многих творческих личностях, которые создавали чудесные детские книги, об их профессионализме и знаниях. Я почти не упомянула о людях, которые служили детской литературе всю свою жизнь, – Г.Н. Пешеходовой, А.А. Виноградове, семейной паре детгизовских ветеранов Прусакове и Нижней, С.Н. Шахвердовой, И.В. Похвалинской, В.Я. Меерзоне, О.К. Корф, И.Ф. Скороходовой, Л.Я. Либет, К.Д. Ароне, Г.В. Быстровой, Г.В. Стан, Л.И. Касюге, М.С. Брусиловской и многих других. Но они – герои моей другой книги.

Детгиз всегда отличался тем, что работали в нем в большинстве своем очень интересные люди.

И не возрастная сварливость сейчас во мне говорит, когда я утверждаю, что масштабность многих фигур была несравнимой с сегодняшними претендентами на звание сиюминутных «властителей дум» и разных «звезд» одноразового пользования. В повальном устремлении к гламурной жизни сместились какие-то ориентиры в нашей жизни. Красоту заменила красивость, вместо остроумия – все больше острословие,

добро подменяют благотворительностью и т. д. Как часто сейчас вспоминаются строки Давида Самойлова:

*Вот и все. Смежили очи гении.
И когда померкли небеса,
Словно в опустевшем помещении
Стали слышны наши голоса.*

*Тянем, тянем слово залежалое,
Говорим и вяло и темно.
Как нас чествуют и как нас жалуют!
Нету их. И все разрешено.*

Во все времена есть и таланты и бездари, и умники и неучи. Но если мне не изменяет память, как-то раньше неучей, бездарей и дураков никто не возводил в ранг гениев. Даже получая государственные награды и признание партии и правительства, они все равно в общественном мнении занимали свою низшую экологическую нишу.

Но сегодня снова хочется повторить Самойлова: «Вот и все. Смежили очи гении... Нету их. И все разрешено».

Я пишу, и мне все время кажется, что это уже никому не интересно, что сегодня, когда

издательское дело очень часто находится в руках неофитов, мои воспоминания совершенно никому не нужны. Ведь сказал же мне один из владельцев крупного издательства: «О чем вы? Я таких редакторов могу купить вагон и маленькую тележку! “Издали-продали!” – вот формула, по которой надо сейчас жить, а не разговоры с авторами разговаривать!»

Я не ностальгирую по той коммунальной жизни и не пытаюсь здесь возвести ей очередной литературный памятник. Я помню, как мучительно бывало, когда в твоё жизненное пространство постоянно вторгались чужеродные тела. Даже те, кто хотел дистанцироваться, не могли этого себе позволить. Мы все были друг у друга на виду. Коллективное мышление, коллективное сознание... Мечта диктатора: «Ведь умные люди! Почему строим не ходите?» Приходилось ходить строим... Я не ностальгирую по той жизни...

Но что-то было в этой нашей коммунальной жизни такое...

Впрочем... как иронизировали древние мудрецы, «каждый доволен своим умом, но никто – своим положением...»

ХОЗЯЙКИ!!!

ТРЕБУЕТЕ ПОРОШОК
ДЛЯ СТИРКИ БЕЛЬЯ

СТИРОЛЬ-ИНОЗИТ

СТИРОЛЬ ИНОЗИТ: стирает только кипячением. Стирает без мыла, без соды, без щелока, без щеток, и без помощи рук. Не содержит ни хлора, ни жевела и никаких вредных примесей. Полная гарантия безвредности для белья. Дает белоснежное белье.

Якц. О-во „ИНОЗИТ“ — Москва,
Коммисариатская наб., тел. 1-99-20.

Открыт прием утв. Моспрофобром
КИНО-КУРСЫ ИМ. Б. В. ЧАЙКОВСКОГО
Хлебный пер., 15 (Арбатские ворота,
трамвай: А, 4, 15, 17, 23, 31, Б, 5, 16, 22.
Автобусы: 2, 4, 7, 9).

Всесторонняя техническая и художественная подготовка актеров кино. Ритмика по системе Ж. Дюкроза. Гимнастика-акробатика, легкая атлетика, танец, бокс, фехтование, верховая езда. Оформление движения, законы мимики и жеста, эмоциональная гимнастика по рефлексологическому методу, учебные этюды, проработка роли по сценарию, грим, учебно-производственные съемки, кино-техника, теория кино-искусства, техник сценария, кино-законодательство. Преподаватели: Алексеева, Баратов, Барнет, Бахнов, Верховский, Гольденвейзер, Дворников, Зархи, Зикберман, Измайлова, Ленскер, Пудовкин, Гахманова, Сорокин, Туркин, Шаломытова, Яловый. Курс — 2 года и полгода дополнительной практической работы.

Занятия вечерние. Занись и сраж-ки — ежедневно, кроме субботы и воскресенья, от 7 до 10 ч. веч.

**ПОЛНОЕ И НЕМЕДЛЕННОЕ
ВЫРУЧЕНИЕ
КЛОПОВ И ТАРАКАНОВ**



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИССИОННЫЙ МАГАЗИН

АРБАТ, 11
(ОДИННАДЦАТЬ) Т. 4-59-66

MAGASIN COMMISSION D'ETAT

Arbate, onze (11), tel. 4-59-66.

ПРОДАЖА ВЕЩЕЙ Б. ДВОРЦОВОГО ИМУЩЕСТВА
VENTE DES OBJETS DES PALAIS IMPERIAUX

Нитки загран. жемчуга от 20 руб. — Les perles à partir de 20
ЧАСЫ: золотые и серебряные, дамские и мужские карман. и на ру:
montres pour dames et messieurs d'or et en argent

СТАРИННЫЙ ФАРФОР,
ХРУСТАЛЬ
L'ANCIEN PORCELAINE ET
BACCARA

МЕХА,
МЕБЕЛЬ,
МУЗЫК.
ИНСТРУМ.
КАРТИНЫ.

FOURRURES,
MEUBLES,
INSTRUMENTS
MUSICAUX,
TABLEAUX.

ЦЕНЫ ВНЕ
КОНКУРЕНЦИИ!

Покупка и продажа вещей на комиссион

ПОКУПАЮТ ПО ВЫСОКОЙ ЦЕНЕ

**БРИЛЛИАНТЫ, ЖЕМЧУГ,
ЦВЕТНЫЕ КАМНИ, ИЗУМРУДЫ,
АНТИКВАРИУ,
ЗОЛОТО И СЕРЕБРО**

МАГАЗИНЫ „МОСТОРГА“

1. Кузнецкий Мост, 8. Тел. 5-86-39.
2. Никольская ул., 8. Тел. 3-33-53.
3. Сretenka 30. Тел. 4-86-42.
4. Верхн. Торг. Ряды, 89. Тел. 32-59.
5. Универмаг. — Петровка, 2. Тел. 2-23-91.

***КАРАНДАШИ
ПЕРЬЯ
АВТОМАТЫ***



КОММУНАЛЬНЫЙ ТРИПТИХ

– 1 –

*А помните, милый, гуляя по Невскому,
Вы мне признавались в любви к Достоевскому?
И Вы говорили: «Гармония в мире,
Как белый рояль в коммунальной квартире».*

*Мне было уютно у Вас в коммуналке:
В углах – паутина, на окнах – фиалки.
За дверцей буфета – припрятанный виски.
Теперь наш удел – состоять в переписке.*

*Но снится мне Питер и комната Ваша.
И кто б мог подумать, что «Бедная Маша»
Пленит Ваше сердце ненастной порою!
Пусть скажет «спасибо» советскому строю.*

*И я благодарна ему, тем не менее,
Хотела бы с Вами вернуться в имение...
Когда Вы явились с визитом к соседке,
Я чай наливала в садовой беседке:*

*– С вареньем? Со сливками? Может быть, с ромом?
И мы говорили о старом и новом,
И слушали звон колокольный вдали.
Пролетка умчалась в дорожной пыли...*

*Столетье спустя оказались мы вместе.
Мои поздравления – Вашей невесте.*

– 2 –

*Под взглядом ревнивым породистой Мурки
Я в доме твоём собираю окурки.
Читаю в глазах твоего бультерьера,
Что я нарушаю покой интерьера.
Запомнились также слова попугая:
«Вы только из дома – приходит другая!»
И смотрит в окно недоверчиво галка:
«Зачем тебе эта, скажи, коммуналка?!
И дым сигарет, и соседи в придачу?!»
Но я не могу, извините, иначе.
Я выброшу молча окурки-огарки.
С тобою, мой милый, мне рай в зоопарке!*

– 3 –

*За окошком палисадник.
Пыльный фикус на окне.
Вдруг я вижу: белый всадник
Лихо скачет на коне.
Гордый рыцарь предо мною
Преклонил свое колено:
«Станьте Вы моей женою».
Я сказала: «Непременно!
Отношусь к средневековой
Я с огромным интересом».
Он в ответ: «А я с любовью
К сероглазым поэтессам».
Он подвел ко мне коня,
На него помог взобраться,
Но любил ли он меня –
Не успела разобраться.
В замок рыцарский привез,
Ночь провел и вдруг умчался.
Сердце мучает вопрос:
Почему не попрощался?
Лишь одно понятно мне,
Что всему настанет час.
Пыльный фикус на окне,
В облаках парит Пегас,
И лошадку без хвоста
Бросил сын мой у куста...*

Е.В. Лаврентьева	
Монолог старой лестницы	6
М.С. Сперанская	
Здесь был французский театр...	9
С.В. Максимова	
Ноев ковчег	27
Н.М. Грейдинг	
Начало века в Ростове Великом	53
С.С. Балашов	
В Леонтьевском особняке	87
Г.Г. Истомина	
Два звонка в дверь	103
А.С. Хохлов	
Квартиры детства моего	115
А.А. Ходак	
Под зеленым куполом	153
В.И. Прохорова	
Марсельский кабачок	157
Е.П. Морозова-Утенкова	
Эта путеводная нить памяти...	187
И.М. Зеленова	
«Нам преград даже в космосе нет!»	205
Н.А. Тамарина	
О приемной Сталина, винных погребах и бриллиантах Фрейлины императрицы...	215
Т.Я. Батасова	
Клуб на кухне	223
Е.С. Юрова	
Шесть золотых под дощечкой	229
А.Ю. Хржановский	
С тех пор...	237
Э. Опальная	
А мне так жаль моих ушедших лет...	249
Н.С. Смирнова	
Воспоминания не ко времени...	257
А.С. Логинова	
«Что касательно - то относительно!»	291
В.А. Потресов	
Вот мое начало	307
Л.А. Румянцева	
Редакция прозы	337
Е.В. Лаврентьева	
Коммунальный триптих	396



Иллюстративно-художественное издание

КОММУНАЛЬНАЯ СТРАНА

в фотографиях и воспоминаниях

Составитель Елена Владимировна Лаврентьева

Редактор *Н.В. Комарова*

Дизайн: *А.Б. Архутик*

Компьютерная верстка: *А.Н. Колганов*

Сканирование и обработка фотографий: *А.Е. Комаров*

Корректоры *О.В. Круподер, В.А. Нэй*

Подписано с готовых диапозитивов 16.06.2009 г.

Формат 60х90/8. Гарнитура GaramondC

Печ. л. 50 Тираж 2000 экз.

Заказ №

ООО «Издательство «Этерна»

115477, г. Москва, Кантемировская ул., д. 59а

Тел./факс 755-81-23

E-mail: info@eterna-izdat.ru

www.eterna-izdat.ru